

ДЕНЬ и НОЧЬ

литературный журнал для семейного чтения

№7 2011



Владимир Алейников

Встретимся за листвой

Семён Каминский

Маркиза ангелов

Зинаида Кузнецова

Розы и мимозы

Василий Тресков

Жёсткая проза для мужчин

Эдуард Русаков

Музей восковых фигур

Илья Иослович

Наука и жизнь

Дорогие друзья!

Перед вами — внеплановый, седьмой в 2011 году, выпуск журнала «День и ночь». Уникальное издание, увидевшее свет, благодаря доброй воле и горячему стремлению всех, кто принял в нём участие. Для нас, редакции «ДиН», это событие, помимо прочих волнующих моментов, стало доказательством того, что силами общества, заинтересованного в поддержке литературного процесса, по-настоящему качественный журнал выпускать *можно*. Дополнительный номер «ДиН» — благородная «складчина». Кто-то вложил в него интеллектуальные усилия, время и труд, может быть, не самый творческий, но необходимый, кто-то — ту или иную денежную сумму, кто-то — поддержал начинание собственным авторитетом. Но, так или иначе, друзья, мы сделали это!

Среди авторов седьмого — известные писатели и поэты, произведения которых не раз украшали столичные и провинциальные журналы, но, как всегда, и дебютанты, для которых эта публикация — что-то вроде путёвки в литературный мир. Мы отбирали рукописи для этого номера с обычной для нашего журнала тщательностью. И уверены — при всём разнообразии тем, стиливых оттенков и речевых особенностей — требовательный читатель найдёт в нём достойную пищу для ума и сердца. А потенциальные авторы — новую возможность выйти к этому читателю со своим сокровенным.

Хочется верить, что дополнительный — «общественный» — выпуск «ДиН» станет ежегодной традицией, и мы, писатели и читатели, ещё не раз встретимся на его открытых добру и таланту страницах.

*Редакция литературного журнала
для семейного чтения «День и ночь»*

ДЕНЬ и НОЧЬ

литературный журнал для семейного чтения

№ 7 (87) | декабрь | 2011

«Болящий дух врачует песнопенье.
Гармонии таинственная власть
Тяжёлое искупит заблужденье
И усмирит бунтующую страсть».
Е. А. Баратынский

В номере

- | | | |
|---|---|---|
| ДиН встречи
Марина Саввиных
3 Талантливый ребёнок: кто рядом? | ДиН стихи
Владимир Алейников
21 Встретимся за листвой
Михаил Микаэль
25 Свободная
Мартин Мелодьев
74 Пусть судьба хранит...
Татьяна Секлицкая
109 Под солнечным лучом
Яна Гильмитдинова
110 Грусть под зонтом
Татьяна Панова
111 Звёзды звенят
Анатолий Берлин
125 Очарованье давних лет...
Артём Трофимов
144 Зажгу свой факел красный
Виталий Молчанов
171 Под аллегро шумящей волны
Михаил Фисенко
178 Ветер гудит о нас...
<i>Библиотека
современного рассказа</i>
Ирлан Хугаев
39 Оммен
Семён Каминский
42 Маркиза ангелов
Василий Тресков
46 Жёсткая проза для мужчин
Александр Котюсов
52 Соболев и Голубка
Юрий Максимов
68 Диверсия
Юрий Василевский
75 Балет-шмалет
Зинаида Кузнецова
87 Розы и мимозы | Евгений Мартынов
100 Голод не тётка
Светлана Рябец
104 Зойкины рассказы
Светлана Гурова
112 Сломанный каблук
Андрей Дёмкин
117 Твои руки
Наталья Анзигитова
119 Всё как у людей
Алексей Казовский
126 Ещё быть может...
Ли́ка Галкина
131 Слушать гида, козлы!
Екатерина Злобина
145 Большая медведица
Салахитдин Муминов
151 Ты беги, беги...
Сергей Петров
156 Последний ужин
Пётр Аргунов
159 Всем хочется счастья
Дмитрий Карпин
168 Рассвет для тебя
ДиН сдвигология
Платон Беседин
172 Зёрна
<i>Клуб читателей</i>
Александр Матвейчев
174 Нелёгкое дыхание прозы
Эдуарда Русакова
Николай Ерёмин
179 Код Русакова 6+9 |
|---|---|---|

главный редактор

Марина Саввиных

заместители главного редактора

по прозе

Эдуард Русаков

Александр Астраханцев

по поэзии

Александр Щербаков

Сергей Кузнечихин

ответственный секретарь

Михаил Стрельцов

секретарь

Наталья Слинкова

дизайнер-верстальщик

Олег Наумов

редакционная коллегия

Николай Алешков

Набережные Челны

Юрий Беликов

Пермь

Светлана Василенко

Москва

Валентин Курбатов

Псков

Андрей Лазарчук

Санкт-Петербург

Александр Лейфер

Омск

Марина Москалюк

Красноярск

Дмитрий Мурзин

Кемерово

Марина Переяслова

Москва

Евгений Попов

Москва

Лев Роднов

Ижевск

Анна Сафонова

Южно-Сахалинск

Евгений Степанов

Москва

Михаил Тарковский

Бахта

Владимир Токмаков

Барнаул

Илья Фоянков

Санкт-Петербург

Вероника Шелленберг

Омск

издательский совет

О. А. Карлова

Заместитель председателя правительства Красноярского края

А. М. Кleshko

Заместитель председателя Законодательного Собрания Красноярского края

Г. Л. Рукша

Министр культуры Красноярского края

Т. Л. Савельева

Директор Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края

В оформлении обложки использована картина Каспара Давида Фридриха «Сова, летящая на фоне лунного неба» (бумага, карандаш, кисть, сеเปีย; 1836–37 гг.)

Журнал издаётся с 1993 г. В его создании принимал участие В. П. Астафьев. Первым главным редактором с 1993 по 2007 гг. был Р. Х. Солнцев. Свидетельство о регистрации средства массовой информации пи № ФС77–42931 от 9 декабря 2010 г. выдано Министерством Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Сайт журнала: www.krasdin.ru

Рукописи принимаются по адресу: 66 00 28, Красноярск, а/я 11 937, редакция журнала «День и ночь»

или по электронной почте: kras_spr@mail.ru.

Желательны диск с набором, фотография, краткие биографические сведения.

Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за достоверность фактов несут авторы материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. При перепечатке материалов ссылка на журнал «День и ночь» обязательна.

издатель

ООО «Редакция литературного журнала для семейного чтения „День и ночь“».

ИНН

2463042749

Расчётный счёт

407 028 105 006 000 001 86
в Красноярском филиале «Банка Москвы» в г. Красноярске.

БИК

040 407 967
Корреспондентский счёт
301 018 100 000 000 967

Адрес редакции:

ул. Ладо Кецховели, д. 75^а,
офис «День и ночь»
Телефон редакции:
(391) 2 43 06 38

Подписано к печати: 16.01.2012

Отпечатано в типографии «Литера-принт», г. Красноярск, ул. Гладкова, д. 6, офис 0-10 эл. почта: 2007rex@mail.ru, т. 2941577

Марина Саввиных

Талантливый ребёнок: кто рядом?


 3
 Марина Саввиных
 Талантливый ребёнок: кто рядом?

В Ачинском педагогическом колледже стартовала программа «Одарённые дети Красноярья».

Когда-то вундеркинд, а ныне успешно практикующий психолог Валерий Фрадков, уже много лет живущий и работающий в США, статью об одарённых детях начинает так: «Разве плохо быть блестящим? Чтобы знать решение задачи в тот же момент, когда она поставлена? Научиться читать в четыре, играть Баха в шесть, создать свой первый вебсайт в девять, закончить среднюю школу в четырнадцать? И... иметь свой первый нервный срыв в пять, когда ваш лучший друг хочет играть с кем-то ещё? Быть изгоем в классе и вести себя на уроке плохо, потому что тебе ужасно скучно? Не иметь друзей? Ненавидеть себя из-за того, что ты не такой, как все?».

И далее: «Когда одарённость не признана, последствия могут быть ужасающими. Я имел пациента, чёрного мужчину, 25 лет, с показателем интеллекта 150, что значительно помешало его социализации. В школе его после нескольких повторных тестирований направили заниматься по коррекционной (облегчённой) программе, потому что, как он сам говорил, «...они не знали, что сделать со мной. Другие дети учились читать, в то время как я уже читал «Фауста» Гёте! Они, конечно, не догадывались, что я читал «Фауста». Они только знали, что я отличаюсь от них и не приспособлен для учёбы в традиционном классе». Начиная с этого момента, он уже никогда не преуспевал «академически» — зачем? <...> Другого одарённого чёрного мальчика посчитали ребёнком с задержкой психического развития после того, как ему в ходе одного из тестов, проверяющих эрудицию, показали пасторальную картину, и он сказал, что это напомнило ему Гарлем. Социальных работников насторожило, что он сблизил в своём художественном восприятии Гарлем с Европой семнадцатого века. Вместе с тем мальчик серьёзно увлекался живописью, изучал картины старых голландских художников в Metropolitan Museum of Art, и пейзажи старых голландцев тоже напоминали ему родной Гарлем».¹

В Красноярском литературном лицее, которым я руководила до недавнего времени, мы ощутили эту проблему — изнутри и глубоко. Я даже начала писать небольшую повесть о «детях индиго» (метафора крайней степени как одарённости, так и социальной дезадаптации) — повесть, основанную на моих собственных наблюдениях. Героиня — директриса Школы для одарённых детей — рассказывает: «Нынче все помешались на «детях индиго».

В каждой более или менее уважаемой семье — ясное дело! — растёт «индигонок». Каждый год, в августе, когда мы заканчиваем набор на первый курс, ко мне в Приёмную выстраивается длинная очередь мамаш и бабушек... мужчины почему-то менее склонны к иллюзиям по поводу экстраординарных возможностей своих чад... а вот мамы и бабушки иногда прибегают к самым изысканным ухищрениям, чтобы устроить в нашу Школу высокоодарённых отпрысков. Милые личики... умные глазки... невероятная успешность... отсутствие каких бы то ни было комплексов... Хорошие дети. Без проблем.

Но мы-то своих узнаём по другим приметам. Пепел в глазах... неизбежная тоска бесконечного одиночества. Гадкие утята... неуклюжие индюшата в стае вполне собой довольных сытых сверстников. Нечто — длинношеее среди прижавшихся к земле и не умеющих поднять глаза чуть выше горизонта сородичей... Вот каких мы принимаем. Вместе с ними учимся строить область взаимодействия. Учимся понимать друг друга. Ищем язык, на котором можно разговаривать, не превращая собеседника в кучку дымящейся золы...».

А о другой героине, бывшей своей ученице, она говорит: «Когда её привели ко мне в Школу, ей было 13 лет. Она была «переросток», но мы её взяли, очень уж заманчиво показалось это... приручить. Сначала — всем своим видом и повадкой — она вызвала у меня в памяти образы романтических героинь Грина: нечто такое летящее... бегущее по волнам... Но очень скоро мои наивные зрачки обожглись об её волчоночьи взоры. Не волчьи, а именно — волчоночьи... жестоко-испытующие жёлтые огни кем-то уже изрядно потрёпанного, но чудом сохранившегося зверёнка. Настя тогда абсолютно не доверяла взрослым (не всем доверяет и теперь, но теперь она... как бы... и сама не ребёнок!). Чтобы её приручить, мне пришлось выбрать едва ли не до последней крупинки золотой запас собственного терпения, о котором в Школе, по данным нашей внутренней агентуры, тайно распространяются мифы и анекдоты. Это было даже не по Экзюпери, потому что, испугавшись и обидевшись, Настя не просто отбегала и пряталась. Бывало, она — пребольно кусалась... честно говоря, я и сейчас не вполне уверена в своём влиянии на неё... вовсе не факт, что, ринувшись в очередное Деяние, она по пути не

1. Фрадков, В. Одарённость: благословение или препятствие? / Валерий Фрадков // Педагогическая техника. — 2011. — № 3. — с. 62–68.

откусит мне голову... Будет потом сожалеть, конечно, угрызаться муками совести, но это уж потом!».

Вот так. Человеческая одарённость, говоря казённым языком, «у широких слоёв населения» всегда вызывает любопытство и, вместе с восхищением, затаённую надежду и вполне определённую тревогу. Мировое сообщество всё пристальнее вглядывается в этот феномен и уже давно — силами учёных и международных деятелей — бьёт тревогу.

В рекомендации 1248 Парламентской Ассамблеи Совета Европы, посвящённой образованию одарённых детей, содержится следующее положение:

«Особо одарённые дети должны пользоваться приспособленными к их нуждам условиями образования, которые позволили бы им полностью реализовать свои возможности как в своих интересах, так и в интересах общества. Ни одна страна не может себе позволить транжирить таланты, а не выявлять своевременно интеллектуальные или иные потенциалы означает транжирить человеческие ресурсы».

«Транжирить ресурсы» человечество более не намерено. Однако какими способами прекратить подобное расточительство, никто до сих пор понастоящему не знает. Приходится признать, что даже сам факт констатации проблемы на государственном и межгосударственном уровнях — значительная подвижка в решении задачи. Недавняя инициатива Президента Медведева подтолкнула развитие процесса на местах. В Красноярском крае разработана и запущена долгосрочная целевая программа «Одарённые дети Красноярья», открыты три краевых, семь межрайонных ресурсных центров по работе с одарёнными детьми, то есть теперь из бюджета края специально выделяются средства на эту работу. Подобные центры открыты и открываются по всей территории Красноярского края.

Я уже несколько лет присматриваюсь к тому, как «входят в тему» руководство и педагоги Ачинского педагогического колледжа, где в нынешнем году тоже открыт такой центр для обеспечения потребностей западной группы районов. Ещё в апреле, по предложению Е. С. Рожковой, директора колледжа, я — в режиме интернет-диалога — обсуждала с будущими учителями вопросы, которые особенно их волнуют, когда речь заходит о талантливых детях. Самые острые и чаще всего возникающие вопросы — как их распознать? кому вообще решать — одарён ли ребёнок и насколько? возможно ли в обычном классе организовать обучение талантливого человека? что может предпринять учитель, обнаружив среди своих учеников нечто, из ряда вон выходящее?

Разговаривая со студентами, я поняла, что — в общем и целом — они представляют себе и трудности, и возможности современной школьной системы в части поддержки таланта. И эти представления более или менее соотносятся с формой, предложенной Министерством образования для организации педагогического сопровождения одарённости. Насколько эта форма удобна и адекватна — покажет время. Пока же — лишь первый опыт. Со своими плюсами и неизбежными минусами.

Моя нынешняя поездка в Ачинск — в свете той же темы. Школьных учителей западной группы районов Красноярского края интересует наш, лицейский, опыт работы с детьми, проявляющими интерес и способности к литературно-художественному творчеству, а меня интересует, в первую голову, — как подвигается здесь красавая программа «Одарённые дети Красноярья», дело пытаются педагогические функционеры, вознамерившиеся «уловить одарённость», или, как уже не раз бывало, от дела лытают... Наши интересы удачно пересеклись — и вот я в Ачинске. Начало декабря. Лёгкий морозец. Тёплая встреча.

В 2011-м году Ачинский педагогический колледж принял пять (*пять!!!*) интенсивных школ для одарённых детей (замечу тут же: в следующем году планируется уже восемь!). Что такое «интенсив»? В данном случае — вот что: сто ребят, прошедших отбор в своих районах (их двенадцать), на несколько дней привозят в Ачинск, и здесь, в режиме «погружения», они учатся, работают, общаются и соответствующим образом отдыхают, успевая за короткое время получить мощный толчок к дальнейшему развитию своих экстраординарных способностей. Направления, которые в 2011-м году были представлены в колледже, — гуманитарное, физико-математическое, естественно-научное, художественное, спортивное. Занимаются с детьми педагоги — по максимуму возможностей. Оборудование — тоже на пределе доступности. «Всё лучшее — детям». А талантливым детям — из лучшего лучшее. Робототехника. Мобильные классы. Интерактивные доски.

Спрашиваю Елену Сергеевну Рожкову: «Как справлялся колледж с этойкой небывалой нагрузкой? Хватало сил?». Она сдержанно отвечает: «Справлялся. Но, не скрою, приходилось непросто. Ведь проблемы возникают самые разные — от проживания и питания детей до подвоза и вывоза преподавателей и оборудования из Красноярска. Хорошо, что местные власти, да и предприниматели, с пониманием относятся к нашему общему делу. — Елена Сергеевна, — изумляюсь я, — да стоит ли эта овчинка такой выделки? Вам-то, колледжу, какая польза? Не мешает ли вся эта суматоха с одарёнными детьми подготовке студентов?»

— Польза очевидна. Во-первых, колледж — даже в техническом отношении — поднимается на новую ступень. Во-вторых, студенты и педагоги принимают активнейшее участие в элитном образовательном процессе. Для них это бесценный опыт и профессиональное развитие.

«Вот как?» — говорю себе и тот же вопрос задаю студентам-волонтерам, помогавшим в организации и проведении Школ. Третьекурсницы специальности «информатика» Виктория Андреева и Ольга Цыпаева волнуются: «Это такие дети! Открытые, любознательные... с ними было настолько интересно, что не хотелось расставаться! Они не такие, как все. Не такие, как мы».

«В основном мы помогали организовать их досуг. Ведь ребята несколько суток жили на территории колледжа, у них были занятия и свободное время, которое тоже надо было посвятить чему-то

приятному и полезному. Поэтому у нас были досуговые площадки — от психологических тренингов до фитнеса. И здесь от волонтеров многое зависело, мы быстро стали для ребят «авторитетными старшими». К тому же, участвуя в занятиях Школ, в мастер-классах, во всевозможных мероприятиях мы могли наблюдать за работой опытных преподавателей, перенимать самые эффективные и интересные способы деятельности и приёмы. Так что польза — обоюдная», — говорит Ольга.

Елена Сергеевна с воодушевлением подхватывает: «Когда на краевом уровне обсуждался вопрос о проведении у нас интенсивных Школ для одарённых детей, мы предложили учитывать студенческое волонтерство в качестве педагогической практики. Мы это сделали. У нас есть нормативная документация. Летнюю практику — а такой вид практики есть на всех специальностях — некоторые студенты по приказу проходят во время интенсивных Школ. По окончании каждой Школы все студенты, проходившие такую практику, получают сертификат участника от педагогов Школы. Есть договорённость с институтом повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования о том, что пять таких сертификатов, полученных студентом-волонтером, будут обмениваться на удостоверение о повышении квалификации. В этом году пять таких Школ мы уже провели. Было совещание, на котором подвели итоги, обсудили достижения и дефициты. И теперь — ждём следующего этапа. В реализации программы «Одарённые дети Красноярья» участвуют три Министерства. Министерство образования и науки курирует интеллектуальные школы — естественнонаучную, физико-математическую и гуманитарную. Министерство культуры — школу художественного направления (в нашем случае — хоровое пение). Министерство спорта — соответственно спортивное (на нашей территории — футбол). В следующем сезоне по линии Министерства образования у нас будут работать ещё три школы. Так что почитать на лаврах не приходится. Теперь в штате АПК — Межрайонный ресурсный центр, который работает постоянно. Программа «Одарённые дети Красноярья» рассчитана на три года, а после того, как она завершится, центр продолжит то, что было начато».

— Но как же всё-таки находят и отбирают одарённых? Кто берёт на себя такую ответственность?

Тут вступает в разговор руководитель межрайонного ресурсного центра *Лариса Александровна Груздева*: «Списки составляют в районах, на местах. В них попадают в основном победители Олимпиад, всевозможных конкурсов по направлениям. В крае есть база данных, куда заносятся сведения о таких детях, формируется рейтинг. Исходя из этого рейтинга, и отбираются ученики интенсивных школ». — А на самих школах? Рейтинговое место, как правило, подтверждается? Не было ли такого, что ребёнок с высоким рейтингом во время школы не показывал исключительного результата, другие оказывались сильнее? Элемент состязательности здесь допускается?

Каверзный вопрос, но у *Ольги Валерьевны Валегаевой*, психолога ресурсного центра, — исчерпывающий ответ:

— Говоря об итогах интенсивных школ, многие отмечали, что один из очевидных плюсов таких интенсивов — возможность ребёнку оценить себя объективно. Да, в своём кругу, в своём классе он первый. Но, встречаясь с себе подобными, начинает трезво оценивать свои возможности и видеть недостатки. Работая с такими детьми на психологических площадках, я замечаю у них огромный интерес к самопознанию. Это очень активные, любознательные дети.

— Досуговые творческие площадки — особая тема, — снова загорается Елена Сергеевна, — во время каждой школы работает шесть площадок разного направления. Что делают ребята на этих площадках? Анастасия Ивановна Малафеева ведёт фитнес-клуб. Видели бы вы, с каким удовольствием ребята занимаются, какие трюки делают, какие танцы у них получаются! А прикладное искусство! Оказывается, из обычной зубочистки и ниток мулине получается удивительный оберег. А из конфет — волшебные букеты в корзинках. И всё это делают не будущие художники, а ученики интеллектуальных школ.

Лариса Александровна кивает: «Действительно, талантливый человек — талантлив во всём. Во многом — уж точно. Казалось бы, современные дети. Разве их могут интересовать народные инструменты? Как бы не так! Приходят мальчишки — берут трещотки, деревянные ложки и с упоением играют. Мы старались обеспечить ребятам широкий спектр всевозможных досуговых форм. Работал фотоклуб «Кадрик». Творческие коллективы молодёжного центра «Сибирь» были у ребят в гостях, проводили мастер-классы. Результаты мы видели потом на заключительном концерте. Вообще, хочу подчеркнуть, что занимаются с детьми профессионалы — на высочайшем уровне...»

И ещё добавлю: особая ценность таких интенсивных школ — в том, что дети находят друг друга, получают необходимый «витамин общения». Мама одного нашего участника, мальчика, несомненно, одарённого, рассказывала, что у него не складывались отношения в классе. Он всё время был один, погружённый в собственный внутренний мир, и, казалось, нет ничего, что сблизило бы его с ровесниками. А когда он вернулся домой из нашей Школы, мама с удивлением обнаружила, что у сына масса контактов, множество друзей, с которыми он общается, создывается... Болезненно замкнутый мальчик сделался открытым и активным. И это не единичный случай».

— Ну, прямо идиллия рисуется, — засомневалась я, — неужели с этими, по определению, странными, неудобными подростками не было никаких проблем? Конфликтов? Противоречий?

— Конечно, были, — вспоминает Елена Сергеевна, — на самой первой школе я обратила внимание на мальчика, который так и не принял содержания школы... Был Гуманитарный чемпионат, который проводил Дворец пионеров и школьников. Мальчик сидел отдельно. У нас рядом с активным залом,

где всё это проходило, есть небольшие комнатки. Я проходила мимо, смотрю—он сидит один. Я к нему подседа, стала расспрашивать. Он сказал: мне не нравится, здесь очень скучно. «Попробуй переступить через себя,—предложила я,—Начни. Ты втянешься—тебе понравится. Ну, если уж не получится, вызовем родителей—отпустим». На следующий день так и сделали. Два дня мальчик у нас промучился. Мне показалось, что вначале это была демонстрация, а потом он просто в это втянулся. А школа шла, на него никто не обращал внимания. Там, вообще, и конфликты не было. Он никому не мешал, своё отношение никак не позиционировал. Видимо, ему действительно нужно было другое. Так тоже бывает, и никакой катастрофы я в этом не вижу. Аналитика же показала, что рейтинг школ у детей—от первой до пятой—неуклонно растёт. Детям нравится то, что здесь происходит,—и содержание школ, и педагоги, и способы работы.

— А в будущем? Закончится программа, будет поставлена точка. Дальше что? Как всё это будет развиваться?

— Останется ресурсный центр—с оборудованием, со специально подготовленными кадрами, с квалифицированной командой, которая продолжит работу. Мы намерены уделить особое внимание литературному направлению—в колледже накоплены интереснейшие традиции по этой части. С Сибирским Федеральным университетом есть совместные наработки по робототехнике.

— Можно ли рассматривать этот первый этап как «запусковой»? Ребёнок один раз попадает на такую школу... а потом? Ведь для того, чтобы эта работа была системной, мало единожды «погрузиться», надо—«проучиться».

— Конечно. Уже сегодня открыт специальный интернет-портал, создана краевая база данных, куда попадают лучшие из лучших. Это будущие участники всероссийских и международных конкурсов и форумов. Так что здесь и сейчас ничего не заканчивается. На мой взгляд, это очень хорошая система отбора детей из глубинки. Сначала надо было всё «вспенить», расшевелить, поднять. И знаете, с кем было сложно? С представителями культуры и спорта. У них есть свои школы—художественные, музыкальные, спортивные. То есть способные дети уже отобраны и занимаются по специальным программам. Мы долго доказывали, что этого мало, что из системы общего

образования тоже надо подтянуть детей. В спецшколах есть ученики—здорово. Но надо найти тех, кто не пришёл в такую школу, по какой-то причине не смог. Допустим, у родителей нет возможности. Около 80% таких детей остаётся во дворе! Программа, в первую очередь, на них рассчитана: их найти надо, приобщить.

— То есть диагностическая цель всё же на первом месте?

— И диагностическая, и обучающая, и социальная, и коммуникативная. Комплексная в единстве. В этом году я увидела, как работает социальный аспект наших школ. Диагностировать, выявить, «вытянуть» как можно большее количество способных детей—и дальше их вести. Это не просто гипотезы, абстракции, цифры, а живые конкретные люди, которых мы знаем по именам и адресам. Их «подхватывают» Школа космонавтики, Дворец пионеров и школьников, вовлекают в свои проекты. Механизмы этой связи отрабатываются. И посмотрите, уже существует сеть: школа-муниципалитет-регион (наш регион—западная группа районов)—край. И эта сеть—работает. Со всей очевидностью—*работает!*

Слушая ачинских коллег, глядя на их воодушевлённые лица, я ощутила уже пошатнувшуюся было надежду на то, что мы, в России, не допустим больше «потерянных поколений», что и маленькие авторы, создающие стихи и прозу на родном языке, рано или поздно будут профессионально поддерживаться не в одном только Литературном лицее. Для этого уже сегодня созданы практические предпосылки. Добрая воля со стороны властей, творческая энергия и интерес к проблеме на местах—вот всё, чего ещё не вполне хватает. Ачинский феномен—наглядный пример осуществления мечты в прямом соотношении с трезвым расчётом и системным мышлением руководителей. — Эх, лонгитюд бы посмотреть,—думала я, покидая Ачинск,—во времени увидеть, как это работает!

Ведь талантливому человеку, пуще воздуха, необходимо, чтобы кто-то авторитетный и понимающий вовремя оказался рядом. Так было всегда. Рядом с Пушкиным—Василий Жуковский. Рядом с Ахматовой и Гумилёвым—Иннокентий Анненский. Рядом с Астафьевым—Игнатий Рождественский. Да не прервётся эта удивительная традиция и в русской науке, и в русской культуре—созвучие поколений, сотворчество тех, кто рядом!

Говорят дети и родители

Из материалов итогового совещания ответственных за реализацию долгосрочной целевой программы «Одарённые дети Красноярья» в западной группе районов Красноярского края (состоялось в декабре 2011 года на территории Ачинского педагогического колледжа).

Вадим Самоделкин

Ачинск, кадетский корпус, участник двух школ — «Гуманитарный образовательный чемпионат» и интенсивной школы хорового пения «Искусства спасительный свет».

«...хочу от лица всех кадет сказать большое спасибо педагогам и организаторам школ, здесь были интересные и занятия, и досуг, и выходы в театр, кино, и разные досуговые площадки. Занятия проходили в разных формах. Интересным было общение с педагогами интенсивных школ. Во время досуга каждый участник мог выбирать площадку, которая понравилась ему больше всего. Поэтому получился интересный результат (концертные номера, ролик студии «Кадрик», оригинальные поделки). Мы очень подружились с волонтерами и общаемся с ними до сих пор».

Анна Пантюхина

Большесалырская школа Ачинского района, участница двух школ: гуманитарного направления «Гуманитарный образовательный чемпионат» (ГОЧ), естественно-научной школы «Сохрани свою планету».

«...Я принимала участие в двух школах: «Гуманитарный образовательный чемпионат» и выездной школе по естественнонаучному направлению «Сохрани свою планету».

В течение пяти дней мы не только были погружены в интеллектуальную деятельность, но и учились ставить жизненные задачи, говорили об актуальных проблемах. Занятия проходили в интересных игровых формах, необычным было оценивание, потому что оценивали не только знания, но и креативность, умение работать в команде. Здесь я приобрела много новых друзей, с которыми до сих пор поддерживаю отношения.

Я активно принимаю участие в выполнении заданий, которые помещены на сайте «ГОЧ» уже после школы, продолжаю общение с педагогами школы.

На выездном интенсиве в г. Железногорске, я получила новые, глубокие знания, которые не могла получить в своей школе.

Педагоги, участники, волонтеры, сопровождающие, все мы сплотились в один коллектив. Я скажу по тем дням, потому что самые запоминающиеся ситуации были там. Эти школы помогают нам в самоопределении. Хочется выразить благодарность всем организаторам школ».

Татьяна Ивановна Грива

Ачинск, мама Николая Грива, участника интенсивной школы «Гуманитарный образовательный чемпионат».

«...Такая благоприятная среда для развития одарённых детей создана в колледже. До этого, такого не было (мы раньше жили в селе Новосибирской области). Приехав сюда, дети изменились до неузнаваемости. У моего сына появилось «море» контактов, «море» позитива. Я увидела своего ребёнка с другой стороны. Раньше он мало общался, наверно, не видел родственных душ, а теперь у него много друзей. Повысилась результативность. Побывал на краевом форуме для одарённых детей. Спасибо большое всем организаторам. Я в восторге!..»

Наталья Валерьевна Пантюхина

Ачинский район, мама Анны Пантюхиной, участницы двух школ гуманитарного направления, естественнонаучной школы «Сохрани свою планету».

Для меня очень отрадно участие моего ребёнка в этой программе. Самое важное, что даёт участие в школах — осознание его самого, его таланта, его призвания.

Такие школы формируют успешность детей. Они встречают равных себе, осознают свои возможности, интересы, развивают креативность. Участие в школе способствуют личностному развитию и самоопределению. Интересные формы деятельности работы школы. Участие в школе не проходит бесследно, много хороших воспоминаний способствует успешному обучению».

Олег Всеволодович Иванов

Большеулуйский район, отец Владимира Иванова, участника физико-математической школы «Наша новая школа — школа Галилея».

«...Мы живём в сельской местности. Мой сын заочно обучался в школе г. Железногорска, теперь у него появилась возможность, напрямую встретится с педагогами. Участники школы могут показать себя, увидеть свои возможности и недостатки. В сельской школе они этого не видят. Я находился на занятии физико-математической школы, где были объединены 8–10 классы. Дети могли выбрать свой уровень сложности. Каждый получил, что хотел».



Илья Иослович Наука и жизнь

НИИСПУ

Товарищ Сталин как-то написал: «Правы не те, кто не совершает ошибок. Таких людей вообще не бывает. Правы те, кто, как большевики, не совершают серьёзных ошибок, а те ошибки, которые совершают, тут же умело исправляют».

В конце 1972 года я совершил серьёзную ошибку — перешёл на работу в НИИСПУ (Институт сетевого планирования) в качестве зав. лабораторией в отделе математического обеспечения. Это была как раз та ситуация, о которой народная мудрость говорит: вход — рубль, выход — два.

В начале 70-х усилия академика Виктора Глушкова по запуску программы всеобщей автоматизации и информатизации начали приносить свои плоды. Хотя и не в том объёме и не с тем размахом, как он хотел, но программа автоматизации была принята и двинулась вперёд.

Как писал об этом в своих стихах мой друг Серёжа Генкин:

Всё, что можно сформулировать,
Можно и промоделировать...

Сформулируем Толстого,
Смоделируем Толстого,
И нам машина слово
Воссоздаст «Войну и мир»...

Безо всякого сомнения, это была очередная авантюра, на которые так падки были все составы советского руководства. Эти авантюры, мне кажется, были им имманентно присущи.

Вот что пишут сейчас ученики Глушкова и его последователи:

«Замысел учёного получил одобрение А. Н. Косыгина, председателя Совета Министров СССР, и В. М. Глушков со свойственной ему энергией приступил к делу, которое впоследствии назвал главным в своей жизни.

Сейчас можно говорить, что его предложения были преждевременными, что вычислительная техника в то время ещё не достигла нужного совершенства, и общество не было готово к её использованию. Но ведь учёный не скрывал огромных трудностей, могущих возникнуть на этом пути, и рассчитывал, что при надлежащей организации работ их можно преодолеть. По его подсчётам, на выполнение программы создания ОГАС (Общегосударственной автоматизированной системы) требовалось три-четыре пятилетки и не менее

20 миллиардов рублей (по тем временам — сумма огромная!). Об этом он прямо сказал Косыгину, подчеркнув, что программа создания ОГАС много сложнее и труднее, чем программы космических и ядерных исследований вместе взятые, к тому же затрагивает политические и общественные стороны жизни общества. Он подсчитал, что при умелой организации работ уже через пять лет затраты на ОГАС станут окупаться, а после её реализации возможности экономики и благосостояние населения по меньшей мере удвоятся. Было ещё одно обязательное условие, которое он поставил: организация авторитетного, наделённого всеми полномочиями государственного органа управления ходом выполнения программы создания ОГАС — Государственного комитета по управлению программой (Госкомупра), наподобие тех комитетов, с помощью которых осуществлялись космическая и ядерная программы».

Ну, положим, никакого государственного комитета ему не дали, но в названии министерства приборостроения были включены слова «и автоматизированных систем управления».

Я не был знаком с Глушковым и даже никогда его не видел. Знаю, что в юности он решил пятую проблему Гилберта, т. е. вполне заслужил высокие математические почести, но зачем его потом понесло в эти авантюры, — не знаю. Но зато я сам видел эту многочисленную человеческую труху и шелупонь, которая вокруг него собралась. С некоторыми из них пришлось познакомиться ближе, чем хотелось.

К этому времени институт НИИЦЭВТ успешно содрал с американского образца машину IBM-360 и её стал выпускать Минский завод под названием ЕС-1020. Никто не умел ни её эксплуатировать, ни на ней программировать. Кроме языка ассемблер, не было никаких языков программирования.

Минприбор стал планировать своим институтам разработку внедрения автоматизированных систем управления — в штуках. НИИСПУ не выполнил план, и его директор немедленно был снят. На его место был назначен доктор технических наук Вальков, который до этого работал в одном из институтов Минавиапрома. Вальков, очаровательный и неглупый мальчик, был чемпионом Москвы по тяжёлой атлетике и имел массу влиятельных знакомых в ЦК КПСС. Эти знакомые его и пропихнули на должность директора. Вальков немедленно привёл

с собой человек сорок приятелей и их знакомых и назначил их начальниками отделов. Прежние начальники сочли за благо своевременно уйти или были уволены в соответствии с нравами родоплеменного строя, как действующей философской категории, данной нам в ощущениях. Обычное дело.

Слава Букреев был тоже приятелем Валькова и принял его приглашение. Он устроил также, чтобы Вальков пригласил большого учёного Вадима Кротова на должность начальника отделения математического обеспечения. Кротову как раз перед этим пришлось уйти из МАТИ. Там он заведовал кафедрой математики и не хотел участвовать в неблаговидных манипуляциях ректората. Кротов пригласил меня. Вроде бы ситуация была самая благоприятная. Все свои, и перспективы самые радужные. Я начал ездить с Артековской улицы на станцию метро Войковская, а оттуда ещё на троллейбусе до института. Привёл с собой своих друзей Мишу Борщевского и Володю Рыкова. Мы стали энергично разбираться с тем, какие задачи стоят на транспорте. Я нанял Эллу Ивановичу, которая раньше работала в институте теоретической и экспериментальной физики — ИТЭФ, знала язык Ассемблер, а чего не знала, то могла спросить у многочисленных знакомых. Работа понемногу пошла. Слава Букреев, в соответствии с общими правилами поведения в незнакомом месте, стал, прежде всего, смотреть, где находится запасной выход, и нашёл его в заочном текстильном институте, где присмотрел себе кафедру. Вадим Кротов, как он обычно делал в любой ситуации по своим жизненным принципам, занимался только наукой — строил общую теорию поля, пересматривая теорию Максвелла.

В общем, поначалу всё казалось нормальным. Я обменял свою кооперативную однокомнатную квартиру на малогабаритную двухкомнатную в том же доме на том же первом этаже. В райисполкоме мне сказали: «Ползаёте по своему первому этажу, как воши». Кстати говоря, сначала я хотел получить такую же квартиру на втором этаже, но правление мне отказало, хотя по правилам я имел на неё все права. Я пошёл в райисполком жаловаться. Там мне respectable чиновник сказал: «Но ведь вы же, вероятно, выбираете в правление лучших людей, на что же вы жалуетесь?»

Мой друг Вадим Черняк, журналист, поэт и композитор, жил поблизости, и мы часто вместе проводили время. Он меня познакомил с разными людьми из «Московского комсомольца»: Сашей Ароновым, Юрой Щекочихиным, тогда ещё очень молодым. Один из знакомых Черняка, по имени Нема, был известен тем, что в 1970 году по случаю Ленинского юбилея подал идею возродить Ленинские субботники. Нема за эту идею получил премию пятьдесят рублей, а весь многомиллионный советский народ ещё долго ходил на эти идиотские субботники. Черняк работал в журнале «Молодой коммунист». Оттуда его уволили за то, что он дал в морду секретарю какого-то областного комитета

комсомола за высказывание по поводу «некоторых с длинными носами». Потом он работал в каком-то ещё комсомольском издании. С отвращением рассказывал о необходимости писать речи комсомольским деятелям к различным мероприятиям. Я ему очень сочувствовал и не понимал, как он вообще существует в этой среде. Однажды я написал пародию на его прекрасное стихотворение «Толкучка»:

*Благословенная текучка —
То выговор, то нахлобучка...
В. Г. Черняк*

Я, собираясь на летучку,
Попал сегодня на толкучку —
Там всё напоминает жизнь,
Где мазы едут по мимозам,
И секретарь по оргвопросам
Студентке говорит — ложись!

Черняк имел строительное образование. Он объяснил мне, какой требуется ремонт. Я нанял какую-то тётку, которая споро побелила потолок и наклеила обои. Мой сосед, алкоголик Юра, спросил, сколько она взяла за ремонт. Я сказал: «Шестьдесят рублей». «Ты что, — сказал Юра, — с меня она взяла сорок, да из них я ей двадцать был должен!»

В июне 73-го года мой знакомый Семён Пиявский принимал в Тольятти летнюю школу вц Академии наук, организованную академиком Н. Н. Моисеевым. Я его спросил, можно ли привезти с собой ребёнка 14-ти лет? Он сказал: «Да ради бога, нет проблем». Я привёз своего сына Андрюшу, купил ему отдельную путёвку. Андрюша был очень доволен, вёл себя идеально, сидел на пляже и читал у всех на виду книгу Апдайка «Кентавр». Все спрашивали: «Чей это ребёнок читает Апдайка?» Параллельно он обаял довольно уже зрелую на вид дочку профессора Пшеничного из Киева. Меня он спросил: «Папа, а почему тут все профессора, а ты нет?» — «Так получилось».

Как выяснилось, Моисеев пришёл в ярость от того, что я привёз ребёнка. Я ему объяснил ситуацию, но он мрачно сказал: «Так не делают». И ещё раз три разные люди мне по его поручению передавали, что он недоволен. Ну, это его дело. Академик Н. Н. Красовский мне рассказал, что уборщица в этой гостинице ему устроила скандал, что он нарочно по их полу в клетку ходит по белым клеткам, чтобы ей было больше работы. По вечерам в баре сидели итальянские специалисты фирмы «Фиат» с местными барышнями, пили жигулёвское пиво и заедали итальянскими многоэтажными бутербродами. Они запускали выпуск машины «Жигули», т. е. «Фиат», на Автовазе. Когда я много лет спустя оказался в Турине, то выяснил, что этот огромный проект в то время спуске фирму «Фиат». Самый длинный бульвар в Турине называется Унионе Советико. Семейство Аньели, владельцы фирмы «Фиат», помнят добро.

Не успел я вернуться из Тольятти, как тучи начали сгущаться. Внезапно разнеслась весть, что Валькова

сняли. На коллегии министерства он объяснил, что выполнить план — внедрить до конца пятилетки тридцать автоматизированных систем — невозможно. За все предыдущие годы институт внедрил две системы. «Я не фокусник, чтобы вытаскивать зайцев из шляпы», — заявил Вальков. Его немедленно сняли. Существенных связей в Минприборе он завести не успел. Вслед за ним тут же начали разбегаться начальники отделов. Новым директором прислали Славу В., которого я немного знал.

Немного истории. В 1966 году я был на конференции по экономической кибернетике в Батуми. Там меня познакомили со Славой В., выпускником мехмата МГУ, как мне кажется, 1956 года. На самом деле его имя было Толя, но все звали его Слава. Это был такой внешне довольно приятный и хладнокровный плейбой, завсегда с кафе «Националь», где собирались фарцовщики. Он был кандидат технических наук, заведовал лабораторией в цнииКа, вступил в партию и примерялся к более высокой карьере. Через несколько лет его приятели из Минприбора направили его на стажировку в Швейцарию, как перспективного управленческого кадра. На конференции он проводил время с киевской аспиранткой из нии кибернетики, причём норovil устроиться так, чтобы за неё, как за общую даму, платили коллективно все за столом — этот номер научная общественность решительно отвергла. Мне кажется, к нему уже тогда можно было применить античное высказывание: он жил так, как Катон умер, думая, что совесть — лишь пустой звук. Когда спустя некоторое время он появился в нашем НИИСПУ в качестве директора, я спросил у общих знакомых: как мне его теперь называть, Слава или Анатолий Александрович, они мне сказали со зловещей ухмылкой — ты об этом не беспокойся, он тебе объяснит.

После того, как он появился, ситуация стала решительно меняться. Как говорил Наполеон: «На войне всё меняется очень быстро». Букреев принёс слух, что в министерстве про Кротова говорят: «Он тут случайный человек». Кротов энергично вёл переговоры с Экономико-статистическим институтом. Евреев там ректор брат отказался наотрез. Я остался в одиночестве. У Миши Борщевского произошёл кризис среднего возраста, и он уехал в Иркутск. Володя Рыков ещё раньше ушёл в Институт нефти и газа (так называемую «керосинку»). На рынке труда для меня не было ровным счётом ничего. Кто-то, однако, должен был организовывать работу и выполнять план, так что меня терпели ещё два года. Не иметь никого за спиной — очень опасно. В случае любого случайного скандала, который бы задел нас любым боком, меня бы подставили первым делом. Это, кстати, был ещё один аргумент, почему меня пока терпели. Впоследствии я написал стихотворение на эту тему:

Хорошо иметь знакомых
Из ЦК КПСС,
А не то по всем законам
Вас съедят в один присест.

Или можно из Совмина,
Чтоб хотя бы референт,
А не то тебя скотина
Прожуёт в один момент.
Правовое государство
потребляет дефицит,
Удивительное царство —
Водка, бабы, геноцид.

Так или иначе, моя транспортная система заработала, и в 1976 году я её внедрил на Ростовском молочном комбинате. Я ввёл в ЭВМ карту Ростовских дорог, и машина печатала маршруты и поминутные графики развозки молока на многосекционных молоковозах. Как я понял довольно скоро по ходу дела, это была совсем не та информация, которую начальник транспортного цеха хотел бы кому-нибудь показывать. Тем не менее, директор комбината, очень приятная женщина, подписала мне акт промышленного внедрения, который я и предъявил министерству.

Эту систему министерство решило показать Брежневу в ВДНХ. Я провёл там неделю, пока запустил программы на тамошней ЭВМ в обстановке полной неразберихи. То, что что-то действительно работает, вызывало у всех нескрываемое удивление. Мне полагалась серебряная медаль ВДНХ. Однако на неё нашлись иные желающие. Я наотрез отказался отдать эту награду, что мне вскоре попомнили. Брежнев на ВДНХ так и не приехал. Зато я на оставшуюся жизнь выяснил, где на ВДНХ надо обедать. Это была незаметная столовая в лабиринте строений около павильона животноводства. Там подавали отменные телячьи отбивные и очень дёшево. Почему там — непонятно. Создавалось впечатление, безусловно, ложное, что элитные экспонаты шли на мясо прямо из павильона. Мою транспортную систему, как мне передавали, потом продали в Индию.

К этому времени новый директор В. сообразил, что лучше взять крупный и видный заказ, чем пропадать и получать по шее за какую-то мелочёвку. Семь бед — один ответ, и он взялся за информационное обеспечение Московской олимпиады 1980 года. Никто в институте и близко не занимался ничем подобным. Единственным специалистом по системному программированию был какой-то кандидат биологических наук, ранее работавший в Институте мозга. Я думаю, что запасным проектом В. была покупка программ у американцев. Т. е. стратегия была такая: четыре года валять дурака и делать вид, что разработка идёт полным ходом, а потом, в случае плохого, но вероятного варианта, сказать, что не всё получается, делать нечего, и надо купить систему у империалистов. Тут ему не повезло — война в Афганистане вызвала частичное эмбарго на торговлю с СССР. В результате в 1980 году система торжественно отказала на глазах журналистов. Они написали: «С честной откровенностью, которая не может не импонировать, главный конструктор заявил, что система не совсем отлажена». Так ему это сошло

с рук, правда, ожидаемого ордена так и не дали. Но это было уже потом.

А пока что, весной 1976 года, под будущую Олимпиаду В. начал реорганизацию. Первым делом он решил уволить всех евреев, чтобы ничто не мешало при оформлении зарубежных командировок. Ведь сначала, как это ни тяжело, делать нечего, пришлось поехать в Монреаль, потом в Кортинанд-Ампеццо, ознакомиться с материалами на месте. Пришла новый учёный секретарь, которая начала готовить всеобщий конкурс. Верная подруга Иванникова сообщила мне, что напечатан проект нового штатного расписания состава отдела, где меня нет. Ситуация была ясна. На всякий случай я зашёл к В. узнать из первых рук. Он мне сказал: «Вы же большой учёный, зачем Вам тут суетиться?»

Я стал усиленно обзванивать знакомых. Серёжа Лобанов, которого я знал как специалиста по его работам по вращению спутника около центра масс, заведовал отделом в институте «АСУ-Москва». У него уже собралось некоторое количество хороших знакомых, и работа шла нормально. Он хотел взять меня и понёс мою анкету директору Т., которого я немного знал по работе в институте управления оборонной промышленности. Знал не с лучшей стороны, а как человека малограмотного и вздорного. Он брать меня отказался наотрез, довольно откровенно заявив, что евреев ему уже более чем хватает. Тогда Серёжа мне сказал, что ищут человека в нии кооперации. Как мне было сказано, я позвонил Владимиру Петровичу Ракитских, зам. директора нии кооперации, по указанному мне телефону. Звонил по автомату с площадки трёх вокзалов. Шёл дождь, настроение было замыкающее. С гораздо большим удовольствием я бы пошёл в сторожа. Ракитских мне любезно предложил подъехать. Пока я ждал около его кабинета, оттуда разносился страшный крик. Потом выскочил какой-то человек с багровой лысиной и быстро скатился вниз по лестнице. Потом я понял, что это был начальник отдела, на чьё место меня брали. Он завалил разработку АСУ, надвигалась катастрофа. Ракитских говорил со мной очень вежливо, всячески старался очаровать. Под конец вдруг спросил, не пью ли я. Я поднял брови в изумлении от такого вопроса. «Впрочем,— сказал Ракитских,— я сам вижу, у Вас такой цвет лица». Так что место у меня было в кармане, когда я в конце мая вышел на конкурс в НИИСПУ. На английском это называется «быть на безопасной стороне— *to be on the safe side*». В учёном совете НИИСПУ было двадцать шесть человек. По наивности я твёрдо рассчитывал на двадцать два голоса тех, с кем были хорошие отношения. На самом деле я получил только два голоса «за», и это ещё было очень много.

Как это всегда бывает во время массовой резни, уйти норовят все, а не только те, от кого решили избавиться. Начались массовые увольнения по собственному желанию. Так что, когда я пришёл увольняться, начальник отдела кадров мне сказал:

«А вы подождите, возьмите лучше свой отпуск». «Но ведь меня уволили по конкурсу?»— «Ну, это ещё ничего не значит». Я спросил Ракитских, не подождёт ли он, пока я отгуляю свой отпуск. Он, однако, не вчера родился, и твёрдо сказал, что я должен уволиться и оформиться в нии кооперации, а отпуск он мне даст за свой счёт. Так я попал в систему кооперации.

Между тем на одной из вечеринок у знакомых какой-то новый человек начал разглагольствовать о международной политике и произнёс: «Зато Индия у нас в кармане...» Я вывернул свои брючные карманы наизнанку и показал всем: «Лично в моих карманах никакой Индии нет!»

Кооперация

Мой приятель, поэт и журналист, выпускник китайского отделения Института восточных языков мгу, Аркаша Гаврилов, уже долгое время работал в Центросоюзе. Он был автор известного министихотворения. Стих был такой: «Человек сидит в уборной и играет на трубе, и дьявольская усмешка играет на его губе...» Как видите, стих с большим философским звучанием. Аркаша выпускал бюллетень кооперации на английском языке. Он просветил меня насчёт Рочдейлских принципов.

24 октября 1844 г. 28 ткачей г. Рочдейла зарегистрировали устав Рочдейлского потребительского общества справедливых пионеров. В Манифесте общества рочдейлских справедливых пионеров, составленном Ч. Говартсом, основная задача общества сформулирована так: «Общество ставит своей задачей получение денежной выгоды и улучшение хозяйственного и социального положения своих членов».

21 декабря 1844 г. рабочие-ткачи открыли свой магазин. Пришедшие на открытие жители заявили, что магазин не просуществует и недели. Но потребительское общество успешно развивалось, открывая новые магазины, предприятия оптовой торговли и другие предприятия: мельницу, прядильную и ткацкую фабрику, общество для строительства жилых домов, страховое общество.

Рочдейлское потребительское общество в настоящее время является одним из крупнейших потребительских обществ Англии.

Принципы Рочдейлского общества справедливых пионеров:

1. Начальный капитал общества образуется путём внесения каждым членом общества паевого взноса.
2. Товары в лавке (магазине) потребительского общества продаются по средним рыночным ценам.
3. Покупка товаров у поставщика и продажа их из лавки (магазина) осуществляются за наличный расчёт, а не в кредит.
4. Часть прибыли общества распределяется между членами пропорционально сумме купленных в магазине общества товаров.

5. На внесённый каждым членом общества капитал (паевой взнос) начисляется дивиденд.
6. Часть прибыли отчисляется на повышение культурного уровня членов общества.
7. Управление обществом осуществляется на демократических началах; при принятии решений на собрании соблюдается принцип: один член — один голос.
8. В лавке (магазине) продаются товары только хорошего качества, без обчёта и без обмера, при вежливом обслуживании.

В России кооперация цвела и плодоносила до укоренения Советской власти, особенно в Сибири. Кооператоры были влиятельной силой, участвовали в восстании Политцентра в Иркутске в 1920 году, были членами чрезвычайной следственной комиссии по делу Колчака. Хинчук и Зиновьев заседали в Правлении Центросоюза. Впоследствии заведующий архивом мне рассказал, что их документы до сих пор хранятся в архиве. Советская власть забрала себе кооперативные средства, а из Центросоюза сделало обычное министерство, слегка замаскированное под демократическую организацию. Ракитских был хитрым и очень неглупым малым из сибирских крестьян, пережил голод тридцатых годов, окончил Львовский институт торговли, защитил диссертацию. Он замечательно понимал советские реалии. Однажды у себя в Мытищах он устроил в доме погреб размера 2 × 2 и глубиной метра три с половиной. Его цековский приятель, с которым они выпивали, спросил его: зачем такой глубокий погреб? «Это не погреб, — сказал Ракитских, — это бункер». Тот был потрясён, и стал в ЦК рассказывать, какой Ракитских мудрый человек: мы тут занимаемся чёрт-те чем, а он у себя бункер построил на случай ядерной атаки! Уже во время перестройки, когда Ракитских давно был замминистра, я его встретил в Центросоюзе. Он меня завёл в свой кабинет и сказал страшным шёпотом: «Что делается! Частник поднимает голову!» Это он проверял варианты поведения в новых условиях. Впоследствии он стал министром того, что осталось от Центросоюза, но вскоре умер от инфаркта.

Осип Мандельштам в своё время посвятил Центросоюзу бессмертные строки:

Дехканин раз пришёл в кооператив,
Чтоб там себе купить презерватив,
Как вдруг мулла, собака,
Схватил товар, и был таков. Однако!

Я тоже внёс свою лепту в прославление кооперации, написал такие стихи:

Ничтожные объединив усилия,
Изобразим невиданный порыв,
Торговля, заготовки, изобилье,
Преуспевает кооператив.

Кооператор, труд твой монотонный
Мы автоматизируем слегка,
Тот не ворует ночью тёмной,
Кто днём валяет дурака.

Этот нии кооперации, куда я устроился, назывался ЦИНОТУР — центральный институт научной организации труда, управления и рационализации. Директором там был Григорий Наумович Альтшуль. Интересно, что он приехал в Москву из Самарканда. Он был другом юности известного экономиста Арона Каценэнбогена, который написал о нём в своих воспоминаниях. Часто бывает, что известные люди вдруг появляются в столице из какого-нибудь одного захолустья. Во время французской революции как-то много деятелей приехало из Арраса: Робеспьер, Демулен, Фрерон. В Израиле почти все русскоязычные члены парламента (кнессета) почему-то родились в Черновцах.

Альтшуль очень ценился руководством кооперации за свои способности копирайтера, как это потом стало называться. Короче говоря, если надо было написать для Председателя правления Центросоюза программную речь или важный документ, к этому неизменно привлекался Альтшуль. Вообще он был генератором идей. К примеру, во время перестройки он составил текст закона «О кооперации». Однажды враги подобрались к нему совсем близко и протолкнули в газету «Правда» целый подвал, где его деятельность рисовалась в самых чёрных тонах. По тогдашним обычаям, после этого человека исключали из партии и отдавали под суд. Ничего подобного, ему объявили выговор, сняли с поста директора и тут же назначили с повышением — на должность начальника главного управления научных и учебных заведений Центросоюза. Это главное управление специально для него создали. Система своих людей не выдавала, в том числе отдельных ценных евреев.

Однажды он меня встретил в коридоре Центросоюза, обнял за плечи и сказал на ухо: «Боже мой, что вы у нас делаете?» По всей стране он учредил массу филиалов своего института, которые проводили в кооперации «комплексную рационализацию». Как-то я увидел его статью, где было написано: «Комплексная рационализация — это не просто покрасить крышу и сменить вывеску...» «Ну, с этим всё понятно», — сказал я сам себе. Ракитских был у него замдиректора, но вскоре выделился в отдельный институт «Центросоюзсистема».

Я энергично занялся программированием. Сам написал самые сложные программы, а параллельно ко мне стояла очередь сотрудников со своими проблемами. Я коротко говорил: «Здесь ошибка!», и переходил к следующему сотруднику. Фокус был простой — где были проблемы посложнее, там и были ошибки.

В результате система заработала как часы. Такого у них раньше никогда не было. Меня это тоже несколько увлекало: ведь сделать систему, которая надёжно работает день и ночь весь год по всей стране у мало квалифицированного персонала, — это не так просто. Ко мне присоединился мой старый друг из почтового ящика, Лёня Сандлер. Лёня знал о программировании вообще всё,

что только возможно. Вдвоём мы могли держать сильно эшелонированную оборону.

Наш институт, подобно каждой кооперативной организации, каждый год подвергался ревизии. Эти ревизоры пробовали меня пробить своими подковырками, но быстро поняли, что на меня, где сядешь, там и слезешь, и отпраздники нападать на другие отделы. Подход был простой: если с выполнением плана есть проблемы, то вся выплаченная премия является хищением, желателно, в особо крупном размере. С такими идеями в наших областных вычислительных центрах происходили душераздирающие сцены. Тамошние директора часто были вышедшими на пенсию председателями облпотребсоюзов, за ними тянулась та или иная вендетта по прежним конфликтам. Было много желающих посчитаться с такими пенсионерами. Впрочем, самих этих руководящих специалистов тоже лучше было не встречать в тёмном переулке наедине.

Как везде, в кооперации было много сообразительных и энергичных людей. В руководстве тоже, как правило, были люди с мозгами. Правда, кое к кому из них была применима известная поговорка: «Он неглупый человек, просто ум у него дурацкий». Как-то меня включили в комиссию по приёмке АСУ оптовой базы Ростовского облпотребсоюза. Все испытания уже были позади, и многочисленная комиссия по очереди подписывала экземпляры акта приёмки. Ожидался небольшой банкет, настроение было приподнятое. Все члены комиссии уже подписали, кроме начальника соседнего отдела П., который внимательно вычитывал текст акта, фразу за фразой. Я задумчиво произнёс: «Ну, вот попадет этот акт на утверждение Заместителю Председателя Правления, и тот скажет: эти все пусть, но мой П. куда смотрел?» Все грохнули от смеха.

Между тем в системе кооперации время от времени возникали громкие скандалы. В Ростовском рабкоопе при огромном заводе Россельмаш какой-то завмаг устроил хищение на миллион рублей. В частности, он якобы принимал огромное количество пустых бутылок, отправлял их на завод и получал обратно уже полными, а законный процент на бой клал себе в карман. Это дело вёл будущий генерал прокуратуры Союза и сделал на нём себе карьеру, довёл подсудимого до расстрела. Такие были уже тогда нравы в прокуратуре. В центральном аппарате Центросоюза понемногу расхитили комнату товарных образцов Главэкспорта, где хранились разные приятные вещи: дублёрки, видеоманитофоны и тому подобный дефицит. В Нагорном Карабахе, где ревизия не было двадцать лет, какая-то ударница коммунистического труда устроила в своём магазинчике недостачу на миллион. О таких недостачах сообщали прямо в центральный аппарат. Совсем немного она не дотянула до начала там локальной войны, которая, конечно, всё бы списала.

С интересом я наблюдал за стремительной карьерой Ракитских. Из института он ушёл учиться в академию народного хозяйства, написал там докторскую диссертацию, но защищаться не стал, а получил управление торговли в центральном

аппарате. Там он быстро поглотил несколько соседних управлений и сделался начальником главка. Что интересно, план по торговле всё время не выполнялся. Однако Ракитских вёл себя исключительно верно. Он заявлял: «Некоторые ссылаются на объективные причины: нет товаров, низкое качество, проблемы с транспортом. Дело не в этом. Это мы плохо работаем, нам не хватает творческого подхода к делу. Как коммунисты, мы должны это честно признать. Но у нас есть идеи, как это исправить, мы больше внимания будем уделять товарам для пенсионеров, торговле стройматериалами, товарам для дома. Мы обязательно дело поправим». Эта демагогия давала свои результаты, Ракитских неизменно шёл вверх — на фоне невыполнения плана.

В 1980 году я тоже попробовал вылезти наверх: согласился стать заместителем директора Главного вычислительного центра Роспотребсоюза. Это была номенклатурная должность, уровня зам. Начальника главка. Мне полагались пропуск в спецстоловую для руководства, казённая дача, спецполиклиника и ещё разные блага. Первым делом мне надо было сдать в эксплуатацию АСУ Роспотребсоюза. Её сдали, конечно, но выяснилось, что пара задач была спроектирована совершенно без царя в голове, заказчик был недоволен и сильно шумел. Чтобы гарантировать в будущем отсутствие таких сюрпризов, я решил начальника отдела снять, а отдел расформировать. А куда деть начальника? У него семья, дети... Разумеется, в отдел эксплуатации, там всем работа найдётся. Этому гуманистическому плану воспрепятствовала начальник отдела эксплуатации. Она заявила, что штрафников ей не надо, у неё не штрафбат. Я пытался её вразумить: «Я с вами не советуюсь, я вам сообщаю о принятом решении». Она не унималась. На открытом партийном собрании, куда я должен был явиться как беспартийный руководитель, она стала выступать: «А вот Иослович насильно ко мне переводит такого-то». Надо было быстро спасти несчастного. Приходилось «спускать с цепи демагогию», как писал Фурманов в своей повести «Мятеж». Я встал и сказал: «Товарищи, мы здесь собрались, чтобы наметить пути выполнения задач, вытекающих из речи на XXV съезде товарища Брежнева. Мы должны, без сомнения, мобилизовать для этой грандиозной цели все свои силы. А какой вывод сделала для себя начальник отдела эксплуатации? О чём она здесь говорит? Можно ли считать, что она осознала поставленные задачи?» Вот так-то!

Однако всё это продолжалось недолго. Как везде, на гвц сидели бывшие руководители из системы кооперации, какие-то противные пожилые женщины, которые втёмную обделывали там свои дела. Я им был совсем ни к чему, и они начали под меня копать. Через некоторое время директор поддался на их подзуживание и вдруг объявил мне выговор в приказе за перерасход лимита междугородных телефонных разговоров. Это я по его же просьбе срочно верстал перспективную программу развития и внедрения вычислительной техники до 1995 года, хотя это должен был

делать он сам, а не сваливать свои обязанности на меня. Ну ладно, решил я и попросился назад в Центросоюзсистему. Меня радостно взяли обратно. Я пошёл увольняться.

Директор гвц просто встал на колени: «Да вы что, из-за такой ерунды...» — «Но вы же сами мне объявили выговор, как же я могу теперь руководить?» — «Да я этот выговор тут же отменю!» — «Нет уж, — сказал я ему, — Помните, как сказано у Маршака? Там, где сдают номера чернокожим, мы на мгновение остаться не можем». Знакомые мне говорили: «Да с такой должности сами не уходят, только снимают, да что ты выдумал, это же номенклатура...»

Тем временем пришёл Горбачёв, и началась антиалкогольная компания. Чтобы о ней ни говорили, я сам слышал, как рабочие женщины на Горбачёва молились. Как-то мы гуляли по центру с Борей Кауфманом, моим одноклассником по школе 59 и известным фотожурналистом. Боря стал горевать, что не может достать спиртного для своего дня рождения. «Подожди, — сказал я ему, — Можно тут попробовать кое-что предпринять».

Я слышал, что один из наших бывших сотрудников стал работать в торговле по основной специальности и стал директором винного магазина в Столешниковом переулке. Перед магазином стояла многочасовая очередь. Мы зашли в подворотню, а оттуда в заднюю дверь магазина. «Вы куда?» — «Мы к Валентину Ивановичу». — «Так его сейчас нет». Это уже было не важно, мы были внутри и без проблем купили вожделенный ящик.

У меня развалилась тахта, но купить что-нибудь подходящее было невозможно. В магазине мне сказали: «Заходите, иногда бывает». Между тем я увидел такую тахту в гостях у своей знакомой экономистки — Лины Бисноватой-Коган. «Как ты её купила?» — «Я договорилась с рабочим в магазине». — «Что ты ему сказала? Сколько дала?» Как правильно указывали философы: истина конкретна. Лина меня детально проинструктировала. Я пришёл в магазин и спросил рабочего: «Бывают такие тахты от гарнитура?» «Заходите», — сказал рабочий, — «иногда бывают». В соответствии с инструкцией я ответил: «Я приду в среду, а ты мне сделай!» В среду рабочий с утра был пьян, но тахта меня ждала. Инструкция сработала.

В 1988 году мой старый знакомый Дима Метакса, который уже третий год был у нас директором, вдруг как-то утром выбросился у себя дома с пятнадцатого этажа. Мне его было очень жаль — он был весёлый и сообразительный, и у него были определённые моральные границы, большая редкость на этом уровне. Что у него были за причины для такого поступка — совершенно неизвестно. По правилам того времени назначили выборы директора. Тот кандидат, которого я неявно подерживал, выборы проиграл. Я был председателем счётной комиссии, и когда объявлял результаты,

то мой голос был нерадостный, как мне тут же сообщили. Предстояло расплачиваться за неверное поведение. Выяснилось, что та женщина, зав. отделом, которая была опорой победителя, назначена зам. директора, а её отдел с заваленным планом и ещё один проблемный отдел — передаются мне. Итого у меня образовалось около шестидесяти человек и масса забот. Некоторое время мы с Лёней Сандлером ломали голову над новыми заботами, но быстро разобрались, что к чему, прекратили некоторые авантюры, вразумили заказчиков, прекратили грабёж со стороны партнёров, и всё пошло по нормальному рельсам. Для развлечения я заключил договор с Самаркандским кооперативным институтом, и мы несколько раз туда съездили. Заодно посмотрели гробницу Тамерлана и остальные древности. В Самарканде мусульмане были в глубоком подполье. В Самаркандском институте шла какая-то непонятная борьба с ректором, группу наших знакомых профессоров возглавляли два брата. Их звали Истмат и Диамат. Сначала меня познакомили с Истматом, и я решил, что это такое восточное имя. Потом познакомили с Диаматом — тут уже всё было ясно. Последний раз меня звали в Самарканд в 1990 году, на научную конференцию, но тут в Фергане население напало на солдат, кого-то убили и сожгли, и я решил не ехать.

Перестройка набирала ход. В Центросоюзе начались сокращения, и я провозгласил доктрину: надо сохранять кадры, способные к работе с современными информационными технологиями. Те работники центрального аппарата, которые раньше норовили устроить бессмысленный скандал по каждому поводу, теперь ходили тише воды, ниже травы. Из кабинетов раздавался истерический плач увольняемых. На улицах появился устрашающего вида омон, а Горбачёв отказался гарантировать защиту от погромов, о которых ходили упорные слухи. На стенах стали появляться Баркашовские листовки. Перестройка, перестрелка, переключка... На Юго-западе по соседству со мной жил один из православных иерархов. Ему в подъезде проломили голову. Я при встрече спросил Серёжу Аверинцева, кто бы это мог сделать, что говорят в православных кругах? «Мафия хозяйственного управления», — уверенно сказал Серёжа. Я взял путёвку в дом отдыха Госплана «Вороново» и решил там, на фоне дворца князя Меншикова, обдумать как следует вопрос отъезда. В своё время на семинаре Гельфанда на мехмате обсуждалась проблема теории автоматов: автомат ведёт себя так же, как три соседа слева и справа. Система отличается неустойчивостью. В моём случае соседи справа и слева уже уехали. Пора было собираться и мне, как ни грустно. По моей оценке, стоял сентябрь 1917 года. Ещё подождать — и придётся уходить по льду Финского залива. Я заказал вызов. Вот и всё на тот момент.

Юрий Беликов, Виктор Соснин

Не слуга



Фрейд тут ни при чём. Думаю, некогда живший в Перми детский писатель Лев Давыдычев обошёлся без Фрейда, когда создавал свою знаменитую «Многогрудную, полную невзгод и опасностей жизнь Ивана Семёнова, второклассника и второгодника». Но, полагаю, не только ради красного словца и потехи публики вложил он в уста главного героя истовую мысль «Хочу на пенсию!» (а в бесподобной транскрипции второгодника это выглядело даже так: «Хачу палучит пенсьию!»). Подозреваю, что автор и в шутку, и всерьёз размышлял над пенсионным феноменом вообще, когда человек в нашей «многогрудной, полной невзгод и опасностей» стране выходит на финишную прямую заслуженного отдыха с душою, как липка, ободранной социумом.

Не замечали?... А я на примере нескольких своих знакомых убеждался в этом не раз: вышел человек на пенсию и как бы спохватился. Вдруг, ни с того ни с сего, стал творить — пробовать себя в живописи, литературе, музыке. К тому же осмелел. Раньше никогда за ним этого не водилось: начал выступать на митингах, писать наставительно-едкие письма то губернатору, то президенту, то (самому!) премьер-министру. В общем, словно очнулся. Будто доселе и не жил. «Ну, правильно, — скажете вы, — у пенсионеров на Западе жизнь только разворачивается — принимаются путешествовать по миру. А у нас?...» А у нас, в основном, пытаются наверстать упущенное в борьбе с действительностью.

Мой нынешний собеседник Виктор Соснин отказал действительности в таком удовольствии сразу же, на первых порах. Ещё будучи молодым человеком, мало того — дипломированным выпускником вгика, подававшим надежды кинодраматургом, дружившим с Геннадием Шпаликовым, знававшим Юрия Любимова, получившим приглашение в мастерскую Василия Соловьёва, автора сценария к фильму Сергея Бондарчука «Война и мир», взял и порвал с социумом — отбыл в лесную глушь. И хоть до этой глуши, если правильно разогнаться, по его словам (а он к тому же — дока в авиамоделизме), можно из Перми долететь на дельтаплане, но именно избранная глухомань утаивала его на протяжении десятилетий от того, что он однажды невзлюбил окончательно — мнимых ценностей человеческой цивилизации.

Там, в социуме, — гнуть спина перед разного рода начальниками. Там — фильмы: от «Слуг дьявола» до «Слуги государева» против единственного оправдания Соснина — что он Не слуга. По сути, это был необъявленный вызов тем, кто продолжал тому социуму служить (или, в другом варианте,

отбывать отпущенный срок). Вызов всем нам. Тем интереснее было с этим человеком потолковать.

Но тут меня поджидало преткновение. Ты ему — вопрос, он тебе — пространный рассказ о своём друге. Ты ему — новый вопрос, он тебе — о своих лесных встречах. Не притчами ли человек изъясняется? И вдруг меня осенило: не эти ли встречи повлияли на его преобразование — стать в одночасье Не слугою?

— Виктор Иванович, тридцать лет назад ты уехал в лесную деревню Кутамыш, затерявшуюся в Чусовском районе Пермского края. У меня и раньше, когда ты мне раз в пять лет звонил, возникал вопрос «В чём, собственно, причина бегства Соснина от действительности?», а теперь, когда эпохи наскоились, это «В чём причина?» всё равно остаётся и, может быть, даже усиливается, а посему вопроса не разгибает.

— Причиной того, что я перебрался в деревенскую глушь, послужила гибель моего близкого друга Володи Дьячина. Это была уникальная личность, о которой стоит рассказать особо. Когда Володя поступил в Литинститут, он учился в одном семинаре с Никитой — сыном Юрия Петровича Любимова, главного режиссёра театра на Таганке. Тогда театр только начинался — шум, аншлаг, скандалы, драки за билеты. Никита познакомил отца с Дьячиным. Володя был застенчивым, но очень принципиальным — особенно, если дело касалось искусства и литературы. И вот он сначала робко, а потом открыто стал Любимова «щипать». Один из разговоров закончился тем, что тот воскликнул: «Слушайте, Дьячин! Почему вы, студент второго курса Литинститута, мне это говорите?! Вокруг меня столько высокоумных друзей, но никто об этом даже не обмолвился!» Володя действительно был удивительным. Очень начитанным, увлекающимся философией. Помню, когда начинали вместе учиться на филфаке Пермского госуниверситета, мы зашли с ним в дешёвую библиотеку, где Дьячину должны были оставить книжки. Встали в очередь. Очередь подходит, у стойки — типичная старенькая библиотекарша в очках: «Вы знаете, Володя, я ведь вам нашла то, что вы просили!» И приносит стопку книг. Открывает одну. Том Шопенгауэра. «Я посмотрела по формуляру, — замечает библиотекарша, — и оказалось, что вы первый за советскую историю берёте эту книгу!»

— Но вернёмся к Юрию Петровичу Любимову...

— Володя прочёл только что опубликованный в журнале «Москва» роман Булгакова «Мастер

и Маргарита». При первой же встрече с Никитой сказал: «Вот что твоему отцу надо ставить!» Никита возьми, да и передай ему. Тот повернулся и так небрежно: «Ну, так пусть и напишет инсценировку!» Никита рассказал об этом Володе, они посмеялись и разошлись. Дьячин закончил Литинститут, оказался в Уфе, в одном из НИИ. С Никитой продолжал поддерживать отношения. Через некоторое время бежит секретарша: «Дьячин, тебя Москва вызывает!..» В телефонной трубке — голос Любимова: «Я приглашаю вас в Москву, командировку — оплачиваю». Володя приехал. Любимов: «Вот вам моё персональное место в театре. Хочу, чтобы вы посмотрели все мои спектакли». А перед этим на Таганке поставили «Гамлета». И Юрий Петрович специально вызвал Дьячина на премьеру. Когда Любимов спросил: «Ну как?», Володя выдал: «Вы же видите: публика из театра выходит ошарашенная, раздавленная и потрясённая, но — вашими режиссёрскими находками, однако — не текстом Шекспира!» Затвердил прямо в точку. Любимов пригласил его в свой знаменитый расписной кабинет: «Я все эти годы пытаюсь пробить постановку «Мастера и Маргариты». Недавно был в министерстве культуры и, видимо, чтобы от меня отмахнуться, мне сказали: «Ну что вы ходите со своим «Мастером...»? У вас есть театр, актёры, репетируйте!..»

— *То есть Любимов получил как бы негласное разрешение — сделать инсценировку булгаковского романа?*

— Совершенно верно. Дьячин спрашивает Любимова: «А как вы сами представляете себе эту инсценировку?» Юрий Петрович: «Ну, наверное, нужно сделать её по мотивам». — «Нет, Юрий Петрович, я буду работать над инсценировкой только при одном условии — максимально сохраню текст Булгакова». Получив отмашку главрежа, инсценировку Дьячин сделал за очень короткое время. Жил в Уфе, писал и периодически наезжал в Москву — показывал куски из написанного. Однажды он поставил Любимову в упрек: «Вот все говорят: «Таганка, Таганка!» А ведь у вас фактически и актёров-то хороших нет!» И действительно: у Любимова театр-то преимущественно не актёрский, а режиссёрский. Юрий Петрович там хозяин, который заставлял (по крайней мере, так было) актёров делать чёрт-те что. И когда, готовясь к постановке «Мастера...», на Таганке стали распределять роли, вот тут и вспомнились Володины слова о том, что в спектакле почти некому играть. К примеру, Любимов хотел, чтобы Воланда сыграл Высоцкий. Дьячин отказался категорически.

— *А мотивировка?*

— За Высоцким уже тянулся совсем другой шлейф, который разбивал всё...

— *Вроде того, что Высоцкий, играя Воланда, сыграл бы Высоцкого?*

— Ну да. Когда они уже работали над составлением программ и афиш, Любимов и говорит: «Конечно, в программке, в разделе инсценировка будет сначала

твоё имя, поскольку ты на «Д», а моё — уже потом». Хотя Юрий Петрович никакого отношения к инсценировке не имел. Спектакль вышел — «Правда» разразилась огромной подвальной статьёй «Сеанс «чёрной магии» на Таганке». Спектакль не был признан советским. Полный разгром, но самое удивительное — спектакль не сняли. Любимов предлагает Дьячину: «Я хочу тебя пригласить в театр заведующим литературной частью». На что Володя ему отвечает: «Юрий Петрович, а зачем я вам нужен, если вы, создатель театра и главный режиссёр, не определяете его репертуарную политику? Я-то что могу сделать?» Любимов: «Вообще-то ты прав, но я бы хотел, чтобы ещё одно родное лицо было в театре». Конечно, Володе хотелось вырваться в Москву. Он этим жил. Но получилось так, что Юрий Петрович поговорил — и замолчал.

— *Узнаю Белокаменную: поманила бубликом, а показала дырку от него?..*

— И Дьячин на сей счёт здорово переживал. Он себя действительно в Уфе пережил. Кроме крепкой северной прозы, Володя к 1970-му году написал большую пьесу «Круг гончарный». Толчком к её созданию послужило эссе Томаса Манна «Закон», с которым познакомился Дьячин. Пьеса написана белым стихом, то есть ритмизирована, как, собственно, и текст Библии. Она — о Моисее, об исходе евреев в землю Ханаанскую. Все имена — библейские. За исключением одного персонажа под именем Навал — человека, себя потерявшего. Когда я прочитал эту пьесу, у меня мурашки по коже пошли. «Неужели ты думаешь», — спросил я Дьячина, — что её у нас поставят?!» И он как-то очень легко ответил: «Уверен». В начале 80-х, уже после гибели Володи, друзья на собственные средства издали в Уфе книгу его произведений, куда был включён и «Круг гончарный». Тираж — 100 экземпляров. Каждый — номерной. Только для близких.

— *Я сейчас прикинул: с момента написания пьесы до сего дня минуло ровно сорок лет — столько, сколько Моисей, согласно летописным свидетельствам, водил евреев по пустыне. Может, есть в этом какая-то метафизическая символика, и Дьячин предвидел исход пьесы?*

— Всё возможно, если учесть, что в своё время «Кругом гончарным» заинтересовались такие личности, как Юрий Любимов и Альфред Шнитке.

— *То есть они эту пьесу прочли?*

— Когда мы разбирали архив Дьячина, среди прочих рукописей нашли машинописную версию «Круга...» Правда, в ней отсутствовало 29 страниц. Друзья посчитали, что это дело рук компетентных органов, у которых молодой писатель был на примете. Однако я встретился с сыном Любимова Никитой, и тот извлёк из своих тайников полный текст пьесы. Сам Юрий Петрович подтвердил мне, что «Круг гончарный» он прочитал, но, по его представлению, из этой пьесы могло бы получиться серьёзное музыкальное действо, к которому он, Любимов, пока якобы не готов. Никита передал «Круг...» опальному тогда Альфреду Шнитке,

который писал музыку к спектаклям театра на Таганке. Через какое-то время мы позвонили маэстро. «Ребята, я прочитал,—ответил он.—И это меня потрясло! Я готов взяться за написание крупной музыкальной вещи». Но вскоре у Шнитке начались сложности в его творческой биографии, и он вынужден был перебраться в Западную Германию. Там сложности переросли в проблемы со здоровьем, композитор перенёс инсульт, и движение «Круга гонимого» остановилось во времени...

— Как погиб Дьячин?

— Погиб, конечно, он нелепо. Полнясь ожиданиями, что его вот-вот вызовут в Москву, где он будет работать завлитчастью театра на Таганке, 13-го июля 1979-го года вместе с сотрудниками НИИ Володя поехал в колхоз на прополку. А незадолго перед этим окрестился. А тогда ношение крестика не приветствовалось, и Дьячину не хотелось досужих разговоров. И он впервые оставил крестик дома. Было жарко, страстная пятница. Они побыли на прополке. Пришёл автобус. 12 человек (как апостолы!) отказались ехать, поскольку—жара, а рядом речка. Остались купаться. Искупались. По шоссе надо было пройти километра два до будки автоинспекции, где была остановка загородного автобуса. И они по два человека гуськом двинулись вдоль обочины. С ними—две женщины. А время уже позднее. Мужчины всё время оглядывались, чтобы остановить какой-нибудь автобус и отправить в нём женщин. Вот и он. Уже хотели проголосовать, как в это время на обочину выскочила чёрная обкомовская «Волга», которая сбила Володю и ещё одного человека. Машина промчалась дальше. На въезде в обкомовский гараж водителя арестовали. У него было средней степени опьянение. Оказывается, он отвёз на дачу начальника финхозсектора обкома партии. А у начальника—свадьба дочери. Водитель, видимо, там и поддал. Ну и нёсся. Как потом выяснилось, смерть Володи наступила мгновенно...

Мы все, кто мог, уехали в Уфу на похороны. Смерть Дьячина на меня подействовала сильно. Тогда-то и пришла ко мне мысль: «Если в этом мире гибнут такие люди, стоит ли ему служить?..»

— А как имя Дьячина сошло с афиши?

— Когда Любимова лишили гражданства, и он оказался на Западе, театр на Таганке возглавил Анатолий Эфрос, и потихонечку спектакли Юрия Петровича стали исчезать из репертуара. В том числе, и «Мастер...» Затем, когда наступило потепление и восстановили спектакль «Мастер и Маргарита», но на афишах ещё нельзя было обозначать авторов инсценировки, начали писать: «Спектакль прежний, актёры прежние, авторы прежние...» Но—ни Дьячина, ни Любимова. А когда Юрий Петрович вернулся в Россию, про Дьячина как бы забыли. А Любимов как бы сделал вид, что он этого и не заметил. В книжке актёра Вениамина Смехова есть упрёк Юрию Петровичу в том, что в какой-то зарубежной постановке «Мастера и Маргариты» он опустил имя Владимира Дьячина. Как будто того и не существовало.



Владимир Дьячин, автор инсценировки «Мастера и Маргариты» в театре на Таганке

— Но, кроме гибели, пусть даже такой личности, как Дьячин, наверное, существовала сумма как-то иных причин, послужившая толчком твоего ухода из социума?

— Конечно, меня не устраивала моя судьба. Я член Союза журналистов с 1959-го года. Но к тому времени разочаровался в журналистике как таковой абсолютно! У нас тогда, кроме партийной печати, никакой другой не было. А я к тому времени был уже мужик взрослый. И хотя после окончания ВГИКа меня звали на киноплекс при пермском ТВ, я сказал, что я этого говна уже наелся вот столько и ничего более не хочу! Во-первых, они занимались, в основном, документальным кино, во-вторых, это же кино телевизионное да ещё советское... Та же самая журналистика, которая мне была уже поперёк горла.

Ещё в 1971-м году я купил по дешёвке в деревне Кутамыш пятистенный дом. У меня был свой огород, я завёл пчёл. Жил натуральным хозяйством. А так—никому не служил. Единственно: некоторое время был матросом спасательного поста по линии ОСВОД, куда меня устроили друзья. Вот всё моё соприкосновение с социумом! Честно говоря, только числился и на хлеб получал да на масло подсолнечное. По крайней мере, я ни от кого не зависел. Деревня была не очень большая, однако на моих глазах жители её почти поразъехались, молодёжь кто куда поубегала, кого могли из стариков,—поувозили, колхозное право закончилось, деревня стала умирать и на глазах распродаваться. Но она стоит на реке Кутамыш, которая считается очень рыбной. Дома стали покупать. Только благодаря этому, деревня и сохранилась, потому что в верховьях Кутамыша—уже почти никаких деревень. Ясное дело, что все мы ждали перемен. Но о том, к чему сейчас в нашем обществе пришли, даже и «не мечтали»...

— Иными словами, мы ушли от одной цивилизации (назовём её советской), а пришли к другой, в которой, я так понимаю, тебе места нет ещё больше, нежели в предыдущей?



Василий Лыков, чувской отшельник, вновь достигнутый цивилизацией

— Получается, да.

— Уйдя от одной, ты не можешь прийти и к другой цивилизации? Почему?

— По очень простой причине: я уже старик. Уже и сил-то особых нет.

— За эти долгие годы «бегства от действительности» в своём полутаёжном существовании тебе приходилось сталкиваться с разными судьбами. Всякие же люди в лес приходят—браконьеры, романтики, отшельники...

— Не скажу, что я—абсолютный отшельник, хотя и старался уйти от всего, в результате ни к чему не придя. Только ведь такая тяга вообще наметилась на изломе эпох. Если посмотреть в этом плане на Василия Лыкова, с которым судьба свела меня в лесу, то его пример не станет исключением, но даже если и станет, всё равно он будет подтверждать правило.

— Ты сказал: «Лыкова?»

— Я и не подозревал, что в верховьях моей таёжной реки поселился человек. Там очень красивые места, знаменитые пещеры. А три года назад приехал ко мне внук—выпускник мгу. Мы позанимались с ним какими-то хозяйскими делами, и я решил в благодарность прокатить его на лодке вверх по Кутамышу. У меня есть небольшой вёсельный ялик, мне подарили японский мотор в две лошадиных силы. Я его ставлю—и тью-тью-тью-тью—еду по речке. И вот мы поднимались-поднимались, а речка всё петляет и петляет, места бобровые, и на одном из поворотов—в просвете человек с корзиной, а с ним—две собачки. Помахали друг другу. Мы подъехали. «Здравствуйте»—«Здравствуйте».—«Сориентируйте нас, где мы»—«Здесь когда-то стояла деревня Нижний Пальник».—«А вы-то откуда?» Он засмеялся: «Я здесь живу. Разве не слышали?»—«Нет!»—«Дак пойдёмте тогда ко мне чаю попьём». Заехали в старицу. Я смотрю: срублен чудный дом, прямо на берегу—банька, какие-то навесы. Под одним из них—стол. Решёточки, на которых можно сушить траву, грибы. Всё продумано, по-хозяйски сделано, толково. Вышла женщина молодая. «Это Оля, моя жена». Попили чайку, поговорили, и я спросил: «Вы тут, как Лыковы, что ли?» Он снова засмеялся: «Так я и есть Лыков!»

— Прямо-таки привет Василию Пескову!

— Вот-вот. Лыковы по стопам Лыковых. У меня как у бывшего журналиста и киносценариста мысли-то сразу закрутились: вот тебе готовый материал! Василий принёс нам полную корзину грибов в гостинец. Коротенечко рассказал, что он из этих мест—из Комарихи. Когда-то был топографом, исходил почти всю страну. Чувствовалось, что человек бывалый, да и грамотный. А сейчас вроде—дело к пенсии, пора уже закругляться, решил вернуться на родину. В Комариху приехал, а там—ни кола-ни двора. Отцовский дом какой-то жлоб-родственничек занял. «Чем ты живёшь-то?» Он: «Охочусь, рыбу ловлю, веники заготавливаю». Огромный огород, лопатой вскопанный. Теплицы штуки четыре-пять. В них не только огурцы-помидоры, но и кабачки. Дал ему книги по пчеловодству. Как-то приехал—уже четыре улья стоят. Договорились, что я привезу ему мотоблок.

9 октября 2007-го года звонят мои знакомые: «Выехали, готовы мотоблок для Лыкова». Они уехали на более мощной лодке в верховья. А я на следующий день сел в свою лодочку. Подъезжаю. Смотрю: мои знакомые стоят и делают знак: не шуми. И стали рассказывать. «Привезли Лыкову мотоблок. Вася, конечно, рад. Но чем-то озабочен. Говорит, кто-то здесь ходит, следит. Там река-то узенькая. И вот в том месте объявились какие-то лихие людишки. Речку перегораживали тросами и цепями, чтобы лодки не могли пройти и не было лишних свидетелей. А там вдруг поселился какой-то Лыков. Друзьями обзавёлся. Мешает. И вот в дом Василия при свидетелях заходит какой-то мужик в камуфляже. Наставляет на Лыкова вертикалку-ружьё: «Давай выйдем». Вышли, разговаривали-разговаривали. Кончилось тем, что он Васю куда-то повёл. Знакомые мои посоветовали к Лыковым не ездить.

Я вернулся к себе в деревню. Утром встал. Включил «Эхо Перми. Вдруг в конце новостей: «По подозрению в убийстве с применением огнестрельного оружия разыскивается Лыков Василий Иванович...» Пришёл к односельчанину, тот рассказал: «Нас на лодках обогнали какие-то менты с винторезами. Проплыли—чуть волной не захлестнули». И так—недели три: менты, собаки, катера, в них—мешки с картошкой, ящики водки. Кругом фотографии поразвесили: ищут Васю Лыкова. Оказывается, Василий, обороняясь, случайно нажал на спусковой крючок. И попал в оперуполномоченного. Лыков сам через год блужданий пришёл к знакомому егерю на станции Валёжная. Он беспокоился о своей молодой жене Ольге. До него, во-первых, дошли слухи, что над ней надругались, во-вторых, что она сгорела. Только ради неё он и решил выйти из леса, чтобы узнать о её судьбе. И был готов к тому, что его арестуют. Он сдался добровольно. Его приговорили к 15 годам. Я сказал следователю: «Я более чем уверен, что Лыкова спровоцировали. У него жизнь складывалась. Осенью, когда это всё случилось, он собрал на своём лесном огороде 100 вёдер картошки и 300 вилок капусты. Дом был срублен, мотоблок появился, ульи, пчёлы, жена. Он ведь пришёл ко мне в первую же неделю. Прямо днём.

И у нас состоялся разговор. И я почувствовал, что Вася не врёт...

— Если оглянуться на тему нашей беседы, то случай с Василием Лыковым, о котором ты только что рассказал, подталкивает к закономерному вопросу: во что может вылиться уход человека из цивилизации при повторной встрече с представителями этой цивилизации?

— Трудно, конечно, судить: человек ведь всё-таки явление социальное. И жить в обществе, как сказал Ульянов-Ленин, и быть свободным от общества невозможно. Даже, как оказалось, в лесу. И тем не менее, есть какие-то пути. Другое дело, что не всегда они человеку удаются. Сатана не дремлет. Он по-прежнему правит бал.

— Но ты уже не можешь существовать в городе, прожив на природе тридцать лет?

— Я не принципиальный противник города как такового. Однако зависимость от кого-то или чего-то в городе намного больше, чем в глуши. Элементарно: отключат горячую воду—ты уже начинаешь звонить в жилищно-коммунальную службу. Отключат холодную да ещё отопление—всё, привет. Ты настолько во власти цивилизации, что трудно сказать—от Бога ли, вообще, она? Почему в христианском мире вокруг инн идут серьёзные стычки? Потому что дьявольское число 666 заложено в эту программу. Значит, человек попадает в абсолютную власть Антихриста.

— Но ведь ты, как я понимаю, уходил в глушь, в том числе, и для того, чтобы что-то в этой глуши написать? Надеюсь, удалось?

— Быт—это такая штука, что просто жуть! А тем более, когда для тебя понятия брака, детей, любви и обязанности святы, отказаться от этого очень тяжело. Конечно, у меня было желание уединиться и что-то сделать в творческом плане. Это надо мной тяготело и тяготеет до сих пор. Но я занят в деревне непонятным хозяйством и, хоть это хозяйство—поперёк моих личных представлений, как человек, живущий на земле, я должен отдавать ему своё время. Так что, пока я от одного отделялся, в другое ярмо угодил. Корова, козы, овцы, пчёлы... Снова— плен. И хозяйские занятия не дают возможности вырваться из этого плена.

— Какой остаток вынес ты из своей попытки уйти от цивилизации?

— Такой явной задачи—уйти от цивилизации—я перед собой не ставил. Всё равно, какой бы она ни была, в ней есть истины подлинные, хоть и немало мнимых. Пока что ещё, слава Богу, подлинные-то истины существуют.

— Однако пример с Василием Лыковым свидетельствуют о том, что мнимые истины побеждают, подталкивая человека к преступлению?

— Но, опять таки, с какой позиции? С одной стороны, так. А с другой... С позиции человека верующего понятно, что всё равно воздастся по заслугам и отшельнику Лыкову, и тем, кто решил

избавиться от отшельника, как выяснилось, мешающего «посланцам цивилизации» в тайге. А ты знаешь, Юра, он ведь сейчас на зоне написал документальную повесть. И наш разговор мне бы очень хотелось завершить маленьким отрывком из неё. Вот послушай: «Самое главное и опасное предприятие—сходить к своему дому—я предпринял сразу же после возвращения с Юрмана. Подошёл к берегу Кутамыша и долго всматривался в такой родной и чужой дом. Там было несколько человек. В том, что это менты—сомнений нет. Вот и лодка их моторная—белая дюралка. Смотрю: гремят лодкой, заводят мотор и, о чёрт!—на буксире тянут мой любимый ялик. Он-то им зачем? Несколько человек в моторке, видимо,—поисковая группа. Собаки нет—это хорошо! Моторка, с буксируемой моей шлюпкой, обогнули остров и вышли по каналу в Кутамыш. Сколько сил я потратил, чтобы прокопать этот канал, отремонтировать старый ялик, подаренный завхозом одной из баз отдыха на берегу реки Сылвы! Больно было смотреть, как мои вещи служат врагам: не друзьями же мне считать людей, гонящихся за мной с оружием в руках, пожирающих мёд погубленных ими моих пчёл, разворовывающих мой дом!»

Пришли словно оккупанты, хозяина выгнали из дома, хозяйку избили и изнасиловали, разграбили пасеку и дом, уничтожили любимых кошек, козу и многое другое, но главное—веру в людей и справедливость!»

Сейчас Виктор Соснин совместно со своим давним товарищем, пермским писателем Владимиром Михайлюком, словно вспомнив не менее давние слова Геннадия Шпаликова: «Слушай, Витя, это же целый неизведанный пласт!», пытается снова вернуться к профессии кинодраматурга. Быть может, это будет сценарий о Владимире Дьячине? Или—о Василии Лыкове? Не будем иронизировать: от чего человек ушёл, к тому и пришёл. Уходил Соснин не от профессии кинодраматурга, а от мира, где искажается Божье творение, где когда-то свёл счёты с белым светом в одном из комнатных пеналов переделкинского Дома творчества сам Геннадий Шпаликов; от мира, где браконьеры в камуфляже перегораживают цепями таёжные речки и, как за зверем, охотятся за человеком. Вскопанный лопатой собственный огород?... Урожай, на нём собираемый? Да, конечно, можно задаться вопросом: стоило ли огород городить и убежать от цивилизации, ежели ты попадаешь в новую зависимость и стоишь посреди огорода вроде пугала? А теперь ещё и—всякий месяц—приезжаешь в город, дабы получить от цивилизации, которая тебя «доставала», то самое пенсионное пособие, о коем так уморительно мечтал второклассник и второгодник Иван Семёнов. И можно привести десятки, если не сотни примеров, когда никто никуда не убегает, а плывёт в лодке, кто по течению, кто против, запустив мотор, кто в сто, кто в две лошадиных силы, и—ничего: человек к какому ни то берегу, да пристаёт. Не будем судить. Это дело внутреннего выбора. Бывает, когда и неурожай во благо.



20

Владимир Коробов
На Господних весах

Владимир Коробов

На Господних весах

26 ноября 2011 года в Ялте скоропостижно скончался поэт, секретарь Союза российских писателей Владимир Борисович Коробов.

«Владимир Коробов ушёл из жизни неожиданно, в разгар кропотливой работы над антологией «На рубеже веков» (очередной проект Коробова по систематизации современной российской литературы, на этот раз под эгидой Международного сообщества писательских союзов). Он не успел увидеть свою только что вышедшую из типографии книгу — «Связующая нить». Не успел помочь множеству талантливых литераторов из провинции, о которых всегда заботился с нереальной для нынешнего времени энергией — критиковал по-отечески, продвигал публикации, содействовал вступлению в СРП...

«Не успел» — это наша, мирская, категория. На самом деле Владимир Коробов успел в своей жизни столько, что грядущим поколениям черпать и черпать. И за школьной партией (блистательные исследования чеховского творчества в органичной, доступной для молодёжи форме!), и на кафедре литературных вузов (незаурядное поэтическое наследие В. Коробова, составленные им антологии, многочисленные вдумчивые критические публикации), и... наедине с самим собой — в любом возрасте, пока страдает и радуется «одичавшая, поросшая щетиной» душа».

Ольга Валенциц

В веке проклятом, двадцатом
Я хочу ещё пожить
И на мостике горбатом
Постоять и покурить.

Прежде, чем в тысячелетье
Новое перешагнуть, —
Всех, кто сгинул в лихолетье,
Поимённо помянуть.

И глядишь, за этим списком
Час пройдёт, за ним другой...
Жизнь касаткой низко-низко
Промелькнёт передо мной —

Не догонишь, не поймашь,
Не разлюбишь, не вернёшь,
Ничего в ней не исправишь,
Ничего в ней не поймёшь.

Гроза над морем

Мелькнувшая чайка уколёт — как спица,
И, вскрикнув тревожно, вдали растворится.
Залив расплывётся сквозь линзы слезы,
И сдавит мне горло волненье грозы.

Тогда я увижу как будто впервые:
Морские валы и холмы вековые,
Вознёсшихся скал ножевые зубцы
И молний жестоких на небе рубцы.

Поднимется буря! И моря громада
Обрушит на берег безумное стадо,
И ветер завяжет в седые узлы
Непрочные узы волны и скалы.

А там, где воздвигнулись горы высоко,
Прокатится эхо грозы одиноко...
И море покроет туманная хмарь.
И дождь, как шарманка, навевает печаль.

Поэты

Кричали с эстрады о вечном,
Горланили спьяну стихи,
А сами, как стадо овечье,
Пугались любой чепухи.

Метались, толкаясь в загоне,
Терпели и стужу, и грязь...
Им снились крылатые кони,
Что мчали их к славе, клубясь.

Но время, листовая страница,
Развевало многое в прах,
Лишь слов золотые крупницы
Лежат на Господних весах.

В Москву! В Москву!
А что в ней делать?
Москва такая ж глухомань...
Заря за окнами зарделась —
Больная чахлая герань.

Об этом грезилось нам разве
В лугах, где травы и цветы?
В столице суетной погрязли
Провинциальные мечты.
Нет, лучше бы, чем здесь скитаться,
Лысеть и стариться, друг мой, —
В цветущей юности болтаться
В петле курчавой головой.



Владимир Алейников

Встретимся за листвою

Свой веночек бесполезный сорви, Аполлон,
С головы безмятежно-кудрявой, —
Я любовью безмерной навек опалён,
Истомлён её горькою славой.

Напоён я разлукою новою впрок —
Сладким ядом из чаши хрустальной
Пропитались насквозь угольки этих строк,
С их надеждой, с их верой печальной.

На январском ветру не погаснет свеча,
Наша связь никогда не прервётся,
И поющая кровь навсегда горяча —
Может, сердце твоё отзовется.

И душа не кричит, просто — молча скорбит,
В одиночестве странно смелея, —
И опять я, устав от невзгод и обид,
Тяжело и жестоко болею.

Белые розы и чёрные розы
С тёплым дождём в киммерийском саду
Выразят время и вызовут слёзы,
Вынесут бремя красы на виду.

То-то в затишье бутоны томились,
То-то рукав задевали шипы —
Запахам сдать бы, что ли, на милость?
Впрочем, на это они не скупы.

Ах, удержаться бы — сколько осталось? —
В этой стихии, цветущей, хмельной, —
Дай же им смелости самую малость,
Небо жемчужное в дымке сквозной!

Дай же им крепости нужную дозу,
Почва, в которую корни вросли,
Дай же им нежности, — всё ж эти розы
В мир этот, пусть и некстати, пришли.

Непостижимый сон:
Сад, а над ним — просвет
В небе, — не в твердь, а в звон,
В благодать грядущих лет

Взлёт — а за ним и взгляд —
В глубь, в золотую высь,
В мир, где разброд и лад
За руки вдрут взялись.

Чуть вечер, не встать за окном,
К стеклу сторяча не прижаться —
В полёте обнявшись двойном,
Две тени в пространстве кружатся.

Их двое — пускай допоздна
Витают в глуши окаянной, —
И двойственность эта грустна,
Хотя и не кажется странной.

Ну кто они в мире? Бог ведь! —
Неведомо как, ниоткуда
Явились — а всё-таки есть,
Как прежде, надежда на чудо.

Летите, летите туда,
Где свет ваше рвенье умножит
Во славу любви, как всегда, —
А Бог вам и в этом поможет.

С поднятой головой,
Вглядываясь, вбирая
То ли остатки рая,
То ли костяк сарая
В мир обречённый свой, —
Жизнь предстоит вторая —
Встретимся за листвою.

Полно хандрить, встряхнись,
Выпрямись одичало, —
Всё, что вчера прощало,
Щурилось и вещало —
Это не даль, а близь, —
Что бы там ни встречало —
Не пропадай, вернись.

Сотканы из тоски,
Собраны из печали
Дней, что права качали,
Щерились и ворчали,
Стынувшие годки, —
Склеить бы, как вначале,
Скомканные куски.

Не поддавайся, встань, —
Всё это, брат, зачтётся,
Всё это там прочтётся,
Где о тебе печётся
Тот, кто глядит за грань, —
Им-то ужо учтётся
Вдох твой в такую рань.

Элегии

I.

Мне моря грезятся незримые круги—
Его присутствие, казалось бы, не вновь
Задерживает нас на полуслове—
А там поистине хоть впуски беги
С роскошным бризом, спутником вальяжным,
Иль голову склоняй к волнам отважным,
Когда над гребнями подьмет Вещий Дух
Лишь очеса—и столько в них смиренность,
Что сердцем постигается прозреньё—
И миг летит, как тополиный пух.

Цельнее жалобы на этих берегах—
Они как раковины—вслушайся в шептанье—
В нём птичьих стай увидишь начертанье
И очерк времени, как древо в двух шагах,—
Царевна Полночи, так ясно приближаясь,
Нам улыбается,—и, вновь преображаясь,
Ты задыхаешься в движении щедрот
К душе восторженной—и с белыми устами
Сказать не сможешь ей, что небо над листьями
Трепещет в памяти твоей который год!

Есть Книга Кротости—прочти её тогда,
Когда и рук своих почти не доискаться
В часы бессонные, где станешь возвышаться,
Подобно тополю,—и встанут навсегда
Грядую милою и нежною защитой
Холмы долины, лозами увитой,
Как ожерельями—запястья добрых фей,—
И море синее в оправе изумрудной
Вновь увлечёт тебя в оправданности чудной
Туда, где Афродиту пел Орфей.

II.

Куда уходишь ты, созвездие моё?
Останься друзюю заветных аметистов,
Чтоб века не терзало остриё
Их грозной цельности,—а свет и так неистов,—
Отяготившею горячую ладонь
Останься верностью,—кто с Музами не дружен,
Тот не постиг скорбящий твой огонь—
Язык его лишь верящему нужен.

Кому же доведётся рассказать
И то, как горлица стенает, понимая,
Что узел памяти не в силах развязать,
И то, как смотрят, рук не разнимая,
В любви единственной, неведомо зачем
Нахлынувшей сквозь отсветы и звуки
И въяве осязаемой затем,
Чтоб осознать явленье новой муки?

Души не выпустишь синицей в небеса,
А сердце, словно яблоко, уронишь
На эти пажиты, где ветер поднялся,
И землю милую ты сам губами тронешь,—
И там, где, замкнута закатною чертой,
Забрезжит странница-страница,
Возникнет мир, нежданно золотой,
И в нём-то святости познаётся граница.

Пусть поднимается и холода бокал,
Напитком полон Зодиака,
В горсти сознания,—не ты ль его искал?
Не ты ли веровал, однако,
Что, отделяемо, как лето, от людей,
Молве людской обязано значеньем,
Оно непрошено,—возьми его, владей,—
Да совладаешь ли хотя бы с ощущеньем!

Недаром в музыке вы, звёзды, мне близки—
Как не наслушаться и всласть не
наглядеться!—
И расширяются хрустальные зрачки,
В тоске открытые, чтоб радостью
согреться,—
Недаром Ангелом, склонившимся ко мне,
Утешен я, чтоб жизнь сулила снова
Вся боль моя, возросшая вдвойне,
Но ставшая хранительницей Слова.

III.

Февральской музыке, стремящейся понять,
Что в мире для неё невозвратимо,
Где рук не тронуть ей и боли не унять,
Покуда сердце слишком ощутимо
В томящей близости примеров бытия
С их изъяснением, предвестником прощенья,
Февральской музыке—элегия сия,
Хранящая приметы обращения.

Свистулькой тайною осваивая звук,
Свирель подняв сосулькой ледяною,
Чтоб некий смысл, повиснув, как паук,
Встречал заворожённых тишиною,
Приходит музыка, немая, как и мы,—
Но вот измаяло предчувствие напева—
И, странно возникая среди зимы,
Растёт она предвестницею древа.

Бывало ль что-нибудь чудесней и добрей?
Знавал ли кто-нибудь вернее наважденье,
Когда, оторвана от звёздных букварей,
Она нутром постигнет восхождение—
И, вся раскинута, как яблоня в цвету,
Уже беременна беспмятным итогом,
Зарницей встрепенувшись на лету,
Поведает о месяце двурогом?

Недаром горлица давно к себе звала,
Недаром ласточка гнездо своё лепила—
И птиц отвергнутых горячие тела
Пора бездомиц в песне укрепила,—
И щебетом насыщенный туман
С весной неумолкающе дружен,—
И даже прорастание семян
Подобно зарождению жемчужин.

Мне только слушать бы, глаза полузакрыв,
Как навеваемым появится фрегатом
Весь воедино собранный порыв,
Дыша многообразием крылатым,—
Ещё увидеть бы да в слове уберечь
Весь этот паводок с горящими огнями,
Сулящими такую бездну встреч,
Что небо раздвигается над нами.

IV.

Давнишний друг! В душе моей—февраль,
И в сердце днесь растаяли метели,
Зане давно утешиться хотели
Теплом людским, где гнёзда вьёт печаль,
Как птица,—ей скитаться тяжело,
Но с верою дышать намного легче,—
И, ощутив предвосхищенье речи,
Она подьёмлет сильное крыло.

Есть в жизни нашей странная пора,
Когда стоишь, сощураясь,—
И вновь тебя терзают впечатленья,
А боль пришла—что делать!—не вчера,—
Тогда уста белеют на ветру,
Ладонями размахивают ветки,—
Вот так же процарапывали предки
Посланными наивными кору,
Чтоб эти отыскали письмена,
Оставленные кем-то на берёсте,
В кругу бессонниц, в ледяном наросте,
Где судорожна ночи тишина.

Знать, страсть на то нам, смертным, и дана,
Чтоб горечь счастья к зрелости испили,
Затем, чтоб вьявь единственным были
Любимых наших дальних имена,—
На то нам горе суждено познать,
Чтоб в нём любовь бессмертная окрепла,
В плену снегов, как Феникс, встав из пепла,
Чтоб звать к себе и мучить нас опять.

К тебе пишу,—не столь ты одинок,
Как может показаться поначалу,—
Надежда, друг, мечты, твои венчала,
В печи хранила малый уголёк—
И пламя золотое разожгла,
И руки бесприютные согрела,—
Тебе она отшельничать велела
И к свету не напрасно привела.

Так—колокол бывает позабыт
В глуши степей, в молчании, на время,—
Он часа ждёт,—и глас его—со всеми,
Кому он дорог средь мирских обид,—
Не нам ли зазвучит его набат,
Всё мужество его долготерпенья,
Юдоли разрушая средостенья
И в небе возрастая во сто крат?

О нет, куда бы нас ни занесло,
Бродят по крови, певчих по призыванью,
Доверимся, мой друг, воспоминанью!
Как никому, нам в жизни повезло—
И как никто, сумели мы постичь
Уроки неизбежные пространства
И защитить заветы постоянства,
Как никогда, судьбы услышать клич!

А звёзды безмятежные горят,
И музыкой, и тайной беспокойя,—
И сердце вдруг сжимается мужское—
И ты стоишь—и прозреваешь, брат.

V.

Когда бы в сумерках не таяли следы
В глуши ниспосланной, в садах необозримых,
Где тени лёгкие покинутых любимых,
Как птицы странные, проходят у воды,
Тела бескрылые движенью подарив,
Струенье вечности почти не различая,
Но час беспечности привычно привечая,—
Плачеи скромные, приятельницы ив,—
И звуки влажные гремачий тайный ключ
Не прятал в памяти, пристанище познаний,—
Я знал бы, где в плену воспоминаний
Зари завещанной искать прощальный луч.

Хотя бы выбраться туда, где чуть светлей,
Где сразу проще мне, где берег милый круче,
Цветы неистовы и чаяния жгучи,
Где жар подспудный стынущих полей,
Укрытый мятою, пропитанный полынью,
Усыпан звёздами—негаданный венец,—
Руки опущенной коснётся наконец,
Смущая негою, обрадовав теплыню,
Хотя бы выбраться скорее мне туда—
До взгляда прежнего, до вздоха облегченья,
Где плоть найтия влачилась по теченью
И в кровь вошла—как видно, навсегда.

Где зов услышать мне, чтоб душу всю пронзил?
Увы видению!—я знаю слишком мало,
А то нездешнее, что встарь со мной бывало,
Полночный ветер чудом не сразил,—
Никто уже не в силах мне сказать,
Где тропку верную почувствую стопами—
С кострами дымными, с хрустальными столпами
Излишек времени в котомку мне не взять,—
Ужели я глазами обнищал—
И впору с наваждением смириться?—
Но струны трогает перстов десятирица,
И я пою—пою, как обещал.

VI.

Сгустилось в небесах начало темноты—
И вечер ночи место уступает,
И чуют одиночество цветы,—
Поверь: так именно бывает,
Так именно увидеть суждено
И этот сад, где сердце в песне бьётся,
И дом растерянный, где светлое вино
В кувшин безвременья из чаши льётся, льётся—
В нём, страшном, и намёка нет на дно,—
Куда-то в бездну увяданья
Струится грусть,—зажжённое окно
У слова ищет оправданья.

Так музыка дыхания чиста!
Душа доверчива—то чайкой встрепенётся,
Кружа у берега, как шалая мечта,
А то, как горлица, всем телом обернётся
Туда, где свет увидит золотой,
Где звуки собраны рукой твоей, как розы,
Где за невидимой раскаянья чертой

Пылают осени злосчастные угрозы,
В кострах горят, как ветви, как стволы,
И прегрешенья, и обиды—
И Рок встаёт в предвестии хулы,
Но под защиту наперсницы-Ириды.

Скажи мне имя, добрый человек!
Не ты ль меня так долго дожидался,
Чтоб этот мир—воссозданный ковчег—
Без нас двоих по водам не скитался?
Не я ль открыл тебе священную звезду
Судьбы твоей и возвышенья
Вот здесь, где ночь стоит в моём саду,
Уже принявшая решенье
Звучать без усталости, чтоб место уступить
Блаженному рассветному сиянью?
И слёз неистовых, чтоб радость окропить,
Не хватит, видимо, людскому пониманью.

VII.

Тебе, далёкий друг,—элегия сия,—
Да будешь счастлив ты на свете этом странном!
Давно к тебе прислушивался я—
В минуты горести, к мечтам спеша обманным,
На зная удержу, томленьем обуян,
Медвяным омутом заката не утешен,—
И если путь мой смутен был и грешен,
Движенья познал я океан,
Медлительную поступь естества,
В огне сощуришь, всё же разгадал я—
И столько раз в отчаянье рыдал я,
Покуда горниле являлись мне слова!

Ты помнишь прошлое?—трепещущий платок,
Что там, за стогнами, белеет,—
В нём женский в лепете мелькает локоток
Да уголёк залётный тлеет,
В нём только стойкие темнеют деревья,
Подобны Бахову неистовому вздоху,—
Прощай, прощай, ушедшая эпоха!—
Но всё ещё ты, кажется, жива,—
Но всё ещё ты, кажется, больна,
Дыша так хрипло и протяжно,—
С тобою всё же были мы отважны—
И губы милые прошепчут имена.

Есть знаки доблести: сирень перед грозой,
Глаза, что ровень с зеркалами

Блеснут несносной, каверзной слезой,
В костре бушующее пламя,
Листва опавшая, струенье древних вод,
В степи забытая криница,—
Душа-скиталица, взволнованная птица,
Скорбит о радости—который век иль год?
Есть знаки мудрости: биение сердец,
Что нас, разрозненных, средь бурь соединяет,
И свет оправданный, что окна заполняет,
И то, что в музыке таится, наконец.

Что было там, за некоей чертой,
За горизонтом расставанья?
Мгновенья близости иль вечности святой,
Предначертанья, упованья?
Предназначение, предчувствие, простор,
Высоких помыслов и славы ожиданье?—
С мученьем неизбежное свиданье
Да дней изведанных разноголосый хор,—
Что было там?—я руку протяну—
Ещё на ощупь, тела не жалея,—
И вот встают акации, белея,
Сулящие блаженную весну.

Так выйди к нам, желанная краса,—
Тебя мы ожидали не напрасно!
В моленье строгие разъяты небеса,
Существование прекрасно!
Юдольный обморок, прозрения залог,
Прошёл, сокрылся, в бедах растворился,—
И пусть урок жестокий не забылся—
Но с нами опыт наш земной и с нами Бог!
Давай-ка встретимся—покуда мы живём,
Покуда тонкие судеб не рвутся нити,
Покуда солнце ясное в зените
Из тьмы обид без усталости зовём.

Не рассуждай!—поёт ещё любовь,
Хребтом я чувствую пространства измененья,
Широким деревом шумит в сознание кровь—
К садам заоблачным и к звёздам тяготенья,
Луна-волшебница всё так же для меня
Росы раскидывает влажные алмазы
По берегам, где всё понятно сразу,
В ночи туманной ли, в чертоге ль славном дня,—
А там, за осенью, где свечи ты зажжёшь,
Чтоб разглядеть лицо моё при встрече,
Как луч провидческий, восстану я из речи,
Которой ты, мой друг, так долго ждёшь.



Михаил Микаэль

Свободная

1. У пересохшего колодца

О любви не расскажешь? Глоток бы... но сын Левиин
Прячет каплю воды—только дно покрывает в кувшине.
Я хотел бы остаться в бескрайней пустыне один,
Чтоб никто не мешал мне увидеть, как девушка скинет

На песок покрывало, и станет неистово пить,
Нет, не воду, а счастье, ища поцелуев губами—
Отдвинется камень, ручей побежит во всю прыть
Нежить в страсти тела, бормотать и плескаться словами...

Но мой город—иной, в нём прописана вечно зима,
Что законной женой выбивает на снеге перины,
И стоишь ты в сторонке—любимая, сводишь с ума,
И бросаешься в улицы, выгнув для рук моих спину...

Эта ночь раскалилась, и нет ей конца, а с утра
Гарь пожарища тянется и, замерев над столицей,
Злое солнце встаёт... что ж восточным молюсь я ветрам
И желаю тебя, пусть тобою вовек не напиться?

2. Сад в песках

Мы с тобою пройдем в непонятной конструкции сад,
Нет деревьев и трав, и прохлады фонтанов, и неги—
В пустоте над песками на ветках незримых висят
Абрикосы и груши, и жёлтые яблоки в снеге.

Он откуда здесь взялся, среди раскалённых небес?
Не иначе, что горы накрыло сегодня ветрами,
И усталый пастух, проклиная занятие, лез
На холодные звёзды, набрать там прохлады... Губами
прикоснись к ней быстрее и яблоко жадно сорви,
И засмейся легко, и зубами терзай его мякоть,
Чтоб струилось желанье и пело протяжно в крови,
И умело грустить, и могло бы ребёнком заплакать.

Мы одни в том саду. Но боимся друг другу сказать
О единстве корней—в этот век, что свихнулся на беге.
Абрикосы и груши. Цветущая рядом лоза.
И отброшенный ночью, в песке затерявшийся гребень.

3. В пустыне

Приподнимая медленно колени,
Припоминая караванный путь,
Верблюдица звезду звездой заменит,
И след судьбы сумеет изогнуть.

Другой шатёр—иное расстояние
От встречи до ладони на груди...
Пески текут, и времена настали
Для будущего город городить—

И ставить стены, и крепить ворота,
И стражу до зубов вооружать...
И черпать ночь, до дна, одной заботой
Тебя, как птицу, к небу приручать—

Чтоб ты, помедлив, над моим несчастьем
Взлетела и воздушною тропой
Ушла в полёт, жизнь разделив на части—
Ту, до тебя, и эту, не с тобой.

4. Родословная лилии долин

*Что лилия между тернами,
то возлюбленная моя между девицами.*

Песнь песней, 2:2

Даст царь Соломон Суламифи садов имена,
Цветущих лугов, гибкой телом лозы винограда...
Но раньше веками—Желанною ты названа,
Ты—девочка-змейка, барханов горячих награда.

Смотри в небеса—брошен Богом виссон золотой,
Под ним пролетают, лучами любятся птицы...
Моя ненаглядная! Лягут пески пред тобой,
Дождями столетий на тело нагое пролиться.

Песчинки взметнутся—и вниз, в нетерпенье они—
Соски щекотать, и на бёдрах молчать восхищённо,
И рыжим огнём одевать—в предрассветные сны,
И платьем до пят шелестеть, и прощаться... и стоном

Откликнется раб—из Египта с тобою идёт,
Исход проклинает... но смотришь ты дальше и строже...
Свободна ты, милая, прежде любовь, чем народ,—
Кровь лилии дольней зачнёшь с ним сегодня на ложе.

5. На первом языке

В дырах латанных и узелках
Сеть охотничья—ловчее время...
Бродит в жилах нимродово племя,
Бормоча на земных языках...

Башню строили—Богу грозить,
И гарпунить небесную рыбу...
Кирпичи раскололись и нимбы
Перебиты... но хочется жить...

В смутной речи тебя находить,
Называть первым именем тело,
Чтобы пальцы на коже успели
Знаки древней любви выводить.

6. Дни часов

Из будущего в прошлое песчинки
Скользят легко через стеклянный лаз.
Сыны небес привычно перья чинят
И в книгу жизни вписывают нас...

И вот, скажи: мы на одной странице,
Не разбрелись ли шустро по томам?
В безлюдной суете мелькают лица,
Ненужные, неведомые нам.

В безбрежной пустоте идёт движенье—
Подхватывает и уводит вдаль...
Огонь пылает, свет один, и пенёк,
Но искры Божьи путает январь
С озябшею зарёю—и разносит
По неизбежным, чуждым очагам,
И по кострам, где только ветер спросит
О днях без нас.
И холодно рукам.

Эдуард Русаков

Музей восковых фигур

Записки ваятеля



27

Эдуард Русаков
Музей восковых фигур

«Каждый человек — ваятель своего счастья!»

Артём Тарханов, народный ваятель РФ

5 февраля 2011 года

Я ещё молодо выгляжу, мне всего 45, но меня уже тошнит от этой поганой жизни.

Тошнит от всего и от всех. И от музыки, и от живописи, и даже от скульптуры тошнит. А ведь сам я скульптор, и, говорят, неплохой, талантливый, подающий надежды... Но сколько можно — подавать надежды?! Не хочу ничего никому подавать, хочу, чтобы мне подавали! Чтобы в очередь становились ко мне! Чтобы на коленях упрашивали!

Ух, как тошно. Отец бормочет в трубку: глянь в окно, сынок — какой чудесный закат!.. Старый эстет-маразматик... Писака-неудачник... Да срать я хотел на ваши закаты и восходы! Думаешь, если я скульптор, значит, должен любить красоту? Да в гробу я её видал, вашу красоту-мутоту... Я люблю деньги, успех, славу! Баб люблю тоже, особенно чужих. А от вашего поганого искусства меня тошнит. Все вы мне омерзительны — реалисты, сюрреалисты, постмодернисты... болтуны! обезьяны! марьяшки! волнистые попугайчики!

Но особенно осточертела эта погода, этот резко-континентальный климат, чёрт бы его побрал. И сегодня тоже — погода отвратная, мороз, ветер, такая мерзость, хоть застрелись. Ненавижу наш климат. Сраная Сибирь. Страна ссыльных и каторжных. Ненавижу. Все наши беды — от нашего климата: и пьянство, и лень, и звериная злоба... Поскорее бы свалить отсюда и уехать, что ли, в Италию... Почему — в Италию? А потому, что там климат чудесный, там воздух душистый, там всё пронизано красотой, там всё дышит искусством, да и вообще... Что — вообще? А вообще — всё! Там приятно жить! Я там был прошлым летом по турпутёвке — и мне там очень понравилось, так понравилось, так понравилось — до сих пор успокоиться не могу... Мне Италия снится!

А у нас тут — не жизнь, а вечный подвиг. Всюду препятствия и преграды... Надоело — преодолевать! Надоело слушать всяких мудаков и притворяться лояльным и корректным... Надоело притворно улыбаться жене, притворно сюсюкать с дочуркой, у которой уже только трах на уме, надоело выслушивать либеральный бред старика-отца, не сумевшего ничего добиться в жизни за свои семьдесят лет... И по ящику — вечный мусор, продажные политиканы, музыкальные помои, мерзопакостная попса и гнусное заигрывание с гнусной обнаглевшей молодёжью... И на улице — хоть не выходи из дома! Отвратительны эти

слабоумные подростки, матерящиеся с детского сада и целующиеся взасос на виду у прохожих. Отвратительны эти вонючие, пропахшие мочой старики, брюзжащие и тоскующие по славному прошлому, по великой империи, в которой тоже ведь, если честно, ничего хорошего не было, как вообще ничего никогда не могло быть хорошего на этой поганой земле...

Отвратителен и я сам себе — не могу спокойно смотреть на свою морду в зеркале... Типичная рожа озлобленного завистника и неудачника! Острые скулы, жёлтые волчьи глаза, оскаленные зубы, скошенный подбородок... Вот сейчас, когда умылся — посмотрел, замутило — и тут же сблевал...

Но клянусь — я не сдамся! Я не позволю себя уничтожить! Я прогну эту подлую жизнь под себя!

12 февраля

Сегодня терпение моё лопнуло. Позвонил клиенту — богатому цыганскому «барону», заказавшему мне на днях памятник на могилу любимой супруги, — и узнал, что тот отдал заказ другому, куда более известному скульптору, народному художнику России Артёму Тарханову. К стати, моему учителю, наставнику, мэтру. Оказывается, Тарханов сам вырвал у «барона» этот заказ, сам припёр его к стенке и чуть не за горло взял.

— Вася, милый, — бормотал по телефону смущённый «барон» (это я — Вася), — ты меня прости, дорогой, но этот Тарханов — как танк! Он меня задолбал! И ведь самое-то обидное, ему я должен буду заплатить больше, чем тебе... Ты бы слышал, как он на меня пёр! По его словам, он — гений, лауреат, народный художник, суперзвезда, а ты — мальчишка, пацан, недоучка...

— Это я о недоучка?! — взревел я, оскорблённый. — Да этот старый мудака мне сам, собственными руками вручал диплом с отличием и золотую медаль за участие во всероссийской выставке!

— Значит, он — твой учитель?

— Учитель-мучитель! Он думает, что вся Сибирь — его вотчина!

— Да, он мне тоже примерно так сказал, — вздохнул «барон». — Только он сказал не «вотчина», а «зона». Вся Сибирь — моя зона, сказал он... Как я мог ему отказать?

— Да он же просто бандит! Мафиози!

— Тем более... Я ведь и сам не ангел, — и «барон» рассмеялся тихонько. — Зачем же я буду вашего «барона» обижать? Мне ещё в этом городе жить...

Тут я выругался и бросил трубку. Нет, этот гад Тарханов совсем оборзел. Надо его укоротить, пока не поздно!

И я отправился прямо к Тарханову, в его мастерскую, которая располагалась в центре города, на верхнем этаже девятиэтажки. Седобородый Артём Артамоныч открыл не сразу, а когда увидел меня, то нахмурился и буркнул:

— Чего тебе? Я вообще-то работаю, занят...

— Ничего, оторвётесь для важного разговора! — Я дерзко отодвинул его в сторону, шагнул через порог.

— Пьян ты, что ли, Васёк? — сердито проворчал старик Тарханов.

— Я трезв! Я пришёл выяснять отношения!

— Не кричи... И вообще-то воспитанные люди предупреждают о своём визите, предварительно звонят по телефону...

— Бросьте! Уж вы-то — не джентльмен! Не вам учить меня хорошим манерам! Постыдились бы — отбивать заказчиков... да так нагло!

— Кто ты такой, чтоб меня стыдить? — презрительно усмехнулся Тарханов и брезгливо оглядел меня с ног до головы. — Мальчишка...

— Мне сорок пять лет! Я владею профессией не хуже вас! Если б не вы, я давно бы... да я... Это вам давно пора на покой!

— Неблагодарный пацан...

— Скажите ещё — недоучка!

— И скажу. Кто б ты был без меня? Это ж я тебя всему научил — и в институте, и в творческих мастерских... Я давал тебе возможность подзаработать в совместных проектах, я подкидывал тебе первые заказы...

— Ага, как же! Мальчик на побегушках — вот кто я был для вас!

— Нет, ты был подмастерье, а я — мастер, — невозмутимо поправил Тарханов. — Ты и сейчас подмастерье...

— Да ну вас к чёрту! Я сам по себе! Думайте, что хотите, можете меня презирать — но зачем отбивать моих клиентов?

— Ты ещё не дорос до самостоятельной работы, — и старик Тарханов почесал седую бороду, пристально посмотрел на меня своими мутными серо-зелёными глазами. — Ты и так стал себе слишком многое позволять... То надгробный памятник, то мемориальную доску... думаешь, я не знаю? Ты у меня под контролем! И впредь изволь каждый раз со мной согласовывать свои проекты...

— Это ещё почему?!

— Да потому, что, пока я жив, вся Сибирь — это моя зона, — и старик ухмыльнулся, обнажая золотые клыки. — И городское кладбище тоже входит в мою зону...

— Вот и катись туда! — взвизгнул я. — Твоё место на кладбище... живой труп! Вампир! Ты высасываешь из молодых свежую кровь — и только этим живёшь... разве не так?

— Замолчи, щенок, — багровея от гнева, сказал Тарханов. — Постыдился бы — оскорблять — своего учителя...

— Это я-то должен стыдиться? — И я сардонически захохотал. — А ты знаешь, старый козёл, что я сплю с твоей бабой? С твоей молодой женой... с ненаглядной Юлинькой... знаешь?

— Врёшь... — прохрипел Тарханов и даже пошатнулся от этого жестокого и неожиданного удара. — Ты всё врешь... неудачник! Паршивый шакал! Ты врешь!

— А ты у неё спроси, — и я подошёл к нему близко-близко и покрутил перед его носом «рожками» из пальцев. — Ты мне должен быть благодарен, слабак... я и тут ведь тебе помог... без услуг подмастерья-то ненасытная Юлинька давно бы уж тебя бросила!

— Зачем... зачем она тебе? — прошептал старик. — У тебя же есть жена...

— Как — зачем? — злорадно воскликнул я. — Чужой десерт всегда слаще... И вообще, чужие жёны — это моя зона!

— Врё-ё-ёшь... — еле слышно произнёс Тарханов посиневшими губами, взмахнул кулаком, но не успел ударить — и рухнул на пол.

Этого я не ожидал. Передо мной лежал мой соперник, мой бывший учитель-мучитель — бездыханный, подкошенный внезапным то ли инфарктом, то ли инсультом. Я склонился над ним, проверил реакцию зрачков, пульс — сомнений не оставалось: Тарханов был мёртв.

Вот так штука. Кто бы знал, что всё так обернётся...

Я достал из кармана сотовый телефон и хотел уже было звонить молодой жене Тарханова, Юлиньке (с которой мы, если честно, всего пару раз-то и перепихнулись), — но передумал. И в скорую помощь тоже звонить не стал... Зачем? Старику уже не поможешь, а себя вплетать в криминальную историю совсем ни к чему. Разберуся и без меня. Будем считать, что меня тут и не было.

Я повернулся и медленно пошёл прочь из мастерской мэтра.

Выйдя на улицу, остановил такси — и поехал домой, где меня ждали жена Катя и дочка Алёна. Их надо кормить, одевать, оплачивать дочке учёбу, потом выдавать её замуж. А жене давно пора купить приличную шубу. Мы ж не в Италии живём! Да и самому не мешало бы приодеться. Кто ж тебе даст приличный заказ, если ты выглядишь как бомж... И машину пора нормальную завести, не позориться в жигулёнке. А уж о мастерской и говорить нечего — эта проблема вообще перезрела. Разве можно всерьёз заниматься монументальной скульптурой, не имея собственной мастерской? Это нонсенс, нонсенс! Так что тут уж, как говорится, сам бог велел — мне, именно мне, никому другому надо будет занять мастерскую Тарханова. А кому же ещё? Я ведь лучший его ученик, это всем известно!..

Надо будет сегодня же, в крайнем случае, завтра — переговорить с Маринкой из областного министерства культуры. Пусть хлопочет, пусть скажет министру, она у него там в помощницах... Зря, что ли, я трахал её недавно? Сама ведь потом ворковала мне в подмышку — ах, Вася, ах ты, мой ласковый и нежный зверь, большое тебе женское спасибо... Спасибо, Мариночка, сыт не будешь... Пора отрабатывать полученный кайф!

— Теперь вся Сибирь — моя зона, — тихо сказал я сам себе, глядя на своё волчье отражение в зеркале,

и сумрачное моё лицо осветила горделивая улыбка победителя.—Моя зона... Моя!

15 февраля

Сегодня хоронили Тарханова. На городском кладбище, на аллее Славы, по соседству с лучшими и знаменитейшими людьми нашего города. С оркестром, с военным салютом. Он ведь, Тарханов, ветеран войны. Той самой, которая—вов. Огни и воды прошёл, а медные трубы его провожали в последний путь. Народу собралось тьма—и братья по цеху, и родственники, и друзья, и чиновники из городской и областной администрации. Среди венков был даже венок от губернатора. То есть всё по высшему разряду, не хухры-мухры. Будут ли меня так когда-нибудь провожать? Большой вопрос.

И отпевание проходило в кладбищенской церкви. Обряд свершил мой ровесник и однокашник, священник Виталий Жарков, вместе десятую школу когда-то заканчивали. Сейчас он служит в этом храме, а по вечерам занимается с юным поколением в клубе православной молодёжи. Он и сам ещё молодо выглядит, куда моложе своих сорока пяти—круглолицый, улыбчивый, с ямочками на щеках. Отец Виталий в нашей епархии вроде как отвечает за молодёжный сектор, и относится к делу он не формально, со всей душой. Побольше бы таких священников! Впрочем, мне-то лично всё это по барабану, я, как говорится, ни в бога, ни в чёрта... Но отец Виталий—мужик хороший, душевный, добрый, ласковый. И если уж мне когда-нибудь придётся вдруг исповедаться, то это—только ему, никому другому...

На траурном митинге тоже всё было чин по чину—печальные выступления, перечисления бесчисленных заслуг покойного, скорбные лица чиновников, всхлипывания юной Юлиньки, безутешной вдовы, больше похожей на внучку, скупые мужские слёзы на морщинистых мордах коллег, изнывающих от нетерпения—скорей бы, скорей за поминальный стол! От общественности выступил известный историк-патриот, педагог и краевед Алексей Пещеристый, который напомнил собравшимся, что на этом кладбище многие памятники («А на аллее Славы—добрая половина!») созданы руками Тарханова. «Что ж, теперь—ко мне обращайтесь!»—злорадно подумал я.

—Артём Артамоныч был подлинным патриотом Сибири!—надрывно воскликнул Пещеристый.—И Сибирь никогда не забудет своего верного сына! Он памятник себе воздвиг нерукотворный—в наших сердцах!

«О не ставьте мне монумента!—вспомнились вдруг слова бессмертного Фомы Опискина.—В сердцах своих воздвигните мне монумент!..»

От Союза писателей выступил поэт Андрей Отчалин, который напомнил, что именно Тарханов, земля ему пухом, был создателем памятника его отцу, знаменитому сибирскому поэту Геннадию Отчалину, похороненному на этом же кладбище.—Не будем лукавить перед лицом смерти—конфликт отцов и детей вечен,—с горькой либеральной усмешкой произнёс Андрей Отчалин.—И Тарханов,

как и мой отец, был сыном ушедшей эпохи. Он тоже разделял все заблуждения своего времени и не успел в полной мере вкусить плоды демократии и свободы... Но он создал монументальную летопись двадцатого века! Он создал галерею своих современников! И за это мы, представители нового, свободного поколения, будем ему всегда благодарны!

Выступил, разумеется, и я—как ученик и продолжатель дела покойного мэтра. И сказал всё то, что от меня хотели услышать. Безутешная вдова Юлинька смотрела на меня благодарными, полными слёз, влюблёнными фиалковыми глазами. А председатель Союза художников, престарелый пейзажист-маразматик Телков, так был растроган моей речью, что долго не мог начать своё выступление.

А потом, когда дорогой дубовый гроб под душераздирающую музыку бессмертного Шопена опустили в могилу, а упавшую в обморок Юлиньку привели в сознание нашатырём, все расселись по автобусам и личным машинам и отправились на поминки, в мастерскую Тарханова.

Поминальные речи продолжались и там, но уже более сумбурные и менее внятные. За сдвинутыми в ряд столами расселись не менее полусотни гостей. Ели кутью, блины, белую и красную рыбу, бутерброды с чёрной и красной икрой, котлетки рыбные и мясные, жареные куриные окорочка, картофельное пюре, пили всевозможную водку, домашнюю настойку, коньяк и вино на любой вкус, а также брусничный кисель. Бледенькая Юлинька ловко управлялась с застольем, ей помогала румяная подружка Марина из министерства культуры (обе, кстати—мои сопостельницы, извините за выражение).

Слева от меня сидел цыганский «барон». (Это ж надо, Юлинька и его пригласила...) Он сразу же обратился ко мне с деликатной просьбой:

—Вася, дорогой, умоляю—забудь обиду! Кроме тебя, никто не сможет завершить начатую работу...

—О чём вы?—притворился я непонимающим.

—О памятнике на могиле моей жены,—горячо зашептал «барон».

—Но ведь вы же сами отдали заказ другому,—продолжал я придуриваться.—И мне было даже обидно... А теперь... Не кажется ли вам, что это довольно странно...

—Вася, душа моя, солнце моё, не отказывай!—чуть не взмолился черноглазый вдовец.—Никто, кроме тебя! Только ты! Только ты! Хочешь, на колени встану?

—Только не здесь,—растерялся я от его напора.—Зачем же сразу на колени? Станный вы всё-таки народ, цыгане...

—Мы не странный народ, мы горячий народ! Мы верный народ! Мы богатый народ!

—Ладно, ладно, договорились,—кивнул я, приглатывая водку.—Только с одним условием...

—Говори—подпишу не глядя!

—Да я вам и на слово верю,—и я улынулся.—А условие—на счёт оплаты. Вы мне дадите столько же, сколько обещали Тарханову... Договорились?

— Вася! Конечно! Плюс ещё десять процентов!

— По рукам!—и я протянул ему руку.

Мы пожали друг другу руки, а потом выпили, не чокаясь, за моего дорогого мэтра, земля ему пухом, царствие ему небесное, вечная ему память, бесконечное ему потустороннее блаже-е-енство.

Напротив меня сидела Марина—румяная брюнетка из министерства культуры. Выпив пару рюмок, она сосредоточила свой жадный охотничий взгляд на мне, но я не планировал нынче общаться с ней, я планировал вообще-то с Юлинькой безутешной. Впрочем, Марина тоже может мне пригодиться... — Как ты думаешь, Вася,—с печальной улыбкой произнесла она, словно угадав мои мысли,—как ты думаешь, кто более всех из наших скульпторов достоин занять освободившуюся мастерскую Тарханова?

— Думаю, эту мастерскую должен занять я,—сказал я без ложной скромности,—и я даже надеюсь, что ты, свет очей моих, лучезарная моя Марина, окажешь мне в этом всяческое содействие... Не сомневаюсь, что и Телков, председатель нашего Союза, возражать не будет...

— А не слишком ли ты самоуверен, дружок?

— Думаю, что не слишком. Думаю, в самый раз.

— Что ж... Посмотрим на твоё поведение,—вздыхнула Марина, закатывая карие глазки.

— Готов завтра же доказать тебе, Мариночка, свою абсолютную лояльность...

— Завтра-завтра, не сегодня, так лентяи говорят,—капризно произнесла Марина.

— А сегодня, моё солнышко, я обещал помочь твоей лучшей подруге Юлиньке,—сказал я.—Разве можно отказать в просьбе безутешной вдове?

— Ох, смотри, Васёк,—погрозила она мне пальчиком.— Так и быть, сегодня утешь вдову, но чтоб завтра...

— Завтра—к тебе, моя радость! Как штык!

— Как штык—это хорошо,—плотоядно облизнулась Марина, прикрыв глаза и представляя, вероятно, этот самый штык в своём разнузданном воображении.

Справа от меня сидел издатель Михаил Заметкин, который не раз уже порывался обратиться ко мне с вопросом, да всё стеснялся прерывать нашу с Мариной беседу. Наконец, решился—и вкрадчиво спросил:

— А не хотите ли вы, Василий, попасть в энциклопедию?

— В Большую Советскую?—хмыкнул я.

— В Большую Сибирскую энциклопедию,—чётко сказал он, не желая поддерживать мой шуточный тон.— Грандиозный проект! Наше издательство «Сибирь» намерено выпустить десятитомную энциклопедию, куда войдут, среди прочего, и выдающиеся деятели культуры и искусства. Кстати, вы можете сами написать про себя текст...

— Сам?—удивился я.— Так ведь я же могу такого понаписать...

— Я надеюсь на вашу честность и скромность,—всё так же абсолютно серьёзно продолжил Заметкин.— К тому же, у нас есть редактор, он тщательно

всё проверит... Текст статьи не должен превышать семидесяти строк. Плюс цветное фото. И за всё это вы мне должны заплатить всего лишь семь тысяч... рублей, конечно.

— А-а!—рассмехался я.—Ловко придумано!.. За мои же денежки я стану выдающимся деятелем культуры...

— А что такого особенного?—хмыкнул Заметкин.— Должны же мы окупить издательские расходы...

— Значит, каждый может—всего за семь тысяч—попасть в вашу энциклопедию?

— Далеко не каждый... И не каждый—за семь. Кто за семь, кто за десять, а кто и за двадцать...

Чем ценнее человек, тем он меньше платит! Ну а если бы даже и каждый—вам-то не всё ли равно?—Заметкин явно начал сердиться.— Можно подумать, для вас это новость! И ведь не я придумал такую систему... Вон сколько нынче развелось всяких почётных академиков... а сколько дутых лауреатов всевозможных премий... Заплати—и ты академик, или—лауреат. Кому от этого плохо?

— А кому хорошо?

— Всем хорошо!

— Ладно, я подумаю,—и я подмигнул ему.

— Только думайте поскорее. А то я сам—передумаю.

— Ой, не пугайте! Я же не стану менее выдающимся из-за вашей на меня обиды...—И я вдруг замолчал, задумался, и после паузы сказал ему уже не шутя: А вы знаете, Заметкин... Вы меня сейчас с вашей энциклопедией навели на мысль... Почему бы мне, ваятелю, не создать галерею скульптур моих земляков-современников?

— Идея нормальная, но требующая много времени и материальных затрат,—бесстрастно сказал Заметкин.— Не уверен, что вы с этим справитесь.

— А что, если...— снова задумался я, потом посмотрел на него, на других участников поминального застолья.— Что, если... если сделать не просто галерею, а галерею восковых фигур?

— Ну-у, это не серьёзно,—поморщился Заметкин.— Восковые фигуры—это ж не искусство, это аттракцион!

— И что с того? Пусть будет аттракцион, пусть—лучше! Можно сделать салон восковых фигур... или театр восковых фигур!

— Почему—театр?

— Так ведь некоторые из фигур могут быть движущимися... Можно сделать настоящий театр! Показать самых видных людей нашего города, нашей области... Изобразить их в ключевые моменты истории, на фоне декораций, видеоэкранов... Использовать музыку! Современная техника делает чудеса! Это будет почище чешской «Латерны магии»!

— Ну-у...—скривился Заметкин.— Хмельная фантазия... Впрочем, если задумаете всё это делать всерьёз, я всегда готов помочь вам с историческими материалами. Документы, старые газеты, всё, что угодно. И помогу связаться с нужными людьми, с учёными, краеведами...

— Ловлю вас на слове!

Когда все разошлись, я по просьбе безутешной вдовы Юлиньки остался. Должен же кто-то её утешить?

Помог ей прибраться в мастерской, потом мы спустились в квартиру, которая располагалась в этом же подъезде, ниже этажом.

— Ты не против, если я приму душ? — спросила Юлинька.

— А ты не против, если я воспользуюсь твоим туалетом? — спросил я.

— А ты знаешь, что у тебя волчьи глаза? — спросила Юлинька.

— А ты знаешь, что у тебя кукольная мордашка, фиалковые глаза, цепкие пальчики и горячее, прерывистое дыхание? — спросил я.

— Сукин ты сын, — вздохнула она. — Волчара...

И Юля закрылась в ванной комнате, а я — в туалете.

Чуть погода, выйдя из ванной, Юлинька сказала: — Знаешь, по каким приметам я оцениваю мужиков?

— Ну-ка, ну-ка...

— У нас тут тонкие стены — и я слышала, как ты мочился... Тугая звонкая струя! Это хороший признак! Не то, что у моего Артёма... царствие ему небесное... У него в последнее время напора струи совсем не было... кап-кап-кап... Жуткая аденома простаты. От такого партнёра толку мало! — И она вздохнула.

— Зачем же ты с ним жила? — спросил я. — Если совсем не любила — зачем жила?

— Почему не любила? Очень даже любила. Я любила его как отца. И не смейся!

— А кто смеётся? Любила так любила.

— Я любила его как отца! — повторила она серьёзно и горячо. — Он меня очень многому научил, очень многому. И я буду его любить всегда. Как отца!

— А меня?

— А тебя?... а тебя... а тебя...

— Как самца?

— Ах ты, волчара мой желтоглазый... — И она прижалась ко мне, мокрая, горячая.

Я слегка отстранился. Как-то уж слишком всё это...

— Ты чего? Впрочем, если нет настроения, можешь не оставаться на ночь, — сказала мудрая Юлинька. — Но у меня к тебе есть дело.

— Я весь внимание, — сказал я, присаживаясь на тахту.

— Хочу обратиться к тебе с просьбой — сделай Артёму памятник для кладбища... Только не говори, что ты не достоин!

— А я и не думал этого говорить... Я достоин. И я согласен.

— Правда? Правда? — обрадовалась она.

— А чему ты так удивляешься? Почему бы я мог не согласиться?

— Ну-у... — замаялась она. — Ты ведь в последнее время с Артёмом не очень ладил... Я же не слепая — ты был сердит на него!

— Ну и что? Может, я его к тебе ревновал?

— Ой, только не надо вот этого! — возмутилась Юлинька. — Не надо врать! Ты — его — ревновал — ко мне?! Чтобы я — поверила в этот бред?

— Но ведь ты же мне нравилась, это факт.

— Это — факт, — кивнула она, улыбаясь и протягивая ко мне руку, и глядя меня по щеке, и царапая меня острыми ноготками. — А чем ты сможешь подтвердить, что это — факт?

— То есть прямо сейчас?

— Ну да.

— Ты хочешь — прямо сейчас — подтверждения этого факта?

— А ты что — идиот? — взорвалась она. — Ты разве не видишь, садист, фашист, гестаповец, что я жутко хочу тебя? Ты слепой, что ли?

— Я не слепой, — сказал я, притягивая её к себе. — Но я предпочитаю делать это в темноте.

— Как скажешь, дорогой, — и Юлинька выключила свет.

А утром, когда мы пили чай с лимоном и ели блинчики со сметаной, я вдруг вспомнил вчерашнюю свою фантазию насчёт театра восковых фигур — и поделился с Юлинькой. Она выслушала меня серьёзно и очень внимательно.

— Дело стоящее, — сказала она. — И место подходящее есть.

— Это где же?

— А в центральном парке. Там сейчас пустует большой павильон, где раньше был кинозал... Но недавно мы прикинули и решили, что кинотеатр в парке не очень рентабелен, и вот... В этом павильоне вполне можно было бы и устроить твой Музей восковых фигур. Очень даже удобно! И вполне уместно — там ведь рядом два павильона поменьше, в одном Комната смеха, в другом Комната страха... А между ними был бы твой Музей восковых фигур!

— Вообще-то я хотел не музей, а театр...

— Будь реалистом, милый. Какой, на фиг, театр? Музей восковых фигур — как у мадам Тюссо.

— Ты сказала — «мы прикинули и решили»... Кто это — мы?

— Мы — это я, — сказала Юлинька. — Ну, чего уставился? Думал, я просто жена знаменитого скульптора, и всё? Домашняя хозяйка — так, что ли? Парк давно уж принадлежит мне, на правах долгосрочной аренды...

— Как это?

— А ты разве не знал? — улыбнулась Юлинька. — Да, я взяла в аренду весь центральный парк, на двадцать пять лет... Так что, могу делать там всё, что мне вздумается. Разумеется, на благо наших граждан!

— Разумеется, — кивнул я.

8 марта

Покорение Сибири продолжается!

Я уже сделал мемориальную доску с барельефом Тарханова, которая должна украсить дом, где он прожил полвека. Вскоре будет завершена работа по созданию памятника жене цыганского барона, гонорар уже мною получен. А там займусь и заказанным Юлинькой памятником, который будет установлен на могиле Тарханова.

На днях румяная Марина конфиденциально сообщила мне, что министр культуры, поддержанный

губернатором, решил поставить в городе памятник жёнам декабристов, самоотверженно отправившимся вслед за своими мужьями в Сибирь. И Марина, как особа приближённая к власти, при первом же случае намекнула министру, что никто в нашем городе лучше Василия Бирюкова (то есть меня) не сможет осуществить этот грандиозный проект. И вот я уже набрасываю эскизы, а моделями для этих самых декабристских жён станут, конечно же, мои драгоценные женщины — моя любящая жена Катя, моя верная подруга Марина и моя надёжная, безутешная вдова Юлинька. Моя тройка... моя птица-тройка!

Что бы я делал в этой жизни без прекрасных дам? Кстати, сегодня — 8 марта, женский праздник, и каждая из них достойна своего букета роз, абсолютно каждая... Первый букет — жене Кате — за её многолетнее терпение и любовь, второй букет — дочери Алёне, третий букет — Марине из министерства культуры, которая оказалась хороша не только в постели, но и в деле — ишь ты, в рифму заговорил! — это ж надо, с какой поразительной оперативностью переоформила она на меня мастерскую Тарханова, куда я уже в ближайшие дни намерен перебраться... Тут, конечно, и безутешная вдова Юлинька помогла, посодействовала всячески, а ведь могла бы и воспрепятствовать... но всё удивительно так сошлось, совпало — одно к одному! И поэтому Юлиньке — самый пышный, самый роскошный букет — за её доброту и смекалку, за её любовь и дружбу, за её полезные советы насчёт музея восковых фигур.

Ведь это она свела меня с Вайсом, неким заезжим специалистом по этой части, с которым мы наверняка ещё сработаемся. Правда, живёт он в Питере, но готов, если я ему хорошо заплачу (а я скупиться не стану), так вот, он готов помочь в создании такого музея. Он мне целую лекцию на эту тему прочёл!

— Вы, конечно, слышали о музее восковых фигур мадам Тюссо в Лондоне, — закатывая глаза, вещал Вайс. — Филиалы этого музея существуют во многих городах мира. Есть и в России музеи, салоны и даже целые театры восковых фигур. У нас в Питере создана группа компаний «Восковые фигуры», организующая гастрольные выставки в России и странах СНГ.

— Почему людям нравятся именно восковые фигуры? — спросил я.

— Да, в этом есть нечто мистическое, — Вайс прерывисто вздохнул. — Почему художники с древних времён любили работать именно с воском? Вероятно, любили они его за податливость, теплоту, живость и некоторую, что ли, сакральность. Не случайно воску издавна придавался особый, магический смысл — ведь это вещество, созданное пчёлами, соединяет в себе мир живых и мир мёртвых. Созданные из воска изображения богов очень ценились древними греками, они им поклонялись. А в древнем Риме с лиц знатных покойников снимали гипсовые слепки, по которым затем отливали восковые маски. Их несли потом рядом с умершим во время похоронных процессов. Считалось, что

маска придаёт силы духу умершего, помогает ему благополучно добраться до загробного мира, защищая от испуга перед злыми духами...

— Ну, мы-то с вами не верим во все эти сказки, — усмехнулся я. — Меня больше интересует организационная сторона дела. Вы можете мне не только достать воск, но и обеспечить техникой, нужными специалистами...

— Можете быть совершенно спокойны, — заверил Вайс, закатывая глаза. — В этом бизнесе я как рыба в воде, плаваю двадцать лет — и все заказчики были довольны. Специалисты я вам обеспечу. Нам потребуются пастижеры, литейщики восковой смеси, выклейщики корпусов, гримёры, швей... и инженеры-конструкторы!

— А эти зачем? Уж не замахиваетесь ли вы на театр?

— Почему бы и нет? Это и будет театр восковых фигур! Некоторые из фигур будут движущимися роботами, с использованием передовых технологий... А какую можно создать бутафорию! Светящиеся краски, видеоэкраны, лазеры, стереоэффекты!..

— Не уверен, что мы потянем такие расходы, — усомнился я, глядя на Вайса с опаской.

— Ну, не сразу... пока ограничимся музеем восковых фигур, а потом можно будет раскошелиться и на движущиеся экспонаты-роботы... В любом бизнесе надо мечтать! Мечта — двигатель прогресса! — Мечтать не вредно, — согласился я, — но пока мне хотелось бы получить хоть приблизительную смету... и нечто вроде бизнес-плана...

— Извольте! — радостно воскликнул Вайс и, словно фокусник, вытащил из внутреннего кармана пиджака требуемые документы.

5 апреля

Прежде всего я решил изваять президента и премьера — они должны были стоять на трибуне мавзолея, дружно взявшись за руки, как Герцен и Огарев на Воробьёвых горах. Потом примусь за нашего губернатора, потом за мэра. Наверяд ли они согласятся идти позировать в мастерскую, обойдусь фотоснимками.

А уж прочие, простые смертные, пусть даже самые заслуженные — нехай раскошеляются, расплачиваются за пиар, за славу!

17 апреля

Сегодня ко мне в мастерскую явился наш местный классик — писатель Колыхалов, некогда популярный, а ныне почти забытый. Привела его любящая дочурка — известная в городе бизнесвумен, хозяйка нескольких магазинов и ателье. Пока Колыхалов посещал туалет, дочка мне намекнула, что за ценой не постоит — лишь бы её замечательный папаша был показан во всём его монументальном величии.

— Не волнуйтесь, всё будет по первому разряду, — заверил я её.

— У меня потом к вам будет ещё одна просьба, — заговорщически зашептала богатенькая дочурка. — Только папе — ни-ни, ни слова!

— Я весь внимание!

— Мне хотелось бы заранее вам заказать памятник моему папе,— быстро-быстро шептала она.— Да, конечно, он ещё жив, но ведь он так стар... и здоровье у него отнюдь не богатырское... Но когда он покинет нас, я уверена, я в этом не сомневаюсь, благодарные читатели будут его вспоминать и читать-перечитывать долгие-долгие годы! Может быть, даже вечно!

— Что ж, об этом мы с вами потом потолкуем наедине,— подмигнул я ей.— Можно сделать памятник и при жизни— был бы гонорар...

— Об этом можете не волноваться!

— А я и не волнуюсь... Кстати, вот и ваш папа!

Живой классик с расстёгнутой ширинкой вышел из туалета и направился к нам походкой пьяного бегемота.

— Ну, куда мне садиться?— пробасил он и, не дожидаясь моего ответа, уселся в кресло и принял царскую позу.— Валяй, ваятель!

— Расслабьтесь, почувствуйте себя как дома,— сказал я ему.— Можете курить, разговаривать, звонить по сотовому...

— Ладно, я пошла,— сказала дочурка.— А ты, папуль, когда освободишься, позвони мне— я пришло за тобой машину. Пока!

— Вот непоседа,— проводил её любовным отеческим взглядом Колыхалов.— Крутится, вертится, как белка в колесе... Егоза! Ни минуты покоя!

— Такова жизнь,— сказал я, чтобы что-то сказать.

— Жизнь нормальная,— пробасил классик.— Не то что при проклятых коммуниках! Ох, уж и попили они у нас крошечки...

— У вас?

— У всего народа...— Колыхалов откашлялся.— Да и мне немало пришлось от них натерпеться. Чего стоила партийная цензура, будь она проклята! А редакторские придирки! А критические наскоки в печати! Обо всём этом я пишу сейчас в своих мемуарах... Но меня они не сломили... я не таковский!

Я слушал его слова как песню, как фантастическую легенду. Уж я-то знал от его же собратьев по писательскому цеху, что в былые годы популярный тогда романист Колыхалов ежедневно, как в храм, заходил в обком партии и не менее двух-трёх раз в неделю посещал грозную контору на улице Дзержинского. Что уж он там делал, в этой конторе, можно только догадываться. Может, пользовался тамошним архивом— для собирания материалов к очередному роману. А возможно, и сам пополнял тот архив своими сокровенными, нигде не опубликованными сочинениями...

29 апреля

Сегодня созвонился с поэтом Андреем Отчалиным, который согласился позировать для музея восковых фигур. Правда, он честно предупредил, что много заплатить не сможет. Да и позировать в мастерской ему вообще-то некогда.

Встретились в городском дк, на заседании литературной студии «Весна», которой Отчалин руководит уже лет десять. Посидел я, послушал их дерзкие, а то и хулиганские стихи, деликатно похлопал. Сделал кучу портретных набросков, снимал поэта на цифровой аппарат.

Потом сам Отчалин, здоровенный парень с тяжёлым подбородком боксёра, явно позируя мне, произнёс монолог о крахе реализма и постмодернизма, воспел хвалу «новой искренности», а в завершение вечера прочёл поэму, посвящённую покойному отцу. Поэма называлась «Изысканный труп». В ней описывалось, как по ночам мёртвый отец автора, некогда знаменитый сибирский поэт Геннадий Отчалин, встаёт из могилы и пьёт кровь у спящих живых земляков, в том числе у собственного сына. После чего снова укладывается в могилу, и этот кошмар продолжается вот уже много-много лет...

— Отец, скажи— доколе?!

Кончай меня терзать!

Оставь меня в покое!

Я сам хочу дерзать!

Ну и так далее.

Ошеломлённый, я с ужасом слушал всю эту ахинею и лихорадочно соображал, как же мне лучше изваять в воске несчастного поэта и его ещё более несчастного отца-вампира...

1 мая

С редактором коммунистической газеты «Красная Сибирь» Олегом Красновым мы встретились в ресторане «Калинка-малинка», где вся редакция и друзья газеты отмечали день солидарности трудящихся.

С удивлением я обнаружил среди гостей одного из заместителей губернатора, спикера областного парламента и нескольких депутатов, отнюдь не коммунистов. Ещё больше я удивился, когда вся честная компания быстренько напилась и запела хором «Мой адрес— не дом и не улица, мой адрес— Советский Союз!..» Пели они с таким жаром, с таким энтузиазмом, что даже я стал невольно им подпевать...

А куда денешься?

— Не стесняйся, Васёк!— кричал мне захмелевший Олег Краснов.— Не стыдись своей любви к советской родине! Коммунизм ещё будет построен! Его построят наши дети и внуки! Поверь мне, Васёк,— коммунизм неизбежен! Нравится, не нравится, терпи, моя красавица... Спротивление бесполезно! Смирись, гордый человек! И не спорь, Васёк!

А я и не спорил. Коммунизм, капитализм, сюрреализм— не один ли хер? Конеч-то у всех один— у красных ли, белых ли, голубых...

11 мая

Не сразу уговорил я отца Виталия, чтобы и он согласился стать моделью для моего музея восковых фигур. «У меня и денег-то нет, а вам ведь нужны деньги?»— говорил он смущённо. Но на всякий случай он запросил епархию, и с удивлением услышал от архиепископа, что тот не только не против, но даже активно поддерживает эту богоугодную идею и готов заплатить за такой пиар.

В мастерскую священник пришёл не один, а с группой молодых ребят, членов клуба православной молодёжи «Витязи». Поначалу они стеснялись,

смущённо оглядывались по сторонам, но постепенно разговорились, осмелели. Потом начали обсуждать увиденный недавно фильм «Остров», потом вдруг заспорили о том, какая рок-группа из нынешних лучше и устарела ли рок-опера «Иисус Христос—суперстар»... Я смотрел на них, слушал их разговоры, делал свои наброски.

А уже под конец, когда гостям пора было расходиться, отец Виталий неожиданно вдруг спросил у меня:

— Нет ли у вас мяча?

— Какого мяча?

— Да любого... лучше б, конечно, футбольного! На худой конец, волейбольного...

— Н-нет... мяча у меня нет.

— Очень жаль.— И он рассмеялся по-детски.— Обычно мы каждое заседание нашего клуба заканчиваем игрой в футбол!

— Да, я помню, вы мне рассказывали... Вы ведь тоже с ними играете?

— А как же! Я вратарь, я стою на воротах.

— Значит, так вы пасёте овец своих, отец Виталий?

— И так тоже. По-разному!— Он снова рассмеялся, и ямочки заиграли на его щеках.— Если честно, я чувствую себя не отцом, а их старшим братом...

— Знаете, я вам завидую.

— Знаю.— И он посмотрел на меня без улыбки.

А я вдруг вспомнил, что мы с отцом Виталием—одногодки и однокашники. Почему же он кажется мне таким отчаянно молодым, а сам я кажусь себе таким стариком?

— Послушайте, Василий...— Он мягко тронул меня за плечо.— Я долго думал, сомневался—и вот сейчас решил. Не надо делать мою восковую фигуру... Не надо!

— Но как же так!— растерялся я.— Мы ведь договорились с вашим начальством...

— А вы сделайте фигуру архиепископа,—и отец Виталий ласково улыбнулся.— Он будет доволен, я в этом уверен. А я... мне это не надо... Вы только не обижайтесь!

— Эх, Виталья, Виталья,—я рванулся к нему, схватил его за плечи, притянул к себе.— Да разве я не понимаю, что всё это—бесовство? Это ты меня прости... ради Бога!

— Бог простит,—пообещал священник.

22 мая

С педагогом-патриотом Алексеем Пещеристым мы встретились на острове Отдыха, где он, как обычно по воскресеньям, проводил занятия с молодёжным отрядом «Сибирские орлята».

— Смотри, Васёк—это наше будущее!—воскликнул Пещеристый, с гордостью кивая на своих «орлят».—Из них вырастут настоящие патриоты, не то что нынешнее гнилое племя... Здесь, на острове, мы каждое воскресенье тренируемся в стрельбе по мишеням, занимаемся рукопашным боем, изучаем историю родной страны... Закаляем тело и дух!

— Программа у вас хорошая,—промямлил я.— А кто это там изображён на мишенях, по которым ребята стреляют?

— Как—кто?—И Пещеристый расхохотался.— Да это же главные враги России! Президент и премьер!

Мы расстреливаем их в упор! И не дрогнет рука, когда настанет час «Икс», и труба позвёт на последний, решительный бой! Что скажете, братцы? — Так точно, командир!— дружно рявкнули «орлята».

— А вы не опасаетесь, что вас обвинят в экстремизме?—осторожно спросил я.

— А нам насрать!—оскалил зубы Пещеристый.— Мы—будущее России! Мы наведём порядок в родной стране! Мы не позволим захватить нашу родину ни китайцам, ни американцам, ни арабам с чеченцами! Если что, мы уйдём в леса и начнём партизанскую войну! Чего ты ухмыляешься? Нас поддерживают в силовых структурах и даже в органах исполнительной власти... Я знаю, что говорю! А все эти сраные либералы, журналисты и прочая сволочь—мы всех их ещё развесим по фонарям! Я прав, ребята?

— Смерть врагам народа!—охотно откликнулись «орлята».

— Вот так-то!—и Пещеристый смачно сплюнул.—

Недавно один мудака в своей жёлтой газетке назвал меня «нечистоплотным типом»... Да я в тыщу раз чистоплотнее, чем все эти либеральные жидочки! Я каждую субботу моюсь в бане, ежедневно меняю труселя, принимаю душ по утрам и вечерам, а иногда и по ночам два-три раза моюсь... ха-ха... не в обиду будь сказано этим импотентам... Ха-ха-ха!

— Это круто,—кивнул я.

13 июня

Разве мог я предположить, что семейное торжество превратится в такой кошмар?

В этот вечер мы решили с Катей отметить двадцатипятилетие нашего брака... Серебряная свадьба! Гостей созывать не стали, собрались в узком семейном кругу—мы с Катюшей, дочь Алёна и мой отец. Алёна очень походила на молодую мать—когда-то Катя была такая же стройная, русоволосая, глазки-вишенки. После родов её разнесло, а вернуть былую стройность Катя не сумела, да, похоже, не очень-то и хотела. Папаше недавно стукнуло семьдесят, он совсем сдал, ослаб, былой петушинный задор исчез окончательно. Но на моё приглашение откликнулся охотно. Пришёл и даже подарок принёс—огромный толстенный том «Дон Кихота». Любимая книга старого фантазёра.

Первый тост я предложил за мою дорогую и ненаглядную супругу, мою многотерпеливую и многострадальную, верную и надёжную спутницу жизни. Катя криво улыбулась и подняла бокал, папа тоже поднял свою рюмочку с коньячком. А вот Алёна смущённо пожала плечами:

— А мне нельзя...

— За родную-то мамочку—и нельзя? Это ещё почему?—возмутился я.

— Ладно, не трогай её, Васёк,—сказала жена.— Ей и правда нельзя...

— Да почему?!

— Уж не в интересном ли ты положении, Алёнка?—лукаво заметил догадливый мой папаша.

— Да, дедушка... именно так,—кивнула бледная Алёна.— Врач не советовал...

— Постой-постой! — воскликнул я. — Ты что, беременна?

Алёна молча кивнула, опустила глаза.

— Да ты глазки-то не опускай! — взвился я. — Ты мне скажи конкретно — да или нет?

— Да...

— А на каком месяце?

— Папа... не всё ли равно? Аборт я делать не буду... мы это решили.

— Кто это — мы?

— Мы — это мы! — сказала моя жена. — И Серёжа — тоже.

— Ишь ты, стихами заговорила... — скрежетнул я зубами. — А Серёжа твой — он хоть совершеннoletний?

— Не волнуйся, он старше меня на год, нынче заканчивает универ — и мы будем жить у него... Ты только не волнуйся, папа.

— Никто не волнуется! — крикнул я. — Но в этом доме всё-таки я хозяин! И ты моя дочь! И я буду решать — где и с кем ты будешь жить!

— Васёк, ты с ума сошёл? — прошептала жена. — Чего тут решать, всё уже решено... Алёна родит сыночка, будет жить с Серёжей, раз им так хочется... а у тебя будет внучек...

— Так вы уже и за меня всё решили?! У меня будет внучек! А я вам заказывал этого внучка? И с чего вы решили, что будет внук, а не внучка?

— Папа, ну не тупи... для чего же существует узи? — сказала Алёна.

— Ты молчи! Сиди и помалкивай!

— Я могу и уйти! — вспыхнула дочь.

— Только не пугай меня, пожалуйста...

— А я не пугаю. Но и ты на меня не кричи... пожалуйста...

— Эх, вы-ы... — горестно вздохнул я. — За моей спиной... не сказав мне ни слова... Дочь блудит — а мать потекает... Яблоко от яблони...

— Что ты хочешь этим сказать? — вскочила из-за стола Катя. — Что это значит — яблоко от яблони? Разве я когда-то блудила? Я хоть раз завела с кем-нибудь шашни за твоей спиной? В отличие от тебя, между прочим...

— Что за намёки? — вскочил и я.

— А ничего. Лучше за собой следи, а не за другими...

— Заткнись!

— Ты мне рот не затыкай!

— Ладно, хватит, — тоскливо произнесла Алёна, покидая скомканное застолье. — Извините, что я своим блудным поведением испортила вам семейный праздник... Видит Бог, я этого не хотела.

— Куда ты направилась? — крикнул я.

— Пойду к Серёже.

— А я тебя не отпускаю!

— А я всё равно пойду. Я ведь блудная дочь... вот и пойду блудить дальше. — Она вдруг взглянула на моего отца — и вскрикнула: Дедушка, что ты?! — Деточка... деточка... деточка... — бормотал мой отец, и слёзы текли по его морщинистым щекам. — Я тебя никогда не брошу... деточка... солнышко моё...

— Деда, родной! — кинулась она к нему, упала перед ним на колени, прижалась к нему и разрыдалась. — И я тебя тоже, деда... я тебя тоже никогда

не брошу! Но сейчас мне надо уйти... ты прости меня, деда! Пойми и прости! Мы потом с тобой поговорим... мы с тобой завтра же поговорим! Завтра же! Я к тебе завтра приеду, и всё тебе расскажу! А хочешь, мы с Серёжей к тебе приедем, и ты с ним познакомишься... он хороший! Он очень хороший, он тебе понравится! Хочешь?

— Хочу... непременно хочу... непременно завтра... — бормотал мой выживший из ума папаша, заливаясь щедрыми мужскими слезами. — Деточка ты моя... я всегда с тобой... так и знай... так и знай...

— Да я знаю, деда — ты мой лучший друг!

И Алёна расцеловала старика в мокрые щёки, а потом вскочила и бросилась в переднюю.

— Остановись, Алёна! — крикнул я, но за ней уже захлопнулась дверь.

Мы сидели втроём за нетронутым праздничным столом, полным разных напитков и всевозможных закусок. Жена постаралась, она умела готовить. Она любила готовить. Она любила семейную жизнь. Она любила свою семью. Она любила дочь и меня. Но сейчас она смотрела на меня с ненавистью.

— Ну, чего ты так на меня смотришь? — спросил я. — Предлагаю выпить... был тост — а мы так и не выпили.

— Господи... Что ты за человек? — прошептала жена.

— Я человек нормальный, — сказал я, выпивая большую рюмку коньяка. — Я нормальный муж и нормальный отец. Строгий, но справедливый. А вот ты...

— Что — я? Что — я?!

— Тихо, тихо... Не надо брать меня на понт. Развела тут бордель, распустила дочку... а теперь хочешь всю вину свалить на меня?

— Ты — урод, — сказала жена мёртвым голосом. — Ты уродуешь всех, к кому прикасаешься... И не тебе учить нас высокой морали и нравственности! Думаешь, я не знаю про всех твоих баб? Про всех этих Мариночек, Юлинок, Ниночек...

— Не знаю я никаких Ниночек!

— Ага! Значит, Мариночку с Юлиночкой — знаешь? Да всё мне про твои дела известно! Люди добрые аккуратно докладывают! Мир не без добрых людей! Твои же девки и проговариваются!

— Прекрати! Замолчи сейчас же! Пожалей моего отца...

— А пусть знает, кто его сын! Ох, простите меня, Сергей Васильевич... простите, ради Христа...

— Деточки... деточки... — бормотал мой совсем очумевший папаша, и слёзы всё текли и текли по его щекам.

Я налил себе полную рюмку — и выпил молча. Даже закусывать не хотелось, так я был расстроен. Это ещё мягко сказано — расстроен. Бунт на корабле! Бабий бунт на семейном корабле! Такого у нас никогда не бывало... Вот и дожил, ваятель своего счастья.

— Извините меня, — проговорил вдруг папаша, вставая из-за стола. — Спасибо за угощение, но я тоже... пойду домой. Мне пора. Я чего-то устал сегодня.

— Сергей Васильевич! — кинулась к нему Катя. — Это всё я виновата! Простите меня! Мы сейчас все успокоимся — и продолжим... всё-таки, ведь у нас сегодня — серебряная свадьба...

— Нет, мне правда пора идти, — не глядя на неё, бормотал старик. — Всё было очень вкусно... я попробовал ваши салаты... честное слово! Я очень устал...

— Отец, я тебя провожу, — сказал я.

— Не надо. Лучше вызови для меня такси.

— Так ведь я тебя сам могу отвезти, на своей машине!

— Нет, не надо... ты выпил... нельзя...

— Хорошо. Ты пока одевайся, а я вызову тачку, — и я вытащил из кармана сотовый, стал набирать нужный номер.

Такси прибыло раньше, чем отец зашнуровал свои туфли.

Я спустился с ним в лифте, вышел на крыльцо. Шофёр приоткрыл дверцу.

— До свиданья, отец, — и я обнял его худые плечи, прижал его к себе. — Всё образуется... вот увидишь, отец, всё ещё образуется!

Мне казалось, что он снова сейчас заплачет — теперь уже от умиления — и я стану его утешать, и тоже заплачу невидимыми миру слезами, и мы будем стоять, обнявшись, стоять и молча плакать, два любящих друг друга, два родных человека, и я прощу его за то, что когда-то он оставил нас с матерью, после чего мать спилась и вскоре умерла, а он простит меня за всё моё скотство и моё хамство, и взволнованный шофёр тоже еле сдержится, чтобы не прослезиться, и все трое мы будем связаны незримыми узами мужской сентиментальной солидарности...

Но отец не заплакал. Он высвободился из моих объятий, отстранился и посмотрел на меня странным, строгим, совсем не старческим и совсем сухим бесслёзным взглядом.

— Мне стыдно за тебя, — сказал отец. — Ничего у тебя не образуется... Ты пропал, Васёк. Ты пропал окончательно. Мне так стыдно за тебя...

— Это я-то пропал?! — возмутился я. — Да у меня как раз всё отлично! Ты мне просто завидуешь, папа... ведь ты — неудачник! Писатель! Какой ты, на хрен, писатель? Где твои книжки? Кто их читает? А у меня всё в порядке, па-поч-ка! Скоро весь город будет заставлен моими скульптурами! Меня завалили заказами, нет отбоя от клиентов... Ты мне просто завидуешь, вот и всё!

— Боже мой... какой стыд... — еле слышно прошептал отец. — А ведь я так надеялся на тебя... так в тебя верил... Ты — карикатура на мои мечты!

— Так мы едем или нет? — спросил, высовываясь из машины, шофёр.

— Едем... едем немедленно! Прочь отсюда! — крикнул отец с неожиданным пафосом.

Старый фигляр. Без театра никак не может... Дешёвый писака... Беллетрист!

Я не стал возвращаться, захлопнул дверь подбезда, даже не позвонил Кате, что не буду ночевать дома. Пусть посидит за нетронутым праздничным

столом, пусть поплачет, потоскует в одиночестве, пусть призадумается над своим поведением, пусть осознает в конце концов, кто же в доме хозяин.

Отправился к Юлиньке, которая встретила меня так радостно, что я даже удивился. Мне-то всегда казалось, что у нас с ней так себе, мимолётный романчик, а тут вдруг повеяло чем-то настоящим, заждавшимся, очень даже серьёзным... Меня это насторожило, но не очень. Влюбилась вдова — и ладно. Молодая, красивая, свежая, не рожавшая... что может быть лучше для деловой подружки?

— Утебя неприятности? — проворковала Юлинька, прижимаясь ко мне, как рябина к дубу. И угадала: С женой поссорился? Ах, она, такая-сякая... не может понять, что творческие люди — как дети, с ними надо бережно и нежно... Давай я тебя утешу, мой милый... мой славный... мой дорогой желтоглазый волчара... Пошли в постельку... вот так... вот сюда... ну чего ты хочешь, мой милый? Чего бы ты хотел больше всего в жизни?

— А ты кто — волшебная штука из сказки?

— Да, я штука... Ты только скажи — по щучьему велению, по моему хотению... и я всё исполню! Любое твоё желание!

— Ладно, уговорила. По щучьему велению, по моему хотению — желаю оказаться в Италии!

Она с любопытством смотрела на меня своими фиалковыми глазами.

— Что, щучка, слабо? — усмехнулся я.

— Отнюдь, — сказала Юлинька. — Будет тебе Италия. Будет всё, чего ты захочешь!

19 августа

Может, всё, что произошло в этот день, мне только приснилось?..

А ведь как замечательно всё начиналось! На церемонию открытия музея восковых фигур собрались лучшие люди нашего города. К воротам центрального парка съезжались вип-лимузины в сопровождении эскортвов. Даже сам губернатор, недавно назначенный, — молодой, деловой и красивый, — даже он осчастливил своим присутствием. Пришёл не один, а с такой же молодой супругой, которая специально прилетела из Москвы, чтобы удовлетворить своё любопытство — что это за музей восковых фигур во глубине сибирских руд? Явились и мэр, и спикер областного парламента, и несколько депутатов, и наш министр культуры, и стая чиновников... А уж сколько налетело журналистов! И газетчики, и телевизионщики, и местные, и столичные соборки. Особенно их привлекла весть о том, что после церемонии открытия должен состояться шикарный фуршет с обильной выпивкой и закуской. Пришли и вечно голодные и жаждущие халявы писатели, и вечно пьяные художники, и бескорыстные любители искусства, и просто любопытные обыватели, и случайные посетители, оказавшиеся в этот вечер в парке и привлечённые завлекательной музыкой и фейерверком.

Как и было запланировано нами с Вайсом, Музей восковых фигур удачно расположился в просторном павильоне между Комнатой Страха

и Комнатой Смеха, словно символизируя мудрый баланс между этими крайними человеческими эмоциями и как бы напоминая слова Спинозы: «Не плакать, не смеяться, но понимать».

Мы с министром культуры перерезали ленточку, а потом я широким жестом пригласил всех последовать за мной. В первой комнате все увидели Ермака, стоящего слева, как и положено, на диком берегу Иртыша. В правом углу комнаты стоял в задумчивой позе наш молодой губернатор, как бы обременённый грузом свалившихся на него забот. А в центре, на трибуне Мавзолея, стояли, взявшись по-братски за руки, президент и премьер-министр, устремившие взгляды куда-то ввысь и вдаль, за видимый только им горизонт, где всюду разгоралась заря их светлого будущего...

— Ну прямо будто живые! — восхищённо воскликнул министр культуры.

— М-да-а... — произнёс губернатор.

— Прошу следовать дальше, — пригласил я высоких и просто гостей. — В этой комнате вы видите выдающихся деятелей сибирской науки и культуры. Перед вами — академик Корзинкин, запустивший ракеты на Марс и Венеру, а это — наш живой классик, знаменитый писатель Колыхалов...

— Однако, Васёк, ты мастак! — пробасил Колыхалов, любуясь на своего воскового двойника. — Так похож, даже страшно...

— А это — наш знаменитый скульптор Артём Тарханов, — продолжал я экскурсию. — Недавно он нас покинул, но здесь он — совсем как живой... Видите — мастер приветствует нас, раскинув руки! — Поразительно... — прошептала жена губернатора.

— А это — семейная пара двух поэтов — отец и сын Отчалины! Отец обнимает сына, как бы напутствуя его, как бы передавая ему поэтическую эстафету... — ...как бы целуя его врас, — дерзко добавил из-за моего плеча Андрей Отчалин, — как бы стараясь вкусить его свежей крови...

— Поэт, разумеется, шутит! — притворно расхохотался я, и повлёк гостей дальше. — А здесь вы видите редактора «Красной газеты» Олега Краснова — он стоит на баррикаде с развевающимся красным флагом... Разве не похож?

— Похож-то похож, — с некоторым сомнением произнёс губернатор, — но не слишком ли это круто? — А мне нравится, — одобрил сам Краснов. — Моя газета всегда звала на баррикады... фигурально, конечно.

— Разумеется, фигурально, — подхватил я. — Ведь это же восковые фигуры! Значит, всё, что вы здесь увидите, надо воспринимать фигурально. Идём дальше, дамы и господа. Эта комната посвящена молодому поколению. В центре вы видите группу «Наших», сжигающих на костре омерзительные произведения писателей-постмодернистов. Слева — группа юных православных христиан во главе... — я споткнулся, откашлялся и продолжил: — ...во главе с архиепископом Анатолием. А справа — отряд молодых патриотов «Орлята» во главе с известным педагогом-историком Алексеем Пещеристым... — А почему у них в руках автоматы? — поинтересовался губернатор.

— Ну, это символ... это же фигурально... — смутился я.

— И вовсе не фигурально! — завопил вдруг выскочивший словно чёрт из табакерки Алексей Пещеристый. — Очень скоро мои «Орлята» возьмут в руки настоящие автоматы — и тогда вам всем, господа, придётся давать ответ за свою антинародную политику!

— Скажите ему, чтоб заткнулся! — зашипел мне министр культуры. — Уберите отсюда этого экстремиста!

К Пещеристому кинулись плечистые охранники, телохранители губернатора.

— Руки прочь! — завопил, словно его режут, Пещеристый. — Вы все продались мировому капиталу! Вам не удастся заткнуть мне рот! Патриоты Сибири сметут с лица сибирской земли всю эту нечисть! «Орлята», ко мне!

— Мы здесь, командир! — взревели юные голоса — и комната мигом наполнилась вбежавшими парнями, вооружёнными металлическими прутьями и деревянными битами. — Смерть врагам народа!

Гости попятылись, многие в страхе побежали прочь. Телохранители окружили губернатора плотным кольцом, выхватили пистолеты.

— Пусть сегодня прольётся наша кровь! — вопил явно пьяный Пещеристый. — Пусть мы погибнем! Но завтра — поднимется вся Сибирь, вся Россия! И тогда вы умоетесь нашей кровью! Вам отольются слёзы униженного народа! А сейчас мы разрушим весь этот балаган! Братцы, круши!

— Все выходим, — негромко, но строго сказал губернатор, и все, кроме отряда «Орлят», ринулись к выходу. — Без паники, господа!

Но без паники не обошлось. Не обошлось и без давки, без истерических выкриков и женского визга. А уж когда кто-то из губернаторских телохранителей не сдержался и выстрелил в воздух, начался настоящий кошмар. Люди рвались к выходу, лезли по головам, давили упавших. Внезапно погас свет, а потом вдруг в дальнем углу вспыхнуло пламя.

— Пожар! — закричали сразу несколько человек. — Мы тут сгорим, как цыплята!

— Это всего лишь короткое замыкание! — пытался я их успокоить. — Господа, без паники! Выходите спокойно, сейчас вызовем пожарную команду, и всё будет в порядке...

— Молчи уж, провокатор, — шипел уползающий на карачках министр культуры. — Ты мне ответишь за это безобразие! Ты нам за всё ответишь!

Огонь и не думал затихать, пламя охватило стены павильона, тряпичную бутафорию и пластмассовые декорации. Я видел, как плаваются, расплываются, тают восковые фигуры... Словно замороженный, я смотрел на это огненное шоу и не мог оторвать взгляда... Это было... это было... это было прекрасно! Прекрасно!

— Вася, пора смываться! — крикнула мне подскочившая Юлинька. — Чего ты стоишь? Ну чего ты стоишь?!

— Посмотри, как прекрасен этот пожар... — прошептал я. — Как причудливы эти тающие восковые фигуры... Это же просто сюр! Знаешь, Юлинька, это лучшее моё произведение! А как шикарно

пылают эти шторы... Нет, ты видишь? Ты видишь? Оказывается, я ещё могу ценить красоту... Я ещё не совсем отупел и проданся... Разве это — не красота? — Ты сошёл с ума! — закричала она. — Умоляю тебя, пошли отсюда! Доверься мне, милый! Доверься мне!

Она потащила меня за собой, но тут вдруг на нас обрушился с постамента восковой Тарханов с раскнутыми в стороны руками. Он схватил нас в объятия и придавил к полу, обжигая плавящимся воском.

— Пусти-и-и! — завопил я, пытаюсь вырваться из его жгучих восковых объятий. — Пусти, га-а-ад! Юля, спаси меня!

И она спасла меня, вырвала из плавящихся восковых рук своего мужа, настигшего нас даже после смерти. Юлинька вытащила меня из огня, отвела в сторону от толпы, повела к выходу.

— Быстрой! Не оглядывайся! Иди скорее!

— Куда ты меня тащишь?

— Не оглядывайся, говорю! Ты можешь идти быстрее? Шевелись же!

Она подвела меня к своей машине — и уже через пять секунд мы мчались по вечерней улице, прочь от всего этого кошмара.

— Куда мы? — спросил я. — К тебе? Ко мне?

— В Италию! — не отводя взгляда от дороги, сказала Юлинька. — Ты же хотел — в Италию? Вот мы и полетим сейчас прямо в Рим. А потом в Венецию, а потом — куда захотим... У меня есть там свои люди, которые нам всё устроят...

— Ты, конечно, шутишь? Вот так прямо возьмём и полетим? А билеты? А загранпаспорта?

— Всё лежит в этой сумке, — сказала Юлинька. — Ну чего ты уставился? Я же волшебная штука... и я сделала всё, что тебе обещала. Не смотри ты так на меня, пожалуйста!

— Но зачем, зачем тебе это надо?!

— Как — зачем? Ты совсем идиот, что ли? Я люблю тебя — вот зачем! И я нисколько не шучу!

Она и впрямь не шутила.

И уже через три часа мы летели с ней в Москву, а оттуда — другим рейсом, на который Юлинька заранее заказала билеты — должны будем полететь в Рим. Она нисколько не шутила, безутешная вдова.

— Ну и как, ты доволен, мой желтоглазый волчара? — горячо прошептала она мне прямо в ухо, когда самолёт набрал высоту. — Ты ещё не передумал лететь в Италию? А то смотри-и-и... Там, говорят, сейчас неспокойно... полно эмигрантов из Ливии и Туниса... Может, вернёмся?

— Нет уж, летим так летим, — обречённо сказал я. — Мы ведь тоже с тобой эмигранты... В родном городе я сейчас персона нон грата. Хоть куда, хоть на Луну — лишь бы отсюда!

— Никакие мы не эмигранты! — возразила Юлинька, мерцающая фиалковыми глазами. — Мы летим покорять Европу! Да что Европа — весь мир скоро будет твоей зоной! Я в тебя верю! Верю!

— Как ты сказала? — испуганно переспросил я. — «Зона»? «Весь мир — моя зона»... Ты это от мужа своего научилась? Или, наоборот — ты сама ему в своё время подсказала, что «Сибирь — его зона»... ведь так? Ведь так?

— Да забудь ты про моего мужа... Выкинь весь этот мусор из головы. Отдыхай, Васёк! Мы ж не насовсем улетаем. Не понравится в Италию — вернёмся на родину... Кто тебе помешает?

— Ты помешаешь, — прошептал я так тихо, что она не расслышала.

Накрылась пледом — и крепко заснула.

А когда мы уже подлетали к Москве, я встал и пошёл размяться по салону. Спящие пассажиры походили на восковые фигуры. Только спящая Юлинька казалась совсем живой.

Боже мой, что я делаю?!

Отец, отец... зачем ты меня оставил?



Ирлан Хугаев Оммен

39

Ирлан Хугаев
Оммен

1.

Жизнь нашего двора была размеренной, неспешной и ленивой, как, вероятно, жизнь всех дворов слободы, города и государства. Мир казался достигшим, как у Гегеля, своей высшей формы, когда уже некуда идти и не за что бороться и умирать, и потому гражданину Молоканки¹ не оставалось ничего другого, как играть под липками в карты и шахматы, резать по гаражам одичавших кур и запивать их водкой, читать газеты, философствовать и быть бессмертным — всё от скуки.

Но однажды пришла смерть и в наш двор. Это было в ноябре; она принесла с собой туман, тишину и у подъезда напротив прислонила к забору красивый, обитый красным бархатом ящик. Назначение ящика с золотым крестом недолго оставалось неясным. Для детского воображения нет неразрешимых загадок даже у самого раннего утра, потому что ребёнок просыпается сразу, ему неизвестна утренняя нега, как неизвестен порок.

Я стоял, ещё босой и неодетый, у окна, животом к тёплой батарее, и смотрел на красный ящик. Туман сглаживал его строгие очертания, делал его мутноватым и мягким, как и всё остальное — несколько тёмных силуэтов по сторонам, как бы вставших на страже, деревья, скамейки, дорожку, бельевую мачту и снасти, островок клумбы и лодочку, на которой мы вчера катались в тихом океане. Я приложил ладонь к стеклу, и когда его чуждый холодок коснулся моего сознания, вспомнил, что Валерик умирает, — и вот, значит, он умер.

Не помню, сколько было мне лет, но Валерику было одиннадцать, а я был младше Валерика. Он долго болел белокрыием, и все во дворе говорили, что он скоро умрёт. Я ждал этого события серьёзно и сосредоточенно, и один раз даже спросил у кого-то, точно ли он умрёт и сколько ещё ждать.

2.

Валерика я видел хорошо всего три или четыре раза. Он не выходил, как мы это называли, «на улицу» и без существом изначально мифическим, потусторонним. В начале осени выдались тёплые дни, и большая улыбчивая женщина выносила его, закутанного в пуховый платок, на руках. За ней выносили стул и ставили его на середину двора, где солнце; она садилась удобно, основательно и сажала Валерика на колени. Каждый раз наши игры прекращались. Большая женщина улыбалась, озираясь по сторонам, и говорила:

— Дети, подойдите поближе, не бойтесь. Вот, Валерик хочет на вас посмотреть. Или вы забыли Валерика?

Не смея послушаться, мы подходили с игрушками в руках, как с напрасными дарами, — и всё же никогда так близко, чтобы не было немножко стыдно за себя. Тогда женщина делала удивлённые глаза и говорила:

— Смотри, Валерик, сколько хороших, красивых детей! Интересно, кто же они такие? Неужели они все твои друзья? Как же, как же, я узнаю их: вот это Гоги, вот это Асян, вот это Лекка!.. Очень, очень хорошие дети, добрые, красивые дети!

Валерик был похож на маленького старика и царя детей, восседающего на троне; лицо у него было совсем белое, потому что у него была белая кровь; он тоже улыбался и неслышно, одними губами повторял наши имена, и нам это льстило. Тогда большая женщина начинала смеяться в голос и плавно и широко раскачиваться из стороны в сторону.

3.

К полудню во дворе, который казался теперь чужим и незнакомым, собралось много людей; они стояли в тумане небольшими кружками лицом друг к другу, заложив руки за спину и переминяясь, и были похожи на огромных ворон. При этом они глухо — будто кого боялись разбудить — переговаривались, покуривая и покашливая, и двор наполнился ровным колдовским бормотанием, и резко потрескивали костры наискосок, на которых в закопчённых до синевы котлах варилось мясо.

Мне показалось странным, что в такой день кто-то мог хлопотать об обеде.

— А как ты думал? Люди пришли разделить горе, они — гости, и их надо накормить, — объяснила мама, уходя. — Будьте умницами. Не ссорьтесь. Сегодня нельзя ссориться.

Мы с Белкой остались дома, потому что нам было ещё рано ходить на похороны.

— Сейчас Валерика вынесут? — спросила Белка, когда мы закрыли за мамой дверь.

Я значительно посмотрел на часы, и в это время во дворе кто-то тихо и протяжно запел. Мы побежали на кухню и забрались на подоконник. На том самом месте, где обычно сидел Валерик на своём высоком и весёлом троне, поставили теперь его гроб. Нам его не было видно, но мы знали, что он там, в самом сердце этой большой чёрной толпы, потому что не только люди пришли

1. Так называется в народе один из старых районов Владикавказ, впервые заселенный русскими сектантами-молоканами (разновидность т. н. духовного христианства) в середине XIX века. (Прим. автора)

посмотреть на Валерика, но пусть бы и Валерик ещё раз посмотрел на людей. Стало совсем тихо, и в тишине негромко смеялся одинокий женский голос, и было ясно, что Валерик всех узнавал и благодарил.

Потом заиграла музыка, толпа задвигалась, и мы тоже увидели Валерика, потому что его подняли над головами. Не самого Валерика, а его красный гроб с таинственной и непостижимой внутренней белизной. И музыка тоже была какая-то красная с белым. Два человека-ворона понесли Валерика со двора, а вслед за ними мелкими и шуршащими, как дождь или речка, шагами двинулись остальные. На ходу они легко и непринуждённо сходились в равные и ровные шеренги; толпа словно обретала единую душу и разумность, как вода у знакомой протоки,— и теперь чем дальше его уносили, тем больше гроб Валерика походил на уплывающий вдаль красный кораблик.

4.

Двор немного просветлел и стал узнаваем, хотя и теперь было на что посмотреть. Там под открытым небом сидели за длинными столами гости. Они ели пироги и мясо, которое уже сварилось. Молодые и крепкие парни с раскрасневшимися от костра лицами, в одних рубашках и с засученными рукавами, носили огромные куски мяса в деревянных корытах вдоль длинного ряда чёрных спин, и почти бросали его на стол через головы гостей. Гул во дворе постепенно усиливался с каждой минутой; временами становилось тише обычного, и выделялся хриплый старческий тенор; фразы были колючи, но мелодичны, и каждая венчалась хорovým суровым «Оммен!»².

Через час туман рассеялся. Гости вставали из-за столов, закуривали и вновь расходились по двору небольшими кучками; голоса звучали открыто и доброжелательно, кое-где слышался временами тихий, покорный, придавленный у самого корня смех, и в нашем дворе чуть рассвело от улыбок. Людей становилось всё меньше и меньше, и они уже не были похожи на ворон; и мы с Белкой то и дело замечали среди них знакомые лица соседей. — А вон Кертиби! — говорила Белка, тыча пальцем в стекло.

— А вон Дабек! — отвечал я. — А вон Бабле!

— А вон папа! — кричала Белка, и я старался посмотреть маму, чтобы было чем хорошо ответить, как вдруг в прихожей раздался звонок.

5.

Мы бросились открывать маме дверь (потому что не сомневались, что это она), но когда открыли, вместо мамы увидели двух незнакомых старух в тёмных длинных одеждах. У обеих из-под надвинутых на лоб пуховых платков торчали длинные и хищные носы, глаза сверкали подозрительно и ведевмовски, и я опять вспомнил о воронах.

— Мальчик, — сказала звонко одна из них, — есть кто-нибудь дома из старших?

— Нет, — кротко ответил я.

— Хорошо, — сказала другая тише, — мы зайдём на минуточку.

Мы с Белкой молча попятились, пропуская старух в дом. Они зашли и прикрыли за собой дверь. — Дует, — сказала первая. — Ступай сначала ты, Багиан, по старшинству только араку пьют.

— Кабы я знала, Гагулен, куда мне идти, я бы и не спросила тебя, — ответила другая.

— А вот сюда, Багиан, вот сюда, — Гагулен щёлкнула выключатель и толкнула дверь уборной. — Эти городские квартиры все одинаковы, не то что наши огороды.

Мы остались втроём. Гагулен поглядела по сторонам, потрогала обоим, зевнула, прикрывая рот костлявой рукой, и спросила:

— Ты в какой класс ходишь?

Я ответил.

— А как тебя зовут?

Я ответил.

— А тебя как зовут? — спросила она Белку.

Белка ответила.

— А в какой класс ходишь ты?

Белка ещё не ходила в школу, но Гагулен этого не узнала, потому что Багиан уже вышла. Теперь мы стояли с Багиан. Она глубоко вздохнула, посмотрела по сторонам, потом на нас и улыбнулась.

— Меня зовут Ирлан, — сказал я. Она приподняла брови и склонила голову набок, по-птичьи.

— Ишь ты, какое имя у тебя странное.

— А её Белка.

— Тоже очень хорошее имя. Молодцы. А где же ваши мама и папа?

— Они пошли на похороны, — сказала Белка.

— Как же, как же!.. Бедный Валерик! — она закопалась в своих чёрных лохмотьях, достала откуда-то маленькую, в клетку, тряпочку, несколько раз сморкнулась, вытерла глаза и губы, оправила на голове платок, снова улыбнулась и спросила: — Скажите, а вы знали Валерика?

— Да, — сказала Белка, — и он нас тоже знал. Но он был больной и умер.

— Нам ещё рано ходить на похороны, — сказал я.

— Да, да, бедный, бедный Валерик! — вздохнула Багиан.

Вышла Гагулен и сказала:

— Теперь, солнышки мои, хорошенько закройте за нами дверь, и больше никому не открывайте. Кроме, конечно, мамы и папы. — И когда они уже спустились по ступеням, тихо добавила: — Какие хорошие дети, Багиан, не правда ли?.. Что же, насколько ли Валерик был старше этого мальчика?..

6.

На дворе уже смеркалось, и мы с Белкой сильно заскучали по маме и папе. Мы не зажигали на кухне свет, чтобы из окна было видно улицу, и старались не оглядываться в грустный домашний сумрак. На холодильнике тикали принесённые из комнаты часы, но уже и стрелки растаяли в темноте, и Белка начинала робко кряхтеть и хныкать, прильнув к стеклу лицом, припухшим от впечатлений дня.

Но вот пришли мама и папа и зажгли свет сначала в прихожей, потом на кухне. Теперь вполне узнаваемым был весь мир, но стало немного жаль и давешних сумерек. По какому-то молчаливому уговору мы с Белкой ни слова не сказали о Багиан

2. Оммен (осет.) — аминь. (Прим. автора.)

и Гагулен, и оба чувствовали так, как будто были связаны с ними клятвой и союзом, куда нет доступа даже родителям.

Время идёт; и нет клятвы, которой оно бы не простило. Потому что время идёт, и у него, как для памяти, нет разницы между большим и малым.

Льюис Кэрролл СТИХИ ДЛЯ АЛИСЫ

Вольный перевод Бориса Заходера

«Завтра, завтра, не сегодня!» —
Говорил Варёный Рак —
Что бы там ни говорили,
Поступайте только так!
Утверждаю это смело:
Если хочешь долго жить,
Должен ты любое дело
Первым делом отложить!

Черепаш (да и Улиток)
Я прошу иметь в виду —
Тот из нас, кто слишком прыток,
Первым попадёт в беду!
Где дурак устроит гонку,
Там разумный наш собрат
Или отойдёт в сторонку,
Или пятится назад!

Вот и я — засуетился
И попал в рыбацью сеть...
Суетился, кипятился —
И приходится краснеть,
Потому что в этой спешке
Я сварился кое-как...
Поделом терплю насмешки! —
Говорил Варёный Рак.

«Завтра, завтра, не сегодня!»
Хорошо сказал поэт!
Лишь бы вы не забывали
Этот правильный совет!
Может, спорить кто посмеет?
Только где уж вам, мальки!
Кто из вас, как я, сумеет
Носом вывернуть носки?!

— Звери, в школу собирайтесь!
Крокодил пропел давно!
Как вы там ни упирайтесь,
Ни кусайтесь, ни брыкайтесь —
Не поможет всё равно!
Громко плачут Зверь и Пташка,
— Караул! — кричит Пчела,
С воем тащится Букашка...
Неужели им так тяжело
Приниматься за дела?

Ни он, ни я, ни мы, ни вы
Не ведали беды,
Но он поверил ей, увы,
Что я боюсь воды!

Меня пытались не мытьём,
Так катаньем донять.
Они вдвоём, а мы — втроём,
А дважды два — не пять!

Он ей — ты мне. Мы вам — вы нам!
Она ему — оно!
Хотя они — он знает сам! —
Вернулись к ней давно!

«Ты измываться им не дашь!» —
Он сам так утверждал!
И что ж? Она же входит в раж,
Подняв такой скандал!

И лучшие умы страны
Гадают до сих пор:
Они ли, мы ли, вы ль должны
Смыть кровью свой позор!

Во имя нашей чистоты
Пускай не знает свет:
На самом деле вы — мы — ты —
Они с ней
Или нет?

Малютку сына — баю-бай!
Прижми покрепче к сердцу
И никогда не забывай
Задать ребёнку перцу!

Баюкай сына своего
Хорошею дубиной —
Увидишь, будет у него
Характер голубиный!

Уж я-то деточку свою
Лелею, словно розу!
И я его — баю-баю,
Как Сидорову козу!



Семён Каминский Маркиза ангелов

Счастличик

...я просто ненавижу его. И завидую! Знаю, знаю, нехорошее чувство... Всё равно завидую. И как можно не завидовать такому человеку? Ты пять дней не отходишь от этих дурацких книжек и тетрадей, зубришь, как ужаленный в задницу, сто девятнадцать билетов, но не успеваешь пройти последние три... И на экзамене тебе, совершенно одуревшему от дат, имён и почти бессонной ночи, попадаете сто двадцать второй! Как раз из тех, что ты не успел повторить! И еле-еле—тройк!

А он... весёлый, краснощёкий от катания на лыжах на загородной даче у каких-то знакомых, говорит, что ничего не учил, кроме десяти билетов. Уверенно тянет билет на столе у Риммы Сергеевны и вытаскивает один из этих десяти! Пять баллов! Она его ещё и хвалит! Какая хорошая у вас подготовка! Подготовка...

А это его почти портретное сходство с известным поэтом: светлые волосы, длинные ресницы, наивно-задумчивый взгляд! И такое же, как у поэта, имя.

И это ему родители покупают чехословацкую гитару, на которой он даже не пытается научиться играть, и переносной магнитофон, который он почти не слушает. А тут в кровь молотишь на отцовской клееной-переклеенной семиструнке, переделанной на шесть, и маешься с допотопной магнитолой, которая крутится пятнадцать минут, а потом останавливается, зажёвывая плёнку.

Вы считаетесь друзьями, везде ходите вместе, и ты придумываешь всякие приколы для всей компании. И девчонки смеются, и все смеются—твоим выдумкам, но без него тебя не приглашают никогда и никуда. А сам он частенько исчезает (прикинь, Танюхе билеты достали, и мы с ней в кино ходили на закрытый показ, Ленка меня позвала, у неё паханов дома не было, у Артура дома «пулю» писали). Он вроде занимается сразу несколькими видами спорта (фехтование, бадминтон), но главное—прекрасно играет в преферанс во всё более взрослой и серьёзной компании.

А потом он заканчивает школу и «случайно» поступает в хороший институт (чувак, я вообще не знал, куда идти, ну, открыл брошюрку, ткнул пальцем в факультет этого института, у меня медаль, сдал один экзамен, сам не знаю, как они меня взяли). Учится всё так же—легко и просто.

Ну, ты тоже учишься в институте... шатко-валко. И как-то случайно, уже на предпоследнем курсе, на отработке лабораторных, знакомишься с девчонкой. Даже удивительно, с какой симпатичной девчонкой—Валей... милой, родной Валей...

Практика у него всегда происходит на кафедре (никакого села), а после окончания он вроде и устраивается на работу, но почему-то сидит целыми днями дома. Однажды он сообщает, не очень старательно делая вид, что по большому секрету: — Понимаешь, мне такое место предложили. Я вроде как в постоянных командировках. Мне платят зарплату, командировочные и премиальные—я никуда не езжу. Половина зарплаты—мне, остальное, а также командировочные и премиальные—моему начальству... ну, и кому-то там ещё. И делать ничего не нужно, только сидеть дома и не попадаться на глаза, приходиться только в получку. — А на жизнь хватает?—это спрашиваешь ты.

— На жизнь... я зарабатываю не этим,—чуть усмехается он,—я играю. Вот за этим столом,—он показывает на шаткий круглый стол, когда-то полированный, с множеством тёмных лунок от сигарет.—Здесь, старик, идёт такая игра... такие шальные бабки... такие люди приходят...

Квартира осталась ему от бабушки. Над видавшим виды пыльным диваном—стена с ободранными обоями, и на ней, до самого потолка—какие-то непонятные каракули.

— А это,—он продолжает экскурсию,—«стена пологового почёта»—женщины, побывавшие со мной, ставят тут свои подписи (может, он шутит?). Вот видишь, уже почти места над диваном нет, будем переходить туда—ближе к буфету... Они тут у меня и убирают... иногда.

Похоже, не шутит.

Я подхожу ближе и тупо смотрю на эту стену, на эти «каляки-маляки». И одна из подписей так ужасно напоминает... нет, не может быть, чтобы это была Валина подпись. Как она может оказаться здесь на этой задрипанной стенке, в чужой, прокуренной до невозможности комнате... доставшейся ему от интеллигентной бабушки Раи?

Я помню его бабушку Раю, сидящую за этим самым столиком в аккуратном тёмном домашнем платье. Перед ней чашка вечернего чая, маленькое блюдечко с вишневым вареньем и раскрытая книжка Андре Моруа.

Тут никак не может быть Валиной подписи.

«Садитесь, попейте чаю»,—всегда на «вы» говорит мне бабушка Рая.

Нет, только не Валина подпись. Но я знаю уже, что—Валина, Валькина...

— Где ты с ней познакомился?!—ору я ему, и он от неожиданности хлопается на этот проклятый диван, а я хватаю здоровенную... что я хватаю? На столе стоит тяжёлая хрустальная... то ли ваза, то ли пепельница—это тоже осталось от бабушки

Раи. И бью его по... он закрывается руками... я бью его... он закрывается. Я попадаю по голове, может быть, в висок. Он сползает с дивана на пол... и тёмное густое красное варенье—тоже на полу. И я думаю всё время, чем я буду вытирать это варенье с пола, с дивана, с забрызганных ножек стола, со стены «полового почёта». И ничего не вытирая, я убегаю оттуда. И никто не знает, что я был в этой прокуренной комнате. И пока вечером к нему не придут его карточные друзья, никто ничего не увидит. Но и потом—никто ни о чём не догадается и никто меня не заподозрит.

И с ней я больше не увижусь, и очень скоро уезжаю по распределению. Далеко. Она будет мне писать, много раз—я буду, не распечатывая, выбрасывать её письма. И потом кто-то из знакомых напишет мне про нашу шумевшую на весь город историю: что у него в квартире собиралась нехорошая компания, и они, видимо, поспорили о чём-то во время карточной игры, и его у... Короче, какой ужас, такой был удачный парень, вот что значит—плохая компания. А где она, никто из знакомых не знает. Потом, правда, кто-то рассказывает, что её видели: она замужем за слесарем. Нет, электриком городского трамвайного депо. И мне всё видится эта стена—в синих подписях и вишнёвых брызгах.

Ерунда. Ничего этого не происходит.

То есть, происходит... его рассказ, и «стена полового почёта», и знакомая подпись, но я просто мычу что-то про то, что пора идти и меня ждут—и ухожу. Вечером она приходит ко мне на свидание, на наше обычное место на трамвайной остановке. И я, вместо «привет», с размаху бью по её очень красивому лицу. Рядом кто-то кричит, охает, зовёт милицию. Я молча поворачиваюсь, сажусь в подоспевший трамвай и навсегда уезжаю... Да, навсегда уезжаю. Иду служить в армию—на год (я же окончил институт), лейтенантом. А после «дембеля» работаю далеко от дома и возвращаюсь в родной город на пару дней каждый год, чтобы только повидать родителей. И что с ней, что с ним происходит—я никого не спрашиваю, не знаю и никогда не узнаю. И случается Чернобыль, и я команду ротой ликвидаторов. И я вижу, как растёт другая стена, как прячут за ней взорвавшийся реактор. Получаю хорошенькую дозу и сильно болею всю свою недолгую оставшуюся жизнь. И нет у меня жены, нет детей, нет ничего... Точка.

Нет, и не так.

Я не говорю ему, что узнал её подпись, и через полчаса просто ухожу из полумрака его старой бабушкиной квартиры. Я молчу и думаю, думаю и молчу. Вечером Валя приходит ко мне на свидание—и всё, как обычно. Кажется, в этот вечер мы идём в кино. Только я много думаю. Какой-то ты стал молчаливый, о чём ты думаешь? Но проходит немного времени, и мы женимся, и проходит ещё немного времени, и появляется наш сын, потом второй, и мы работаем, и дети растут. Иногда я слушаю, что она говорит, иногда—нет. Он у меня такой молчун. Да, скуч-но-ва-то, но я привыкла... нет, я просто шучу. Он никогда не обижается. Ты же, правда, не обижаешься? Он много работает, старается, мы даже в Турции были этим летом.

И как-то я его встречаю, мы здороваемся, он цепляет меня под руку прямо посередине людной улицы и отводит в сторону, к стене дома на Садовой, где новая чайная в модном парадно-деревенском стиле. Он почти такой же розовый, но озабоченный, и долго рассказывает про свои разнообразные начинания. Мы стоим, я рассматриваю шершавую серую стену дома за его спиной. И ещё, сквозь стекло, какую-то парочку за круглым столиком в чайной. Они намазывают булочки джемом и прихлёбывают из высоких керамических кружек. Вот, знаешь, чувак, мотаюсь, с таким трудом поменял квартиру, берлогу эту, делаю ремонт, да, играю, но закрутил одно новое дело, сейчас столько всего, везде столько шальных бабок, просто валяются под ногами, надо успеть, успеть, волка ноги кормят... Есть, опять молоденькая, дурная... А как ты? Дети, жена?... И ты всё там же? Дачку построили? Отдыхали в Турции? Да ты—счастливчик, ты—просто беззаботный счастливчик! Ну как можно не завидовать такому человеку?... Может, зайдём, выпьем? А-а, здесь только чай...

Маркиза ангелов

Катька Копылова была самая тупая и некрасивая девчонка в классе. И бородавка—под носом. Венька сильно расстроился, когда Ирина Сергеевна сказала ему, что он опять должен с Катькой позаниматься: та, мол, проболела две недели и сильно отстала, особенно по математике, а ты, Веня, живёшь в соседнем дворе... Можно подумать, что Катька не отстала по всем предметам ещё до болезни! Ему было даже тошно себе представить, что он снова должен будет тащиться после уроков к Копыловым домой, сидеть, как минимум, два часа в крошечной вонючей кухоньке, где Катька обычно делала уроки, да ещё потом у себя дома вытряхивать копыловских коричневых прусаков из своих учебников и тетрадей. И как только эти отвратительные существа залезали туда? Венька ведь всё время держал портфель у себя на коленях... А Катькина бабка чего стояла: ещё страшнее внучки, с такой же, как у Катьки, но только побольше, бородавкой под носом, лоснящимся лицом и складчатой шеей!

...Дверь открыла именно она—баба Копылиха, провела его в кухню и визгливо позвала:—Катька, иди, к тебе мальчик пришёл!—похоже, что его имени бабка даже не помнила.

Из единственной в квартире комнаты появилась Катька, в грубой вязаной кофте и цветастой старой юбке, надетой на синие растянутые спортивные штаны. Вид у неё был, как обычно, заспанный, она хлопала носом, видимо, простуда ещё не совсем прошла. Она отодвинула на другой конец стола какие-то тарелки и раскрыла учебник. Венька маялся, но честно пытался объяснить действия с корнями. И хотя Катька усердно кивала время от времени головой, проблеска понимания не намечалось. Наконец, когда домашнее задание было выполнено, Веня с облегчением встал и начал застёгивать куртку—он всё время так и присидел в ней...

— Ты завтра в школу идёшь? — спросил он, чтобы сказать что-то на прощание.

— Ага, — Катька тоже встала из-за стола и вдруг протянула правую руку к Венькиному лицу, — смотри, что у меня есть, — она показала тоненькое колечко на ладони — похоже, что золотое.

— А чего это?..

— Подарили, — Катька надела колечко на безымянный палец и покрутила рукой, — только бабке нельзя показывать... .

Веня впервые увидел какой-то интерес в её зеленовато-водянистых глазах, и, наверно, ожидание, что он начнёт расспрашивать: кто подарил, да почему. Но он промолчал, сказал «пока» и вышел. Его сейчас больше интересовало, что подельывают на дворе пацаны и что мама приготовила на обед... .

После весенних каникул всем классом устроили забастовку — прогуляли четыре первых урока. Формальная причина была в том, что Ирина Сергеевна болела, и историчка болела, и им поставили на замену подряд уроки украинского с крикливой Галиной Степановой, которую все ненавидели. А по-честному, просто очень не хотелось идти в школу, и забавляла мысль, что, если все сразу не придут, то никому ничего не будет — всех ведь сразу не накажут. Так что пошли в кино на Анжелику, которая была маркизой ангелов. Фильм шёл первые дни, и даже на утреннем сеансе зал был забит, а Веньке, как всегда, не везло — ему выпало сидеть рядом с Катькой, в стороне от остальных, в самом последнем ряду.

Катька, по своему обыкновению, всё кино промолчала, не глядя в Венькину сторону. У неё опять текло из носу, и она сидела с платком наготове. Он тоже на неё не смотрел. Куда там! От экрана нельзя было оторваться: там величественная красавица Мишель Мерсье, то бишь, Анжелика, боролась с негодями всех мастей, не забывая при этом периодически оказывать у них же в постели, и, вроде бы негодюя, как-то не очень уверенно сопротивлялась их негодяйскому нагиску... .

В самый страшный момент, когда Жоффрея де Пейрака казнили, Катька, дурная, со страху, вдруг ухватила Венькину руку с подлокотника, притянула к себе на колени и крепко прижала, вместе с носовым платком, своими стиснутыми в кулаки руками. Венька не сразу понял, куда попала его левая рука, но, когда ответственный момент на экране прошёл, не знал, как забрать руку назад. Это значило пошевелиться — и обнаружить себя в неловой ситуации. Так и сидели до конца фильма, и внимание у него к происходящему с Анжеликой вовсе рассеялось... . Только когда в зале зажгётся свет, Венька резко отдернул свою блудную руку. А на Катьку так ни разу и не посмотрел, даже после выхода из кино. Какие-то назойливые ощущения жили в руке, не проходили, он чувствовал себя всё ещё очень неловко... . Тоже мне — Катька, уродина... . Нашлась, Анжелика... .

Дома он сразу же попросил у матери лука: «У нас в классе грипп, нужно лука много поесть, чтобы не заболеть... .», и ещё до обеда сожрал почти целую головку лука с хлебом и солью. Крепкий луковый

запах и вкус бил в ноздри, в глаза и в голову, и ему казалось, что это как-то очищает его от Катьки. «Она же простуженная была, правильно, значит, нужно много лука поесть», — эта мысль всё крутилась и крутилась у него в голове... .

К концу весны Катька совсем перестала ходить в школу. Венька заметил это, только когда услышал в классе чириканье двух неразлучных подружек с птичьими фамилиями — Наташки Воробьёвой и Маринки Скворцовой. Выходило, что они дежурили в классе и подслушали, когда бабка Копылиха приходила в школу, плакала в кабинете у классной, Ирины Степановны... . Оказывается, что родителей у Катьки нет, только бабка, что Катька пропала из дома и что её, вроде бы, уже ищет милиция... .

Девчонки знали что-то ещё, даже более крамольное, но, обсуждая это, сильно понизили голос, а, заметив Веньку, сидевшего близко, ядовито сказали: «Это, Венечка, тебе слушать нельзя... .»

Впрочем, «об этом» уже через пару дней заужжали все: Катька не просто пропала из дома и из школы, она жила где-то у какого-то «постороннего взрослого мужчины»... . И это уродливая и недалёкая Катька — ну, хоть бы красивая была! И это в свои тринадцать с половиной лет! И... .

Отовсюду — особенно, из учительской — было слышно сочно произносимое: дурной пример, дурной, дурной пример... .

Больше Венька Катьку никогда не видел, а вскоре и Копылихин дом пошёл под снос, и бабка куда-то переехала.

«Анжелику» ещё долго показывали в кинотеатре недалеко от Венькиного дома. Большие афиши, нарисованные художником на щитах перед кинотеатром, сильно полиняли, и с каждым новым дождём маркиза ангелов выглядела на них всё более и более утомлённой от своих бесконечных любовных приключений. Венька, проходя мимо в школу или в булочную, старался смотреть в другую сторону... .

Чистая душа

Вячеславу Павловичу так хотелось найти и крепко, навсегда, полюбить чистую душу — просто сил не было, как хотелось. И тут ему подвернулась Зиночка — случайно, совсем, случайно! — в компании у Гринбергов. Когда он пришёл с «бутылью шампусика» (а вот и Вячик! да, это я, держите — итальянское!), Зиночка усердно помогала хозяйке расставлять большие сервизные тарелки на столе, и Вячик тут же обратил внимание на какой-то такой совсем беззащитный пробор в её тёмных волосах и рассеянный, лёгонький, бледно-серый взгляд, почти всегда куда-то вниз.

«Она!» — ёкнуло у него... . ну, где-то там, где всегда ёкает, когда... . Короче, в конце вечеринки он стал активно пристраиваться к Зиночке, чтобы её проводить, хотя такие решительные наступательные действия обычно давались ему с ба-а-льшим трудом. И пристроился, соврав, что живёт «в той же стороне».

Пока ловили попутку на непривычно свободном ночном пространстве улицы Таких-то Героев, общаться было полегче — с помощью междометий и отрывков фраз (да-а, этот сейчас, наверно, проедет, не остановится, оу! эй! ну-ка! дядя, давай тормози, вот и отличню, пять, а за три? садитесь, Зина, вот сюда). В машине, на заднем сидении, стало гораздо труднее: общих тем оказалось крайне мало, то есть их не было вообще, и Зиночка отвечала так односложно, что и уцепиться было абсолютно не за что. Ну, сначала, конечно, про Гринбергов немного поговорили (а откуда вы их знаете, они просто замечательные, я — старый друг, а я — с Танюшей работаю, вместе в одном отделе, да что вы говорите, вот интересно). Потом стало совсем тяжело, Вячик даже ни с того, ни с сего в автобиографию ударился, а эта тема у него была совсем уж бесперспективная — институт почему-то горнорудный (почему, почему? — чтоб от армии откосить), потом — практика, работа, скоростная женитьба и такой же развод — сокурсница была симпатичная, ласковая, приезжая из Пригородного Района, она уже опять вышла замуж за их общего знакомого (стоп! обо всем этом вообще незачем сейчас распространяться). Зина смотрела как бы в окно... или мимо, не поймешь, дела были совсем плохи. Коленки, впрочем, очень симпатично выглядывали у неё из-под чёрно-красного клетчатого пальто. А ещё я люблю слушать музыку, умный западный рок, например, Pink Floyd или Led Zepelin... нет, это всё тоже мимо. А вот летом, прошлым, ездил со знакомыми в Приморское... там серьёзно отравился, говорили, что сальмонелла, три недели в зачуханной больнице... друзья, гады, конечно уехали все домой, а его не выпускали из-за карантина, весь отпуск перес... простите, перегаженный, в полном смысле слова, эти лекарства, промывания, уколы, клизмы... боже, что это я?

Но вот тут Вячик неожиданно понял, что Зиночка внимательно его слушает, почти всем телом повернувшись к нему, и вполне определённый интерес появился в её теперь уже сосредоточенных глазах... Да, решил продолжать он вдруг так заинтересовавшую её тему, температура зашкаливает, духота, промывания желудка, знаете, теперь осложнение, сказали, может развиться, и уже развилось, надо лечить...

— Ай-ай-ай, — это Зиночка проговорила совершенно не насмешливо, а серьёзно, выразительно — и на продавленном заднем сидении старого «жигуля» стало гораздо уютнее. — А мы уже приехали. В этот двор, пожалуйста.

Зашли в парадное, Зина поднялась на первую ступеньку:

— Я в детстве, лет в пять, долго-долго болела дизентерией... ужас, — это звучало так, как будто это она всё время рассказывала и продолжает рассказывать о себе, а не Вячик, выпадая из штанов, уже сорок минут пытается завести нормальный разговор. — Меня в изоляторе держали, без родителей, так обидно и горько, но совсем не плакалось... Мне туда книжки, игрушки, цветные карандаши

носили, и я там целыми днями сидела на кровати, сейчас бы я, наверно, от такого свихнулась. Иногда эту самую кровать разбирать пыталась — шарики откручивала от спинки. Помню ещё окно на пустую грустную улицу и молодого высокого врача в голубой шапочке и халате: он заходил по несколько раз в день, спрашивал о чём-то, шутил. Кто-то из медсестричек всё повторял, что он, мол, в меня влюбился... я совсем не понимала, что это значит. — А меня маленького часто оставляли у бабушки, там был старый большой двор, много детей. Они меня беспрерывно дразнили, потому что я тогда ходил в своих первых очках — коричневых, круглых, уродливых. Это потом, спустя много лет, круглые очки стали пискотом моды, потому что Джон Леннон в подобных ходил, а тогда... только выйдешь, уже вопят: «четыре глаза! четыре глаза!» Больше всего одна белобрысая девчонка старалась. Я отчаялся, не хотел ходить гулять, сидел безвылазно у бабушки на балконе, поглядывая во двор со второго этажа. Ну, а через год увидел эту дуру... в очках с толстенькими стёклами, и — честно! — так обрадовался, так обрадовался... Я знаю, что нехорошо этому радоваться, но вспоминаю об этом — и радуюсь. Даже вот сейчас радуюсь...

Вячик замолчал, Зиночка, как бы с пониманием, взяла его под руку, щёчку к его плечу поближе придвинула, и они зашагали вверх по лестнице: — У меня родители — военные... папа, то есть. Мы в этом городе только шесть лет, когда папа демобилизовался, а то по разным городам жили, и я всегда в разные школы ходила. Дети новичков не любят, сильно издеваются...

— И я... Я теперь в школе работаю, учителем, физику преподаю. Не мог найти работу по специальности, пристроили. Сначала так странно было, когда меня Вячеславом Павловичем называли, а потом привык... Только завуч достаёт, на уроки ко мне всё ходит и ходит. Детки идиотничают, конечно, но что поделать, и к этому тоже привыкнуть можно. Но иногда думаешь: зачем им эта физика, зачем это всё?... А родители твои... ваши сейчас дома? — опомнился Вячик, вдруг заметив, что они какое-то время уже стоят перед дверью. — Что вы сказали? А... Не... Родители не здесь живут. Мы здесь с мужем живём, — Зиночка порылась в сумочке, добывая ключ, — он к Гринбергам не любит ходить, говорит, что они слишком сладенькие, сидит дома, какие-то поделки клепают. Спасибо вам большое, что проводили... Вячеслав. Вы обязательно должны лечиться, обещайте мне! Запускать всякие осложнения нельзя, нельзя...

Дверь открылась, мелькнули красные, под кирпич, обои прихожей, а потом, когда Зиночка повернулась к нему, — такой совсем беззащитный пробор в её тёмных волосах и лёгонький, бледно-серый взгляд: сначала — быстро, прямо на него, и сразу — куда-то вниз... Вячик только что-то успел промывать в ответ — и дверь захлопнулась.

Больше Вячеслав Павлович к Гринбергам никогда не ходил: они приглашали, а он всё отнекивался. Хотя Гринберги-то причём?



46

Василий Тресков
Жёсткая проза для мужчин

Василий Тресков Жёсткая проза для мужчин

Очиститель

Генка Матвеев был один сын у мамки, которой было не до него. Мамка Галка любила выпить и привести в дом свежего мужика, а Генка, который рос и начинал всё понимать, только ей мешал. Нередко она выгоняла его из дома, и он болтался по деревне сутки напролёт, то водку с пастухами пил, то дачи окрестные бомбил. Рос как сорняк на помойке. Цепкий и злой. С оттопыренными ушами и раскосыми рысьими глазами, неприятный для окружающих. Местные учителя про него говорили, что он дикий и жизнестойкий, как крапива, которую голыми руками не возьмёшь. И все их попытки хоть как-то приучить его к азам грамотности и цивилизации — оказывались тщетными. От учебников его тошнило, а сидеть неподвижно за партой целый час для него было страшным мучением. Его хватало на пять минут, после чего он начинал толкать соседа локтями или щипать за спину впереди него сидящую девчонку. Выгоняли его из класса всегда с дракой, во время которой он умудрялся лягнуть между ног учителя математики, Петра Николаевича, единственного мужчину в женском коллективе, отставного майора авиации. Все ругали, не любили Генку. Но никто не знал про его заповедное место на опушке леса, среди трёх берёз, где рядом журчал маленький родничок с прозрачной и сводящей зубы холодом водой. Сюда прибегал Генка, прячась от всех, чтобы побыть одному и поговорить с родничком. В это местечко часто прилетали соловьи, заливаясь весёлой трелью.

Генка посадил на опушке рядом с берёзками сосёнку, которую с корнем выкопал и выбросил за калитку очередной сожитель матери, расчищая участок под огород. Сосёнка прижилась и красовалась среди берёз, словно танцует в хороводе. Генка, лёжа в траве и под журчание родника глядя в бездонное, голубое небо, часто думал: как хорошо бывает, когда рядом нет людей.

Когда взяли его в армию, мать была очень рада и даже купила ему новый рюкзак. Никогда она ничего ему до этого не покупала, ходил он в доносках, в том, что соседи подбросят: джинсы внуков, кафтан дедушки, телогрейку бабушки, или ботинки зятя, вполне не рваные.

Служить в армии ему понравилось. Сапоги и форму дали новую, пахнущую хлоркой, трусы, бельё не рваное, и всё на халяву. Ещё в баню по пятницам водили строем и кормили три раза в день. Так вкусно и сытно не ел он всю жизнь. А то, что пацаны и «деды» преддембельные там шалят, то Генке это было даже вместо развлечения. Драться он любил, и хорошо у него получалось «морды

бить». Гибкий, злой, с длинными сильными руками, которые били хлыстами и разбивали в кровь лица обидчиков, пытавшихся заставить его голым на карачках полы в казарме мыть. От щупленького с виду неказистого белокурого паренька с хищными рысьими глазами исходила во время драки ярость, парализующая нападающих, как от крысы, загнанной в угол. Бил всех, тем, что под руку попадётся. Когда отправил в госпиталь с сотрясением мозга и переломом телесных конечностей двух сержантов-дедов, боксёров-разрядников, то «деды» оставили его в покое. А через полгода уже ему самому присвоили сержантское звание. Он уже сам отбирал у сослуживцев посылки от родителей. Ему посылки и писем никто не слал, и матерью своей он не интересовался. Для него домом стала казарма с её суровыми законами выживания. Грязной работы не чурался, с удовольствием изводил грязь очистителями, которые доливали в вёдра с горячей водой при мытье туалетов. Но особенно млея перед оружием, перед автоматами, а потом перед снайперской винтовкой, к которой его приписали особым приказом. С ней он обращался как с любимой девушкой, которой у него никогда не было. Лелеял, чистил по десять раз на дню и стрелял из неё так метко, что вызывал невольный восторг у прапорщика Матвея, чемпиона по биатлону, который был инструктором по подготовке роты снайперов. Похвалы кружили его маленькую рыжеволосую головку с оттопыренными ушами. В детстве его все его ругали, боялись. От него закрывали двери в деревне, а дачники ставили на него капканы. А здесь бесплатно кормят и ещё хвалят.

Стрелял же он, действительно, хорошо. Из АКМ всю очередь веером клал в «яблочко».

Вскоре перевели его в особую часть снайперов. Там и вовсе для него наступила лафа. Жил в трёхместной комнате с телевизором. Кормили отборным мясом и соками, а тир ходил на дворец с электронными мишенями и подсветками. Он там стал первым, обогнав ребят, которые имели спортивные разряды по стрельбе. Его зоркие рысьи глаза видели цель чётко, как на вытянутой ладони, он, животным нутром ощущая ствол винтовки, схватывал тот миг, когда надо нажать курок. Пуля летела точно в цель, не отклоняясь ни на миллиметр.

Когда ночью их подняли по тревоге и повезли в аэропорт в закрытых автобусах, он думал, что это контрольные учения. Но уже в самолёте им объявили, что их роту направляют в Чечню. Там как раз был разгар войны, и шли бои за Грозный.

Генка попал на сражение сразу же, как только приземлились во Владикавказе. Оттуда их на грузовиках сразу же в Грозный на баррикады. Засев под грудой развалин, он двумя выстрелами снял пулемётчика в дымящемся здании и обеспечил прорыв пехоты.

Затем, месяцем позже, был на секретной операции, в горах, в логове полевых командиров. Прокрался почти к самой землянке, где, видимо, проходило совещание местных авторитетов. Сливаясь с «зелёнкой», замер в зарослях шиповника. Зрительная память цепко держала фото того, кого надо завалить. Он ждал, обняв щекой любимый приклад своей пристрелянной винтовочки. Нос щекотал аппетитный дымок жарящегося на углях шашлыка, в ушах хлюпала гортанная птичья речь «чехов». Они ему ничего плохого не сделали, и он про них знать никогда не знал в своей калужской деревне. Но его кормила армия. Армия ему сказала, что их надо мочить. И он выполнял приказ.

Из сакли-сторожки стали чинно выходить люди. Среди них был тот, который нужен. Он сразу выделялся независимой гордой осанкой и высокой бараньей шапкой. Генка затаил на мгновение дыхание, чтобы схватить горбоносое лицо в прицел, и мягко спустил курок. Всё, что было под шапкой, разлетелось кровавыми ошмётками. Пули были разрывные, со страшной убойной силой.

Крики, вопли, беспорядочная стрельба — всё это осталось позади. Генка был уже далеко, шныряя ящерницей по горным склонам.

А через месяц приехал генерал из штаба, из Москвы, чтобы лично наградить орденом Генку за мужество. Седой генерал, видимо, очень большой начальник, в торжественной обстановке нацепил ему на лацкан парадного мундира орден и долго тряс руку. А потом, вечером, пригласил его в красную комнату клуба, где в честь него, Генки, Героя России, был организован банкет с водкой и килькой в томате. Генерал выпил с ним по стакану водки и крепко поцеловал.

— На таких, как ты, сынок, ещё Россия держится. Мой сын, Федька, тебе не пример. Он наркоту пьёт и второй мой мерседес разбил на Рублёвке... А ты, вот мне бы такого сына, — генерал по-отечески обнял Генку и со слезами, что не перевелись на Руси герои, плакал навзрыд.

Это так тронуло Генку, которого в детстве все ругали и пытались избить, что у него самого слёзы полились по впалым щекам. Он вдруг вспомнил, что никогда у него не было отца и что в детстве никто его даже не обнял и не поцеловал. И так стало обидно, что, разомлев от водки, зарыдал он во весь голос, всхлипывая, как пацан, уткнувшись в генеральский китель...

После этого генерал из Москвы стал для него родным отцом, и Генка, раздобыв в политотделе его фото, повесил в казарме над своей кроватью...

Перед Новым годом повезли их в баню в Хасавюрт, городок в Дагестане.

Никогда он так ещё не парился в парилке, тело очищалось от грязи, а вместе с ним очищалась душа, выпаривая шлаки и злость. Никогда ему так не было хорошо и радостно. Ночью в казарме

обещали праздничный ужин с тортами, которые испекли для них девчонки из кулинарного училища Моздока. Девчонки шефствовали над их воинской частью. Обещали выступить с концертом в новогоднюю ночь.

— А ты никогда с бабой в бане не парился, — подмигнул ему прапор Матвей, — это, брат, такая сладость, никакого рая не надо...

Генка даже не представлял, как можно в бане париться с голой девушкой. От таких мыслей у него даже уши побагровели от стыда. Но в душе ему захотелось тоже попариться таким образом. И он решил, что в эту новогоднюю ночь обязательно познакомится с симпатичной девчушкой. И вдруг будущее высветилось в мечтах такой радужной вывеской, как огни ночного ресторана, расположенного недалеко от их части. Жизнь вдруг предстала перед ним столь радостной картиной, какую и в телевизоре не увидишь. Перейдёт на контракт, ему уже особист делал такое предложение, женится и будет в бане париться с женой. Он сладостно зажмурил глаза, которые из рысских превратились в умиленные телячьи...

С песнями они ехали в автобусе из бани в казарму, все были по своему счастливы, и души наполнены радостными надеждами и ожиданиями в новогоднюю ночь...

Автобус подорвался на фугасе. Генка помнил взрыв и удар по ушам, острую боль в ногах... А потом наступила тишина... Вечная тишина... Яркий свет ослепил его болью в глазах, рассеяв темноту. Белый потолок больницы, белое лицо хирурга в маске, в белом халате с кровавыми пятнами...

— Жить будешь, живучий, как крыса, — сказал хирург не то ласково, не то досадливо...

Генка попытался вскочить, но руки были прижаты к железной хирургической кровати.

— Новая жизнь начнётся, парень... Женатый? — спросил он неожиданно

Генка тупо замотал головой, причём тут, женатый он или нет, ещё и девчонки не поцеловал. Не успел. Он вдруг вспомнил Матвея, который уже парился с бабами в бане...

Хирург словно услышал его мысли.

— Тебе ещё повезло, — сказал он сквозь зубы, — живой, удалось тебя собрать по фрагментам, а вот остальных ребят так и не собрали. Даже не знаем, кому что в гробы класть, сильный фугас был, а тебе ещё повезло, ну, ног не досчитаешься, а так, этим светом и солнышком ещё сможешь любоваться. Этим, а не тем, ты понял разницу? Каков тот свет, ещё никто не рассказывал, да и нет там никакого света, сплошной мрак.

Генка напрягся и попытался вскочить.

— Не дёргайся, сынок, ног у тебя нет, пришлось ампутировать, иначе и вовсе бы не проснулся и остался бы в вечной темноте.

Генка попробовал пошевелить ногами, но там была пустота, и он протяжно, по-волчьи, завыл...

Спонсоры из Германии подарили герою Генке протезы. Неплохие протезы, лёгкие и красивые. К ним он привык и вскоре мог передвигаться на костылях, волоча их за собой.

Армии герой Отечества Генка оказался не нужен. Инвалидность и пенсию оформлять не стал. Простоял несколько раз сутками в очереди в военкоматах и собесах и отчаялся. Решил поехать в родную деревню в Калужскую область, мамку навестить. Но там ни матери, ни домика не обнаружил. Мать в прошлом году умерла от отравления палёной водкой, а вместо домика на их земле возводили коттедж из красного кирпича. Мать по пьяни за бутылку водки продала всё — землю и хибару — дельцу из Москвы. Попробовал Генка подойти поближе, чтобы хоть посмотреть на то, место, где когда-то стояла их завалка. Но ему путь преградили два волкодава, один двуногий, с горбатой дубинкой, другой четвероногий, с оскаленными клыками, с намерением порвать на куски то, что ещё чеченская мина не порвала.

— Эй, ты, чучело, ну-ка исчезни отсюда, — крикнул ему грозно бородастый хозяин с самодовольной мордой, подъезжая к нему на джипе и размахивая помповым ружьём. Он для остротки выстрелил в воздух.

Генка подхватил костыли и отправился на деревенское кладбище. Там с трудом нашёл заросший лебедой холмик с деревянным столбом, на котором карандашом была наслонявлена фамилия матери.

Генка в лесу из осины вырубил крест и поставил на холмике. Плотник-умелец Никифорович в обмен на протез обещал деревянную тумбу с красивыми буквами поставить. Протез же ему понравился, а именно, механизм, который он захотел приспособить под насос водопроводный.

Приковылял Генка на свою опушку, чтобы родничком смыть горе с лица и забыться под переливы соловьёв. Но ни опушки, ни родника не обнаружил, вместо этого там строители-таджики достраивали трёхэтажный особняк с каменным забором.

Горбоносый толстяк, немного похожий на того чеха, которого он отправил на дальний свет, с которого не возвращаются, подозрительно уставился на него в упор.

— Частная территория, парень, проваливай по-добро-поздорову, — сказал он с кавказским акцентом...

— А родничок тут был, не видели? — спросил Генка — Какой родник, шутишь? Здесь подземный гараж и с бильярдной строят...

Генка долго думал, куда ему податься с одним протезом и орденом на гимнастёрке. Решил отправиться в Москву к седому генералу-отцу. Попроситься в армию, ведь руки и глаза целы, и стрелять он может хорошо. Очищать-то жизнь надо, грязно всё это, если за могилу матери придётся протез отдавать, и родники гаражами закапывают, в его родной деревне предприниматели с кирпичными мордами на него собак спускают. Он вспомнил, как очистителем мыл в казарме туалеты, изводил грязь на корню. Жизнь ему вдруг показалась грязным сортиром, который надо отмывать очистителем. Он горестно смотрел, как на бывших колхозных полях, вместо пшеницы, вырастают уродливые особняки, а по лугам заколесилены уродливые джипы, из которых скалились сытые самодовольные рожи. Это самодовольство

вседозволенности бесило Генку, ему хотелось всё это немедленно вычистить из жизни.

До Москвы он доехал бесплатно, сидя в тамбуре плацкартного вагона. Зашагал сразу же в Генштаб, но его задержали на проходной. Из документов только орденская книжка в кармане, всё остальное где-то в военкомате. Фамилию «отца генерала» тоже забыл. От минувшего взрыва трянуло психику. Так, что всё путаться стало в голове. Не только ноги потерял, но и голова стала хандрить. Походил неделю к подъезду Генерального штаба, пока его двое в штатском на джипе не отвезли в отделение, где пригрозили посадить за бродяжничество и отсутствие московской регистрации. Ему казалось, что Москва населена не людьми, а джипами, которые размножились на бульварах и мостовых и давили всё человеческое. Воздух был тяжёл и загазован, улицы утопали в человеческих нечистотах. Они ему грезились всюду, самовольные кирпичные хари: в витринах богатых, но недоступных магазинов, в улыбках красивых, но тоже недоступных, как дорогие магазины, женщин за рулём всё тех же джипов. Всё это почему-то у него ассоциировалось с грязным привокзальным сортиром, с засорёнными нечистотами унитазами, куда не поступала вода из сливных бочков, и вся суть человеческая плавала под ногами. Хотелось всё отдраить очистителем.

Он поселился на Курском вокзале. К нему тут же привязался шустрый белокурый парнишка с быстрыми глазками, который назвался Витькой-гитаристом, ветераном Чечни. Генка сразу почувствовал, что парень не врёт и в тех местах бывал. Но не это главное. Главное было то, что этот замухрышка в золотых джинсах умел петь так проникновенно, что сердце замирало. И песни были серьёзные, без всякой телевизионной шелухи. Голос у Витьки был проникновенный, теребил душу, как будто бы пел про него и про его ребят, которые погибли в чужих и неприветливых горах. — Я давно песни сочиняю и пою про Чечню. Но в телевизор меня не пускают. Там Алла Пугачёва командует, а я не из её репертуара, вот и пою по электричкам. Давай на пару, — сказал Витька, угостив Генку водкой с бутербродом. — У тебя антураж хороший, вот только надо в парикмахерскую и в баню сходить, а то на божья похож больше, чем на героя Отечества.

Генка согласился, и стали они ходить по вагонам. Витька пел соловьём про Гудермес и Аргун, про паренька с православным крестиком на шее, который пошёл под нож абреков, но не поменял своей веры христианской.

Генка стоял рядом и держал спецназавскую беретку для милостыни. Пенсионеры, женщины сочувственно кидали деньги, старушки осеняли их крестным знаменем, а у Генки ком подходил к горлу от того, что люди их жалеют и понимают...

Но стоило ему выйти из вагона электрички и пересечь площадь Курского вокзала, как он сразу же оказывался во враждебном, сверкающем ядовитой иллюминацией мире, красивом, богатом, но закрытом для него. Там он чувствовал себя лишним на празднике столичного бомонда. На

улицах грудились мерседесы и джипы. Везде избыток враждебного богатства и роскоши. В витринах магазинов чужие, самодовольные лица, для которых солдат безногий — уличный мусор.

У него постоянно проверяли документы милиционеры, охраняющие покой джиповых рож. Но, увидев его орденскую книжку, уважительно козыряли и отпускали с миром.

Атмосфера давила на его больную голову грязью и смогом. Он испытывал острое желание стрелять, как курильщик по сигаретам. Пальцы жаждали курка, как губы любовника нежной девичьей груди. Он всё острее ощущал в себе потребность «взять на прицел живую мишень». Это было необыкновенное и какое-то диковатое чувство — ощущать себя хозяином чужой жизни, которая у него трепещется на прицеле, как рыба на крючке: одно движение — и жизни этой нет.

На вокзале он заметил в буфете у стойки двух крепких мужиков, разомлевших от водки. Рядом с ними — винтовки в чехлах. Видимо, были охотники, отправляющиеся в тамбовско-курские леса пострелять волков или кабанов. Он не спускал глаз с чехлов, затаившись, как рысь в засаде. Терпеливо, как когда-то в Чечне в «зелёнке», выжидал жертву для снайперского выстрела. Выждав момент, когда те пошли к прилавку буфета ещё за одной бутылкой, оставив без присмотра груз, молнией прыгнул на костылях, схватил чехол с винтовкой, перебросил через плечо, и только его видали. Улов оказался удачным: снайперская винтовка с прицелом и набором патронов.

Генка в тот же вечер направился к казино «Поль-рояль» и засел в засаде на пятом этаже, напротив сверкающего иллюминацией подъезда, к которому подъезжали дорогие иномарки и выходили самодовольные рожи с роскошными бабами под мышками. Он долго выжидал, ожидая того, кого рисовала ненависть в обиженном воображении. Представителя враждебного мира, для которого он был мусором. Генка нутром выискивал главного врага его неудач, того, кто послал его в Чечню и оставил без армии, которую он так полюбил. Того, кто засыпал его родник и занял его дом. И вот он дождался его. «Враг» вышел в костюме с галстуком-бабочкой, с холёным брюзгливым лицом, пресыщенным развратом, икрой и коньяком. Во рту дымилась сигара, на руках повисли две красивые девчонки, с которыми он, наверное, парился голым в сауне. Два бычка-охранника с мускулистыми откормленными рожами суетились впереди, расталкивая прохожих. Они смеялись. Не иначе над ним, Генкой. Им было весело, оттого что Генка остался без ног, что его выгнали из армии, что у него мать-пьяница. Но Генка мог ещё стрелять, и он посмеётся теперь над ними.

Палец с жадностью прильнул к курку. Свёл прицел и голову в одну линию. И снова испытал сладостное чувство — властителя чужой жизни. С первого же выстрела череп мишени разлетелся, как спелый арбуз, разбитый об асфальт. Кровь вперемежку с мозгами размазалась по дорожному костюму, обрызгав платья красивых баб, что заставило их завизжать кошками, которым наступили на хвост.

Методично продолжал стрелять по бабам, по охранникам, по припаркованным лимузинам, превращая всё в мясные туши для морга, самодовольные рожи в ошметки. После точного попадания в бензобак красной «ферарри» раздался взрыв, разнёсший вдребезги парадный подъезд со стеклянными самооткрывающимися дверьми.

Душа Генки наполнялась бесноватым весельем, в глазах мелькали лица его сослуживцев, погибших в автобусе после бани, прапора Матвея и самодовольного нувориша, который поселился на земле его матери.

— Воздух стал чище, жизнь стала чище, — бормотал Генка, — в сортире заработала канализация...

Ему вдруг вспомнился седой генерал, и захотелось поплакаться на его груди, пожаловаться на несправедливость и боль души. Но патроны кончились. Беспомощно щёлкал курок. Винтовка без патронов — это просто палка. Веселье испарилось. Чистить жизнь больше было нечем. От грязи он устал. Генка подтянулся на руках и рыбкой прыгнул с пятого этажа, головой вниз, в асфальт, как в детстве нырял с дзевенского моста в речку Окушку. Боль, искры в глазах, и темнота... Вечная темнота, из которой уж теперь Генке не выбраться никогда...

Не знал он, что в эту ночь его фальшивому отцу-генералу оперативники доложат, что его сына-банкира Фёдора подстрелили бандиты прямо у дверей казино. А газеты взхлёб разнесут эту новость дня по всей стране, что в результате бандитских разборок — убит ещё один бандит. А через день все забудут и про банкира Фёдора, и тем более про Генку, Героя Отечества с одним протезом...

Герои умирают тихо

Когда по стране вновь объявляли траур, раздутый в масштаб национального бедствия по поводу внезапной кончины в пьяной аварии шоумена из телевизора, Клавдия грустно выключала телевизор и, вытирая слёзы, смотрела на портрет Славки в траурной рамке...

Её муж Славка, лейтенант милиции, погиб год назад в Чечне. Его отправили туда в месячную командировку — консультировать местные кадры по правилам движения в городе, помогать братской республике восстанавливать мир и благополучие.

У неё должен был родиться ребёнок, мальчик, и Славка обещал приехать как раз к его рождению.

Никого она не любила в этой жизни так крепко, как этого светловолосого рослого парня, скроенного из железных мускулов, чувствуя в нём надёжную опору. Познакомилась она с ним, можно сказать, на улице, на переходе между парковой зоной, застроенной каменным сплошным забором гаражей. Ей всегда приходилось проходить это глухое место, чтобы сократить путь к стоянке автобуса. Место было глухое, здесь бродило немало бездомных собак и двуногих человекообразных одичавших мутантов. Однажды мрачным зимним утром её окружили два лохматых существа с нечеловеческими физиономиями и, угрожая ножом, потребовали сумку с деньгами и мобильник. Её

сразу же парализовал страх, и она, дрожа всем телом, готова была выполнить любое их желание.

Но тут молнией сверкнула синяя спортивная куртка, расчищая дорогу от человекоподобных завалов... Гибкое сильное тело закрыло её от небритых ухмыляющихся физиономий, воняющих засорённой канализацией.

Один из них с воплями растянулся на земле, а другой, обхватив руками челюсть, с визгом побежал прочь... Стройный парень с рыжими усиками на аскетичном лице, словно сказочный викинг из телесериала, протянул ей сильную руку и тихо сказал: «Пойдёмте, я вас провожу...».

Так они познакомились. Вроде бы случайно. Случайно на неё напали бандиты, и случайно в этот момент пробежал по этой дорожке Славка, совершая регулярную утреннюю пробежку. Недолго думая, вступился он за неё, рискуя жизнью. А такое — случайно не бывает.

Стали встречаться, и вскоре она уже не мыслила жизнь без него, почувствовав в нём ту опору, о которой так мечтает каждая женщина. Славка служил в милиции, учился заочно в институте и мечтал стать прокурором, чтобы бороться с несправедливостью. Они поженились. Славка переехал к ней в однокомнатную квартирку, где они жили вместе с мамой. Но тесноты не замечали. Он умело соорудил фанерную перегородку, сделав из однокомнатной — двухкомнатную. Руки у парня были золотые. Из старой запущенной хибары с вздувшимися от коммунальных потоков потолком и паркетом, с обшарпанными стенами — сделал «конфетку». Отремонтировал квартирку, сменил сантехнику, выложил кафелем ванную. В доме стало гораздо уютнее. На работе он встал в очередь на квартиру. В своей системе он был на хорошем счету, и квартиру ему обещали дать, как только у него родится ребёнок. В общем, складывалось на редкость всё так хорошо, что она боялась слазить. Потому что так хорошо в жизни не бывает, а Клава привыкла от неё получать всякие неприятные сюрпризы.

Командировку в Чечню они восприняли спокойно, даже с определённой радостью. Командировочные были очень солидные плюс ряд льготных поощрений по выслуге и карьерному росту. Обещали дать внеочередное звание капитана. Срок командировки всего месяц. Приедет как раз к новому году и, возможно, к рождению ребёнка, которого ждали уже восьмой месяц. Тем более, там был мир и процветание. Строились новые дома, возводились дворцы культуры.

Единственное, что омрачило настроение перед отправкой на Кавказ, так это громкая смерть известного ведущего ток-шоу «Секс натошак» Редькина, который погиб в пьяном виде за рулём своего роскошного форда, на полной скорости врезавшись во встречный микроавтобус. По всем информационным каналам застало телевидение, всемирный плач и визг сотрясал страну, заглущая все текущие события, в том числе визит президента в Болгарию, взрыв на шахте в Донбассе и повышение цен на коммунальные услуги... О том, что по вине звезды шоу-бизнеса, незаменимого юмориста и ведущего передачи «Секс натошак»,

в микроавтобусе погибла женщина с ребёнком, а пятеро людей с тяжёлыми травмами были отправлены в больницы, было сказано вскользь, как бы между прочим. На телеэкранах без конца возникали скорбные лица актёров, политиков, тележурналистов, которые рыдали о невосполнимой утрате для страны, сравнимой с национальным бедствием, по масштабам сопоставимым лишь с Чернобыльским пожаром или обрушением Кремля. Через каждый час показывали прямые репортажи с траурной панихиды из Дворца культуры. Перед глазами мелькали заплаканные вдовы-красотки, из числа бывших многочисленных официальных и гражданских жён, в изящно подобранных траурных одеяниях с модными шляпками, пытающиеся позировать перед телекамерами. Шли нескончаемые потоками вереницы людей с венками, словно вся страна в этот день не работала по такому случаю. Застыли памятниками почётные караулы, состоящие из членов правительства.

Клава тоже не выдержала и смахнула слезу, тяжело вздохнув. Этот развязный малый с крахмаленной физиономией был кумиром её подружек, хотя саму её раздражали его пошлые шутки и ужимки. Но об этом она никому не говорила, потому что всем нравилось. Не зря же все газеты и журналы были заполнены его фотографиями и интервью, где он откровенничал о последней сексуальной встрече, о новом особняке в Ницце. В праздничные дни он заполнял телеэфир, гримасничая и пародируя то Ельцина, то Брежнева по всем каналам, не давая времени даже действующему Президенту поздравить граждан с Новым годом или Днём победы.

Подружки Клавы всегда наперебой обсуждали последние новости о Редькине, о том, с какой певицей или телеведущей он переспал последнюю неделю и на какой даче провёл уикенд. Таких фазенд у него по стране и по миру разбросано десятками. Редькин также учил домохозяек, как солить огурцы, а мужиков правилам культурного секса.

Славка же к Редькину относился равнодушно, только иногда бурчал, дескать, везёт же некоторым, не пашут и не жнут, а весело живут. И такая знаменитость вдруг разбилась вдребезги, как бутылка коньяка, брошенная в каменную стенку.

Вот в такой атмосфере всенародного горя уезжал Славка в Чечню на поезде с Курского вокзала.

Каждый день звонил оттуда и присылал фотографии и открытки.

— Всё хорошо, природа прекрасная, народ гостеприимный, — писал он, — город Грозный строится и хорошеет. Мирная жизнь наступает...

Но однажды связь прервалась. Мобильник гнусавил противным голосом, что «абонемент временно не доступен»... Клавдия снова звонила, и в ответ тот же голос, который словно издевался над ней, вещал о недоступности Славки. Она готова была выцарапать глаза этой бабе с таким противным голосом... Попробовала дозвониться до военной части, где был расквартирован Славка, но там либо не отвечали, либо говорили, что посторонним сведения не дают.

Потом пришли с работы его сослуживцы и принесли похоронку.

— Он погиб на посту, при задержании опасных преступников, — тихо сказал, отводя глаза, начальник Славки, майор Вострухов, — остановил подозрительную «ниву» на перекрёстке и попросил предъявить документы. В ответ его расстреляли в упор. Но Вячеслав успел тоже выстрелить и ранить нарушителя. В результате удалось обезвредить группу террористов, которые готовились взорвать вокзал. Посмертно ваш муж представлен к званию героя, пожалуйста, крепитесь, — пробубнил он и неуклюже поцеловал её в щёку.

Похоронили Славку на Митинском кладбище, рядом с его родителями, пенсионерами, ветеранами Великой Отечественной войны, в оцинкованном гробу. Она даже не увидела его лица на прощанье. Похоронили тихо и без салютов. Приехали попрощаться несколько сослуживцев да беременная Клава с подружкой Светкой.

Остальные в этот день были заняты неотложными делами.

Потом в газетах она жадно искала сообщение о гибели мужа. И нашла в «Известиях» скупую информацию об очередном инциденте на дорогах Чечни, в результате чего погиб сотрудник милиции и ранен террорист Болтуханов Омар, лидер бандитского подполья. Далее рассказывалось о подвигах этого бандита, о том, что взрывал Омар дома в русских городах и даже принимал участие в расстреле заложников... Но ни слова больше о сотруднике милиции, словно это был не человек, а какая-то неодушевлённая пешка в чужой большой игре, без имени и фамилии...

По телевизору, тем более, не заметили гибели её Славки. Там по всем каналам скакали юмористы и шоумены, которым было неудержимо весело.

Ребёнок у неё родился преждевременно. Роды как-то отвлекли от горя.

Мальчика она выходила, и он с каждым годом всё больше был похож на Славку...

Клава поставила памятник. Хороший. Помогли сослуживцы. Ей вручили посмертный орден Славки в торжественной обстановке в горотделе милиции, где он работал. Там же повесили его фотографию на стенде «Они погибли за Родину». На стенде было много молодых красивых лиц, чем-то похожих на Славкино. Значит, не одна она была в горе.

Время шло, накатывалось житейскими проблемами и буднями стирала прошлое. Сначала ездила на могилку каждую неделю. Потом — раз в месяц. Затем только на пасху, раз в год... Времени катастрофически не хватало. Рос сын, его надо было одевать и устраивать в хорошую школу, чтобы он не отстал от своих сверстников.

Потом её познакомили с Дмитрием, предпринимателем. На Славку он не был похож, но всё же мужчина, который помогал ей деньгами. Затем тяжело заболела её престарелая мама. И ей вовсе стало ни до кого. Только по вечерам смотрела телевизор, чтобы отвлечься от проблем и забот. Там на экране снова протрубили массовый траур... На Садовом кольце в пьяном виде и с чужой женой разбился известный тележурналист Мурлыкин.

А Клава вспомнила о своём Славке. — Герои умирают тихо, — подумала и, роняя слезу, решила завтра же съездить на могилку к мужу... Но на завтра было назначено родительское собрание в школе у сына по поездке на экскурсию в Болгарию. И она лихорадочно принялась гадать, с кем бы оставить на это время парализованную маму...



52

Александр Котюсов
Соболев и Голубка

Александр Котюсов Соболев и Голубка

Вольный олень

Сказка для взрослых

Жил-был олень. Жил в лесу, как и положено, не тужил. А зачем, спрашивается, тужить? Весной-летом травку щипал на опушке, цветочки жевал, яголки, веточки с почками, да водичку свежую из ключа подземного попивал.

Поест, бывало, попьёт и уляжется на полянке, отдыхает, жизни радуется. Солнце летнее жаркое, греет сильно. Ну да не беда. Коли станет оленю невтерпёж на солнцепёке в шубе своей гладкой, бархатной, пятнистой, под дубом раскидистым в тени тогда он спрячется. Благо, дубов полон лес. Оленье дело нехитрое. Знай себе летом жирок нагуливай, к зиме лютой готовься. Развлечений немного в лесу совсем. Скачи себе меж деревьев беззаботно, да в молодёжных боях-проказах участвуй, веселись. Пока рога крутые, острые, да озорства и сил полна грудь.

А бои-то к концу лета устраивали они нешуточные. Со всего леса окрестного сходились олени. Один другого краше. Рога ветвистые, крепкие, взгляды гордые, мех атласный. Сходились себя показать, силой-удалью помериться. На бои и оленихи молодые приходили. А как не прийти, красавцев стройных, грациозных не посмотреть. Стояли обычно скромно в стороне, не мешая, друг с другом перешёптывались, ожидая, когда победитель боя очередного подойдёт к ним усталый, пораненный, выберет подругу себе достойную, чтоб семью создать и детишек малых завести.

Наш-то олень молод ещё был, семьи пока не имел, но в боях участвовал и побеждал нередко, поскольку силушкой обладал недюжинной. Да и красив к тому же был, высок и статен. А потому часто ловил на себе взгляды олених молодых, кареглазых и уж задумывался всерьёз, не пора ли и ему остепениться, окупнуться в жизнь семейную с уютом домашним, оленятами малыми, несмышлёными. Но считал всё же, что рано ему пока. Свадьба-женитьба дело серьёзное, ответственное, особого осмысления требующее.

К тому же олень наш свободу шибко любил, да независимость. А жизнь семейная, она ведь что: с одной стороны, быт налаженный, олениха под боком всегда, травка свежая на столе, детишки вокруг бегают. А с другой, сразу ограничения, поздно домой не возвращайся, с друзьями не

засиживайся, с оленятами гуляй побольше. Нет, семья дело, конечно, нужное, но можно и повременить немного. Молодой пока! Так олень наш думал про себя, успею, мол, и олениху самую красивую выберу. А то!

Правилось оленю в лесу. Бывало, проснётся поутру, вдохнёт лёгкими воздухом свежий, еловой иголочкой пахнущий, и зажмурится от удовольствия. До чего же хорошо! На ветку берёзовую взглянет, там чирик сидит, чирикает беззаботно. Повыше глаз подымет, там дятел в сосновой коре личинки себе на пропитание добывает, стук-постук. Ещё повыше, там белочка несётся, словно из лука выпущенная. Куда летит непонятно, да и неважно вовсе, коли нравится ей с дерева на дерево скакать, кто же против, не мешает же, чай, никому. Солнце утреннее сквозь лесные заросли пробивается, глаза покалывает. Опустит олень глаза к земле, а там тоже жизнь. Вон заяц веточку съедобную нашёл, гложет, мелко лапками передними тербит. Ёж потопал грибочки на зиму запасать. Чу... валежник неподалёку хрустит. Это, должно быть, Михал Иванович проснуться с ночи изволил, малинку дикую на завтрак собирает. Всюду жизнь. Непростая. Но свободная зато. Никто, конечно, на блюдечке ни ягодок не принесёт, ни орешков. За водой и то к речке ближайшей идти надо или к ключу. Летом-осенью ещё ничего. Лес, он любого прокормит. А вот зима. Зима, конечно, в средней полосе лютая бывает и голодная. Михал Ивановичу проще всех. В берлогу залез, лапу в рот засунул, и спи себе до весны, пока капель шкуру не промочит. Ни еды, ни воды не надо. Такой вот организм. Не может так олень. По-другому устроен. Ну, с водой-то зимой просто совсем. Снега белого пожевал, вот и напился сполна. Хоть и холодный он да колючий, зато свежий такой, вкуснее воды ключевой кажется. А вот с едой... С едой в зиму лютую дела хуже обстоят. Вроде вот только осень была. И листочки зелёные ещё глаз радовали, и колосья дикие, аппетитные, и кора мягкая. И вдруг раз — и под снегом исчезло всё. Так что есть коли захочешь, откапывай себе листву жёлтую пожухшую, да корешки промёрзшие. Хорошо хоть от мороза мех олений спасает, никакие холода ему не страшны, спать прямо в сугробе можно, как на перине пуховой.

Да ладно ещё только зима суровая с её неприятностями. Это-то перенести можно. Да, голодно, конечно, но ведь не целый же год. В апреле уже солнце греть начинает, капель с веток звенит, да полянки оголяться начинают. Лето впереди новое,

а там и жизнь сытая и счастливая. Зимой всё больше волки лютые ухо остро держать заставляют. Могут и врасплох застать, с зубами своими острыми наброситься, растерзать. В бою-то честном оленю по силе равных в лесу нет. Как рогами махнёт своими длинными, никакому врагу не позавидуешь. А вот ежели исподтишка, со спины волку наброситься, да ещё не одному, а стаей целой, тут уже оленю не сдобровать. Но... не было пока такого случая нехорошего у оленя нашего, да и пусть не будет никогда. Тем более всё же дружно в лесу звери все живут друг с другом. Ну, за исключением волков, выходит. А что с них взять, диких. Отморозки. Не по закону живут. По понятиям.

Ещё, конечно, от охотников оленю беда. Волк-то он вот, рядом здесь, перед глазами. С ним и в бой вступить можно, даже если он не один. А с охотником как бороться? Никак. У него ружьё. Стреляет далеко. И за сто метров, и более. Спрячется человек с ружьём за деревом, и не увидишь его никак. Только выстрел и услышишь. Да уж поздно может быть.

Ну да что жаловаться оленю на жизнь. Не он сам её себе выбирает. На роду у него это написано. Так и родители его жили, и их родители тоже. Зато свобода лесная, воля...

Любил наш олень лес свой. Чистый, светлый, глазу приятный. С полянками солнечными, ручейками звенящими. Разве променяешь такое счастье на что-то другое. Вот как-то гулял он после водооя, пение птиц слушал, запахом цветов диких восторгался. Гулял, гулял, да забрёл ненароком на опушку лесную, на самый её край. А за краем тем луг с травой зрелой, сочной. А на лугу том стадо баранов пасётся, морды в землю уткнули, траву жуют-пережёвывают.

Интересно оленю стало, как там жизнь вне леса происходит. Взмахнул он копытами, скок-поскок и в три прыжка к баранам прискакал.

— Здорово, ребята,— говорит,— куда путь держите? Как живёте-поживаете?

Оторвались бараны от травки сочной, жевать перестали. Смотрят на оленя незнакомого, откуда он здесь на лугу-пастбище появился.

— А куда нам путь держать,— отвечают бараны,— нам торопиться-то некуда, знай траву сладкую жуй, брюхо набивай. Обеденный перерыв у нас, так сказать. Между завтраком и ужином. А после ужина сон. Надо же сил набираться, чтобы завтра снова целый день здесь на пастбище траву щипать. А живём мы хорошо. Грех жаловаться. А сам-то ты как?

— Да тоже неплохо,— рогами кивает олень,— летом-то любому жителю лесному благодать. Трава свежая, кора мягкая, ягода вкусная. Зимой, конечно, нелегко. Тут уж врать не буду. Еду приходится из-под снега доставать, снег холодный жевать. Да и опасность на каждом шагу. То волк дикий с зубами острыми, то человек с ружьём. Всяк норовит нашего брата-оленя убить, мясо пожарить, а шкуру на пол постелить. Вы-то как с проблемой

этой справляетесь? Чай, тоже непросто за жизнь бороться.

— Мы-то как?— удивляются бараны. Даже жевать от изумления перестают,— а у нас проблема эта отсутствует абсолютно. От волка нас собаки стерегут. Вон они, видишь вокруг бегают, воздух носом нюхают. Стоит только появиться серому, они на него так набросятся, что не сдобровать ему, ноги бы унести. А если уж вдруг шибко лютый волчара окажется да смелый, на смелость эту есть у нас ещё один защитник. Вон на пригорке человек с ружьём сидит,— кивает один из баранов в сторону,— ежели собакам не справиться, он всегда на помощь придёт, отпугнёт волка выстрелом. Вот ведь как! На тебя человек с ружьём охотится, а нас, стало быть, охраняет. Он у нас вроде как в услужении, каждый день на луг-пастбище приводит, каждый день уводит. Не жизнь, красота. А дома ещё и другие люди в обслуге есть, тоже служат нам, ухаживают. Один воду в ведро попить нальёт, другой соломку поменяет, третий моет нас, причёсывает и даже стрижёт ежемесячно. Вот такая жизнь наша баранья замечательная.

Раззавидовался олень рассказам бараньим. Слушает и ушам своим не верит даже.

— Это летом, наверное, всё только, красота такая, а зимой, зимой-то как? Всё равно не сладко, наверное, приходится?

— Да куда уж тут?— блеют бараны,— слаще некуда. Дома у нас тёплые, сухие. Воду пить приносят специально нагретую, чтобы мы не простудили горло себе. Сено самое вкусное нам ещё с лета заготавливают. А ещё витамины специальные дают, чтобы болезней никаких не было. И главное, что еду искать не надо нам совсем. Ни под снегом выкапывать, ни ото льда копытом отбивать. Всё прямо в дом приносят. Самое вкусное. На это тоже человек у нас специальный есть нанятый. Так что живём мы, как у Христа за пазухой. Знай себе ешь, да спи. А всё остальное за тебя делают.

Подивился олень всему сказанному. Надо же, подумал он, как хорошо бараны-то живут. Ни опасности им нипочём, ни с едой проблем никаких. А почему всё так? За что баранам счастье такое выпало неземное. Подумал он и спросить решил баранов, может, тайна какая тут кроется.

— Чем же вы заслужили уважение такое?— спрашивает олень,— что и люди у вас в подчинении, и еда лучшая, и дома тёплые. Может, особенность какая в вас есть. Расскажите.

Загордились тут бараны все, заблеяли хором, от травы морды свои оторвали, щёки надули, плечи распрямили. Стоят—грудь колесом, шерсть лоснится.

— Есть, есть у нас секрет. Действительно особенные мы,— отвечают,— порода у нас ценная. Элитная. Шерсть, видишь, у нас белая, как снег, пушистая, кровь голубая. За это нас ценят и уважают. Породиться все с нами хотят, в стадо попасть. Только вот не всякого мы берём к себе. Голубую кровь нам портить негоже. И доверять каждому встречному

мы тоже не хотим. Ежели мы всех в семью нашу принимать будем, ни воды никакой не хватит, ни соломы под подстилки, ни витаминов тем более. Можно сказать, конкурс у нас в стадо. Только лучших берём. Кто проявил себя чем-то, заслужил, так сказать, удостоился. Вот тебя бы мы, пожалуй, взяли к себе, уважили. Что-то есть в тебе такое, располагающее. Мех опять же красивый — палевый в крапинку. Что, пойдёшь к нам в стадо или нет?

Задумался олень. Не жил он в стаде никогда. Может, хорошее это дело. Попробовать стоит?! Не то, что одному в лесу бобылём. Ни соломки никто не подстелет, ни воды поутру не принесёт. Может, и правда пойти мне в стадо, думает.

— Да почему бы и не пойти, — говорит, — коль такие привилегии у вас. Только вот не верится мне, что всё так вот запросто. Есть ли какие условия, требования? Не только ж за мех красивый меня в ваше стадо элитное приглашаете.

— Разумные ты вопросы задаёшь, — отвечают бараны, — сразу видно, олень ты смыслённый, оттого нам ещё больше нравишься. Условий-то немного, но есть всё же. Однако все они легко выполнимы, ты справишься. Во-первых, уж больно ты ростом великоват. Выше нас на целых две головы. Так что надобно, чтобы ты на коленях по пастбищу ходил. Так ты в самый раз под наш рост будешь. Поначалу-то, конечно, непривычно будет, колени натирать станешь. Но свыкнется быстро. Ходить-то много не придётся. От дома до пастбища, да обратно. Всего-то два раза в день. Проползаешь. На пастбище стой, да жуй. Вся недолга. А дома так вообще — лёг на соломку, да позевывай, жди, когда водички принесут. Это, значит, первое требование. Во-вторых, рога у тебя уж слишком велики да остры. С такими рогами у нас нельзя. Придётся тебе их обломать... э, в смысле спилить. Но и ни к чему они тебе. Ещё в зад воткнёшь кому. Ты в лесу своём рогами что делаешь? От волков обороняешься да за олениху в боях бьёшься. Первая проблема, как ты знаешь, у нас решена. Защищаться тебе самому не надобно. На то люди специальные поставлены. А вот что касается оленихи. Тут мы тебе, конечно, олениху не дадим. Зато вот овечку любую выбирай. Тонкорунную, кареглазую. А ежели заслужишь всеобщее уважение, мы тебе и двух, и трёх дадим впоследствии. Но это не сразу, конечно. Со временем. Ну и третье условие. Простое совсем. Его и заучивать не надобно. Просто привыкнуть и жить с ним.

— Что за условие? — спрашивает олень.

— А надо быть, как все, не высовываться и исключительность свою не показывать, — отвечают, — если уж ты в стаде, значит, в стаде. Идти надо строем, в ногу, голову поднимать, только когда спрашивают. Да и чего её поднимать? Голова должна в землю смотреть, на траву сочную. Лбом в зад товарищу уткнулся для уверенности и жуй себе траву, стало быть. Глазеть по сторонам нечего. А вперёд — тем более. Куда идти, зачем да сколько, это всё за нас решают, ведут, чего беспокоиться? Ну и языком тебе нашим надо овладеть. Чтобы никакой вашей лесной отсебятины. Только «пе» да

«ме». Два слова всего. Простых, но важных. Ну, это ты быстро выучишь. Слова нехитрые. Вот и всё, собственно, три условия. Ну что, соглашаешься?

Послушал олень баранью речь. Долго думать не стал. Сказал всё, как есть.

— Хороша, конечно, жизнь ваша, братья-бараны, — говорит, — многие бы, наверное, у нас в лесу такой жизни позавидовали. Ни проблем тебе, ни забот. И еда всегда рядом, и очаг теплом горит, и защита возле, охрана. Что ещё надо? Спасибо вам огромное за предложение. Благодарен я, что вы, не зная меня совсем, в семью свою готовы принять, на довольствие поставить, овечку лучшую дать. Только вот не могу я предложением вашим воспользоваться. Не по мне оно. Лесной я зверь, вольный. Не привыкший я на коленях ходить даже за самую траву вкусную и воду чистую. И рога мне нужны. Как мне без рогов? Это гордость моя да рода моего. Мы тем и отличаемся от многих зверей лесных, что рога у нас самые ветвистые, острые да красивые. А что мы без рогов? Без рогов и не узнают меня. За барана ведь примут. Что же касается строем ходить, «пе-ме» кричать да быть, как все. Сложное это дело, почти невыполнимое. И не потому, что гордыня меня обуяла, и покичиться особенностью хочется. Нет. Мы, олени, хоть и гордые звери, но скромные. Просто иногда зовёт что-то внутри выйти на поляну поутру, набрать в лёгкие воздуха побольше и протрубить на весь лес. Просто так. Потому что настроение хорошее. Ну а что касается овечки. Спасибо, конечно, предложение лестное, заманчивое. Только вот и здесь неувязочка выходит. За подруг наших, оленьих, мы сражаться привыкли, в бою честном их добиваться. А так, без победы... Не мила мне такая овечка будет. Так что ещё раз спасибо вам за предложение, только, пожалуй, не приму я его. В лесу буду жить. Может, и не так комфортно и обеспеченно, зато свободно. Свобода, она дорого стоит. На стойло с пастбищем её променять, может, и готов кто, но только не я.

Закончил олень речь свою, голову поднял, высоко, гордо. Посмотрели на него бараны, заблеяли неодобрительно.

— Ладно, — говорят, — олень! Дело твоё, конечно. Решил, так решил. Мы два раза в стадо наше не приглашаем. Ежели передумаешь, то уж поздно будет. Вот наступит зима морозная, голодать начнёшь, да по лесу от волков бегать, вспомнишь и нас, и стойло тёплое, и овечек наших. А сейчас прощай, и так много мы на тебя времени потеряли в разговоре, ещё похудеем от недоедания.

Сказали это бараны, в землю мордами уткнулись, задом к оленю повернулись и, зная себе, снова траву жевать-пережёвывать.

Встряхнул олень головой, копытами оземь стукнул да в лес побежал. Тем более, что солнце уже к горизонту клониться стало и спать укладываться.

Долго ли коротко жизнь идёт да сказка сказывается. Вот уж и осень наступила, а за ней зима. Осенью олень всё же приглядел себе красавицу, олениху кареглазую. Бился не на шутку с другими оленями за неё. Всех победил в честном бою. Потому как самый сильный был и смелый. Подруга верная оказалась и красивая. Самая красивая в лесу. Теперь вот ждёт прибавления, оленёнка молодого несмышлёного. Про баранов олень больше не вспоминал. А что вспоминать-то про них. У них своя жизнь, у оленей своя.

А бараны до зимы в своих домах комфортных дожили, траву вкусную ели, витамины пережёвывали. Мех у них ещё белей стал, как снег почти, играл, лоснился весь. Про оленя они тоже не вспоминали вовсе: что, мол, про дурака глупого вспоминать, который от привилегий да счастья сытого отказывается. В общем, дожили спокойно до зимы.

Блеяли спокойно, строем ходили да не высывались. А под Новый год во всех окрестных магазинах мясо отменное появилось. Его покупали все, уходили и снова возвращались, ещё взять. Говорили, уж больно вкусное оно. Элитное. Сорт, мол, такой.

Тут и сказка наша заканчивается. А уж выводы все сами делайте. Что оно лучше-то. Бараном быть или оленем жить...

Папа и мяч

Мяч был большой и круглый. И ещё жёлтый. Ярко-жёлтый и огромный, как свежее и бодрое утреннее одесское солнце, как огромный сочный персик с Привоза, как лоснящийся и впервые увиденный мною этим летом южный жёлтый помидор, как сладкая казахская дыня, которую мы ели вчера вечером.

Мне даже показалось, что он мне подмигнул, наверное, хотел подружиться. Мяч лежал на витрине в магазине, сияя надутыми щеками, он звал меня к себе играть и улыбался, радуясь нашей встрече. Должно быть, ему было скучно в этом магазине. Я сразу понял — мне его купят, обязательно купят. Мы с мамой пришли в магазин детских игрушек. Мы пришли не просто посмотреть, мы пришли за покупками. А раз магазин детский, значит, и покупка для меня, а не для папы или мамы.

Я увидел этот мяч и замер. Я решил стоять около него и никуда не уходить. Ну, только если вдруг в туалет очень захочется и терпеть уже не смогу. И всё, больше никуда. Мне было всего 2 года, я ещё не мог передать словами те эмоции, которые нахлынули на меня при виде мяча. Я вообще ещё мало что мог сказать, некоторые слова у меня получались, а некоторые пока нет. Мама увидела мой восторженный взгляд, посмотрела на бумажку с ценой, улыбнулась, что-то спросила у продавца, и я стал обладателем огромного, почти с меня ростом, ярко-жёлтого круглого чуда.

— Это твой мяч, малыш, — сказала мне мама, и я схватил его и обнял, прижался к нему всем телом, ощутив его лёгкость, но нести мне его в таком надутом состоянии домой не разрешили, сказали,

что я даже дорогу за ним не увижу. Поэтому мне дали в руки маленький белый пакетик, в котором лежал мой жёлтый мяч, только сдутый... и я по этому поводу очень сильно волновался, потому что этот свёрнутый прорезиненный кусок совсем не походил на красивый и яркий мяч, который я выбрал на витрине. Я даже думал было пустить слезу и потопать ногами, иногда такие приёмы срабатывали в части покупки конфет и пирожных, но мама успокоила меня, сказав, что как только мы придём в гостиницу, где остановились на время отпуска моих родителей, папа сразу его надует, и я смогу играть, сколько захочу.

Всю дорогу я прижимал одной рукой пакет к груди, а другой держался за маму. В этот день мне казалось, что я был самым счастливым мальчиком во всей Одессе. Ведь таких подарков не было больше ни у кого на свете.

Папа действительно сразу надул мяч, и весь вечер я бегал с ним в обнимку по комнате и во дворе и даже несколько раз споткнулся и содрал себе коленку до крови, потому что мяч был такой большой, что за ним ничего не было видно. Но потом я научился падать и падал животом прямо на него. Это было так здорово, что я стал падать на него специально. Он как будто защищал меня от падения, как самый лучший друг, готовый подставить руку вовремя. Мяч и правда стал моим другом, каким-то родным и близким. Нам вместе было очень здорово.

Спать я лёг тоже с ним, долго пытаюсь накрыть его одеялом. Но одеяло было маленьким, все вместе под ним мы не могли поместиться, и я расстроился, вдруг мяч замёрзнет ночью. Но тут пришла мама и сказала, что это южный мяч, а на юге все спят с открытыми окнами, а иногда даже на балконе, и никто не мёрзнет. Не будет холодно и мячу. Тогда я успокоился и, счастливый, уснул.

Наступило утро, и в окно к нам заглянуло свежее и яркое одесское солнце. Он разбудило нас и позвало с собой на море. За ночь мяч немного сдулся, но папа набрал полные лёгкие воздуха и снова сделал его упругим и гладким. Родители взяли полотенца, подстилки, фрукты и пошли на пляж, купаться и загорать, как сказала мама. А я взял мяч. Потому что хоть фрукты и были очень вкусными и сладкими, но мяч для меня был важнее. Фрукты и подстилки были для всех, а мяч только для меня.

Мы вышли на берег, и я впервые увидел море. Мама и раньше мне про него рассказывала. Я знал, что оно намного больше ванной в нашей квартире и больше озера на даче у бабушки, но я никак не мог предположить, что море может быть таким огромным. У него не было видно берегов, оно было ярко зелёным и далеко-далеко сливалось с голубым небом, а ещё через каждые несколько секунд на пляж, где положили мы свои подстилки, накатывалась весёлая и шумная волна, она со смехом пронеслась по песку, смазывала его ярким искристым блеском и пропадала, оставляя после себя пену, мелкие камешки и немного зелёной

морской травы. На пляже висел красный флаг, и мама объяснила, что купаться сегодня запрещено, потому что на море сильный ветер, большие волны и можно утонуть, даже если ты хорошо плаваешь. А я плавать ещё не умел вообще.

Волны и правда были огромными, они были выше меня и даже выше папы, почти как дом. Дети постарше играли с ними в догонялки, они старались убежать от волн, но те всё равно успевали до них дотронуться своими мокрыми руками, некоторых, которые не умели бегать быстро, они окатывали с головы до ног и даже роняли на песок. Но никто не плакал и даже наоборот, всем было весело. Мне надели на голову панамку, и я хотел было побежать играть вместе со всеми с набегающей волной, но мама не пустила меня, сказав, что я ещё маленький и подходить к воде одному близко без взрослых опасно, волна меня может утащить в море к страшному морскому чудовищу. Морское чудовище я видел в мультфильмах и встречаться в жизни с ним не хотел, поэтому послушался маму и к морю не пошёл.

Огорчаться не имело никакого смысла. Ведь мы приехали на целый месяц и, наверное, ветер не будет дуть каждый день с такой страшной силой. К тому же рядом со мной лежал и сиял своими круглыми боками большой, жёлтый мяч, и он дружил только со мной, и не нужно никого было спрашивать, чтобы играть с ним. Я стал подбрасывать его в небо и смотреть, как он парит в воздухе, закрывая собой солнце. Он был больше солнца и ярче него. Они казались такими похожими с солнцем, круглыми и жёлтыми. Но на солнце было больно смотреть, и к тому же оно сияло слишком далеко от меня, а мяч лежал рядом на песке, и я мог обнять его и прижаться.

В очередной раз я подбросил мяч вверх и зажмурил глаза. На несколько секунд я потерял его из виду. Озорной порыв морского ветра подхватил моего друга, закрутив в воздухе, наверное, ему тоже хотелось поиграть с ним. Мяч рванулся к морю, остановился немного на мокром песке, подпрыгнул, и свежая солёная волна неожиданно шлёпнула его по жёлтому боку и увлекла за собой вдале от берега. «Купаться», — донёсся до меня её шёпот. Я молча и испуганно стоял на песке и смотрел на то, как мой мяч уплывает от меня всё дальше и дальше в море. Он играл с волной, прыгая с одного её гребня на другой, легко взлетая над морем и паря в воздухе. Мяч словно вырвался на свободу и вдыхал в себя свежий морской запах. Мой друг убежал от меня всё дальше и дальше, поблёскивая на солнце жёлтым ярким озорством.

Первым спохватился отец. Он вскочил с песка, отряхнулся и бросился в море за моим мячом. Он грёб молодецкими бодрими саженками, оставляя за собой большие волны, но каждый раз, когда мне казалось, что он вот-вот догонит мяч, тот, словно играя с ним в догонялки, неожиданно бросался дальше в море, дразня и улыбаясь своим жёлтым боком. Волны становились всё больше и больше, и я иногда терял и отца, и мяч из виду, они то

пропадали оба, то вдруг появлялись на гребне волны иногда близко, а иногда далеко друг от друга. Они уже заплыли за буйки, огораживающие пляж и удалялись всё дальше от берега. Неожиданно мне стало страшно, страшно не за мяч, я знал, что с ним ничего не случится, в нём же было много воздуха, и он не мог утонуть. Мне стало страшно за папу, он проплыл уже очень много, и я начинал понимать, что волны не только выше его, но и сильнее. Мама тоже заволновалась, встала с песка и стала кричать, чтобы он вернулся. Но папа не слышал, потому что уплыл очень далеко и плыл всё дальше и дальше, туда, где жило морское чудовище, поджидавшее его в пучине.

Постепенно и мяч, и папа превратились в две маленькие точки — одна жёлтая, другая чёрная. Наверное, в этот момент папа обернулся и понял, как далеко от него находится берег, а может быть, он вообще его не видел, потому что на него снова накатилась большая волна. Только тогда мы все увидели, как папа развернулся и поплыл обратно. Он грёб медленно и тяжело, волна била его в спину, словно злясь, что он отказался плыть с ней наперегонки, мешая ему и стремясь накрыть его с головой. Прошло немало долгих и тяжёлых минут и, наконец, до берега осталось всего несколько метров и нам казалось, что папе нужно всего лишь сделать десять гребков своими сильными руками, чтобы выйти и лечь рядом с нами на песок. Но каждый раз, когда папа пытался встать и опереться на твёрдое морское дно, волна, возвращающаяся с берега, сбивала его и уносила обратно в море, переворачивая, прижимая его ко дну, крутя в своём водовороте. Папа снова поднимался и шёл, и так продолжалось очень долго, и нам с мамой стало казаться, что у папы сейчас кончатся силы, и море никогда не отпустит его.

И тогда я, маленький, прижался к маминой ноге, громко заплакал и стал просить море, чтобы оно отдало мне моего отца, ведь оно уже забрало у меня мяч и могло играть с ним, с моим мячом, всё лето. Я смотрел на волны и просил море отпустить моего папу. По моим щекам текли слёзы, такие же солёные, как волны, они смешивались с морской водой и щипали мне кожу...

Внезапно ветер стих, стих ненадолго, всего лишь на несколько секунд, словно услышав мои просьбы, а может быть, увлечшись на это время мячом, волны отступили и выпустили отца на берег. Он подошёл к нам мокрый и усталый, лёг на песок и закрыл глаза. По его телу текли капли. Они подрагивали от ударов его сердца и немного искрились. Я посмотрел на горизонт и увидел, как далеко-далеко ярко-зелёное море подбрасывает в синее небо мой жёлтый блестящий мяч, кидая его с одной волны на другую. Весёлый, словно мальчишка, вырвавшийся на свободу, он радовался своей новой жизни, прощаясь со мной навсегда...

Соболев и голубка

— Чего ты уставился на неё? — звучит за моей спиной суровый голос Соболева, — ломай ей шею, чтоб не мучилась.

Я стою, потупив глаза вниз, на землю. Точнее, на неё. На её тело. От него исходит удивительный перламутровый свет. Ей осталось жить считанные минуты. А может, секунды. Куда мне ещё смотреть? На Соболева? Не решаюсь. Соболев—её смерть. Я не хочу смотреть в глаза смерти.

— Ломай, ломай ей шею,— снова говорит Соболев.

Я пытаюсь прийти в чувство, но не могу. Руки мои трясутся, и к горлу подкатывает ком.

— Сопляк,— произносит Соболев и подходит ко мне ближе. Я вижу его глаза. В них лёгкое разочарование. Он ждал от меня большего. Почему? Разве я давал ему повод? Усы Соболева недовольно шевелятся. Он качает головой. Странно, но я чувствую себя виноватым.

На грязном полу коровника, рядом с моими ногами, обутыми в резиновые сапоги, лежит раненая голубка. Она уже не может летать. Ударом палки я сломал ей крыло. Она лежит на полу и пытается подняться, взбивая пыль с земли судорожными движениями. Взлететь ей не суждено. Никогда. Ей не суждено больше жить. Двадцать минут назад мы решили её судьбу. Это сделал Соболев. Впрочем, и я тоже.

Соболев подходит ко мне ближе и вынимает руки из карманов. Наверное, так в средневековье палачи доставали свои топоры из чехлов перед казнью. Нагнувшись, он берёт дрожащее тело голубки в руку, маленькой её головкой внутрь своего огромного рабочего кулака, так, чтобы шея оказалась между указательным и средним пальцами. Мы смотрим заворожённо. Мы—толпа, которой нужны зрелища. Сейчас будет казнь. Да нет, какая же это казнь. Это убийство. Голубка пытается сопротивляться, снова и снова раскрывая здоровое крыло, стараясь поймать им воздух, который для неё всегда был синонимом жизни. Из её тела вылетают несколько перьев и медленно, завиваясь в воздушном вихре, опускаются на землю.

— Это делается вот так,— говорит Соболев и переводит взгляд на трепещущее в его руке тело,— показываю один раз. Учитесь, пока папа жив. Добывать будут все.

Я смотрю на его руку. Все наши взгляды прикованы к ней. Всё происходит медленно. Очень медленно. Каждая секунда длится целый час. Мы соучастники убийства.

Соболев немного приподнимает руку, поднимает не всю, только в локте, даже в кисти. Он обводит нас взглядом, и я вижу на долю секунды в полумраке барака, как свирепо сверкают его глаза. В них лёгкий блеск бешенства и власти. Тело голубки судорожно бьётся в его руке.

В детстве, когда я болел, мама приходила мерить мне температуру. Она брала градусник, смотрела на него и делала резкое движение, сбрасывая ртуть в столбике. Соболев сейчас держит в руке жизнь голубки. Её ещё можно сохранить. Хрсссс... Уже нет... Он делает чуть заметное, но резкое движение кисти вниз. В тишине все мы слышим, как раздаётся хруст шейных позвонков. Шея голубки тонка словно нить. Эту нить только что оборвал Соболев. Тело обвисает. Соболев сбросил ртуть в градуснике её жизни.

Он швыряет голубку на грязный пол.

— Ломайте всем остальным,— устало говорит Соболев и улыбается, словно что-то вспомнив,— пленных не брать, самим есть нечего.

Мы опускаем глаза. По полу барака в пыли, крови, ошметках коровьего и птичьего помёта, ползает стая голубей. Точней она была когда-то стаей. Их много, может быть, пятьдесят, может быть, больше. Почти все они ранены. Кто-то уже мёртв. Им не взлететь. Вот так всё сложилось. Сейчас мы их будем добывать. Так велел Соболев.

Я нагибаюсь и поднимаю голубя, который лежит ближе всего ко мне. Зажимаю его головку в кулаке, пропустив шею между своими указательным и средним пальцами. Делаю всё так, как учил Соболев. Я устремляю свой взгляд к стропилам коровника. Там сидят голуби, другие, те, которым сегодня повезло, и они остались живы. Они смотрят на меня с испугом. Во всяком случае, так кажется мне. Я делаю резкое движение рукой. Раздаётся хруст шейных позвонков. Он очень сильный и проносится эхом по всему помещению. Я бросаю тело на пол. Голуби срыгаются со своих мест. Я беру следующего... За мной наклоняются остальные.

— Давайте быстрее. Ещё потрошить же...— слышу я голос Соболева.

Он увидел её в конце августа. Она скромно клевала зёрна пшеницы возле колхозного амбара. Без малого сотня голубей шаркали своими крыльями рядом с ней. Но её он выделил из этой толпы сразу. В один миг. С высоты своего полёта. В отлив её перьев было что-то особое. Солнечный свет, отражаясь от её оперения, создавал необычный ореол. Люди бы сказали, что она свегилась перламутром. Но он не знал этого, потому что был не человеком, а голубем. А она... она была голубкой, его голубкой. Он понял это сразу, как только увидел её. Он сделал крут, потом ещё один, третий, с каждым разом опускаясь всё ниже. Его сердце билось часто, не как обычно. Она перестала клевать зёрна и подняла голову. Их взгляды пересеклись.

Я лежу на кровати в нашем общежитии. Общежитие—это огромный барак, мало отличающийся от коровника. Стены выкрашены в синий цвет. Двадцать пять кроватей, по числу обитателей. Одни парни. В углу огромный электрический камин, единственный источник тепла. На дворе середина сентября. Необычно холодно для этого времени года. Горячей воды нет. Есть холодная. Очень холодная. Мы... на картошке. Мы—это я и моя институтская группа. Мне—восемнадцать. Я студент первого курса. Я стал им всего месяц назад. Поступил, честно сдав все экзамены на пятёрки. Сейчас я постигаю первое правило социализма для начинающего студента: поступил в институт—езжай, копай картошку. Помогай нашим уважаемым гражданам, живущим в сельской местности, собирать урожай. В смысле, этот

самый картофель. Собрать—это ползать по полю с ведром вслед за трактором и выкапывать грязные коричневые клубни из земли. Этим мы занимаемся уже две недели. Под руководством Соболева. Конечно, есть начальство и повыше рангом, но оно живёт в соседней деревне, там лучше условия, а сюда приезжает только эпизодами, доверяя наши судьбы Соболеву и деревенскому, не всегда трезвому старосте.

Соболев... Соболев тоже студент. Того же курса. Он комсорг моей группы. В общем, старший. Ему уже двадцать. Два года он провёл в армии, в Афганистане. На войне. В составе ограниченного контингента войск. И остался жив. А сам, говорят, убивал. Впрочем, об этом он нам не рассказывает. Мы чувствуем всё и без его рассказов. Как стадо, которое чувствует вожака. Соболев наш вожак. Он лидер. И мы подчиняемся ему. Хотя картошку он собирает вместе с нами, ползая по полю и вытирая пот рукой в грязной рукавице. Соболев—мужик. Мы его уважаем.

Я лежу на кровати в нашем общежитии. За окном темно. Соболев объявил отбой. В деревне спать ложатся рано. Завтра вставать в семь. Но сон не идёт. Да и не только ко мне. Я слышу, как ворочается на соседней кровати Швед, скрипит металлическими пружинами Сохатый. Похоже, не спит никто. Слишком странным выдался этот день. День массового убийства.
— Соболев! Расскажи, что-нибудь про Афган,— раздаётся чей-то голос...

Он сделал несколько кругов над двором, стараясь унять стук сердца. Он кружился и кружился, опускаясь всё ниже и ниже. И что-то подсказывало ему, что все голуби вокруг уже поняли, для кого начинает он ещё в воздухе этот брачный танец. Соперники потихоньку отодвинулись в сторону, бочком, бочком, продолжая поклёвывать разбросанное по двору зерно и скосив голову вверх, созерцая его пируэты. Широко раскинув крылья, он спикировал вниз, сел рядом, ненароком, а может, специально даже, сбив по пути зазевавшегося конкурента. Тот, видно, подумал сперва ещё участвовать в битве за неё, но после воздушной атаки поспешил поближе к заброшенному коровнику, где собралось почти всё голубиное население деревни.

Он гордо встал перед перламутровой красавицей, раздул шею, пригнул к земле голову и выпустил крылья. Это был его танец. Танец для неё.

— Достала жратва,—угрюмо произносит Швед во время обеденного перерыва,—понятно, что мы на картошке, но жрать её каждый день я не нанимался. И макароны... они их тут ещё макаронами по-флотски называют. Кто тут из них на флоте был, на...—Швед кипятится всё сильнее и сильнее. Василий Швецов, он служил на крейсере, где-то на Балтике. А там Швеция рядом. Вот и Швед, да и фамилия похожая.
— У нас на корабле такого кока после первого дня за борт бы кинули, рыб кормить. А здесь...

всё, мол, खाваем. Мы же не на броненосце «Потёмкин». В макаронах по-флотски должно быть мясо! Мясо где, повар, на...?!—кричит он громко в открытую дверь кухни. Оттуда слышен лишь стук металлической посуды. Повар методично наваливает по тарелкам клёкые серые макароны. Иногда между ними можно заметить коричневые прожилки говядины.

— Мясо повар съел сам,—отвечает на свой вопрос Швед и философски качает головой,—и семью покормил, небось. А мы, типа, городские, стало быть, вернёмся на родину, там и поедим. А то, что здесь нам хавка достойная нужна, чтобы картофан из грязи выковыривать и чтобы этот грёбанный колхоз план свой выполнил, и им очередное знамя переходящее дали и премию председателю выписали, это никого не волнует. Вот интересно, почему мы, студенты, будущие инженеры и учёные, должны каждый год копать в колхозе картошку, на...

Шведа явно ударяет в философию. Он бросает ложку, встаёт и начинает ходить между столами: — Где, спрашивается, все местные жители, которые и должны обеспечивать город качественными продуктами питания? Ау!—на всю столовую кричит он,—Никого нет, на... Уехали в город, на заработки. А остальные? Остальные—спились. Значит, те, кто не спился, в город, а мы, стало быть, в деревню. Ченьч, на...! А почему бы каждому не заниматься своим делом? Может, им здесь, как при Хрущёве, зарплату не платят, трудодни одни начисляют? Надо разобраться. Может, им тут развлечься после работы нечем, кино не показывают? Это неправильно. Кинематограф в стране развит достаточно. Нам в институте учиться надо, а им картошку копать. Не понимаю. Одно понимаю точно, что, если здесь так хреново будут кормить, то через неделю в город сбегу и я. Безо всякого ченьча. Слышь, Соболев!—неожиданно переключается Швед,—Надо нам мясную тему размять. Ты командир, тебе думу и думать. Может, с руководством местным поговорить, может, в деревне что купят нам, но как-то решать надо. Источаем или умрём от цинги, как в экспедиции Беринга. Тут, блин, даже голуби, и те хлеб с макаронами не клюют, на... А мы! Что мы, хуже голубей, что ли?

Соболев кладёт ложку в тарелку с вермишелью и смотрит в окно. На куче рассыпанного зерна сидит без малого сотня голубей, лениво прихватывая клювами разбухшие от дождя семена.

— Голуби, говоришь, на...—с улыбкой произносит он,—будет... будет вам всем мясо.

Это был его танец. Танец для неё. Единственной, с перламутровым блеском. Он заворковал, красиво и громко. Если и оставались у соперников ещё мысли, а не побороться ли с ним за право обладать перламутровой жемчужиной, то после этого гордого и победного воркования они исчезли сразу. Он закружился вокруг, приближаясь вплотную, распушил хвост и широко расставил крылья. И вдруг. Он даже не ожидал этого. Она ответила взаимностью, нежно и мило повернулась в его сторону, а потом, потом начала чистить ему

перья, а вслед за этим поцеловала, прикоснувшись к его клюву своим. Вот так всё произошло, по-голубиному просто. Он понял, что именно с ней суждено провести ему всю свою небольшую голубиную жизнь, именно она будет его перламутровым счастьем. Наверное, у птиц это называется любовью, но вряд ли он знал это слово.

Сегодня мы идём на дискотеку. Мы, городские парни, идём на деревенские танцы. В этой богом забытой деревне есть клуб. И каждую пятницу и субботу в этом клубе есть музыка, танцы, естественно, диск-жокей, девчонки и, соответственно, драка. Драка нам точно не нужна, нам нужны только девчонки. Но к ним прилагается драка. Мы как-то невольно это понимаем, но участвовать в ней не хотим, потому как живём все в городе и возвращаться домой с выбитыми зубами и фингалами под глазом никому не интересно. Деревенская дискотека... Клуб, стены в синий цвет, красили общежитие, похоже, осталось немного краски. Диск-жокей, он, естественно, местная знаменитость, ездит раз в месяц в город, покупает на рынке последние записи. Ну, может не совсем последние, но для деревенской публики подходят. Магнитофон «Романтик», кассетник. В чёрном корпусе. У меня был такой... в пятом классе. Хорошая вещь, когда не заедает. В клубе полумрак, иногда мигают лампы, диск-жокей приспособил пару отслуживших уличных фонарей под цветомузыку. Маловато народу всё же. Неужто все в работе? Парни подпирают стенки, покуривая. Небось, обсуждают девчонок. А что их обсуждать?

Тут нет чужих, все друг друга знают. Впрочем, что значит — нет. Чужие сегодня мы. Мы тот каталогизатор, который может спровоцировать главное ожидание вечера — драку. Мы знаем это и идём сегодня на танцы все... все двадцать пять человек, всей студенческой группой. Соболев велел не отлынивать. Нет, не велел... приказал. Даже не так, просто зашёл в общежитие, где мы все сушили носки после очередного картофельного сбора, и выдал:

— Сегодня в клубе танцы. Хрен знает, что будет, но как человек в недавнем прошлом сельский, могу сказать честно — скорее всего, будет махач. Но может и пронести. А пронесёт только в одном случае, если нас будет много. Тогда они зассут. Слушать меня, быть всем к девяти у входа. Форма одежды любая. Хотя лучше почище, танцы всё же. Держаться рядом. Ничего не бояться. Пленных не брать! Самим есть нечего, — и он улыбнулся своей хитрой улыбкой прямо в усы.

А мы не ссали. Что уж нам ссать? С нами Соболев. Он в Афгане был.

С момента их встречи прошло всего несколько дней. Он как-то вдруг сам понял, что скоро она должна сесть на гнездо и отложить яйца. То ли это был инстинкт тысяч и тысяч голубиных поколений, то ли в её полёте появилась некоторая тяжесть. Гнездо они решили вить на стропилах в том самом коровнике, возле которого совсем

недавно произошла их встреча. Она сама выбрала перекрестье под крышей, там и поверхность была побольше, и навес был цел и не светился дырами в дневном свете, как в других местах.

Мы на танцах. Внутри зала. Музыка играет громко. Народу немного. Она стоит недалеко от входа. Яркая и красивая. Я сразу замечаю её. Не заметить её трудно. Прямые чёрные волосы, светлое платье в обтяжку, туфли на высоком каблучке. Она притягивает к себе внимание. В ней есть что-то особенное. Не деревенское. И свет от неё необычный. Перламутровый, что ли. Она шепчется с подругами и немного пританцовывает в такт музыке. В центр зала не идёт. Там переминается с ноги на ногу несколько человек. Одни девчонки. Парни подпирают стенки. Местные. Всего пятеро. Зато нас много, двадцать пять. Правильно сделал Соболев, что привёл всех. Так надёжней.

К ней кто-то подходит. В кирзачах и кепке. Руки в карманы, в зубах самокрутка. Дымит. Неприятный тип, рожа наглая. Бесцеремонно хватает её за руку и тянет на танцпол. Она упирается вначале, мол, нет, не пойду я, но он всё тянет, жёстко и даже грубо. Она начинает бить по его руке своим маленьким кулачком, но куда там, силы не равны, явно.

Неожиданно взгляд её падает в нашу сторону, я вижу, как с мольбой смотрит она на Соболева. Он не медлит:

— За мной, — говорит Соболев громко и, не оборачиваясь, бросается ей на помощь. Мы идём следом. Все двадцать пять. Это сила. По масштабам деревни.

— Грабли убери, — жёстко говорит Соболев парню в кепке и уверенно берёт девушку за другую руку. Кепка удивлён. Он открывает рот и хочет что-то сказать. Потом меняет своё решение и обводит нас взглядом. Мы стоим за Соболевым. Силы не в пользу Кепки. Он понимает это, отпускает руку и поворачивается.

— Уходим, — говорит он своим, — Встретимся ещё, — доносится до меня его голос.

Соболев ухмыляется.

— Пойдём к нам, — говорит он новой знакомой. Она с благодарностью улыбается в ответ.

Её зовут Саша. Она дочь председателя колхоза. Приехала к подружке-однокласснице на танцы. Кепка — местный хулиган. Кличка — Обрез. Говорят, несколько лет назад нашёл где-то в лесу то ли землянку заброшенную, охотничью, то ли дот немецкий с войны. Хотя какие тут немцы, до линии фронта все 400 километров было. Но суть не в этом. В землянке той вроде как винтовка была и патронов огромное количество. Кепка винтовку почистил, смазал всё и обрез из неё сделал. Отсюда и погнало ему дали. Обрез. Оружие он где-то в лесу прячет всё время. Деревенские днём выстрелы порой слышат, тренируется он по бутылкам.

— Нехороший он, — сдвигает чёрные брови Саша, — злой. Меня уже целый год преследует. Проходу не даёт. В район на танцы тоже приезжает. Он тут в деревне главный, ну, как это... авторитет, в общем.

Если разозлить сильно, беды не оберёшься. Выстрелить может. Опасаться тебе надо.

Соболев улыбается. Чего ему бояться? Он же был в Афгане. И остался жив.

Саша очень красивая. Я хочу, чтобы у меня была такая девушка. Но теперь это девушка Соболева. Я вижу, как они смотрят друг на друга. Диск-жокей включает медленную музыку. Соболев приглашает Сашу. Они танцуют. На них приятно смотреть. Соболев большой и сильный. Саша хрупкая и... какая-то перламутровая.

Он начал вить ей гнездо. Целый день, не оставив ни минуты на отдых, летал он по двору, собирая стебельки пшеницы, травинки, кусочки соломы. Он приносил ей всё в своём клюве. Она аккуратно укладывала стебельки под себя. Пару раз она пыталась вспорхнуть и помочь ему в работе. Но он чувствовал её тяжесть и не давал даже раскрыть крылья. Да и она не сопротивлялась, позволяя ему одному делать дом для их детей. К вечеру гнездо было готово. А уже ночью она снесла первое яйцо. А ещё через сутки и второе.

— Соболев! Нас бить пришли,—врывается в комнату Швед. На него страшно смотреть. На лице тревога. Цвет лица серый, плюс плохое освещение и многодневная пыль картофельных полей,—много их, человек пятьдесят. И похоже, всё серьёзно. С арматурой, с кольями. В общем, всё как положено, по-деревенски. Не потянуть нам. Унас, сам знаешь, пацаны все молодые, вчерашние школьники. Они и драться по-серьёзному не умеют. И видишь, как выбрали и день, и время, когда из начальства никого нет, все в райцентр до завтра подались.

Соболев поднимается со стула. Мы смотрим на него молча.

— Сидеть всем, никуда не выходить,—командует он. Его тревога передаётся и нам. Соболев обводит нас взглядом.

— Ты со мной, посмотришь, что такое война,—почему-то говорит он, остановившись глазами на мне. Я-то ему зачем, причём—один? Времени думать не остаётся. Соболев хватает меня за воротник ватника и вытаскивает в коридор.

Мы выходим на улицу. Уже смеркается. Воздух свеж, изо рта идёт пар. У входа в наше общежитие—они. Их много, действительно много, Швед не соврал. Пятьдесят, а то и больше. «Где они в деревне столько набрали,—думаю я,—наверное, из соседних народ назвали. Погнали наши городских»,—не вовремя мелькает в голове любимая присказка Сохатого. Сейчас погонят, мало не покажется. Они стоят немного в отдалении. Почти все в кирзовых сапогах—ногами бить удобней, в руках палки, колья. Некоторые покачиваются, похоже, добавили внутри перед выходом. «Как в кино,—думаю я,—пришли стенка на стенку».

— Что?—спрашивает Соболев,—какие вопросы?—Знаешь,—слышу я голос Обреза,—не х... с бабой моей тереться на танцах.

— Не твоя она,—отвечает Соболев,—и хрен твоя будет, рожа вначале умой.

Соболев лезет в бутылку. Я это вижу. «Побьют»,—думаю я.

— Убьём,—словно читает меня Обрез,—чья баба, не ей решать. Мне! Я мужчина. Стало быть, главный. Выводи своих сопляков, будем по-честному, по-мужски разговаривать. В его руке кусок арматуры.

— По-честному?—переспрашивает Соболев,—по-честному—это мы с тобой вдвоём, без железок. Это наш конфликт. Ты и я. Остальные не при делах. К тому же вас в два раза больше плюс палки всякие. Давай так, бьёмся вдвоём. Если я тебя—вы вылетите обратно по домам. Наоборот если, значит, всех моих парней можете бить потом. Хрен с ними. Как тебе такой расклад? Или ссышь?

Соболев метит по самому больному, по самолюбию. В деревне это тема. Однако мне страшно. Соболев же не Брюс Ли.

Обрез бросает арматуру и идёт навстречу Соболеву. В его лице злоба. Соболев делает три шага вперёд. Они сходятся.

— Н-н-на,—по-деревенски с замахом бьёт Обрез. Соболев ныряет под руку и отвечает в разрез. Коротко. Но точно в челюсть. Справа. Обреза больше нет. Он исчез. Что-то лежит на полу и немного поддёргивает ногами. Но это не Обрез, это его «алтер эго».

— Пойдём,—говорит мне Соболев. Мы поворачиваемся... и уходим. «А если...»,—думаю я. Но зади тишина. Никто не пытается нас преследовать. Интересно, зачем Соболев брал меня с собой?!

Яйца они высиживали по очереди. Как и полагаются в их голубином мире. Голубка проводила в гнезде большую часть времени, с раннего вечера и до позднего утра, только днём улета на водопой, доверяя ему их будущее потомство. На это время он аккуратно перебирался в гнездо, стараясь массой своей не повредить тонкую скорлупу жизни. Распушив перья, он отдавал этим двум маленьким, белым, слегка продолговатым шарикам своё тепло. Иногда ему казалось, что он слышит сквозь скорлупу лёгкие движения их будущих детей. Когда голубка немного задерживалась, он начинал волноваться. В тишине амбара раздавалось его трепетное воркование. Так он звал её домой, к себе. Но это случалось крайне редко. В других семьях голубки улета на несколько часов, заставляя своих партнёров на время покидать гнездо и чуть не силой затаскивать загулявшую маму обратно. Он несколько раз наблюдал эту картину. Его голубка была не такая. Она улета из своего гнезда, как правило, всего на час, редко на два, стремясь как можно быстрее вернуться к их ещё не рождённым детям.

— Мяса кто просил?—спрашивает Соболев,—свежего... парного.

Мы удивлённо переглядываемся и поднимаем руки. Мы не сомневались в Соболеве. Если Соболев сказал, что мясо будет, значит, мясо будет. — Выходит, все!—обводит он нас взглядом,—Ну и хорошо. А раз все будут есть, значит, и добывать все будем. Кто хоть раз в жизни охотился?

Руки поднимают Швед и ещё один парень. Мы зовём его Сохатый. Говорит, отец его два раза брал на охоту... на лося. Там он и завалил его... сохатого, стало быть. А вообще он Фёдор Ежов. Ну, это если по паспорту. Впрочем, паспорт мы у него ни разу не видели. Да и не нужен он нам. Сохатый и Сохатый.

— Не густо,— качает головой Соболев,— ну да ладно. Объясняю план. Видели здесь голубей?

Мы киваем головой. Голубей здесь нельзя не видеть. Они здесь размером с павлина, откормленные на отборном колхозном зерне, сваленном горами на току. Зерна здесь много, очень много. Голубей с этих гор никто не гоняет. Это их мир. Иногда нам кажется, что им уже лень открывать клювы. — Будем голубей есть,— говорит Соболев,— как французы. Мы в деревне в детстве пробовали. Вкусно. Деликатес просто. Я тут поблизости заброшенный коровник нашёл. Там этих голубей миллион. У них гнёзда там... на стропилах. Так что хрен куда они улетят от своих детей. Некуда. Короче, план такой. Одеваемся через часок и на охоту... сбор во дворе. За час всем задание— найти оружие, палки там потяжелее, камни. А я пока на кухню схожу, насчёт готовки договорюсь.

Соболев снимает с гвоздя ватник и выходит за дверь...

— Будет сегодня мясо, будет,— слышен в коридоре его голос.

Тот день был немного хмурым. С утра шёл дождь, к обеду он завершился, но морось висела в воздухе и делала крылья мокрыми. Голубка только что вернулась с водопоя и села на гнездо. Он расположился на стропилах рядом с ней и стал чистить себе перья. Внизу зазвучали людские голоса. Люди никогда не пугали его. Они всю жизнь жили рядом и были для голубей привычным элементом их быта. Нередко люди выбрасывали на улицу куски хлеба специально для птиц. Зимой, в стужу, это иногда спасало. Сегодня он впервые почувствовал исходящую от них угрозу. Их было много, он не понимал сколько, но точно ощущал, что много. В их руках были палки и камни. Зайдя в коровник, люди закрыли за собой двери и подняли головы.

Мы входим в коровник. Входим все, молча. В наших руках палки, камни, арматура. В наших мыслях смерть, желание битвы, боя, охоты. Мы бесславные ублюдки. Мы пришли убивать.

Мы входим в коровник. Тусклый свет из верхних его окошек освещает давно заброшенные стойла. Наверное, здесь прожило не одно поколение рогатых. Здесь доили молоко, рожали маленьких телят на хрупких ножках. Уже много лет в коровнике пусто. Весь пол усеян белыми шлепками голубино помёта.

Мы поднимаем головы. Там, на деревянных перекрытиях, сидят голуби. Десятки, сотни голубей. Там их гнёзда. Мы это знаем, хоть и не видим их. Гнёзда нам не нужны. Нам нужно мясо. Глаза голубей устремлены на нас. Пробивающийся в коровник свет отражается в них сотнями маленьких

огоньков. словно звёздочки на тёмном небе мерцают голубиные глаза в полумраке.

В коровнике тихо. Кто-то должен нарушить эту тишину. Это делает Соболев. Он закрывает тяжёлые двери. Они неприятно скрипят, внося диссонанс в наши мысли. Резкий звук пугает голубей. Вначале один, второй, затем десять, двадцать они вспархивают со своих мест. Пространство над нами оживает.

— Бей,— кричит Соболев и первым бросает в живое небо палку. Через пару секунд палка возвращается назад. Следом за ней, с задержкой около секунды, на пол падает голубь. Он жив, Соболев только ранил его, но сил подняться в воздух у него больше нет. Кажется, перебито крыло. Голубь судорожно пытается взлететь, взбивая клубы пыли по полу. У него нет шансов.

— Бей,— истошно кричит Соболев. Мы поднимаем глаза к потолку и бросаем наше оружие. Мы охотники, дикие голодные волки. Мы вышли на бой. Наша задача убить и съесть. Воздух полон сизого снега, это перья падают сверху, закрывая собой кровь. Вслед за перьями падают голуби, прорезая воздух глухими ударами о землю. Бум... бум... Если бы голуби умели кричать, как люди, мы бы оглохли от их боли. За голубьями падают палки, камни. Шарк... шарк... Они летают в воздухе и ищут свою жертву, а не найдя, возвращаются назад, в наши руки. Мы поднимаем их с земли и отправляем обратно, на поиски смерти. Мы рады, когда они возвращаются с добычей. Мы громко кричим, заставляя взлетать всех жителей коровника и биться под стропилами в ожидании конца.

В полумраке наверху что-то светится перламутром. Я вижу это сияние. Два голубя, они сидят на высоте пяти метров и смотрят на нашу битву. Они не взлетают. Я подбираю упавший камень и прицеливаюсь. В детстве я был лучшим во дворе по киданию снежков в цель. Я размахиваюсь, бросаю и попадаю, я вижу, как фонтаном взмывает вверх сноп перьев, и светлый комочек перламутра, словно оступившись со стропил, падает вниз. К моим ногам. Она очень красива. Я знаю, что это она. В ней есть что-то женственное. В коровнике будто становится светлее. «Это божий свет»,— вдруг понимаю я и поднимаю глаза. Сверху на меня смотрят два маленьких глаза, две тёмных, блестящих бусинки. Мне кажется, что я вижу слёзы. Этого не может быть, ведь голуби не плачут.

— Ломай ей шею, ломай,— слышу я голос Соболева.

Они сидели рядом и смотрели вниз. Там творилось что-то ужасное. Люди бросали в голубей палки и камни, которые они принесли с собой. Люди попадали в голубей. Те падали на грязный пол и пыталась взлететь. Это не получалось ни у кого. Воздух был полон перьев. Его голубка сидела рядом с ним на гнезде. Он прижался к ней, положив голову ей на крыло и закрыл глаза. Внезапный удар заставил его вздрогнуть. Он оглянулся. Голубки не было рядом. Он посмотрел вниз и увидел, как медленно падает его перламутровая подруга на

землю, в руки людям. Один из них подошёл к ней, наклонился и поднял её тело.

— Нам ещё потрошить их всех,—повторяет Соболев, и я понимаю, что большая часть наших мучений впереди,—добровольцы есть?

Я смотрю на своих одноклассников. Охотничий азарт постепенно сходит с их лиц. Соболев обводит всех взглядом. Только Швед машет кистью. В коровнике тихо. Где-то сверху из-под стропил доносится одинокое воркование. Это плач кого-то из оставшихся в живых. Кто-то грустит по своему партнёру или партнёрше. Не говорите мне, что голуби не плачут. Несколько минут назад я видел их слёзы.

— Слабаки,—делает вывод Соболев,—так и знал. Ладно. Заставлять не буду, а то ещё заблюёте весь деликатес наш, да и есть ещё потом не сможете. Швед, Сохатый! Ко мне. Уж извините, парни, вы после армии, повзрослее, придётся нам эту работу за молодёжь выполнить.

Соболев гуманен. Мы выдыхаем тревожный воздух из наших лёгких.

— Все свободны на час, но не совсем—произносит Соболев,—тебе задание,—показывает он пальцем на меня,—возьми пару человек, собери дров побольше, разожгите костёр за общагой. Перед этим сходи на кухню и возьми ведро. Ещё маргарина кастрюльку. Повариха наша тебе даст, я договорился... ведро с кастрюлей в смысле.—Хотя,—загадочно улыбается Соболев,—хотя, если попросишь получше, может, и ещё чего-нибудь даст. Главное, чтобы ты сам справился. Воду вскипятите. В ведре. Мы в ней голубей варить будем. Так надёжней, мало ли, зараза какая. А остальные—марш к реке, нарежьте себе ивовых прутьев... ну, типа, как для шампуров. Всё... разбежались.

И Соболев берёт в руки перламутровое тело.

Люди ушли. Он осторожно вылез из гнезда и осмотрелся. Рядом с ним на стропилах сидели другие голуби. Они с опаской глядели вниз, не решаясь спуститься на землю. Он сделал это первым. Пол коровника был густо усеян перьями. Приземляясь, он несколько раз взмахнул крыльями, закружив хоровод голубиного пуха. Он пытался найти её, свою голубку. Он помнил, как она падала вниз, на землю, и был уверен, что увидит её здесь. Он заворковал, приглашая её вернуться в гнездо. Ответа не дождался. Он ещё раз взмахнул крыльями и из поднявшейся сизой метели вдруг выпорхнули несколько перламутровых пёрышек и опустились ему на крыло.

Вкусно. Реально вкусно. Французы, говорят, едят голубей каждые выходные. Я их понимаю.

Соболев принёс два ведра голубиного мяса. Странно, на куче зерна и под стропилами они выглядят такими огромными, размером чуть не с курицу, с трудом переступая с ноги на ногу и через силу поднимая свои откормленные тела в полёт. А здесь, в ведре, каждое их тело размером с кулачок.

Соболев тщательно вываривает мясо в кипятке. Целый час. Мы с аппетитом смотрим на этот процесс. Дневные беды и переживания уже забыты. Или почти забыты. В ведре на огне варится мясо, наша добыча. Мы, словно древние викинги, спокойны и уверены в себе.

Соболев тыкает ивовым прутиком в ведро и смотрит на часы.

— Готово,—говорит он,—подходи по одному. Каждому по штучке, потом за добавкой. Всем хватит, обожрётесь даже. Маргарин вон, в кастрюльке, растоплен уже.

Он снимает кипящее ведро с огня и выливает из него воду.

Я достаю ивовую палочку—мой столовый прибор. Беру сваренное тело голубя, оно обжигает мою руку, и насаживаю его на деревянный шампур. Потом подхожу к кастрюле с растопленным маргарином и макаю в него мясо. У костра жарко, очень жарко, я присаживаюсь на корточки рядом и начинаю жарить на огне голубя. Он на глазах покрывается аппетитной золотистой корочкой. Постепенно ко мне подсаживаются мои товарищи.

Сохатый приносит гитару.

Вкусно. Реально вкусно, Французы говорят, что это деликатес. У нас здесь этого деликатеса полный коровник...

На деревню опустилась темнота. Промозглый ветер проник в открытые двери коровника, закружив на полу хоровод перьев. Он сидел на гнезде, грея своим теплом их ещё не рождённое потомство. Это была первая ночь, когда он остался один. До него донеслись громкие голоса и звуки музыки. Он поднял голову. В окне он увидел всполохи огня и чьи-то тени. Вокруг костра сидели люди. Он заворковал. Грустно и тоскливо. Он звал её к себе, просил вернуться и быть рядом с ним. Просил ради детей, ради их будущего, ради любви.

— Слышь, Соболев, расскажи что-нибудь про Афган!—раздаётся в темноте чей-то голос... Это Швед.

Десять минут назад объявили отбой. Деревня ложится рано. Завтра снова картошка. Грязное и мокрое после дождя поле, ржавые ведра и пыльные мешки. Мы отмотали ровно две недели. Ещё две остались. Мы лежим в темноте. Весь отряд. Двадцать пять человек. В углу дышит теплом электрокамин. Рядом висят наши влажные ватники, штаны, навалены на полу кучей сапоги и ботинки. Воздух полон пота и влаги. Вечером в деревне заняться нечем. Впрочем, и днём тоже... если не копать картошку.

— Я вам, что—Шахерезада, что ли,—возмущается Соболев,—взрослым мужикам сказки на ночь рассказывать,—вы чё, духи, оборзели совсем?!

Соболев прав. С какого перепугу ему нас развлекать перед сном. Но нам-то ему рассказать пока нечего. Мы пацаны, вчера только из школы. А он... он прошёл Афган. Соболев был на войне. — Расскажи про войну, Соболев,—просим мы,—расскажи.

— Ладно,— нехотя отвечает он.

Мы знаем, что нехоть эта наиграна немного. Если ты был в Афгане, ты уже герой... Герой хотя бы потому, что остался жив. Быть в двадцать лет героем— это круто. А если ещё и есть, что расказать. Мы знаем, что Соболев есть.

— Вы, наверное, какую-нибудь историю про геройство ждёте,— говорит Соболев,— думаете, раз Афган, то стрельба-пальба, граната направо— граната налево. Не, конечно, и такое было, но не каждый день. Я другую историю расскажу, она мне дороже любой будет. Потому как стрельба-пальба не раз была за службу мою и не два, а то, что расскажу, один раз случилось. Убить меня были должны тогда, а я вот с вами тут на койке валяюсь, байки травлю...

— Караван мы вели как-то,— продолжает Соболев,— Ну, там грузовики всякие с провизией, техника новая, одежда. Длинный караван. Единиц пятнадцать-двадцать. Вот... Я на первом БТРе сижу, рожу грею. Тепло, солнце светит. Дорога самая безопасная там считается. Мы по ней сто раз ездили. Ни выстрела никогда, ни мины. Нет, понятно, что эту дорогу проверяли каждый раз, как ехать по ней. И перед нами тоже сапёры прошли вечером, для порядка. Чисто всё, как обычно. Ну вот, едем, значит. А дорога там через ущелье идёт. И вот в месте, где поворот, вдруг вылетает голубь, такой мохнатый весь, красивый, и такие кренделя начинает в воздухе выписывать, что мы все рты пооткрывали.

— Я такого лёта голубино не видел никогда,— говорит Соболев,— просто шедевры какие-то. Вроде как летит вначале, а потом раз— и резко встанет, прямо в воздухе, словно зависнет в нём, потом как-то сразу вверх резко, да не просто так, а с кувырком каким-то. Ну, типа свечку делает. В общем, раз он свечку сделал, опустил потом, вторую, третью. Мы на БТР-е как замороженные сидим. Чудо, красота реальная. Так вот, раз десять он так покувыркался, а потом вдруг вниз и прямо на меня. И с лета мне когтями в глаз. В глаз-то не попал в итоге, но щёку прилично исцарапал. Я понять ничего не могу, парни тоже. Это ж бред какой-то, голуби на людей не нападают. Вороны— да, случается, но голуби-то на кой? Они же— как воробы, безобидные совсем. Я только глаз снова открыл, а птица эта снова на меня из поднебесья как свалится. И снова по щеке мне когтями. Я руками машу, схватить её хотел, да куда там, она уже снова метров на двадцать вверх махнула и висит над нами коршуном, готовится. Ну, третий раз ей издеваться надо мной парни не дали. Рашид у нас, башкир коренной, он вообще снайпер сызмальства, в семь лет уж отец на охоту его брать начал. Так вот, Рашид, хоть и мусульманин сам, а у них там по Корану голубь вроде как птица священная, Муххамеду ихнему в клюве воду для мытья носит, не стал у Аллаха разрешения спрашивать, саданул её из Калаша, причём одиночным, красавец. Я такого вообще никогда не видел. Птицы просто как не стало. Висела в воздухе, висела, Рашид по ней паффф, и всё, только облако перьев, ветер подлетел и всё...

и разметало его. Но я-то в крови весь. Ну, не весь, в смысле, но рожа прилично расцарапана. В общем, пришлось мне с первого БТР-а пересест на предпоследний, в хвост, потому как доктор с нами ехал на предпоследнем. Сел я значит на броню, морду солнцу подставил, а доктор мне рану промывает, спиртом там типа, борным или ещё чем. А я сижу всё и не понимаю, на кой хрен этой птице нападать на меня было. Ну, есть вроде у зверей бешенство, я знаю, лисы там, другие звери заболевают. Но не мог же голубь бешенством заболеть. И вот за этими думами, как раз в момент, как мне доктор лейкопластырь на щёку наклеивал, впереди, в начале каравана нашего, взрыв и выстрелы за ним, причём не наши выстрелы, я наши по звуку за год отличать научился. Это дикие выстрелы, с гор, так только духи стреляют. Мы с БТР-ов попрыгали все, автоматы на перевес, вперёд бежать. Добежал я. А там уже всё спокойно, можно не торопиться. Одни трупы. Первый БТР, короче, на mine подорвался. А потом бородатые, они за поворотом на горе сидели, всех остальных наших из автоматов положили. С горы. Гниды. Трусливо так... в бой не стали вступать, им только один БТР и нужен был, сразу на лошадей и скакать в свои кишлаки. А куда мы в горы на наших железках, разве угонишься? И главное, утром там сапёры прошли, чисто всё было, да и вообще эта дорога самой мирной считается. А вон как оказалось...

Мы лежим в темноте. Молча... Почему-то больше всего в голову лезет сегодняшний день.

— Я, короче, раньше в бога не верил вовсе,— продолжает Соболев,— в Союзе же живём, какой тут бог, сами знаете. Но после этого дела верить стал. Не, не сильно, не крестился даже, хотя мамка, как узнала про случай этот уж потом, так все уши мне проела, иди, мол, сходи к батюшке, креститься тебе надо, знак это. Может, и знак. Не пошёл я. Не осознал ещё до конца, не прочувствовал. Вроде понимаю, что надо, но не готов. Хотя Библию почитал, как с Афгана вернулся. Непростая книга, но важная. Там и про голубя, кстати, тоже есть. Там у них голубь— это вроде как Святой Дух. Я заучил даже тогда.

Соболев откашливается, зевает сонно и произносит: «Отверзлось небо, и Дух Святой нисшёл на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын мой возлюбленный, в Тебе моё благоволение».

— Это там про Христа так,— снова зевнув, добавляет Соболев,— чушь, конечно, все эти перевоплощения, переодевания, голуби, воробы, да вороны с галками. Живём в современном мире, в космос летаем, а всё в бога верим. Во народ.

— Слышь, Соболев,— раздаётся задумчивый голос Шведа,— а как же так, тебя голубь спас вон в Афгане, а ты сегодня штук пятьдесят с нами забил. Не по-людски вроде.

— Спас один, забили других,— спокойно отвечает Соболев,— это же жизнь, брат. Вон смотри, у тебя, как и у любого из нас, есть друзья, а есть враги. Ежели ты, скажем, мамку свою любишь или сестру,

к примеру, это же не повод всех баб в мире любить. Ну, про баб, может, ещё пример неудачный... а про мужиков. Скажем, есть у тебя кореш, со школы, в одном дворе росли, ты за него всех порвёшь. Но ты же при этом любовь ко всей мужской части человечества не испытываешь?!

Соболев прерывается и, не услышав возражений, продолжает:

— Во! Так и с голубями. Я что, если меня спас один, целоваться со всеми остальными, что ль, должен?! Хрена лысого. Ладно... что-то мы заболтались совсем, завтра картошку и подъём в семь никто не отменял. Отбой! Спать в октябре на лекциях будете... солобоны.

В тишине становится слышно, как Соболев переворачивается на другой бок, утыкается носом в подушку и через несколько минут начинает храпеть.

Мы сидим в столовой. Сегодня в меню свекольник и снова макароны по-флотски. Как и вчера. Правда, вчера в тарелке я нашёл пару прожилок мяса. Свекольник — бордовый. Бордовый, потому что в нём много свёклы. Она растёт на соседнем поле. До него двести метров. Поэтому свёклы в этой деревне не жалеют. Мясо в деревне не растёт. Поэтому в макаронах его почти нет. Зато есть маргарин. Его много. Много, потому что он дешёвый. Поэтому макароны кажутся оранжевыми, как закат. Мы едим багряно-оранжевый обед, прихлёбывая его красным вишневым киселем из брикета. Цвет обеда приносит вновь воспоминания о вчерашнем. Мяса вчера было в достатке.

— Скажи, Соболев, а ты на охоту ходил когда, — спрашиваю я, — ну, на настоящую, на реального зверя, лося там, кабана, медведя?

Соболев пренебрежительно ухмыляется:

— А то! И не раз. Меня батя уже в двенадцать лет в лабаз брал сидеть. На лося не приходилось, не буду врать, это ты к Сохатому, а кабана с медведем брал. А ты чё спрашиваешь? Просто так, что ли, из интереса?

— Из интереса, — отвечаю я, — а ты как охотился, с ружьём?

— Нет, бля, — начинает сердиться Соболев, — с ножом и рогаткой. Ты чего дебилские вопросы какие задаёшь? Конечно, с ружьём. С чем ещё на охоту идти? Зверя иначе не достанешь. А потом, он же потому и зверь, что жизнь свою просто так не отдаст. Ну, лось ещё ладно, а медведь с кабаном, если их загнать сильно или ранить, могут на охотника запросто броситься. Были и смертельные случаи. Так что без ружья на охоту никак. А ты и сам всё понимаешь. Тебя другой какой-то вопрос, чую, мучает. Ну-ка, колись давай.

— Да я вот думаю всё после вчерашнего. Живёт зверь своей жизнью. В условиях, которые дала ему природа-мать. Этим условиям тысячи лет. Естественный отбор. Сильные выживают, слабые умирают. У сильных зубы и когти, у слабых ноги. Всё как то более-менее разумно организовано, сбалансировано. И вот так вдруг в этот самоуравновешенный мир приходит человек, который от этого зверя отличается только одним словом

в названии — мыслящий! То есть он раньше, когда на дереве сидел, мыслил, как все. А потом, сука, сошёл на землю. Спину распрямил и стал сразу думать. А мысли-то все гаденькие какие-то. Как медведя убить, лося, кабана, голубя, вон. А что они ему плохого сделали, эти звери? Ничего! А если бы, к примеру, скажем, не человек мыслящим стал, а медведь. Ведь могло бы такое в принципе случиться?! Могло, могло. Легла бы карта по-другому и всё! И стал бы этот медведь мыслящий нас с деревьев палками сбивать. А потом есть, предварительно на острие пожарив. Но карта так не легла. И жарим его мы. — А ты к чему это всё зарядил? — спрашивает Соболев, — у нас философия, кажись, на втором курсе только, вот и будешь там выступать, на семинарах. Или тебе что, медведя жалко?

— Жалко, — говорю я, — правда, жалко, ты же убийца, Соболев.

Стук ложек о тарелки в столовой внезапно прекращается. Взгляды нашего отряда обращены на Соболева. Он ест спокойно.

— Ты убийца. Да. И я убийца. И все мы... после вчерашнего, — я обвожу взглядом наш отряд, — ума много не надо на медведя с ружьём идти. Понятно, что голыми руками у тебя шансы против него ноль полный. А ты попробуй на него, ну, хоть для равновесия, с рогатиной и ножом. Вот тут уж пятьдесят на пятьдесят. Кто кого? А с ружьём. Прицелился да выстрелил. Да ещё издали. Не равная борьба, не равная. Тореадор, и тот воин. Пусть это просто шоу, но у него одни шпаги только, а у быка рога. Какое-никакое равенство. А мы убийцы.

— Ясно, — Соболев выковыривает пальцем застрявшую между зубами мясную прожилку. — Нашему коллеге птичек вчерашних жалко стало. Так бы и сказал. Только что-то вчера ты, братишка, не сильно возмущался происходящим. И палками кидал и шеи ломал. Да и лопал за обе щёки, не подавился вроде. Не поздновато совесть проснулась?! Голубей здесь как грязи. Их вообще не жалко. Меньше зерна у колхоза склюют. Хотя... хотя, — Соболев увидел в окне спотыкающегося и раскачивающегося в разные стороны тракториста. Тот махал руками, разговаривая, похоже, сам с собою, — Хотя всё равно, урожай здесь у них сгниёт. Не весь, конечно, но четверть-то точно. Так вот, голубей не жалко. Да и пацаны мяса поели. А что касается на медведя с рогатиной. Хорошая мысль, студент. Начни с себя. Мы посмотрим. Человек — он самый сильный зверь в мире. Но ему всегда трудно было жить. Когтей нет, зубов, считай, тоже. Как защищаться? Волос на теле мало, в мороз околеешь. Как выжить? Как с голоду не сдохнуть? Все против человека. Он первым умереть должен был ещё миллион лет до нашей эры. Ан нет. Выжил. Значит, предназначение такое. Избранность! А раз так, значит, должен быть самым главным в мире. Царём природы. И все в ней должны ему подчиняться. Надо человеку медведя убить, значит, так и быть тому. Надо голубя, значит, надо. Вот такой мой, стало быть, ответ на твою философию.

Соболев опрокидывает в рот остатки киселя, вытирает губы рукой и, вынув из кармана ватника шапку, встаёт, с шумом отодвигая стул.

— Перекур полчаса. Потом построение у коровника. Не всю ещё картошку выкопали. Всем работать.

Первый птенец появился через две с небольшим недели, маленький и мокрый. Второй на следующий день. Ещё слепые, с редким жёлтым пухом, немного нелепые, как все дети, они старались ползать по гнезду, широко раскрывая клювы и прося пищи. Его жизнь обрела иной смысл. Первые дни он кормил их отрыжкой из зоба, своим «голубиным молочком». Через несколько дней станет можно добавлять зерно и семена других растений.

Мы опоздали в баню. Нет, не в смысле, что пришли, а она закрыта. Тогда бы можно было прийти завтра. Просто завтра приходиться было некуда. Баню в нашей деревне никогда и не строили. Вообще. Не было её в деревне, и душа в ней не было, и ванной тоже. Ничего не было. Был только 1982 год. Со всеми вытекающими последствиями. В общем, мы опоздали. Опоздали на автобус. А автобус шёл, соответственно, в райцентр. Там была единственная на всю округу общественная баня. А райцентр этот располагался не за соседним деревом, а в получасе езды. На автобусе. Но на автобус мы опоздали.

Нет, конечно, в каждой русской деревне бань достаточно. Может, чуть меньше, чем в Финляндии. Мы одна из самых мытых национальностей в мире. Что ни дом, то баня. Но это бани все личные, частные, стало быть. В огородах. Для себя, для бабки с дедом и навещающих их по воскресеньям городских детей и внуков. И билеты в них купить нельзя. Билеты продаются только в общественную. А общественная на весь район одна, и до неё на автобусе километров тридцать, а пешком если, то и все полдня. И автобус в деревне нашей тоже один. Приезжает в семь утра, вначале к нам, потом едет в следующую деревню, потом ещё в одну и в центр. Это для тех, кому там надо что-то. В администрацию, например, скажем, в магазин, рынок, а то и дальше, в город. Мы не на него опоздали. За нами, за студентами, автобус специальный прислали, чтобы он нас, покрытых коростой от двухнедельного копания в грязи, в райцентр отвёз, в это спасительное заведение с горячей водой и стоимостью билета в десять копеек. Нам эти десять копеек, кстати, институт оплатил. Тот же, который нас на картошку послал. Короче, на автобус мы опоздали. Почему — непонятно. Что-то где-то прокопались, может, мыло искали, может, компот в столовой допивали. В общем, автобус уехал без нас. Всех увёз, а нас нет. Нас, это четверых студентов Политехнического института, расквартированных в богом забытой деревне нашей любимой области.

И вот мы вчетвером стоим у нашей общаги. Я Швед, Соболев и примкнувший к нам Исай, он же Вовка Исаев, если кому интересно. Ну ладно, мы с Исаем, малолетки ещё, нам только по восемнадцать стукнуло, мы ещё могли провозиться. Но Швед! А главное, Соболев! Как эти калачи тёртые пропарили баню — загадка природы.

Но это, собственно, картины не меняет. Автобуса нет, бани нет, а мы есть... и стоим тут

грязные и невытые. А главное, понимаем, что всё, конец, не будет у нас больше государственной помывки, потому как автобус за нами ни завтра, ни послезавтра не пришлют. Не потому что кому-то жалко, а потому что есть порядок. И по этому порядку студенту, выехавшему на сбор картофеля, мыться полагается только один раз за всё время исполнения своего непрофессионального долга. В общем, следующая баня уже только через две недели, и то дома, в городе. А сегодня либо грязь палочкой с тела отковыривай, либо придумывай что-нибудь. Мы к Соболеву. Он старший. Что-то же должен придумать. Он же в Афгане был. А там тоже пыльно. И бани, наверное, не в каждом кишлаке. Ну... Соболев! И что с баней делать будем?

Да! Что с баней? Мы вопросительно смотрим на Соболева.

— Проскочим, — говорит он, — денег у кого сколько осталось? На кассу вынимаю, — и, подавая пример, выгребает из кармана своего ватника горстку монет и мятый бумажный рубль. Мы начинаем рыться в глубинах своей одежды. Набирается немного. Четыре рубля с мелочью. Соболев забирает себе все деньги. Зачем? Его об этом никто не спрашивает.

— Может, и хватит, — задумчиво произносит он и кивает нам головой, — пошли.

Мы идём за ним по деревне, словно утята за мамой-уткой. В третьем доме Соболев сторговывается с одинокой бабкой.

— Тры рубли, — шамкает она беззубым ртом, воду я вам, сыночки, сама натаскаю, парьтесь на здоровье. Токмо у меня баня-то по-чёрному, вы не вставайте в рост-то, угорите а то.

Три рубля исчезают в кармане её халата.

Соболев сдвигает кепку на затылок.

— У нас часа два есть. Надо к бане подготовиться, пивка купить там, закуски.

Он грел птенцов своим теплом. Осень в этом году была особенно прохладной, и по ночам лужи покрывались лёгкой коркой льда. Хорошо, что место для гнезда они выбрали удачно, сюда, под кровлю, не попадал дождь и не дул ветер. Осенние птенцы слабее весенних. Он откуда то знал это, наверное, напоминали вновь и вновь о себе голубиные гены. Птенцы росли на глазах, но всё же ещё не были почти полностью оперены. Скоро, скоро они станут взрослыми и вылетят из гнезда навстречу своей взрослой голубиной жизни. Скоро они покинут его и забудут навсегда. Голубиные дети не помнят своих родителей.

— Значится, так, — говорит Соболев, остановив нас возле сельпо, — у нас два часа есть. К бане надо подготовиться. Пива там купить, закуски. Но! — он многозначительно поднимает палец, — Денег у нас, как известно, рупь да маленько. На него мы с Исаем будем покупать ливерную, ну, ту, что радость собачья и хлеб. Должно хватить. А вот на пиво не

хватит. А баня без пива, как девка без сисек... ну, если вы вообще, знаете, что такое девка.

— Прилавок, как вы помните, кто в сельпо был, в глубине,—продолжает он,—и продавщица, соответственно, там же. А ящики с пивом у самого входа. Значит, мы с Исаем станем у прилавка толпиться, типа, с тёткой шутить там, колбасу выбирать, мелочь считать. Короче, отвлекать её начнём по полной, заслонять обзор, значит. Вот... а пока мы там хихикаем с ней, ваша задача стырить из ящиков пива. С ума сходить не надо. Без фанатизма. Это воровство всё же, но четыре бутылки вы взять обязаны, поскольку нас, стало быть, четверо. Следите за нами, и как только продавщица отвернётся, сразу бутылки внутрь, в грудной карман ватника. Вы парни шуплые, ватники широкие, ящиков у входа и пустых и полных до хрена. Авось не заметит никто. Теперь дальше... если заметят. Не бояться, бутылки бросать и бежать. Помните, не пойман—не вор! А если и поймают, то бутылок при вас нет, а стало быть, и вины нет. Ну пошли... Швед, ты там у ящиков за старшего, а то вон смотри, у молодого уже и руки, похоже, дрожат.

Швед смотрит на меня, и я опускаю глаза в пол. «Какой я к чёрту вор!—думаю я про себя,—меня воровать не учили в школе. А тут... четыре бутылки пива, всё-таки».

Мы заходим в сельпо. Там горит тусклый свет. Пахнет чем-то кислым. У прилавка продавщица и пара местных бабок. Судачат о жизни. Сразу за дверью стоят несколько ящиков пива. «Жигулёвское»,—успеваю заметить я.

Он сидел в своём гнезде и смотрел на свет, проходящий сквозь окно коровника. На дворе стоял октябрь, холодный, промозглый осенний день. Моросил дождь. Птенцы начинают летать через тридцать—сорок дней с момента рождения. Сегодня шёл тридцать пятый. Он скосил глаза на своё потомство. Оба сидели рядом с ним, ещё в гнезде, ещё дети, но ничего уже в их облике не напоминало ему тех нелепых, желтоватых птенцов с огромными клювами. Он наклонил голову, посмотрел на них ещё раз и нахохлился. Сегодня он останется один, он понимал это, чувствовал заложенное природой правило и принимал его таким, каково оно есть.

В бане низко. В дверь я вхожу, согнувшись в пояс. Внутри жарко и темно. Выпрямиться в рост нельзя. Уже плечи упираются в потолок. Во мне метр девяносто. Маленькое окошко, с тетрадный лист размером, не даёт света совсем. Да и на улице вечерееет. В углу лампа. Хоть какой-то свет, а то не видно, что и мыть-то.

— Блин,—слышу я голос Соболева,—ничего себе баня.

Глаза привыкают к темноте. Я смотрю на руку Соболева. Она черна от копоти. Здесь нельзя ни к чему прислоняться. Это баня по-чёрному. — Нормально,—говорит Соболев,—на пол садитесь и вперед. Швед! Поддай парку, брат.

Я опускаю руки в таз с тёплой водой. Последний раз я делал это две недели назад. Это блаженство.

Мы выбегаем в огород. Голые и распаренные. От наших тел идёт пар. Даже в темноте на фоне чёрной земли наши белые тела ярко выделяются. Соболев хватается за таз с водой и выливает на меня. Деревню прорезает мой крик. Вода из колодца. С глубины. Плюс четыре,—вспоминаю я уроки в школе. Я хватаю другой таз и выливаю на Соболева. Он тоже кричит. В огород выходит бабка и, прислонившись к косяку, смотрит на нас.

Швед достаёт из пакета колбасу и хлеб.

Ш-ш-ш,—слышен звук открываемого пива. Я беру прохладную бутылку и делаю глоток. Жизнь точно лучше, чем была пару часов назад.

Он ещё раз посмотрел на птенцов. Старший и младшая, голубь и голубка, дети его перламутровой подруги. Он увидел, как старший подошёл на край стропила и, помавав крыльями, посмотрел вниз. Потом помавал ещё раз, нахохлился и снова сел, отодвинувшись. Он сидел так ещё минут пять, а потом вдруг резко, без подготовки, бросился вниз, словно понимая неизбежность свершающегося. Крылья раскрылись, словно сами собой, сделав несколько светлых движений, и вот, перестав падать вниз, он вдруг вспорхнул и мах за махом начал набирать высоту. Сделав несколько кругов в коровнике, он вылетел в открытую дверь и исчез. За дверью его ждала другая, взростая жизнь.

Голубка тоже подошла к краю стропил и взмахнула крыльями. Перламутровое сияние заполнило коровник. Вдруг она, будто передумав улететь, остановилась и, переступая боком, подошла к нему, провела клювом по его шее, словно поцеловав, и уже потом, легко оттолкнувшись, запарила в воздухе. Он смотрел ей вслед и снова и снова вспоминал ту свою голубку, единственную и любимую.

Мы идём домой. Я pinaю попавшуюся по дороге картофелину. Как же легко на теле и светло на душе! Баня сняла с нас грязь и очистила мысли прошедших дней.

Бабкин дом на краю деревни. Идти до нашего общежития недолго, минут десять. Свежий воздух холодит наши влажные волосы.

Они встречают нас недалеко от пруда. Слева вода, справа забор. Некуда бежать, да и нет смысла. Их много. Человек двадцать. А нас четверо. Не убежишь. Всё уже решено. Они окружают нас, в руках палки. Я вижу щербатую улыбку Обреза, Соболев выбил ему два зуба, ещё не сошла опухоль. — Пленных не брать,—зло говорит Соболев и бросается вперед. Ударить ему не дают. Я вижу, как Обрез быстро вынимает из-за пояса своё трофейное, до блеска начищенное оружие и, не целясь, стреляет в Соболева. Соболев складывается пополам, словно перочинный нож и падает на землю. — Что стоите, добивайте остальных,—приказывает своим Обрез.

Нас начинают бить.

Мы ничего не можем сделать, мы словно голуби на этой земле. Наша жизнь зависит от тех, кто сегодня сильнее нас. А жизнь тех, кто слабей, зависит от нашей силы.

Я лежу на земле и пытаюсь понять, где я. Я не могу встать, я не вижу света, мне трудно дышать. Кажется, у меня сломана рука и несколько рёбер. Я пытаюсь подняться, но понимаю, что это

невозможно. Моё тело пронизывает боль. До меня еле доносятся звуки. Я словно в коровнике, в котором на лету меня сбили палкой. Где-то есть мой дом, мои ещё не родившиеся дети. Я чувствую, как кто-то подходит ко мне и берёт мою шею руками.

Голуби по природе своей моногамны и, потеряв подругу, так и остаются верны ей всю оставшуюся жизнь.

ДиН цитата

Михаил Горевич

Голос земли, судьбы, жизни...

<...> ...перед нами стихи высочайшей пробы. Стихи великого поэта. Кому обращены стихи, с кем говорите вы? С женщиной? Музой? Лирой? Птицей? Да. И так верно, и так... только представляется мне — со всем миром, в котором довелось жить... И как эти стихи жизненны и трагичны — не блистающим Аполлоном, человеком приходит поэт, голос его рождается в одиночестве, посреди мира, мира в унынии и разладе... это плач о невозможном. Только стихи длятся, и возникает музыка, и дирижёрская палочка творит из смятения совершенство...

Но — о главном здесь для меня — как точно вы сказали о нити!

Разматывая пряжу — и в небо иди
По нити, протянутой криво...

Есть строки невероятные. Эта из таких. «Пряжа» — множество образов. И нити жизни Мойр, и пряжа Пенелопы... их не счесть. В одной из своих статей я писал о нитях, паутине-неволе, о морских канатах, которыми завязывают ручки двери снаружи, а внутри Улисс «прошивает» жёнов насквозь стрелами лука. Вышивание верной жены — она создаёт, и она распускает пряжу, так Медея распускала волосы, так распускали в слабости волосы колдуньи Европы, и магия приходила к ним, обессиленным...

Мы говорили с вами и о другом — «нитях букв днк», «генетический строках», выростании человека из слова... Вот нить вашего стихотворение — «кривая», не только потому, что она гнётся под тяжестью идущего к синеве небес канатоходца, но и потому, что свет не идёт по прямой в оптически разнородной среде, и между тьмой и светом множество градаций, там радуга между ними <...>

Откуда возникают эти вибрации, из каких необозримых пространств, созданных Творцом

в творце-человеке? Творчество и есть тот образ Божий, который заложен в нас, творчество — видное отличие человека. Может быть, это не так? Тогда коленопреклонённо прошу прощения перед умнейшими представителями *Homo sapiens*, сторонниками прогресса, жрецами агностики и сторонниками вполне материалистических взглядов на самих себя. Вы прекрасны! Вы создали столь блестящий мир, что на него уже смотреть невозможно... Сил нет... Так что вы победили, рад за вас...

А я, по древней своей привычке, буду шептать слова, колдовские, магические... Я буду ощущать горечь слова «провинция», мне припомнится доктор Чехов, и «Три сестры», и всплывут картины из многих русских книг, и некое щемящее чувство от этого слова, его пространства, отдельного, обнесённого невысоким зелёным забором с вертушкой на калитке, с пыльной улочкой, на которой болят тополя. Чем же они больны? Желанием света и красок, карнавала, веселья и чуть ли не дворцовых залов — они больны ностальгией по будущему... <...>

Единый мир творца Алейникова пронизан музыкой, вторым важнейшим началом поэзии, наравне с интуицией. Это голос земли, судьбы, жизни, голос бессонных ночей и наступившего утра, и вечера за столом с друзьями, и музыка античности, средневековья, хоралы Баха звучат в ней... Мне нравится употребление вами этого слова — «Хорал». У него разное значение в различных конфессиях, но *Cantus firmus* ли это, или *Cantus planus*, или другое — одинокий голос поддерживает звучание всего сущего... <...>

Михаил Горевич. *Семь нот для маэстро Алейникова: О книге «Вызванное из боли», «Зинзивер»*: №12, 2011.
<http://promegalit.ru/autor.php?id=2053>



Юрий Максимов Диверсия

68

Юрий Максимов
Диверсия

Стоматология. До и после...

Если вкратце, страдал Витька зубами. Вернее, их остатками, что ещё не вывалились. Давно. Настолько страдал, что предпочитал под гранёный стаканчик разговоры о чём угодно, только не о зубо врачебном кабинете. Вплоть до налоговой инспекции. Вплоть до ещё более большой темы наших перспектив на будущем чемпионате мира по футболу. Хотя мысль о скудости костных образований во рту периодически посещала, и он регулярно давал себе клятвы заняться этим делом вплотную. Но боялся. Ел давно уже что помягче, мягче уже некуда. Нет, есть куда конечно, но несъедобно. Не муха же он цеце какая-нибудь, в конце концов... Да Витька бы и не стал всё равно ни за что в жизни. Даже под страхом отлучения от винного отдела и прелестей возлежавшей рядом жены Александры. Но внешность его окружающих впечатляла...

Как только он начинал улыбаться, Витьку сразу принимали за своего весьма подозрительные личности со справками об освобождении в кармане. Не мудрствуя лукаво, личности предлагали Витьке приличное трудоустройство под неприличный откат. Устроителем фонда материальной помощи пострадавшим от тоталитарного режима, например. Под заграничные займы и гарантии возврата родным государством с удовольствием просаженного фондом бабла на личные нужды. С помесянной зарплатой несколько превышающей его нынешнюю пожизненную. Вполне, надо признать, успешная и респектабельная судьба могла светить в дальнейшем.

Местные хулиганы откуда-то узнали Витькино отчество и уважительно расступались, не попросив даже закурить...

А ниоткуда появившийся участковый всё порывался смотаться за пивком на свои, вместо вполне правомерной проверки регистрации.

Не надо быть семи пядей во лбу или доцентом юридического факультета, достаточно быть участковым, чтобы чётко понимать в каких пенитенциарных местах, не столь отдалённых, заканчивал свои университеты обладатель такой роскошной челюстно-лицевой хирургии. Кому нужны лишние проблемы с братвой? Участковому тоже не нужны.

А зубы и впрямь напоминали собой остатки забора пятидесятилетней давности, сгнившего и в прорехах, ни разу не познавшего счастья прикосновения крепкой хозяйственной руки. Из-за того всё, что отвратили однажды, ещё в далёком пионерском детстве, Витьку от стоматологии, и — на всю оставшуюся жизнь. Да так удачно

получилось, что с тех самых пор пребывал он в твёрдом убеждении: лечили бы советские наркологи столь убедительно, как советские стоматологи, наркологические кабинеты давно позакрывались бы за ненадобностью, а винный прилавок мужики обходили бы ещё более дальней стороной, чем Витька зубо врачебное кресло. Кривая преступности на этой почве понятно, куда бы загнулась, а хваленый Голливуд сдох бы от зависти к ослепительным улыбкам освобождённого от царского режима социалистического народонаселения!

Витька и дальше бы терпел, но без зубов — никак. Ни пробку из бутылки вытащить, ни по морде получить по-человечески! И хочешь — не хочешь, а нагруженному организму всякие белки, жирки, углеводы и прочие углеводороды просто необходимы для поддержания нормальной жизнедеятельности желудочно-кишечного тракта и жены Александры. А как поддерживать, если жевать уже нечем. Да какое там жевать, просто положить в рот — больно. Если рот просто выплёвывает из себя моментально сладко-солёное и холодно-горячее, а при одной только мысли об устрицах его тошнит. Горькую только не выплёвывает с градусом и солёный огурчик следом. Пробовал Витька на одних жидкостях пожить, но воспротивилась Александра уже к двадцатому году их совместного проживания.

— Да иди ты, не бойся, — не раз говорили ему знакомые, продвинутые в вопросах зубо врачебной помощи современной, а не сорокалетней давности. Те, что по каждому пустяшному поводу не терпят десятилетиями, как настоящие мужики, а сразу бегут к зуботехнику. Показывать свои подозрения на кариес. Но стреляного воробья на мякине не проведёшь. Витька давно вышел из возраста пионерской зорьки...

— Сами идите... куда надо, — неизменно отвечал Витька, хотя и сам прекрасно понимал — мясорубку надо чинить. При исправной-то мясорубке он много больше сможет употребить, если под закусочку. А не вырубаться, когда остальные ещё только разминаются и пьют в дальнейшем, получается, целиком на Витькину халяву.

Но легко говорить — не бойся! А как быть, если Витька только увидит по телевизору, как в тайге лес пилят, или передовика производства со сверлильным станком, сразу бежит строчить закладную на супругу Александру, куда положено, хотя никто и не просит? За её бездумное расходование семейного бюджета на новый лифчик себе, а не на пиво ему? Так не по себе мужику... Настолько болевой

порог у него близко от порога зубного кабинета находится... А куда девать память о тётеньке со щипцами, эпитафией на гранитном надгробье вбившей в Витькину пионерскую память неизгладимые впечатления от бесплатной стоматологии?... С тех далёких, незабвенных времён, несмотря на крайне непривычное звучание для невинных уст юного ленинца, Витька стал называть стоматологов зубнюками, по не совсем понятной в детстве аналогии с дяденьками несколько иной медицинской специализации...

Но жить, а значит, и питаться более-менее твёрдыми продуктами, хоть как-то надо, поскольку Александра категорически против жидкостей, а, наоборот, за то, чтобы мужик лучше ел, чем пил. Но у Витьки было своё, отличное мнение, и он всё равно терпел и наверняка сохранил бы свой неповторимый имидж до конца дней своих, удовлетворяя свои потребности манной кашей через марлечку и Александрой на сладкое. Если бы не Александра опять же. Однажды супруга посадила Витьку напротив себя на кухне и велела оскалиться для освежения впечатлений. Удовлетворившись картиной, она сказала, что ей стыдно уже переть рядом с Витькой два мешка картошки с базара на зиму в данной концепции... И что она вполне может лишиться своего беззубого супруга нескольких жизненно важных удовольствий в противном случае... И Витька решил.

Буквально года два-три, не больше, готовился и настраивал он себя на подвиг. Выспрашивал потерпевших, едва не бухаясь в обморок при упоминании зубоврачебного кресла и окровавленной плевательницы, утрабованной чужими корнями, пульпитами и прочими очарованиями стоматологии. Впадая в прострацию, интересовался мельчайшими нюансами у пострадавших до инвалидности от несовершенства зубмедтехники. И всё равно требовал рекомендательных писем и чтобы позвонили за него. Витьке пообещали, как только он разродится...

Ещё он просил жену Александру и других сторонних женщин (во избежание искажения действительности со стороны жены) сравнить впечатления от посещения зуборемонтного отделения и родильного. Чтобы правильно оценить всю значимость будущего поступка. Скоро понял: верить слабому полу в этом вопросе, как, впрочем, и во всех остальных, нельзя. Женщины, конечно, возводили себя на пьедестал, в унисон, словно хор им. Пятницкого заводя песню о ничтожности ощущений в стоматологическом кресле против гинекологического. Чтобы принизить, значит, величие грядущего Витькиного геройского поступка. Но Витька не дурак совсем, сразу раскусил...

За время подготовки и настройки Витька изрядно постройнел, построинеешь тут на киселях. Стал, между прочим, застёгивать ремень на самую первую дырочку, но всё тянул резину. Когда же, в один прекрасный момент, он окосел от одного запаха при вполне равноправных вложениях, Витька, наконец, разродился. А куда деваться! Сколько можно тщательно сэкономленные от обедов средства совать, строго говоря, псу под хвост, хотя

и товарищи? В канун, перед тем, как лечь спать, он тщательно, на два раза, помылся хозяйственным мылом, приготовил на утро чистое бельё и очень ответственно, не абы как, отнёсся к исполнению супружеского долга. Хотелось оставить хорошую память... После чего вроде бы закемарил чутко поначалу, но ему сразу приснился некто в белом, точивший на Витьку кайло своей бормашины на наждаке и Александра рядом, настаивавшая на продолжении прощания прямо на зубоврачебной кушетке... Для закрепления положительных впечатлений... Больше Витька даже глаза не стал закрывать на всякий случай.

Из всех рекомендованных зубнюков он выбрал одного с самыми положительными отзывами, с наименьшим количеством жертв, подкопил и оказался у дверей кабинета с фашистски завуалированной надписью — лечебный. Вроде как оставь надежды всяк сюда входящий...

Приняли на удивление хорошо и направили сначала к рентгену, потому что по знакомству, звонку и за деньги, назло гарантированному Конституцией бесплатному здравоохранению. Витька беспрекословно сфотографировался, прикрыв свинцовым фартучком на всякий случай не грудь, чего там ценного? — а всё-таки нижнюю часть туловища спереди. Вскоре вынесли рентгеновский портрет части черепа от носа до подбородка. «Похож-то как», — про себя отметил Витька, с ходу, даже неопытным взглядом, распознав знакомые прорехи в редком частоколе его клыков, резцов и коренных. Во всяком случае, как ему показалось, выглядел он довольно молодо и свежо.

Молодой, но уже рекомендованный доктор посмотрел на портрет, сличил с натурой, и видя уверенно, видимо, — понравилось, как и Витьке, хмыкнул и сказал:

— Проходите, устраивайтесь поудобнее... — буднично так, как будто ничего особенного не происходит сейчас. Как будто каждый день ходит к нему Витька. Будто на унитаз он его приглашает присесть, а не на электрический стул. Никакого человеколюбия. Один голый профессиональный цинизм и нажива в глазах.

«А поговорить?», — хотел затормозить и оттянуть процесс Витька, потому что нельзя же так сразу. Надо же сначала подготовиться как-то. Ему, например, хотелось рассказать доктору всю свою зубную историю, начиная с первого прорезавшегося и заканчивая счастливым пионерским стоматологическим детством... И про первую любовь хотелось... И о том, как чудовищно несправедлива бывает Александра при определении степени его опьянения. Хотя он совсем не нажрался, как свинья, а наоборот даже — не закусил, как следует. Не может потому что, как нормальный человек. О том, как он всю сознательную жизнь готовился к этому знаменательному событию... Стоматологии, стало быть. И чтобы доктор пожалел и проникся ситуацией...

Фиг вам, как говаривал кот Матроскин! Молодой, но уже равнодушный, хотя и за деньги, эскулап явно не понимал всей торжественности момента. Он воспринимал Витьку, как ещё один

маленький такой шагок на верном пути к своему материальному благополучию. Не больше. Он даже не догадывался, чего стоило Витьке переступить порог его кабинета с такой издевательской надписью—лечебный. Он вообще не подозревал, похоже, о том, что опустится в его стоматологическое кресло для простого народа значительно волнительней, нежели, скажем, космонавту в своё космическое, а победившему кандидату—в президентское. Что за такие мужественные поступки в Отечественную, если вспомнить немного историю, если не к Герою представляли, то к Боевому Красному Знамени—точно! Или наливали, хотя бы... Витька вопросительно посмотрел на молодого, но уже непыющего, как ни странно, медика, не заметил никакой ответной реакции, тяжело вздохнул и шагнул в кресло. Так шагают в пропасть...

— Безболезненно и качественными материалами,—обессилено прошептал Витька на прощание, ещё раз нащупав в нагрудном кармане рубашки накопленные средства—дешевле загнуться. Потом сложил руки на груди, как почивший безвременно, открыл рот, закрыл глаза и приготовился покорно принять пытки средневековой инквизиции «испанским сапогом» по собственной морде... Ненавязчиво и плотно побрякивали на небольшом столике сверкающие слесарные инструменты в нержавеющей корыте в резонанс проезжающим за окном большегрузам и Витькиным коленкам... Зубнюк попробовал, как работает отбойный молоток, гвоздодёр, пилорама и опустил плексиглазовое забрало. Точно такими оборудовали свои похмельные рожи наждачники с участка обрубки чугунолитейного цеха Витькиного завода. И полицейские на гнилом западе во время разгона демонстрации возмущённой прогрессивной общности—тоже. Витька сам видел по телевизору.

Перед мысленным взором теряющего пространственную ориентацию пациента галопом пропорхнула жена Александра, потряхивая увесистым крупом, и провихляла вся его худая предыдущая жизнь. Отмечая для себя особенно примечательные вехи не совсем праведно пройденного жизненного пути, Витька вскоре понял: зубокабинетное кресло должно стать совсем неплохой тренировкой перед грядущими сковородками на машинном масле и осиновым колом диаметром со пятидесятидвухмиллиметровую гаубицу в одно место в грядущей преисподней. Если не сунут его, конечно, куда-нибудь в райские кущи по ошибке, а определяют по заслугам. Пока Витька терял остатки сознания, сквозя расплывчатые картины гламурной потусторонней жизни на колу до него вдруг донеслись такие родные и знакомые слова: протравочный гель, штифты и литейная лаборатория, относящиеся явно к его челюстному аппарату. Он тут же вспомнил любимую «травилку», гальванику, «выщелачил», где работала Александра, неожиданно успокоился—Родина-мать не сдаст своего сына—и вырубился окончательно с чувством глубокого удовлетворения.

Теперь над ним могли измываться, как угодно, вплоть до газовой камеры, происков империалистов и протезов на обе челюсти. Теперь

предстоящее действие представлялось ему всего лишь лёгкой прогулкой по ботаническому саду. Не более... С последующим нюханьем экзотических цветов под виртуозное исполнение сводным духовым оркестром пожарной части каприса (не путать с кариесом) Паганини для скрипки и виолончели...

...Скоро, через три месяца буквально, Витька явил миру обновку: новую мясорубку с напылением,—и в первый же вечер под ручку с гордой Александрой прогулялся на базар за мандаринами. При этом он сиял, словно экспонат в ДНХ, предвкусная грядущий Декамерон с супругой, и скалился, как скаковая лошадь, выигравшая первый приз на ипподроме...

На следующий день обновку слегка проредили личности со справками в кармане, не признав в Витьке потенциального председателя совета директоров местного банка и вероятного депутата Законодательного собрания.

Ещё через два, только первая прополка начала затягиваться, солидной прорехой отмечился участковый, имея в виду отсутствие в Витькином кармане удостоверения личности с местной пропиской.

Успешно завершила начатое старшими товарищами местечковая шпана, насовав в хайло за то, что Витька долго вынимал из кармана курево.

Так потихоньку, общими усилиями, уже к выходным дням Витька стал выглаживать не хуже, чем до похода к специалистам-стоматологам, а рейтинг его неумолимо пополз вверх, навстречу выборам в органы местного самоуправления.

Диверсия

С самого утра редакция газеты «Комсомольская кривда», или, как сокращённо и ласково называли её читатели по первым буквам названия,—«Кака», с ударением на первый слог, гудела, как простой народ в получку. Причина была нешуточная. На территории «Каки» (напоминаю—на первый слог) случилось совершенно неординарное событие...

В связи с событием на ноги была поднята окрестная милиция, МЧС, а местный авторитет получил секретную «эсэмэску» с просьбой немедленно явиться, он знает—куда, для получения задания. Даже мэр сдвинул фуражку на затылок и почесал лоб. И было с чего!

В редакцию пришла фотография по почте. Ничего вроде бы особенного на первый взгляд. И раньше приходило много таких снимков молодых девушек: половозрелых, полностью и не очень, но одетых при этом как можно ближе к тому—в чём мама родила. Чтобы максимально продемонстрировать то, что в конечном итоге выросло из того, что родилось изначально. Подобного минимума мануфактурных изделий на натуре почта приносила вагонами. И это вполне закономерно: сливать отходы некондиционности черепно-мозговой человеческой жизнедеятельности больше некуда, кроме как в средства массовой информации. Вернее, есть ещё помойки, но они глянцево и устроиться туда на обложку—не каждому соискателю по карману. Точнее, по карману лишь настоящим ценителям высокохудожественных

произведений силиконовой архитектуры на фасаде известных продюсеров, спонсорам светских девок по вызову, да жёнам умелых и высокооплачиваемых спортсменов. Настолько высокооплачиваемых, что им по силам любую сборную обыграть. Сборную Андорры, к примеру, или даже Фарерских островов. И не важно, что на этих островах народу живёт меньше, чем у нас в трамвай набивается, когда пенсионеры на работу едут. Но это, повторюсь, если только глянец по карману. А нет — пожалуйте на последнюю страницу любимой «Каки». Рядом с анекдотами и лекарствами от простаты...

Кроме наличия прелестей, которыми тужились похвастать претендентки на задний разворот, они утверждали, что получили образование и умели писать (не перепутайте, теперь на второй слог ударение). Хотя, если присмотреться повнимательнее к фото, в это верилось с трудом. Тем не менее письма приходили, а девушки не забывали сообщать о себе самые интересные сведения... О том, к примеру, что они необычайно одарённые в некоторых местах проказницы и необыкновенно творческие — этими же местами — личности. А также о том, что предпочитают хорошие машины — типа яхты — и обожают путешествовать в Куршевель со всеми вытекающими извращениями. Можно в костюме Снегурочки. Можно без него. Можно в группе соратниц.

И это вполне нормально в свете современных демократических волеизъявлений.

Но вот когда из одного скромненького конверта (в такие обычно бабушки накладывают жалобы на протекающий пятый год унитаза) выпала фотография соискательницы на публикацию в платье, а не в «неглиже», все сразу поняли — больная. Когда же рассмотрели длинный рукав и отсутствие декольте до колена, стало очевидным — девушка не просто больна, она ещё и заразна! Более того, заразная девушка повела о своём житье, и из немудрёного повествования выяснились следующие ужасающие подробности...

Работает она, оказывается, библиотекарем, а не проституткой.

Читает книги, а не учебное пособие для спяноточивых девочек пубертатного возраста под скромным названием «Как выйти замуж за олигарха».

Пьёт берёзовый сок, а не пиво.

Гуляет по лесу, а не бегаёт по тренажёру.

И вместо кокаина, представляете себе, нюхает полевые цветы.

Вдобавок ко всей вышеперечисленной шизофрении инфекционная не готова даже садануть по венам от неразделённой любви к разведённому губернатору северных провинций с ополовиненным капиталом. Или к холостому плавильщику алюминия с неополовиненным пока. Короче — полный отстой!

Реакция сотрудниц моложе пятидесяти, специальных корреспонденток и ответственных за задний разворот, была по-столичному простой, конкретной и нервной:

— Дура какая-то! Ещё бы фуфайку надела и штаны ватные! Послала она... У нас, кстати говоря, своих

спецкоров, олигофреников и шизофренов хватает! Фотографируй, сколько влезет!

Кроме естественной реакции сотрудниц задней части, случилось ещё вот что... Будучи в расстроенных чувствах, они допустили недосмотр и преступную халатность — тиснули снимочек «в зад», как нормальный, а «зад» вышел в тираж! И примитивно успокоились...

Но не такой простой, слава Богу, оказалась уборщица баба Шура, прошедшая в своё время закалку идеологическим отделом ЦК КПСС и политпросветом. Она одна не потеряла бдительность и с ходу распознала в ничем не примечательном конвертике диверсию страшнее той, что произошла не так давно в Англии и взбудоражила весь цивилизованный мир. Тогда, напомним, иноверцы обнаружили в подмётной корреспонденции белый порошок. То ли сибирскую язву нашли, то ли насморк в засушенном виде. Ничего особенного... У нас, к примеру, этой язвы сколько хочешь, едва землёй присыпано, да ещё в каждой квартире по одной в наличии. А то и по две, когда мама жены в гости приходит...

А шуму-то было! Ладно бы по делу! Ну, вымерла бы половина Лондона! Так это как раз та половина, что от нас приехала участки садовые покупать, пока на родине дачная амнистия не наступила! Невелика беда! Природных ископаемых у нас ещё есть, и, ежели что, мы быстренько свежее испечённых дачников вышлем на замену пострадавшим от пестицидов неизвестного происхождения. За нами — не заржавеет!

Впрочем, это всё в далёких даях случилось, и нам, собственно говоря, до лампочки. Разве что полония из таблицы Менделеева слегка ubyло. И не о чём особо разговаривать. И не вспомнил бы никто никогда об этом эпизоде, если бы не эта фотография... А так, если провести некоторые политические параллели, то снимок, извините, это совершенно другой масштаб несчастья. Налицо, так сказать, идеологическая диверсия, направленная на подрыв наших демократических преобразований, ещё до конца не затвердевших! Хотя, в общих чертах, случай и аналогичный!

Не потерявшая бдительность баба Шура сообщила куда «следует»...

Сигнал был принят, зашифрован и с небольшой уткой отправлен фельдьеггерской службой, куда положено.

На всякий случай закрыли международный аэропорт и чёрный ход в редакцию. Чтобы ни одна зараза! А сам главный редактор «Каки» закрылся на два часа и на два оборота изнутри с одной из спецкоров для корректуры напоследок.

В помощь ранее оповещённому о событии МЧС вызвали санэпидстанцию...

По телевизору передали обращение к дорогим россиянам, и в этом нет ничего удивительного. Случай-то — уникальный! При наших правах и свободах — полностью одетая девушка в центральной прессе! Да ещё и библиотекарь из сельской местности с денежным содержанием на раз нюхнуть! И это при том, что полностью раздетых — девать некуда, в телевизор не входят!

Весть о ненормальной с длинным рукавом мгновенно облетела весьма озабоченное мочеполовым вопросом Сторублёвское шоссе. Элиту, гламур и бомонд обуял тихий ужас...

А что, если это только пробный шар? А что, если после этого происка врагов демократических свобод начнутся перемены в обратную сторону по культуре? Вдруг призы за лучшие женские роли начнут навешивать не гарной дивчине за воротник, а будут торжественно вручать настоящей Народной артистке? Или того краше — Чуриковой (которая старше)?

Не случится ли такого, что в связи с диверсией отменят голых девок на шесте, а на их месте будут показывать доярок с ведром и в одежде? Или домну построят какую-нибудь сталеплавильную? Где тогда богатым и успешным проходить фэйс-контроль? На зоне, что ли? (Для тех, кто до сих пор не перешёл с русского на американский, поясню: фэйс-контроль — это, чтобы рожа в дверь проходила). Где культурно потрясти анатомическими особенностями тарзанам со своими русалками-зоофилками? А продвинутым светским кобылицам и другим млекопитающим? А где, скажите, пожалуйста, золотой молодёжи амфетамину соточку принять? А «мажорам» и прочей депутатской неприкосновенности таблеточку глотнуть для вдохновения где? Что, к ромалам в очередь стоять? Вместе с остальным рабоче-крестьянским быдлом?

Куда теперь прикажете деваться комедийным «бла-бла клабам», популярно повествующим про принцип работы наружных половых органов? И их бла-бла клоунам, у которых, вместо мозгов, в наличии лишь самый минимальный набор жизненно важных внутренних органов: рот, желудок и, простите, выход? Что делать силиконовым проффурсеткам, повизгивающим в этих сука-клубах от понимающего хохота, чтобы не подумали, будто они блондинки? К тому же — натуральные. И брюнеткам тоже — что делать?..

Но самое противное заключалось вот в чём: никто, нигде, ни слова, ни полслова о самом главном. Не заикнулись даже, каким способом может переметнуться зараза на совершенно здоровых (а не библиотекарей) сограждан. В каком конкретно месте она может накинуться? Каким именно путём можно подхватить антидемократическую инфекцию? Половым, воздушно-капельным или достаточно взглянуть на фото? Как на Кашпировского? Если половым, то, пожалуйста, пусть поточнее объяснят для сторонников и противников: в какой именно позе будет наиболее эффективно, а в какой — наиболее безопасно... Если же с помощью Кашпировского, то давайте побыстрее обратно Украину, чтобы было оперативно, и у доктора не возникало проблем на таможне...

На демонстрацию протеста против бесчеловечных методов выпускников культпросвет училищ вышли Наши, идейно подкованные старшими господами по партии... Они заклеили несмываемым позором одетую в длинный рукав оппозицию с её устаревшими моральными принципами. А заодно подтвердили свои животрепещущие требования к правительству. Ну, типа, чтобы пиво

разрешалось с детского сада, а жениться можно было бы, где захочется...

Смывать несмываемый позор вышли пенсионерские ряды Не наших. Несмотря на возраст, Не Наши чего-то там покуривших наших — отдубасили их же плакатами и устно. Милиция молча отгаскивала в сторону потерпевших, не получив точного указания: кто на сегодняшний момент твёрдо — Наши, а кто — колеблется в проруби. Самостоятельно органы так и не решились месить налево и направо без сортировки. Вдруг кандидат какой под раздачу попадёт? Поди, их разбери, ху из ху, когда без кортежа...

Страшно похудел от переживаний за итоги приватизации и демократизации внук героя гражданской войны. Можно даже сказать — получил шоковую терапию.

В густое бордо перекрасился главный энергетик на случай провокационных лозунгов. Типа — бей рыжих!

Юношеской угревой сыпью покрылись от возбуждения пожилые «младые реформаторы»: начнут ли отбирать назад своим горбом заработанные заводы и трубопроводы? На какие шиши тогда летать завтракать омаров за бугор и с этого же бугра прокатиться на горных лыжах до откусывания обеда? На всякий случай они прилепили обратно комсомольские значки...

Народ насторожился и образовал две очереди.

Одну — за солью и спичками.

Другую — в мавзолей к Ильичу. И начал потихонечку разбирать Красную площадь на оружие пролетариата.

«Шайбу, шайбу...», — скандировал народ, но вполголоса. Потому что немного опасался гуляющих вокруг незаметных людей в масках и бронежилетах. Идя навстречу пожеланиям трудящихся, хоккеисты сразу стали чемпионами мира, а руководящая и направляющая партия срочно поменяла название на прежнее. В эфире независимого телевидения вновь тревожно зазвучало «Лебединое озеро»...

По утрам в общественном транспорте и в очередях за бесплатной медицинской помощью стали ходить списки на рулонах туалетной бумаги. Конспиративные... Поговаривали, что настоящей мелованной для этой цели — пожалели. Каждый желающий, или у кого накопилось, дополнял готовый свиток своими достойными кандидатурами. Что это за списки, и для каких таких целей они составляются, никто толком не знал, но догадывался.

Поэтому вписали нефтяников, которые уже сидят. Чтобы про них не забыли и ещё добавили. Это, во-первых.

Не упустили из виду и тех, что ещё на свободе — это, во-вторых.

И «открыжили» карандашиком сбежавших в туманный Альбион и прочие земли обетованные — в третьих.

Из чувства справедливости в компанию к первым вписали главного энергетика, хотя он и перекрасился. А для полноты ощущений — и соседей с верхних этажей, которые задолбали своим ремонтом. Получился практически один в один список,

составленный одним уважаемым журналом, за минусом одного соискателя. Улизнуть удалось только одному из середины — она переделалась в брата...

Упала цена на недвижимость у нас и не у нас. Один русский оленевод срочно продавал английский футбольный клуб, но никто не рискнул сделать покупку. От расстройств чучка переименовал команду в «Динамо» и подарил её бесплатно милиционерам с условием предоставления ему общего, а не строгого режима... Благодаря этому бескорыстному примеру, возникла большая конкуренция в пту из раскаявшихся. На специальности «формовщик», «обрубщик» и «секретарь-машинистка». (Или — «секретарька-машинист»?). На буровика никто идти не хотел. Ещё свежа была память...

С облегчением вздохнул — не он это затеял — Президент и объявил большой сбор богатых и успешных в Георгиевском зале. Ежели кто желает добром... Добром пожелали все! Пожелавшие срочно покинули места нормального швейцарского проживания и слетелись на родные эпикурии. Никто же не знал, что в обратную сторону рейсы — отменили. Оставили только два внутренних: в Магадан и Лефортово...

На Сторублёвской асфальтированной дороге срочно обивали бронированные ворота сиротских поместий старорежимным дерматинном. Чтобы невозможно было отличить от двухкомнатной «хрущёвки». А хозяйка обулись в кирзовые сапоги... Мол, сироты уже пострадали. Мол, как видите, их уже настигло суровое возмездие. Хотя они и не знают — за что... Но согласны.

Опустели улицы городов. Ни один чиновный «мерседес», или того хлеще — депутатский, не рискнул выехать из гаража. Затаились... Вместо них, по встречной полосе нагло разъезжали забуревшие отечественные «копейки» и импортные «запорожцы». А всё потому, что назло Антимонопольному Комитету кто-то снова втихаря сговорился про меж собой, и бензин стал стоить доллар. Нет, не за литр — за бак... Как в Венесуэле...

Нескончаемой колонной движение наблюдалось только в одном направлении. Это дружно уходили добровольцы за сто первый километр. Добровольцам обещали меньше... Возглавлял траурную процессию известный певец, бывший муж и большой, кстати, любитель розовых кофточек. На всякий случай, а также во избежание неприличной статьи, он срочно поменял отчество. Хотя замечен не был...

Замечен был другой, белокурый и двуликий анус, простите, — Янус... Но он был вне правового и по понятиям поля, благодаря своему пенсионному возрасту...

Самостоятельно, для окончательного закрепления первых впечатлений, попросился на работу в камеру предварительного заключения волоокий и полногубый парикмахер. В качестве будильника. В смысле — петухом.

Бедную прокуратуру замордовали тревожными звонками звёзды сериалов и конкурсов красоты. Их крайне волновал вопрос: как в связи с событиями будут обстоять дела с определённой статьёй укп? Конкретно — за скотоложество. Ну,

разделили они с этим скотом-продюсером ложе? И с той скотиной — кастингом — тоже... Что им теперь, срока мотать за этих козлов? Сами-то курсантки ведь не очень-то и хотели... И, скорее всего, — потерпевшие...

Срочно складывали манатки в ожидании литерного состава гордые обитатели гор. В связи с неожиданным переездом на новые, целинные места жительства...

Устье реки Москва вошёл американский авианосец и молча встал на якорь и на защиту...

В столице началась паника...

Нужно было срочно принимать меры по спасению свобод и демократических преобразований. Тех самых, за которые так удачно отстрелялись танкисты по какому-то Белому Строению в самом начале свобод и демократических преобразований...

Прибывшей добром на сходняк элите сильно захотелось обратно в альпийские луга и совсем не хотелось на внутренний рейс. На лесозаготовку. Она вытащила из сливных бачков завёрнутые в целлофан сберегательные книжки на предъявителя и... сделала мотивацию органам. (Не путать с другим актом на букву «м», относящемуся тоже к органам, но несколько к иным...). Неподкупные органы, недолго думая и с высочайшего дозволения, решили один раз в жизни поддаться соблазну и скоррумпировать...

Крупнозвёздный бывший оперуполномоченный попросил считать его демократом, если что... Он надел противогаз, химзащиту и контрацептив на всякий случай. Двумя пальчиками повертел зажатую неизвестным вирусом диверсионную закладку в виде фотографии, пришедшую самой обыкновенной почтой, и выяснил место проживания злоумышленника по обратному адресу. А после выяснения послал по этому адресу своё отдельное специальное подразделение с прорезями для глаз. Всего-то и делов!

Тут-то всё и выяснилось в положительную сторону.

Оказывается, произошла ошибка! Письмо, оказывается, пришло не по назначению! Да и не диверсия это никакая оказалась. Наоборот даже — любовь... Одна провинциальная дура, по другому и не скажешь, послала свою фотографию другому деревенскому полудурку, который сам, добровольно, без помощи милиции пошёл в армию!!! Чтобы не забыл он, к кому возвращаться, если выживет... А почта — перепутала!

Перепуганная было столица развеселилась, от смеха промочила непромокаемые памперсы и другое элитное нижнее бельё и вздохнула, наконец-то, полным, накачанным химифекалиями бюстом.

Вся именитая, где-то даже популярная на уровне макак из теледурдома публика нашла происшествие весьма забавным. Сама теледива, заведующая и пациентка одновременно, не смевшая даже смирительного обмундирования, преврала гастрольную поездку по себе подобным гуманоидам и снизила почтить вниманием благородное собрание. Она ругалась матом в адрес дебильной сельской местности и старательно подхихикивала, как и положено главной больной...

Простите,—тусовщице. Чтобы не сложилось негативного мнения об университетском образовании.

Понимающе, с мокрыми от слёз счастья глазами за давнишний, но такой удачный выкидыш женского рода, улыбалась произошедшему казусу близкая родственница заведующей и пациентки одновременно. Нет, к сведению санитаров, близкая родственница оказалась не из шестой палаты как раз происхождением! Из верхней, законодательного собрания...

Подпрыгивали от хохота целлулоидные щёчки и кудряшки креативных директоров, лысины давно неизвестных поэтов и «каре» уже известных прозаиков (или «прозаикш» правильно будет?) со Стурбулёвского шоссе...

Нежно похрюкивая от удовольствия обладания персональным микрофончиком, рдели пунцовым румянцем поленькие избраннички. Они были счастливы тем, что сели в свои кресла, а не куда начали сушить сухари. Обозначив мыслительный процесс указательным пальцем в носу, избранные и снова переизбранные мучительно думали о том, как жить этой стране дальше, чтобы она не особенно мешала им в законотворчестве...

Перекрестился в другую сторону и снялся с якоря в направлении Белоруссии авианосец...

Вернулся к прямым обязанностям главный редактор «Каки» (с ударением на первый слог). Вышла из кабинета главного и спецкорка с помятым, но добросовестно отредактированным репортажем с места событий.

Народным очередям—за солью, спичками и к Ильичу—вежливо помогли добраться до дома. Бегом. Бойцы омона.

Ну, что ещё можно сказать по этому поводу...

Слава Богу, что так всё обошлось! А ведь реальная опасность была.

Чуть не провалилась было просветлённая, окультуренная и раздетая совсем недавно Россия обратно в тартарары. В тёмное, некультурное и одетое прошлое...

Всё, кстати...

P. S. Есть такое вполне демократичное мнение, что пора уже палить на кострах библиотекарей вместе с их вредными книжками. Многоя знания, как говорится,—многоя печали.

Чтобы не случилось более подобных антидемократических эксцессов с длинным рукавом.

Чтобы Россия, не напрягаясь и не думая, семимильными шагами твёрдо окунулась в это... в... просвещённое человечество...

ДиН стихи

Мартин Мелодьев

Пусть судьба хранит...

Родительский романс

Софье

Смешно бежать судьбе наперерез
 И догонять её на полустанках,
 Оркестр уже играет полонез,
 И впереди—катание на санках.

А у тебя сошлись на дне рождения
 Йом Кипур сегодня и Покров.
 Будь счастлива, но сделай одолжение:
 Читай стихи, не слушай дураков.

Есть две страны...

Пусть их судьба хранит.
 Бог даст, и свяжут кони вороные
 Над миром золотой Давидов щит
 И полотняный омофор Марии.

Совместный праздник снега и невест,
 Дороги в белых яблоках метели...
 Снежинка, могоендовид или крест—
 Как жаль, что мы всё это проглядели.

Узор по камню мельничного жернова
 Размолотых пшеничных мотыльков...
 А у тебя сегодня день рождения,
 И Йом Кипур пришёл на Покров.

Черна рубашка, на рубашке вышивка.
 Ты приглядишься: на ней снежинка вышита,
 и человек, объехавший весь свет,
 читает в сотый раз, а может, в тысячный:
 «Над Бабьим Яром памятников нет».

Я дочку в детский сад возил на саночках,
 в их группе было несколько Оксаночек,
 а Сонечкой была она одна.
 И, может быть, уехавшая вовремя,
 следя, как зал охватывает молния,
 запомнит этот вечер и она.

Прапрадед мой, раввин всея Подолии,
 Вольни и Галиции,—не более,
 но как бы и не менее того—
 убит посмертно и лежит, закопанный
 в Яру. Другой в Манчжурии под сопками.
 Об остальных не знаю ничего.

Трудись, душа! Работай, и не сравнивай.
 Беспроволочно небо над Испанией,
 и человек, объехавший весь свет,
 отыскивая рифму к слову «вешалка»—
 читает нам, американка-беженка.
 «Над Бабьим Яром памятников нет...»

Юрий Василевский Балет-шмалет

75

Юрий Василевский
Балет-шмалет

Женихи для Марьи

— Платишь тридцать штук—и нет проблем. Но приведёшь ко мне.

— Тридцать тышш? Окстись, милай. У мене пенсия шийсят пять.

— Ну, ладно. Двадцать пять. И не меньше. Пригонишь в посёлок Новый, улица Лесная. Спросишь там Колю Кондратюка. Мне там все знают.

— Ет за сорок вёрст, да ишо такае деньги платить?

— А ты б на халяву хотела? Даром нынче и чирый на жопе не вскочить. Не хочешь—вызывай осеменителя.

— Да как жа я в таку даль приведу?

— Твои проблемы.

Взгляд блеклых бледно-голубых старческих глаз потух, маленькая птичья головка, плотно обвязанная стареньким шерстяным платком, грустно поникла. Старушка медленно, словно не желая расставаться с угасшей надеждой, повернулась и пошла прочь. Продавец, назвавшийся Колей Кондратюком, отвернулся в сторону с холодным и твёрдым выражением на широком буро-красном лице, давая понять, что разговор закончен. Стоявшая рядом с ним за столиком полноватая, средних лет женщина крикнула бодрым, чуть хриповатым голосом: — А вот салъце солёное домашнее недорого!

Серо-коричневая масса из снега, перемешанного с водой и грязью, топчется тысячами ног, обутых в ботинки, сапоги, кроссовки всевозможных размеров и фасонов. Потоки людей с холодно-озабоченным выражением лиц движутся между рядами навстречу друг другу. Неровные, слегка изгибающиеся ряды столиков под зонтиками и без, нагромождения ящиков, выполняющих роль прилавков, уставленных всевозможной снедью и выпивкой в пакетах, коробках, бутылках, пачках всевозможных размеров и форм. Две шашлычных, столики рядом с ними, крикливые и бойкие кавказцы, орудующие у мангалов. Ряды коммерческих ларьков, уходящие в обе стороны от шашлычных и заканчивающиеся автостоянками, плотно забитыми легковушками, микроавтобусами, грузовиками. Ровный гул толпы, разрываемый криками торговцев, сиренами автомобилей. Десятка полтора нищих—старушек и инвалидов, веером расположившихся у главного входа, что у одной из автостоянок, в начале торговых рядов.

Раскинулось море широко
И волны бушуют вдали
Товарищ, мы едем далё-о-ко
Подальше от грешной земли,—

звучит надтреснутый простуженный голос под аккомпанемент старенького аккордеона.

В толпе снуют стайки мальчишек-оборванцев, то и дело норовящих слямзить у зазевавшихся торговцев. С ними конкурируют бездомные псы, грязные и облезлые, шныряющие в толпе, поджав уши и хвост, или промышляющие за рядами, у мусорных контейнеров и на автобусной остановке. — Молочко свежайшее, только из-под козочки! — высокий женский голос.

— Чай «Липтон», верьте рекламе! — более грубый мужской.

— Молодые люди, не проходите мимо. Курточки—натуральная кожа, прямо на вас!

— Сухарики калибра семь шестьдесят два, пять штук за обойму—вполголоса, с оглядкой по сторонам, произносит скороговоркой мужчина лет сорока, в кожанке и полосатой шапочке «Адидас», изредка обращаясь к прохожим.

Ряды заканчиваются большим бараком, в котором размещаются администрация рынка, отделение милиции, ветеринарная лаборатория, пара магазинов и большой крытый торговый павильон. За бараком—платный туалет. Ещё дальше—приземистое, маленькое дощатое здание—камера хранения. Всё это—на выходе из рядов по правую сторону. С левой стороны ряды заканчиваются линией автофургонов, с которых идёт бойкая торговля и у которых всегда толпится народ—товар здесь, как правило, дешевле, чем в рядах.

Ещё левей, за фургонами,—«зооцирк». Этот торговый ряд получил своё прозвище из-за всякого рода казусов, здесь случающихся: то бычок молодой, оторвавшись с привязи, сиганёт с автофургона, на коем его привезли, и рванёт шалить по рядам, то щенок больно цапнет за палец свою новую хозяйку, только что его купившую, и та завизжит на весь рынок, то у зазевавшейся торговки выскочит из клетки дюжина гусей и учинит разборки с санинспектором, пришедшим с проверкой. Товар здесь успешно рекламирует себя сам: щебечет, хрюкает, мычит, тьякает и воняет. И продавцы здесь, как правило, народ озорной, общительный и добродушный.

— Павловна, а тебя чего здесь носит?

— Дак вот Машутке жениха ищю.

— Серёженька, муженёк родной! — кричит, заливаясь смехом крепкая краснощёкая молодка, обращаясь к молодому парню, высунувшему на её голос голову из-под капота «Уазика», стоявшего позади. — Чего?

— Да вот Павловна жениха Маньке ищет. Ты у меня парень здоровый, справишься. Так и быть, Настасья Павловна, я его тебе напрокат за бутылку шампанского сдам.

«Зооцирк», постепенно сообразив, о чём речь, заливается смехом.

— Ха-ха-ха-ха!

— А ты, Марина, фонарь держать будешь?

— Гы-гы-гы-гы!

— Креста на тие нету, дьяволица! — недовольно бурчит Павловна, отходя в сторону.

— Суседка! — окликает её пожилая, полная женщина, подходя к ней.

— Ай?

— Здорово, Паллна. А чё тебе приспичило вот непременно жениха Маньке искать?

— Дак хоцца, штоб первый раз было, как господом завещано, по природе. А там уж...

— Па-аятно. Настралалась сама за вдовью жись. Такой учаси и скотине не пожалалеш, — с лёгкой усмешкой резюмирует «суседка».

Тон сказанного и усмешка раздражают Павловну. — Типун те на язык, Андреевна. Всё б смешки да хохотки, — недовольным тоном произносит она, уходя прочь из «зооцирка».

Лужёный и Санча пребывали в благодушном, вполне опохмеленном настроении, когда их внимание было привлечено смехом и оживлением, имевшим быть в «зооцирке». С полминуты посовещавшись, направились туда, поскольку забот не было. А раз так — грешно ли поразвлечься?

Прежде всего — почему «Лужёный» и почему «Санча»?

Ну, с Санчей, скажем, довольно ясно: невысокого роста, кругленький, упитанный. Широкая, улыбчивая рожица. Услужлив, язвительно-вежлив. Вылитый сервантесовский Санчо Панса. Для краткости Санча. Но за всей этой округлостью, покатостью, вежливостью скрывается хам и наглюка, правда, весьма дипломатичный, поэтому по роже получает редко.

Лужёный вполне тянет на Дон Кихота: рослый, тощий, с клиновидной бородкой, с несколько вальжными манерами, неглуп, с развитым чувством юмора. По образованию филолог, закончил университет, учительствовал в деревне. На бич его привела «одна, но пламенная страсть», как он сам высокопарно изъясняется. Страдает гастритом, чему причиной, по его словам, «плохое питание» — пил, не закусывая. Стал он «Лужёным», а не Дон Кихотом, ещё во времена активной борьбы с пьянством, когда в компании коллег-бичей опрокинул пару стаканов какого-то зелья, отдалённо напоминавшего спирт. По этой причине половина его собутыльников оказалась в морге, другая половина — на операционном столе. Он же избежал того и другого, благодаря тому, что, как он сам выражался, «презрел собственную элитарность» — почувяв неладное, выбежал во двор, нашёл грязную лужу, пил из неё и отхаркивался, сумел вызвать рвоту и в итоге отделался двухнедельным пребыванием на больничной койке. Его друзья и знакомые сделали вывод, что глотка и кишки у него лужёные. С тех пор он — Лужёный.

Он плохо осознаёт, особенно по пьянке, что каждый второй бич в современной России имеет высшее образование. Поэтому в компании,

особенно будучи «под мухой», кичится своей «элитарностью», оскорбляя коллег, за что бывает бит и довольно часто.

Надираются до соплей они, как правило, после восьми вечера, когда рынок заканчивает работу. С утра ограничиваются «два по сто» или чекушку на двоих, крадут по мелочи и аккуратно (последнее — исключительно в ведении Санчи, из его неистребимой «любви к искусству»). Поэтому имеют на рынке репутацию людей солидных и почти честных. Им доверяют доставку товара от камеры хранения до прилавков, погрузить, покартаулить товар. Все, естественно, за небольшую плату. Пользуются определённым доверием и у местного рэкета — также за разного рода мелкие услуги.

Забота Настасьи Павловны стала темой для шуток, весёлых пересудов и импровизации «на тему» в течение получаса. Вдоволь находившись, народ угомонился. Лужёный и Санча тоже сменили тему. Обсуждали, смоля «беломор», сколько добавить: два по сто самогонки или ещё чекушку на двоих.

Приземистый, слегка потрёпанный «блюбёрд» с помятым крылом и разбитым поворотником осторожно подъехал к ним сзади и просигналил.

В машине сидели трое.

Старший из них, лет тридцати пяти-сорока, высокий, сухопарый, что называется, «импозантной» внешности мужчина с лицом серо-землистого цвета, небольшими серо-пепельными усами и в коричнево-дымчатых очках в позолоченной оправе. Одет в длинный серый распахнутый плащ, аккуратный тёмно-серый костюм, в тон ему широкий галстук со слегка ослабленным узлом на белоснежной сорочке. Иронично-учтивая улыбка, демонстрирующая приветливость и респектабельность.

Среди коллег имеет репутацию человека осторожного, расчётливого, но в то же время решительного и крутого, что вполне отвечает его прозвищу — «Бульдог». За плечами его два немалых срока по тяжёлым статьям, но последние лет пять пребывает на свободе и возвращаться к «хозяину» явно не горит желанием.

За рулём такой же сухопарый, стройный парень лет двадцати семи-тридцати, с бледным интеллигентным лицом, прямыми тёмными волосами почти до плеч. Одет аккуратно и просто: серосиние джинсы, коричневая замшевая куртка на меху, добротная норковая шапка. В тех же кругах известен по кличке Крот — очевидно, производное от его фамилии — Кротов. Как и его старший товарищ, осторожен, расчётлив, умён. Но крайне циничен и беспощаден к своим жертвам и к своим же корешам. У него также немалый срок, половина которого — на зоне, половина — на «химии». Откинулся года два назад и обратно очень не хочет, принимая к тому все необходимые меры.

На заднем сиденье посасывает баночное пиво с демонстративно-флегматичным видом самый младший из них — юноша лет семнадцати, пухленький, пучеглазенький, с розовыми поросычьими щёчками, лёгким пушком над верхней губой и наголо бритым затылком. Чёрные широкие брюки,

чёрная кожаная куртка, большая чёрная шапка из меха нутрии. В его биографии—пара приводов в детскую комнату, пара посещений медвытрезвителя да полгода условно за хулиганство. Но он насквозь пропитан блатной романтикой, молотит под «крутого» и очень хочет туда, где уже побывали его старшие коллеги, хотя в этом никогда не сознается. Он не умён, не воспитан, агрессивен, но дисциплинирован и почтителен в отношении старших своих коллег, которым искренне завидует и неумело подражает, хотя и таит обиду за то, что они частенько удерживают его в неумеренном проявлении «крутизны». Кличка его—«Шифер». Вероятно, производное от «крыша», подразумевающее, что он—шифер на этой самой «крыше».

Характер их трудовой деятельности в последнее время заметен изменился. Связано это было, главным образом, с тем, что идейный руководитель и наставник их славной группировки вошёл в правление фирмы, арендовавшей рынок. Теперь в их обязанности входят разборки с торговцами, не вносящими плату контролёрам за торговое место, не возвращающими деньги за взятый на реализацию товар. Следить за порядком в рядах, за исполнением требований и предписаний СЭС, за арендой торговых площадей и т. д., и т. п. В общем, по оценке Крота, имеющего гнусную привычку называть вещи своими именами, «делали ментовскую работу». Но оставались и кой-какие прежние задачи, в частности, сбор дани с самогонщиков. В общем, люди на рынке известные, уважаемые.

День для них прошёл без особых забот, они сидели втроём в машине у подъезда администрации рынка, наслаждались пивком под лёгкую музыку. Некоторое оживление в «зооцирке» не возбудило интереса к происходящему там, поскольку этот торговый ряд их интересовал менее других. Темой для обсуждения был предстоящий вечер. Хотелось оторваться, выпивки и «баб». С последними—заморочки: эти—осточертели, те—дороговато обойдутся, на других коллеге успели лапу наложить. Увидели Лужёного и Санчу, решили подружить к ним. С целью или без цели—бог весть.

Ошарашенный звуковым сигналом подъехавшего вплотную автомобиля, Санча вздрогнул, развернулся вполоборота так стремительно, что крыльями распахнулись полы старенького замызганного пуховика. Рот приоткрыт, глаза на выкате. Лужёный же неспешно флегматично повернул голову, спокойным взором, не без некоторого презрения оглядел подъехавших, повернулся боком, небрежно сбил пепел с папиросы на капот автомобиля. Бульдог вышел из машины, встал, облокотясь на дверь и оставив правую ногу в салоне. Осклабился в приторной, ироничной улыбочке.

— Обо...сь, голуби? Ништяк, памперсы смените—и всё о'кей—и вполголоса:

— Варначка опять товар скидывала? (Варначка—самогонщица, в последнее время уклонявшаяся от уплаты дани).

— Скидывала. Не в рядах, а той стороне улицы, за автостоянкой. С семечками стояла—ответил также вполголоса Санча.

— Та-ак. Ну и стукнули б ментам—порекомендовал Бульдог.

— Нам в той фирме не башляют,—небрежно бросил Лужёный.

— Так я тебе забашляю, ты, с-солитёр—рявкнул Бульдог и протянул пятитысячную. Красно-коричневая бумажка моментально спряталась в кармане брюк Санчи.

— А чего они там прибалдели?—поинтересовался Крот, высунув голову в открытое окно, кивком указывая в сторону «зооцирка».

— Ой, хохма!—откликнулся Санча,—здесь одна деревенская тёлке своей жениха искала.

— И что?

Санча приготовился было рассказывать, хихикнув и осклабившись в улыбочке. Но только открыл рот, как его перебил Лужёный.

— Диагноз ясен. Бешенство матки, определённо. Девушка в возрасте, с детских лет исключительно в обществе бабки. Ни мужчин, ни даже подруг.

— А сколько ей?—поинтересовался Крот.

— Семнадцать. Молода, темпераментна. Избыток молодых сил, в данной ситуации, при отсутствии какого-то выхода, так сказать, разрядки—продолжал монотонным, равнодушным голосом Лужёный,—легко может привести к нервному срыву, могущему негативно повлиять на состояние здоровья. Очевидно, старушеница это сознаёт, но, по темноте своей, не знает, что надо обратиться к психотерапевту или сексопатологу, а срочно разыскивает квалифицированного слесаря-гинеколога. Но, увы, в условиях стагнации производства, осложнённой гиперинфляцией...

— Травит—мрачно бросил Крот, полуобернувшись в сторону Бульдога. Тот хотел было оборвать словоблудие Лужёного, отослав его по известному адресу, да свалить за пивом, но кое-какие фразы из его равнодушно-высокопарного бреда заинтриговали, особенно по поводу бешенства матки и поиска слесаря-гинеколога в условиях стагнации гиперинфляции.

— Короче, Склифосовский, где эта бабуля?—оборвал его Бульдог.

— ...но в нынешнюю переходную эпоху, в процессе демократических преобразований и вызванной ими сексуальной революции, традиционные методы решения данной проблемы... а, насколько я понял, вы хотите знать, где находится источник первичной информации?

Бульдог, по характеру своему человек сдержанный и спокойный, не вынес, разразился матом. Вытащил из кармана ещё одну пятитысячную, которая также скоро опустилась в карман брюк Санчи.

— Старуха-то? А вон она, на остановке, в шерстяном платке и чёрном пальте—Санча указал пальцем на невысокую женскую фигурку, стоявшую на автобусной остановке чуть в стороне от основной группы ожидающих автобус. Бульдог влез в машину, хлопнул дверцей. Через лобовое стекло Лужёный и Санча видели, как они перебросились с Кротом несколькими фразами, как вылезла вперёд, между передними креслами озабоченная круглая физиономия Шифера. Через

минуту-две автомобиль плавно отъехал назад, развернулся и, короткими сигналами заставляя посторониться спящий по площади народ, скоро выехал с рынка и подкатил к остановке. Бульдог вышел из машины, неспешной, мягкой походкой подошёл к старушке. О чём-то заговорил, вежливо склонившись над ней. Затем распахнул заднюю левую дверь «блюбёрда», жестом приглашая её в машину. Мягким, но настойчивым движением руки обхватил её за плечо и повлёк к двери. Бабуля, видимо, слегка упиралась, но вылез из машины Шифер, обхватил её рукой за талию, и она скоро приземлилась на заднее сиденье «блюбёрда». Постояв ещё секунд десять, машина медленно тронулась с места и выехала на проезжую часть.

Санча уже тогда, что называется, задницей чуял, что эта затея, спровоцированная трёпом Лужёного, кончится для них плохо. Лужёный же начисто был лишён интуиции, так присущей людям простым, необразованным, вроде Санчи, и которой так недостаёт людям такого склада характера, амбициозным, как Лужёный.

В мягком кресле «блюбёрда» Павловне, честно говоря, очень неуютно. Даже жёстко, как на сучковатом полене. Сидела неестественно прямо, слегка поджав ноги и сложив ручки на животе. Бульдог заметил её скованность и с благодушной, мягкой улыбкой сказал, пытаясь её успокоить:

— Расслабьтесь, бабуся, всё о'кей.
В ответ она быстро осенила себя крестным знаменем да прошептала про себя: «Господи Иисусе, прости нас за грехи наши, спаси и помилуй нас». Мальчонка, что сидел рядом с ней, хотя и напугал её своей дерзостью, бесцеремонно втащив в машину, страха у неё не вызывал. Видимо, по причине своего мальчишеского возраста. А эти двое... Она не могла понять, что им надо.
— Где живёте, бабуля? — с вежливой улыбкой поинтересовался Бульдог.
— Ай?
— Живёте где, бабушка? Куда везти вас? — переспросил Крот.

Павловна, запинаясь, назвала адрес. На минутку-две воцарилась тишина. Бульдог обернулся назад и с мягкой, слащавой улыбочкой спросил:

— Как вас по имени-отчеству, бабушка?
— Ай?
— Зовут вас как, бабуля?
— Н-настасьей Павловной.
— А внучку вашу?
— К-каку внучку?
— Жениха кому ищете?
— А жениха я Марии ишшу... эт моя...

Закончить фразу не успела. Перебил Крот:
— Ну что, здесь заговоримся? — спросил он, притормаживая и подруливая к тротуару. Бульдог кивком головы дал знать Шиферу выйти из машины и следовать за ним. Выбравшись из «блюбёрда», оба быстро скрылись за дверьми гастронома, что в десяти шагах от того места, куда поставил машину Крот.

— Дак спасибо, робятки, я, чай, автобусом доберусь, — робким голосом произнесла Павловна

и тихонько подвинулась в кресле в сторону двери. Крот в зеркале заднего вида увидел это её робкое движение и быстро дотянулся рукой до кнопки блокировки той двери, к которой потянулась было Павловна.

— Обижаєте, Настасья Павловна. Ну чего вам в автобусе-то трястись? А мы вас через минут пятнадцать прямо к порогу доставим, — произнёс Крот мягким, почти ангельским голосом, сопровождаемым милой улыбкой.

Павловну это не успокоило, сидела — ни жива, ни мертва, не зная, что и предпринять. Мимо, по тротуару, спешили взад-вперёд прохожие. Кричать? Звать на помощь? Даже на это не хватало решимости. Крот, изредка поглядывая через зеркало на бедную пассажирку, нашарил в бардачке кассету, запустил её в автомагнитола, включил музыку.

...Тю-урьма центральная
Меня, молодчика, па-а новой ждёт —

выводил заунывную мелодию высокий, чуть с хрипотцой, мужской голос.

Не прошло и пяти минут, как Бульдог и Шифер вернулись из гастронома с полиэтиленовыми пакетами, заполненными бутылками с водкой и шампанским, коробками, свёртками со всякой снедью. Сели в машину. Бульдог, не оборачиваясь, бросил Кроту:

— Покатили.
Машина мягко оторвалась от тротуара и почти сразу, набирая скорость, перешла в левый ряд. Минут пять ехали молча.
— Как внучку-то звать, бабуля? — нарушил молчание Бульдог, обернувшись к Павловне.
— Чаво?

— Внучку вашу как звать? — повторил вопрос.
— Дак у меня их две. Одна замужом, на Урале. Д-друга здесь. В техникуме учится.
— Вот которая здесь, как зовут?
— Н-наташенькой.

— Па-нятно, — Бульдог расплылся в умильной, слегка слащавой улыбке.

Ни ласковый, спокойный тон, ни улыбочка не успокоили Павловну. Она была всё так же скованна, не сразу соображала, что у неё спрашивают, отвечала слабым, дрожащим голосом, запинаясь едва ли не на каждом слове. Сознание её было настолько затуманено страхом, что не могла никак сообразить, что же от неё хотят.

Через несколько минут, когда машина остановилась перед перекрёстком на красный сигнал светофора, Крот обернулся и спросил:

— А кого Марией зовут?
— Ай?
— Марией-то кого зовут?
— Дак тёлку...

— А-а, — и взглянул на Бульдога.

Почти сразу за перекрёстком пошла улица пригорода, застроенная частными домами с палисадничками, сараями, огородами, с разбитым, много лет не отремонтированным асфальтовым покрытием проезжей части, небольшими кучками грязного снега на обочине и тротуаре, куда этот снег столкнули бульдозером. Переулок, в котором

стоял небольшой, в три оконца, домик Павловны, поначалу проехали. Сама же Павловна сообразила лишь тогда, когда машина оказалась в конце улицы.

— Проехали, — тихо произнесла она.

— Чего проехали? — спросил Крот.

— Проулок-т мой...

— Так что ж ты спишь, Павловна? Говори, куда ехать.

— Взад.

— И так ясно, что «взад». Скажешь, куда свернуть. Поняла?

— Ага.

Крот, вполголоса матерясь, с трудом развернул машину на разбитом, грязном и тесном участке улицы, и ещё через пару минут машина встала у покосившегося, давно не ремонтированного забора со сломанной калиткой.

С полминуты все сидели молча. Затем Крот протянул руку к кнопке на двери со стороны Павловны, разблокировал дверь, жестом предложил Павловне выйти наружу. По-стариковски слегка покряхтывая, она покинула салон автомобиля. Ею по-прежнему владели страх, ноги словно ватные, руки дрожат, но всё же, оказавшись на земле да у родного дома, она почувствовала себя несколько увереннее.

— Ну так где эта, Наташа-Маша? — спросил Бульдог, бегло оглядев домик, сарай, покосившуюся изгородь.

— Наташеньки нету, а Машутка эт... она...

— Ну, веди к Машутке.

Павловна взглянула на него с оторопью и страхом, отворила болтающуюся на одной петле калитку и неспешно направилась по узкой, плохо расчищенной от весеннего сырого снега тропке к родной избе.

Шифер вылез из машины, с пакетами в обеих руках, вместе с Бульдогом двинулся следом.

— Шифер! — окликнул его Крот, оставшийся в машине.

— Чё?

— Презерватив смазать не забудь, «чё».

— Об чём базар, — развязно, в тон шутке, ответил тот.

— А ты? — обернувшись, спросил Крота Бульдог.

— А мне сегодня секс не в кайф.

Дойдя до крыльца, Павловна обернулась и переспросила робка:

— Дак, к Машутке?

— А куда ж ещё? — ответил Бульдог.

Павловна повернула к сараю по такой же тропке, идущей от крыльца. Бульдог на секунду — другую замялся, обернулся на Крота. Он вышел из машины и стоял у открытой водительской двери. Взгляд отрешённый, ничего не выражающий. Бульдог ухмыльнулся и не спеша последовал за Павловной. Шифер с пакетами замыкал шествие.

Подойдя к сараю, Павловна обернулась, робко взглянула на обоих спутников, вынула из скоб крепкую доску, выполнявшую роль засова на двустворчатой двери сарая, слегка покряхтывая и сопя от натуги. Доску прислонила к стене, отворила одну створку. Из сарая тотчас донеслось

протяжное, басистое «м-му-у-у!» Через несколько секунд наружу выдвинулась рыжая голова с парой коротких, слегка загнутых рогов.

У Бульдога, стоявшего за спиной Павловны, слегка опустилась челюсть. Крякнул, сплюнул на снег и нервно затоптался на месте. Шифер, грозно прорывчав «падла старая!», рванул вперёд, обходя Бульдога и оставив пакеты на снегу.

— Ша, Шифер, утхни! — рявкнул на него Бульдог. Тот замер, но затем снова двинулся с перекошенным от злости лицом. Павловна, опешив, отступила на шаг назад.

— Стухни, сявка! — ещё резче осадил Бульдог, схватив Шифера за плечо, — Полный назад — тихо, но твёрдо приказал Бульдог — домой к маме! — уже более громко и резко произнёс он замершему, как истукан, Шиферу. Тот медленно, всё так же кипя злобой, развернулся и пошёл назад. Бульдог двинулся следом. Дойдя до крыльца, Шифер пропустил Бульдога вперёд, сам же в несколько прыжков вернулся, схватил пару лежащих на снегу пакетов и пошёл следом за Бульдогом к машине.

— Чего так скоро? Рога нарисовались — и оргазм? — с холодным сарказмом изрёк Крот, встретив их тем же равнодушно-ироничным взглядом с проблиском насмешки.

— Насиловать полуторагодовалое дитё — верх кретинизма, — в тон ему, с таким же сарказмом и иронией произнёс Бульдог, после чего сел в машину, закурил сигарету и, затянувшись с видимым наслаждением, с лёгкой улыбкой обернулся к Шиферу. Он ёрзал на заднем сиденье, словно не находя места. Лицо — мрачнее тучи.

— Рули в бар, Серёга. Примем по стопке, — произнёс Бульдог, обращаясь к Кроту. Он тотчас запустил двигатель, задним ходом, не спеша, выехал на улицу, развернулся и повёл машину в обратный путь.

— Адью, бабуля, — Бульдог обернулся в сторону застывшей около сарая фигурке в чёрном пальто и плотно завязанном платке.

Павловна стояла неподвижно, приходя в себя после общения с этими непонятными, внушающими страх людьми. Рядом с ней мирно и смачно жевала выпавшую из пакета пиццу её любимица, рыжая полуторагодовалая тёлка Маня.

— Алексеич, я чё-та не врубаюсь, чё к чему — подал голос Шифер, перекрывая негромко льющуюся из магнитолы мелодию. Он обращался к Бульдогу всегда строго по отчеству. Бульдог с вниманием обернулся к нему, — Нас, как лохов, кинули. Так? — На лице недоумение, и растерянность, и даже страх. Как-то на «лохов» реагирует Бульдог?

— А мы сваливаем...

— Мой молодой друг, — с неожиданной назидательностью и вежливостью в тоне перебил Бульдог, — Если человек по наивности и не желая тебе зла, вскроет перед тобой твоё гнилое нутро, и это будет правда, не следует на него обжаться, а тем более, проявлять агрессию. Сие отличает мальчика от мужа. Усёк?

Шифер ни черта не «усёк», но замолк в недоумении. Крот, прислушавшийся к их диалогу, бегло взглянул на Шифера через зеркало. «Симпатичный

малец, но туповат и агрессивен. Попадёт на зону— ой, хлебнёт...»,— с жалостью подумал он.

Шифер попытался ещё что-то сказать, или спросить, но Крот, словно предупредив его инициативу, прибавил громкость:

А рядом батюшка Евлампий
От грехов меня спасал
Не убивай—не убивал
Не предавай—не предавал
Не пожалей—отдам последнюю рубашку
Не укради—вот тут я дал
Вот тут в натуре дал я маху

Вскоре «блюбёрд» остановился в полусотне метров от играющей в раннем вечернем сумраке вывески бара, почти упёршись бампером в бордюр на месте для парковки автомобилей. Крот заглушил двигатель, но оставил работающей автомагнитолу, убавив звук. Крот и Бульдог несколько секунд с лёгкой ехидцей смотрели в глаза друг другу и в один миг, синхронно, принялись добродушно и громко хохотать. Шифер обалдело и с некоторым раздражением смотрел на обоих. С ними время от времени случались странности, не укладывавшиеся в его представления о должном, но чтоб до такой меры...

Отхохотавшись, оба примолкли.

— В монастырь, что ли, податься? Боженьке клоны бить, огурцы рацать на грядке, просить у бога искупленья, об суетности мирской забыть... а, Серёга?— с тоской произнёс Бульдог.

— В монастырь? С нашими-то грехами? О чём ты, Паша!

— А туда не праведники идут. Грешники.

Шифер недоумевал. И слова—сплошь фраерские, и обращение друг к другу по имени, а не по «погонялу», и тема разговора...

Поворую—перестану
Скоро богатым я стану
А потом начну опять
Я зако-оны соблюдают—

надрывался из колонок хрипловатый мужской баритон. Крот и Бульдог коротко переглянулись, иронично хохотнули. Крот выключил магнитолу, бросил обоим спутникам:

— Пошли по стопаруку.

Следующим утром развозить товар на тележке по торговым местам Санча вышел один. На вопрос о Лужёном отвечал кратко: «Отдыхаить». Откуда у него нарисовался синяк под левым глазом и почему разбита верхняя губа—«вечер синичка в окошко залетала, клюнула. Да эт... мелочи. Вот Лужёный—того дятел обстучал».

Лужёный же появился на работе на третий день, причём, главным образом, возил тележку и караулил товар, не участвуя в погрузке и разгрузке. Следы работы дятла на его лице были весьма существенны: правый глаз заплыл под мощным фиолетово-бордовым синяком и был едва виден, под левым тоже синяк, рот перекошен и всё время полуоткрыт, обе губы раздуты, надорвана мочка уха. На брови и щеке крупные заплатки лейкопластыря.

После развоза товара они устроились на пустых ящиках около пивного ларька в компании коллег и знакомых. Лужёный мелкими глотками пил пиво из пластикового стакана и под сочувственными и ироничными взглядами друзей изливал душу. — Нет, всё ж таки какие тяшки времена для людей мышлящих и имеющих душу!— два дня назад он потерял способность чётко произносить ряд звуков,— Но што тому прищиной? Анализ прищино-шледшвенных швязей приводит к мышли, што прищиной тому—атрофированность шувств и мышлей у молодого поколения вшледштиве деградации многих нравштенных шценноштей. Универшалный эквивалент и критэрий вшего и вышшая шценношь—паршивый доллар! И парадокшалный факт—первым атрофируетця шувство юмора! И пощему?—подняв палец, Лужёный скользнул взглядом по лицам слушателей,— А потому, што негативные эмоции—гнев, жадношь, похоть, жавишь—жаглушают голош ражума. И какой-то шопливый шценок ш инчеллектом крашножопой макаки, мушмым шобштвенным гипертрофированным эго, потерпев фиашко в шекшуальных притяжаниях...

— Тёлка не дала,—вставляет Санча.

—...вы правы, щударь. Так вот,—поднявшись с ящика и в слегка возбуждённом состоянии прохаживаясь среди слушателей, продолжал Лужёный,— вмешто шправедливой и трешвой шамооченки, этот кретин ищет вожможношти каналижировать швои эмоциии и шамоутверждения в шобштвенных глазах и мнении таких же кретинов, как шам. И поднимает руку на меня, штарого рушкогo инчеллигента!

И, воздев правую руку ладонью вверх, завершает не без пафоса:

— О времена, о нравы!

Балет-шмалет

Пребывание Леонида Васильевича Шарова в областном центре подошло к концу. В принципе, он мог уехать уже сегодня и к вечеру был бы дома. Но с утра не утерпел, опохмелился пивком, а днём добавил стопочку водки. Садиться за руль родного «Чероки» счёл рискованным: шёл месячник безопасности движения, и на посту гибдд, что на выезде из города, могли остановить. Сие чревато было либо небольшим штрафом и кучей неприятностей, прежде всего, срывом поездки, либо пришлось бы раскошелиться на приличную взятку, весьма приличную. Поскольку на посту, кроме автоинспекторов, ещё и менты. Ублажи-ка их всех...

Нет, Лёня-книжник, таково было его прозвище в «деловом» мире, алкашом не был. Просто дела в городе так хорошо складывались, что не отметить—грех. И отметил. С родственничком, он же и компаньон, в отдельном кабинетике ресторана при гостинице, где обретался несколько дней. К сожалению, без баб. Поскольку родственник по бабам в родном городе лазать не рисковал: как ни велик город, но есть риск, что супруге его «вложат». И не у него на квартире по причине того же рода, ибо супруга его—баба-стервь.

Прозвище «книжник» не соответствовало его нынешнему роду занятий и никак не отвечало представлению о нём как о человеке высокого интеллекта, книголюбе, эрудите. Впрочем, о своём интеллекте он был оригинального суждения, весьма отличного от мнения людей, его знающих. Но всё же суждение сие разделялось и многими из его коллег-бизнесменов и подчинённых в его бизнесе, имеющих уровень интеллекта, вполне сравнимый с его, Лёни-книжника, уровнем. То есть, почти никакой.

Суждение сие было, с его, Лёни, точки зрения, весьма основательным и объективным, поскольку Лёня — вполне преуспевающий бизнесмен, один из самых богатых и влиятельных в своём городе. «Чтоб при таких бабках — и дурак?! Ты чё гонишь!»

Встал вопрос: как убить вечер? Ударить по бабам? Так в этом занятии не обойтись без выпивки. Заглянуть к родственничку? И там придётся попить, поскольку он наверняка похмеляется. Есть ещё вариант «убить» вечер. Вариант этот — два билета в местный театр оперы и балета. На единственное представление, которое даёт в городе иностранная балетная труппа. По отзывам, Линялого, какой-то там «модерн», новая, весьма оригинальная трактовка балетной классики. Со слов Линялого, эта труппа вот этим самым «модерном» всю Европу «на уши поставила». Но этот театр-миатр, опера-шмопера, балет-шмалет... Да во гробе их Лёня видел. Книжника они прельщают не более, чем те же книги. Все эти пушкиняны-лермонтовичи, гоголи-моголи... шапингауеры-хреновы. С его точки зрения, несомненно, правильной, нет более убыточного, бестолкового занятия, чем чтение книг и хождение по этим самым «тиатрам-миатрам».

Впрочем, читателю необходимы кой-какие пояснения. О Линялом. Линялый здесь, в областном центре, человек довольно влиятельный. У него, правду сказать, довольно прочная криминальная «крыша», и он в ней — один из «первых». Вроде как сам себя «крышует». Так без «крыши» нынче нельзя. Лёня сам «под крышей», правда, вполне respectable. Его шурин — один из крупнейших милицейских чинов в их городе.

Откуда взялась эта кликуха — полная неясность. Возможно, это оценка его внешности: среднего роста, далеко не атлетического сложения, узкие плечи, широкие бёдра, небольшое пузцо. Лысина, обрамлённая нимбом серо-пепельных волос. Лицо блеклое, невзрачное, морщинистое. Выглядит заметно старше своих сорока лет. А возможно, возникло это прозвище от его несколько странного предпочтения «секонд-хэнда». И в одежде, и в ином имуществе: ездит в шикарной «Лянче», купленной с рук, живёт в двухэтажном кирпичном особняке, построенном ещё в конце девятнадцатого века, проявляет интерес к антиквариату и, по слухам, приторговывает иконами, в том числе и краденными.

Круг коммерческих интересов Линялого весьма широк. Под его «лапой» крупная торговая база. Приторговывает весьма успешно бензином и дизтопливом, круглым лесом и пиломатериалами,

водкой и цветным металлом. Лёня Шаров ему интересен, поскольку он имеет виды на кой-какие ресурсы в его, Лёнином, районе и надеется там на него опереться, а посему в услугах разного рода ему не отказывает.

Славен Линялый тем, что умеет «поднять бабки» всюду, где их поиметь никому в голову не приходит. В частности, «курирует» «очаги культуры» в городе: драмтеатр, цирк, театр оперы и балета. Даже тюз. И накануне своего отлёта в столицу нашей родины, узнав, что почтеннейший Леонид Васильич задержится в областном центре ещё на два дня, на скромной вечеринке, посвящённой его проходам и успешному завершению совместных с Лёней дел и заключению кой-каких договорённостей, подарил ему два билета. Как презент, в знак особого к нему благорасположения:

— Крутая тусовка. В Европе, во Франции, билеты на них от полста до сотни евро. Эти охламоны из дирекции по сто рублей за билет запустили. Я у них почти всё скупил за сто пятьдесят. Сотню билетов, правда, зажали. На пенсионеров и пионеров, да на каких-то кнутов из облдумы и администрации. Решил запустить по своим каналам по дешёвке, от штуки до двух деревянными. Половины не продал, а уже сто пятьдесят процентов навару. Солидные мэны берут. Бери, места в ложе, самые удобные. С другом или с какой вумен сходишь. Там та-акие убойные мулатки ломаются, с та-акими ножками...

Седьмой час вечера, и нет ни дел, ни забот. Уже прокатился по городу, по магазинам, что поближе к гостинице, часа полтора «убил» на торговой базе, интересовался ценами и ассортиментом. Звякнул в родной город, поинтересовался, как идут дела в его отсутствие. Полистал кой-какие газеты, поскоквал секс-сплетни в «СПИД-инфо». Перспектива пялиться в гостиничный телек не прельщала. В конце концов, не пропадать же дармовым билетам?

Такси вызывать не было необходимости, стайка «волжанок» и иномарок с «шашечками» обреталась в десяти шагах от парадного. К театру был доставлен минут за десять-пятнадцать до начала представления.

Старое каменное здание с полудужиной колонн у главного входа. Кой-какая лепнина по портику и на карнизе, местами потрескавшаяся, с выбоинами. Много лет некрашенный грязно-жёлтый фасад театра с потрескавшейся штукатуркой не впечатлял, не радовал. На ступенях и в портике у главного входа довольно много народу, преимущественно молодёжь. «Нет бы делом заняться, деньги делать, они по театрам шастают. Шантрапа», — с раздражением, почти с презрением отметил про себя Лёня. — Лишнего билетика не найдётся?

Лёня поднялся на пару ступенек, обернулся. Снизу вверх на него смотрела молоденькая, студенческого возраста, черноволосая девушка. Одета простенько: юбка-шотландка в крупную клетку, лёгкая курточка с откинутым капюшоном, в руках — миниатюрная дамская сумочка, чуть больше Лениного кейса. Личико смазливое, нежное. Тёмные, крупные глаза под длинными ресницами, чуть приоткрытый ротик. Смотрит с надеждой, почти с мольбой.

«Тебя бы в койку, и к едрене матери этот балет». Второй билет лежал в кармане. Но продавать, к тому же дарёное—несолидно. Лёня-книжник не мелкий фарцовщик, чтобы ещё билетами в театр торговать. Не тот уровень. Можно, конечно, подцепить бабца, после представления—в кабачок. Оттуда—в гостиницу, с парой бутылочек коньячку. Пятисотку—администраторше, пару сотен—коридорной... Но этот вариант рушил Лёнины планы, да и эта шмакодявка, видать, из лохарей. Ещё пролезет ли...

Чуть помедлив, коротко бросил: «Нет».

Пока дошёл до контролёрки у входной двери, ещё несколько человек поинтересовались, нет ли у него лишнего билетика. В основном, по ромам судя, лохи. Сдал в гардероб кожаный плащ-пальто, шляпу, получил номерок. В фойе вынул из кейса билет, определился, куда двинаться, абы попасть на указанное в билете место.

Большой зрительный зал освещён светильниками, бра, люстрами разных типов и размеров. «В кабаке свету больше»,—сделал сравнение Лёня. Довольно большая сцена закрыта тёмно-зелёным занавесом. Старые кресла, обитые довольно потёртым тёмно-вишнёвым материальчиком. Сел на своё место, оглядел публику. Народ, в основном, солидный, прилично одетые «мэны», преимущественно его возраста. Намётанным глазом определил, что в большинстве своём либо люди его круга, его рода деятельности, либо «нужные люди», бишь крупные столоначальники.

В ложу вошли довольно высокий, чуть полноватый, гладко выбритый господин с дамой. Оба его возраста. Дама—средней полноты, не то, чтобы стройная—«фигуристая», с несколько странно ватой по цвету и форме причёской (возможно, шиньон). Явно злоупотребляет косметикой. Бижутерии тоже переизбыток. Что, впрочем, по Лёниным представлениям,—норма. Лик оного господина, обрамлённый снизу двойным подбороком, а сверху—проплешью, суров, надмен и торжествен. Несколько небрежным, но тем не менее, подчёркнуто-вежливым кивком приветствовал Леонида. Лёня, проникшийся тем чувством, которое можно охарактеризовать как «обаяние власти», кивнул в ответ несколько подобоостранно, но с достоинством. Пара заняла кресла левее Лёни через два места.

Звонок. Чуть подавшись вперёд, ещё раз осмотрел публику. В партере, в средних рядах, десятка два-три мальчишек и девчонок. Очевидно, старшеклассники. За ними, примерно столько же, народ чуть постарше. Студенты, наверное. Утерьянная выручка Линялого.

Откинулся на спинку кресла, взгрустнул. Предстояло почти два часа терпеть этот балет-бармалет и лишь с одной целью—убить время. В какой-то момент даже пожалел, что завалился в этот большой сарай. Вытащил из кармана программку, что прилагалась к билетам, пытался читать. Но вскоре раздался ещё один звонок, и в зале медленно, вначале совершенно незаметно, стал гаснуть свет.

В то время, когда поднимался занавес, и из оркестровой ямы тихонько полилась музыка, на

Лёню вдруг нахлынули воспоминания. И охватили его настолько глубоко, что он совершенно упустил из внимания начало действия.

Этот же зал лет двадцать тому назад... Сколько ему тогда было? То ли тридцать шесть, то ли тридцать семь... Какая-то там «опера с басом». Какая—да чёрт упомнит. Не в ней дело. Важны были не конкретные факты, обстоятельства места и времени. Наиболее ясно в памяти всплыло ощущение гордости за самого себя, своё место в мире, дошедшее до чванливого самодовольства. Осознание того факта, что он, Леонид Шаров, заведующий базой хозтоваров и стройматериалов горторга, кандидат в члены КПСС, товаровед по образованию, принадлежит к кругу избранных. И этого положения в обществе, этого статуса, добился он сам, своим усердием, своим умом. Ну, там, местами, протекция, чья-то помощь и поддержка. Да без этого нельзя.

И каких усилий ему это стоило! Ведь он, по происхождению, из простых. Он—сын продавщицы и мастера стройучастка, беспартийных, рядовых трудяг—и вот, на этих высотах! Да ещё всё впереди. Впереди партстаж, карьера... Чем чёрт не шутит, лет через десять он в этот театр-миатр дверь ногой будет открывать и без всякого билета!

Нет, он определённо принадлежит кругу избранных. Самой судьбой. Хотя в детстве и юности, правду сказать лоботряс был ещё тот. Отчасти, наверное, по той причине, что тому способствовали господствовавшие в его среде (по его мнению) некие неписанные правила, общие и обязательные установки, культивирующие серость, стадность, «общепринятость»: «не высовывайся», «тебе что, больше всех надо?». Это было необходимым, абы считаться «своим» в «стаде», иначе «стадо» тебя отринет, и ты будешь обречён на участь изгоя. Мать увещевала: «Учись, большим человеком будешь. Останешься неучем—будешь вкалывать, как все». Отец тоже поучал: «В жизни надо уметь устроиться, а без учёбы нынче никак». Да что толку.

Одиннадцать классов позади, аттестат с тройками в кармане. Надо «устраиваться». Отец настаивал на строительном техникуме. «Я тебя подучу, всё расскажу-покажу. Работа стоящая, и заработки хорошие, и навар всегда есть». Но воспротивилась мать: «Ты куда парня тащишь? Сам раза два койкак от тюрьмы ушёл. Расскажет-покажет он...»

Матушка мобилизовала все свои возможности, все свои невеликие связи и устроила сына в техникум советской торговли. Она же добилась, чтобы сыну дали отсрочку от армии до завершения учёбы.

За два армейских года Лёня Шаров, безответственный и безалаберный юнец, сформировался в весьма почтенного, солидного, ответственного молодого человека Леонида Шарова. Но главный итог двух лет воинской службы, по мнению Лёни, заключался в том, что он, наконец, «понял жизнь». То есть убедился в необходимости следовать в той или иной житейской ситуации неким простым и понятным правилам, в верности кой-каких догм и прописных истин, о существовании которых знал, в общем-то, всегда, с малых лет, но

по «неразумности» своей в детские и юношеские годы не относился к этим правилам и догмам с должным почтением. «Багаж» сей не отличался особой оригинальностью, был в достаточной мере универсален, изобилдовал тезисами вроде «и кура под себя гребёт», «прав тот, у кого больше прав», «каждый — за себя, один Бог за всех». А впрочем, причём тут армия? Из схожей, даже одинаковой среды общения, сходных житейских ситуаций каждый выносит свой «багаж», порой принципиально разный.

И, что весьма важно, он усвоил истину едва ли не решающую для достижения успеха в любой ситуации, на любом поприще. Сие «золотое правило» заключалось в том, что реально достичь успеха, признания, благ земных возможно, опираясь не на какие-то там законы, правила, уставы и не благодаря каким-то личностным качествам: отваге, таланту, профессионализму. Всё это — бред собачий. Важно понять некую «генеральную линию» и действовать в согласии с этой «генеральной». И тогда всё будет «тип-топ».

Она, эта «генеральная», не некая декларируемая истина, а нечто подразумеваемое, не произносимое вслух, не осязаемое, что постигается, скорей, интуицией, нежели разумом. В разных кругах общения, в разных ситуациях она различна. И определяется не какой-то там идеологией, не декларируемыми впрямую требованиями (план, обязательства, теусловия), а чем-то более важным, часто к делу напрямую не относящимся. Ну, например, изменяет или нет жена командиру роты капитану Иванову? А если изменяет — с кем? С комбатом или с прапорщиком из штаба тыла? И знает ли об этом капитан Иванов? По чьей протекции Владимир Иваныч назначен зав. отделом? Ивана Иваныча или Ивана Никифоруыча?

Армейский закал, вкуче с обретенной «идеальной платформой», сформировал Лёню как человека в весьма высокой степени приспособленного к реальной жизни в условиях любого общества, любого «изма», во все времена. То есть, он обладал тем набором качеств, что обеспечивают человеку успех в обществе в том случае, если он сер и бесталанен, не проявляет интереса к профессиональному росту, но имеет неудержимую и пламенную страсть к халыве. Открывают ему самый оптимальный путь к карьере, к материальному благополучию, положительной репутации в «свете», бишь в той прослойке общества, которая всегда лояльна к любой власти, в состоянии влиять на власть, весьма часто представляет собой саму власть.

Но вначале всё складывалось не лучшим образом. Матушкиных связей в горторге, увы, хватило лишь на должность товароведа по книгам и канцтоварам и на этой «синекуре» обрелся Лёня несколько лет. Отсюда и родилось прозвище «книжник», несколько обидное для Лёни.

Должностенка эта не давала ни больших доходов, ни перспектив серьёзного роста, и Лёню порой посещала мысль либо перебраться по специальности в областной центр, либо вообще уйти из торговли. Но погуляв пару лет, женился на молоденькой бухгалтерше. Взял её с ребёночком.

Такие надёжней, тише. И «налево» не ходят. И отец подсутился, обеспечил молодожёнов небольшим домиком из силикатного кирпича.

Батя у него, чтоб там ни болтали завистники, умнейший мужик. Тому были весьма серьёзные свидетельства. Дом их был, что называется, «полная чаша», благодаря, прежде всего, отцу. Хотя и матушка тоже несла едва ли не каждый день с работы — полной сумкой. Несколько раз батя уходил от верной «посадки», и потому, наверно, так и не стал партийным. В перестройку лихо «раскрутился», в значительной мере, конечно, с помощью Лёни. Когда стал немощен, сдал сыну весьма прибыльное дело и коттеджик в два этажа, на десяток комнат, с бассейном и гаражом на две машины. Именно от него унаследовал Лёня так импонирующее ему пристрастие к «оригинальным» двусловиям типа «доски-моски», «банкистлянки». И Лёня почитал сие пристрастие как проявление «недюжинного» ума, «светскости». К тому же немало его коллег-бизнесменов, очевидно, разделяли его точку зрения, поскольку в их речи также частенько проскакивали такие же «доски-моски», «жакузи-жалюзи».

Появилась вакансия на базе хозяйств и стройматериалов, и Лёня перебрался, наконец, на «кормовую» должность. Но в этом была и «ложка дёгтя»: эти самые «книжки-миги» вошли в моду, стали ходовым товаром, и в горторге подыскали более «достойного» кандидата на нагретое Лёней место.

Но не занимать Леониду Шарову упорства и целеустремлённости! В ходе очередной ревизии, проведённой на базе, была выявлена большая недостача и масса других нарушений соцзакононости. Кто-то из руководства уволился, кого-то попросили. Лёня был на базе человек относительно новый, в «порочащих связях» с руководством не замечен. Охотников возглавить сие учреждение, находящееся «под прицелом» ВХСС, не нашлось, и волею судеб Лёня-книжник стал и. о. зав базой.

Два года Лёня «тянул ляжку» и. о. Приводил дела в порядок, списывал несуществующую в наличии «товарную массу», проводил «чистку рядов». Нет, он не стремился искоренить воровство. По его убеждению, воруют все. Но кто-то — «умеет», а кто-то — «хапает».

Тяжкое было время. Жил едва ли не на одну зарплату. Но спустя два года результаты его работы признали вполне удовлетворительными, и его утвердили в должности зава без «и. о.» Победа была ознаменована сменой служебного авто с «УАЗа» на «Волгу».

Билет же на эту самую «оперу с басом» ему вручили в качестве презента в областном управлении торговли за кой-какие услуги «нужным людям», кои он осуществил во время своей служебной командировки в областной город.

— Леонид Васильич, да этого баса в Союзе слышат только Москва и Ленинград. Он всё больше по заграницам, по «ла-скалам» да «метрополитенам». Это такая удача! Сходите обязательно!

...Этот же театр, фасад только поновей и поприличней. Такая же толпа молодых бездельников. — Простите, нет ли лишнего билетика?

Тёмно-зелёный «болоньевый» плащик, «газовый» шарфик выбился из-под воротника, чёрные туфельки на невысоком каблучке, чёрные, слегка вьющиеся волосы. Глаза большие, тёмные, цвета спелой сливы, под длинными ресницами, чуть приоткрытый рот...

«К чёрту эту оперу-шмоперу. Кабачок, коньячок, червонец администраторше, трояк коридорной...»

В зале — прилично одетая публика, солидные, степенные товарищи, почти все — средних лет и старше. Дамы в нарядах модных и шикарных, с обилием «ювелирки». Лишь в партере, в средних рядах, две стайки школьников и немного студентов. Публика занимает места, вот-вот начнётся представление. Где-то четверть всех мест не занята. А на театральной площади — толпа жаждущих лишнего билетика.

В ложу, где восседает Леонид Васильич, входит пожилой, лысеющий мужчина с дамой средних лет. Ба! «Большой босс»! Начальник областного управления торговли с супругой! Лёня слегка приподнялся, замер в почтительной позе. «Босс» приветственно кивнул несколько раз, занял с супругой места в переднем ряду ложи. Лёня оглядел своих соседей. Высокий, статный пожилой мужчина с жилистой шеей — начальник планового отдела горпромторга! Полненький кругленький джентльмен — директор горпищеторга! Начальствующее лицо над большей частью кафе, столовых, ресторанов в областном центре... А дальше — начальник отдела кадров облуправления торговли с супругой, директор ОРСа лесокombината...

Перевёл взгляд в ложи по другую сторону зала — начальник облуправления автотранспорта с супругой, директор мебельной фабрики с супругой... С его места видны первые ряды партера. Директор плодоовощной базы, повернув голову назад, разговаривает о чём-то с другим товарищем, из заднего ряда. Ещё одна голова повернулась. Зав. сельхозотделом обкома партии!

Некоторое оживление по рядам, особенно передним, в партере. На обращённых в сторону сцены лицах людей — интерес, волнение. Около десятка мужчин и дам следуют к своим местам в передних рядах партера. Кто-то встаёт с мест, раскланиваются. Подошедшие жёсткими приветствуют всех, просят не беспокоиться, не подниматься. Второй секретарь обкома партии, председатель горисполкома, председатель областного комитета народного контроля... Первые лица города и области! Да здесь почти весь областной партхозактив! Хозяева города и области, большие люди. Хозяева жизни! И он — среди них. И надо полагать, один из них?!

Ощущение тоски по потерянному вечеру, предвкушение скучного времяпрепровождения на «культурном мероприятии» враз сменилось чувством гордости за самого себя, за своё место в жизни, вызванным осознанием значимости происходящего. Он — не один из толпы. Он — из избранных! Он, Леонид Шаров, принят в круг больших людей, вершащих судьбы миллионов, в круг избранных!

Осознание «избранности», приобщённости к кругу сильных мира сего, хотя бы в масштабах

области, утвердилось в нём всерьёз и надолго. Нет, и раньше он почитал себя человеком весьма влиятельным, а, следовательно, полезным и неглупым. В конце концов, сколько разного рода услуг он сделал в своём городе большим людям, и как благодарны были они ему. Но сейчас это было, словами партийного поэта, так «весомо, грубо, зримо».

А опера... он толком и не помнит, что там было на сцене. Менялись декорации, какая-то баба вопила, стоя на стене.

О дайте, дайте мне свободу,

Я свой позор сумею искупить, —

вопил бас.

Занавес опущен, публика чинно, неспешно покидает театр. Перед ступеньками театральной площади — две «Чайки». На театральной площади, рядками справа и слева — десятка три вороних «волжанок». Чуть дальше, на стоянке такси — служебные «Волги», «УАЗы». К гостинице его доставил хороший знакомый, начальник «военторга», на служебном УАЗе.

По сцене прыгают под музыку молодые девки. Поодиночке, парами-тройками, кагалом душ в десять-пятнадцать. Есть и молодые парни, чтоб девок подкинуть там, поддержать. Ничё бабёнки, в теле. Но если честно, в стриптиз-баре «Лотос» бабца круче.

Тот же зал, публика такая же солидная, состоятельная. Избранная публика. И верный признак этой избранности — немалое число свободных мест и толпа простонародья на театральной площади. Билетик-то не всякому фраеру по карману. И серьёзные люди, надо думать, не все и пришли на этот балет. Ну, взял человек билет. На всякий случай. Но могли и дела не позволить прийти, мог и подыскать расслабуху попримичней. У него вон второй билет в кармане.

В памяти всплыло лицо черноволосой в куртке с капюшоном. И тут же — та девчушка, из восьмидесятых, с глазами-сливами. Как похожи...

Сколько с тех пор воды утекло, как всё переменилось... Кстати, на рубеже восьмидесятых-девяностых несколько пересмотрел он свою точку зрения на культуру, на книги-миги. В течение нескольких лет так, между делом, занимался оптовой торговлей кой-какими книжками да аудио и видеокассетами с записями голливудских боевиков, телесериалов, блатного песняка. Убедился, что книжки бывают и интересными, и полезными. Вроде «Эммануэль», или там «Кама-сутра». Больших денег на них не сделал, но затраты — мизер, а выхлоп — процентов триста.

Перемены, перемены... Да, в общем то, скорей, всё к лучшему. Если раньше он был где-то во второй сотне в ряду персон по влиянию и авторитету в городе, то сейчас — явно в первой. К его капиталам ещё бы шматок власти — и в первой десятке верняком. Лёня косил глазом на соседа-чиновника. Тот в слегка расслабленной позе, склонив голову набок, уставился на сцену. Изредка кивал головой супруге, что-то нашёптывающей ему.

А что? Бабки есть. Отстегнуть на это дело штук тридцать-сорок баксов, пробить должностёнку в районной администрации. Ну, там, зам председателя какого-нибудь комитета или комиссии. А ещё лучше—председателя комитета по управлению муниципальным имуществом. Для почина. Окупится. Власть—тема доходная. И есть шансы-мансы так взлететь, что в этот сарай можно и не ходить вообще. Надо тебе поглядеть этот самый балет-шмалет—да выпиши его. Пусть доставят на дом. Пусть девки попляшут тебе одному, или там со своими. Без всякой публики-шмублики, даже вот такой, избранной.

Антракт. Опущен занавес, включён свет. Лёня вгляделся в передние ряды партера. Группа солидных, прилично одетых мужчин с дамами разговаривают друг с другом, неспешно покидая зал. Рослый, стройный мужчина обернулся к собеседнику. Знакомое лицо! Зам мэра. В сравнительно недавние времена—член бюро обкома комсомола. Рядом с ним—сам вице-губернатор. А был кем? Механиком автобазы управления торговли. Считай, из простых. Как взлетел человек! Какую карьеру сделал!

Лёня поднялся с места, направился к выходу из ложи. Где театральный буфет—забыл, да и не помнил. Но были кой-где указатели «бар» со стрелкой.

Солидные господа, дамы в шикарных нарядах, непременно декольте, и частенько—с брюликами. Но, в основном, помоложе, чем двадцать лет-то назад. Директора фирм, владельцы магазинов, казино, а так же люди весьма неопределённого рода занятий, но богатые, влиятельные, уважаемые, из тех, что именуются «деловыми людьми». Немало разного рода начальников, есть и военные, и милицейские чины, кой-кто в форме. Большие люди! Хозяева жизни! Есть и знакомые. Кому-то солидно кивнёт, с кем-то поздоровается.

Бар. Довольно большой. Места за столиками и у стойки почти все заняты. Витрина и горки пестры от товара: вина, сигаретки-конфетки, коньячок-кофеёк, сыр-мыр... Цены—вдвое круче, чем в магазине. Народ пьёт, в основном, шампанское или красное вино. Водки нет, пива не пьют. Пиво пьют на футболе, а в театре—шампанское. —Василич!

Кто-то тронул за локоть. Обернулся. Моложавый, чуть полноватый мужчина. На круглом загорелом лице—улыбочка. Рядом с ним—молодая дама неопределённого возраста в шикарном платье и молоденькая девушка в светлом брючном костюмчике. Устроились вокруг высокого столика, на котором стоят бутылка шампанского, бокалы, блюдо с эклерами. Толик-«штопор» с семейством, из деловых. Одет в тёмно-фиолетовый костюмчик-тройку, при галстукке. Из-под воротника на брюшко и вверх, в нагрудный карман, вьётся золотая цепочка.

—Здорово. Подтягивайся к нам. Лерк, сбегай за бокальчиком.

Добавлять после пива и водки этой шипучки не хотелось, но шнырять в антракте в одиночку как-то несолидно. А отказываться от компании со Штопором нежелательно. С такими полезно или

не иметь никаких отношений, или иметь самые дружественные. Волчара ещё тот. Вся область знает, что у него две судимости, и обе в силе, а по документам—чист. Умеет человек!

Выцедили по бокалу, слегка потрепались. «Как Вам нравится?», «Какая у Вас дочка!» То да сё. Толик хлопнул его по плечу.

—Марина, я потрещу с человеком. Об деле. Оставайтесь, не скучайте. Пройдёмся, Василич.

Вышли в длинный коридор, направились в курилку.

—Замотала бабы. Вот какого хрена я тут торчу? Мне, Василич, нужна эта бодяга?

—Да тебе видней.

—Видней... С горы в жопу,—Штопор выругался вполголоса—Тебе что, ты билеты у Линялого на халяву урвал. А я—пять штук деревянными... Говорю своей: на хрена тебе этот балет? Ты в нём не рубишь. А билеты—двести баксов! Она мне: Лерку надо замуж устраивать. Затянем—по рукам девка пойдёт. Тебе, говорит, это надо?

Зашли в курилку. Лёня вынул из кармана пачку «парламента», закурили. Толик продолжил излияния:

—Я ей говорю: если она шлюха—по рукам один хрен пойдёт. Она мне: нет, ты не понимаешь, ну, с понтом, не врубаешься. Я ей: чё я не врубаюсь? Она: надо девочку показать в этом... в обществе. С понтом, есть такой товар. Что вот её усекут, а там, может, какой пентюх и клонет. Я ей: билет туда шестьдесят баксов стоит! Один! Она мне: вот раз шестьдесят баксов, то точняк надо идти. Достань, хоть за сто. Ну, на хрена эта опера-балет? Лерку надо замуж толкнуть? Да при моих бабках, при моих подвязках ей косяк женихов и так обеспечен.

Затянулся, замолк ненадолго. Затем продолжил: —Красиво сработал Линялый! Стока крутых мэнов на эту бодягу собрал! Я не в кипиш дело, здесь первый раз. А ты, Василич?

—Бывал раньше,—отозвался Лёня солидно, не без некоторой гордости.

—Пять штук отдать! Эт за то, чтоб глядеть, как бабы в трусках скачут! Мне этих бабок два раза хватит, чтоб в кабак сходить и ещё бабу снять останется!

Раздался первый звонок. Бросили окурки в урну, вышли из курилки.

—Так ухайдакать вечер! И за свои денежки,—разорялся Штопор. Вздохнул сокрушённо, протянул руку Лёне—бывай, Василич. Хоть с тобой побазлал, душу отвёл.

Вторую, заключительную часть представления Лёня отсидел в приподнятом настроении, не вникая в действо, происходящее на сцене. Штопор, конечно, умный мужик, но—не понимает. Быть здесь, в этом обществе, это же как знак свыше. Знак избранности! Вот есть люди, а есть так, людишки. И первые—хозяева жизни, а вторые—лохи, не понимающие жизнь, неудачники, интеллигентшики. Мусор. Рабы. Америкосы правильно говорят: «Если ты такой умный, то почему такой бедный»? Чтобы они лишнего не кипишевали, пишут для них всякие там конституции-маститущии, делают им парламенты, дают поиграть в демократию. Всё

для них! И книжки пишут, и по телику им говорят, какие они хорошие. Ну, не попали они на балет, кишка тонка. Ничё, не сдохнут, по виду поглядят.

Это — для них, для лохов. А он-то знает, что почём. Что важно знать генеральную линию и молотить по жизни в согласии с ней. И он не виноват, что они, лохаря, это не понимают. Не хотят они понять даже такую простую истину, что смысл и цель в жизни каждого разумного человека — быть в числе избранных. Достойных. Если ты из простых — выбейся в люди, войди в круг избранных. Если уже в этом кругу — удержишься и добейся большего. Будь всегда, так сказать, на гребне волны! Вот он это сделать сумел. Он, Леонид Шаров, в прошлом простой парень, советский товаровед, а нынче бизнесмен — пример для многих. Он — из избранных!

В вестибюле гостиницы, проходя мимо бара, замедлил шаги. Не удержался, свернул в бар. Устойки, осмотрев весьма богатую «панораму» спиртного, попросил бутылку сравнительно недорогого

греческого коньяка. Он, конечно, не очень чтобы, но есть гарантия, что это не самогон, заправленный жжёным сахаром

Поднялся в номер, бутылку поставил на стол. Вернулся в прихожую, скинул плащ-пальто, повесил на вешалку. Закрыл на ключ дверь в номер, оставив его в замке. Достал из мини-бара большой бокал и плитку шоколада, открыл бутылку. Налил бокал до половины, на секунды три-четыре призадумался. Доливать не стал, бутылку поставил в мини-бар.

Прошёл в прихожую, остановился перед зеркалом. Из зеркала на Лёню смотрел солидный, несколько располневший джентльмен, пожилой, но ещё не старый. Скромные проплешины на висках, лёгкая, благородная седина, серые, широко, расставленные чуть раскосые глаза, полные щёки и чуть припухлые губы, растянутые в улыбке.

Приподнял бокал, подмигнул «джентльмену», чокнулся, поднес бокал к зеркалу. Выпил бокал до дна, залпом, опрокинул в рот кусочек шоколада.

Всё у нас получится!

ДиН память

Ольга Горпенко

Через миллионы светолет

Кольцо

Замкните времени кольцо
От первой встречи до последней.
Пусть повторяется крыльцо
И холод сумерек в передней,
Пусть повторится звук шагов,
И цвет волос, и плеч сутулость,
И вот уже из берегов
Выходит память. И — вернулось:
Вернулись фразы и глаза,
И, словно не по нашей воле —
Благословенная гроза
Под вечер, средь ржаного поля!
Бежать с беспечностью глупца,
Лететь качающимся чёлном
Вдоль неизбежного кольца
Нам — обручённым, обречённым...
Прозрачность леса и ручья,
Твои горячие рамена,
И оборвётся жизнь моя.
Ещё за вечность до измены...
Запечатлеет небо нас,
Освободит забвенью плечи,
И мы родимся в сотый раз,
Ещё не ведая о встрече...

Звёзды нас чаруют не напрасно
Через миллионы светолет,
Умирают глупо, но прекрасно
Бабочки, летящие на свет.

С детства нам сияли идеалы,
В темноте указывая путь,
Жизни слишком мало, слишком мало,
Чтобы к ним приблизиться чуть-чуть.

Но мечту не сделаем мы пылью,
Разочарованья обойдём,
Мы с улыбкой складываем крылья,
Насмерть опалённые огнём.

На досаду лени безмятежной
Снова кто-то вырвется из тьмы,
Мы погибли с вечною надеждой,
Будьте вы счастливее, чем мы.

Звёзды нас чаруют не напрасно
Через миллионы светолет,
Умирают глупо, но прекрасно
Бабочки, летящие на свет.



Зинаида Кузнецова

РОЗЫ И МИМОЗЫ

87

Зинаида Кузнецова
Розы и мимозы

Приём по личным вопросам

Было раннее утро. Солнце только-только проснулось и нехотя поднималось из-за верхушек леса, окрашивая край неба в золотой и розовый цвет. Трава блестела от росы, лёгкий тёплый ветерок шевелил нежно-зелёные листочки на деревьях. Пахло укропом и мятой.

Антонина с удовольствием оглядела ровные, ухоженные грядки. Глаз радовали аккуратные рядки лука, чеснока, свёклы, морковки. По периметру огорода зацветала ранняя клубника, скоро появятся первые, самые вкусные ягоды. Яблони уже отцвели и были густо усеяны мелкими зелёными яблочками.

Она пошла по бетонной дорожке вглубь огорода, где находился курятник — собрать яички, а то стоит только помешкать — всё, куры сами поклюют... Или, не дай Бог, хорёк заберётся! В прошлом году завёлся, всех кур передушил. Она в последнее время не раз замечала то изрытую землю, то потоптанную рассаду, то ещё какие-то непонятки, видные только её глазу... Яйца, восемь штук, были целы. Она собрала их в подол передника, открыла дверцу курятника — пусть курочки побегают по вольеру, засиделись, небось, за ночь-то... Петух обрадовано захлопал крыльями, голосисто закричал своё «Ку-ка-ре-ку!», куры закудахтали, стали рыться в траве в поисках корма...

Выходя из вольера, Антонина споткнулась о лежащую пустую бутылку из-под водки, удивилась: откуда здесь она? Впрочем, она не особенно и удивилась, потому что в последнее время частенько находила в огороде или у крыльца пустые бутылки, иногда недопитые. Зять Вадик не особенно увлекался спиртным — выпьет рюмку-другую, когда компания молодёжи соберётся на день рождения или там после бани, а так — нет, никогда... Тимка, сын, тоже не пьёт, молодой ещё, семнадцать всего. Она на всякий случай спрашивала и того и другого — они и сами удивляются: откуда? Ну, вообще-то, кругом алкашни полно, выпил да и выбросил куда попало, всё может быть...

Дверь в подвал под домом была открыта, опять Тимха забыл закрыть, ну я ему покажу! Она спустилась на несколько ступенек вниз — в подвале горел свет. Ах ты, поросёнок, это сколько же счётчик накрутил!

— Тимка, Тима, — она постучала в окно Тимкиной комнаты, — ну-ка, вставай!

— Ты чего, мам? — заспанный сын выглянул в окно, — Рань такая! Я спать хочу.

— Выспишься, успеешь! Ты чего свет-то в подвале не погасил? С вечера горит! Сколько раз говоришь! — завелась мать.

— Да я туда и не заходил, в твой подвал! Сама, небось, забыла.

— Ага, не заходил, полночи не могла уснуть, телефон всё тренькал, никак не наговоришься со своей кралей.

— Какая краля! Не звонил я никому и в подвале не был! — Тимка перелез через подоконник и направился к подвалу.

В подвале, в укромном уголке, у него была небольшая мастерская: столик, верстак, ящик с инструментами, старое кресло. На столе — обмотанный синей изолентой телефон, который он подключил параллельно к городскому.

Сейчас на столике стояла недопитая бутылка, куски колбасы, окурки, смятая пачка сигарет...

Тимофей с отвращением смотрел на всё это — ну, совсем обнаглели алкаши, уже в подвал полезли! Да ещё и телефоном пользуются! Надо сделать новый замок, покрепче, а то ещё пожар устроят в один прекрасный день. А собака! Хороша, нечего сказать — чужой лезет, а она хоть бы тьякнула!

Антонина недоверчиво смотрела на сына — может, всё-таки это он... Она тут как-то картинку нашла — одна бесстыднее другой, а то на стене плакат с голой девицей вдруг появился... Дело молодое... у подростков повышенный интерес появляется ко всему этому... Тимка открещивался: ничего не знаю, картинки не мои... Может, зять? Он любит всякие шуточки, «приколы» по-ихнему, по-молодёжному...

Вечером Тимка и Вадим, взяв в кладовке мешок с пустыми бутылками, пошли в подвал. Надо поймав этого бомжару, или кого там ещё, и проучить, как следует. Они стали расставлять бутылки на ступеньках. Сверху, на трёх ступеньках бутылки поставили стоймя, на следующие три — уложили рядком, потом опять стоймя. По их расчётам выходило, что бомж будет спускаться в подвал, заденет бутылки, они собьют следующие, и так далее. По крайней мере, грохоту будет много, и они, даже если будут спать, услышат.

Среди ночи из подвала послышался звон разбитых бутылок, чей-то вскрик, и парни, выпрыгнув из окна Тимкиной комнаты, устремились к входу в подвал. Там слышалась возня, звук разбиваемых бутылок, сопение.

— Давай прикроем дверь, — прошептал Вадим, — сейчас он начнёт подниматься, и я ему дверью по башке врежу, надо его маленько оглушить, а то неизвестно, может, у него нож или железка какая...

Сопение и приглушённое бормотание послышалось у самой двери, и Вадим с силой толкнул дверь от себя. Раздался крик, грохот, топот... Парни

кинулись в подвал, но Тимка поскользнулся на разбросанных в разные стороны бутылках, Вадик полетел через него. . . Когда они поднялись на ноги и включили свет, в подвале уже никого не было. Они обшарили все уголки и закоулки—никого. И только когда увидели приоткрытую дверь, ведущую из подвала в прихожую дома, поняли, что незваный гость убежал через неё и выскочил на улицу.

Антонина решила сходить в милицию, написать заявление. В милиции заявление не приняли, сонный дежурный на её опасения, как бы чего не случилось, ответил: вот когда случится, тогда и посмотрим. Она пошла в администрацию района, там посоветовали ей обратиться в милицию.

После того случая долго ничего подобного не происходило. Всё было спокойно. Напугали гада, смеялись парни, теперь не сунется. Однако, спустя некоторое время, опять стали появляться следы присутствия кого-то постороннего, но захватить его врасплох не удавалось. Замок на двери в подвал заменили, телефон по ночам не «тренькал», но то на куче опилок, в конце огорода, появлялся отпечаток лежащего тела, то калитка оказывалась открытой, то все грядки были истоптаны. . . Как-то утром выйдя во двор, Антонина увидела, что их собака лежит, вытянувшись посреди двора, как неживая. Рядом валялся кусок мяса, неизвестно, откуда взявшийся. Собака не подавала признаков жизни целый день, хотя по поднимавшимся бокам было видно, что она дышит. Вадим привёз ветеринара, и тот сказал, что собака, видно, чем-то отравилась. Потом ничего, ожила, но долго была ещё вялая, ничего не ела. . . Иногда ночью Антонине казалось, что из подвала слышна музыка, но, может быть, это ей просто чудилось со страху. Сын с зятем неоднократно спускались в подвал, но никого там не обнаруживали.

— Что делать, — жаловалась она соседкам, — ума не приложу. Боюсь вечером на огород выйти, а уж в подвал спуститься — страх! В милицию ходила, да что толку! Пока не убьют кого-нибудь — не пошевелятся.

— Тебе надо к нашему депутату сходить, к Серёжке Котовасину, — посоветовала соседка.

— Да чем он-то поможет? — покачала головой Антонина.

— Ты что! Он сейчас в такой силе, у него, знаешь, какой авторитет! Мать говорит, что даже домой звонят с разными просьбами. Уж на милицию-то управу найдёт!

Сергей Котовасин был их сосед. В детстве был мальчишка как мальчишка, в школе не отличался ни особой успеваемостью, ни поведением, а после армии повзрослел, резко изменился, стал солидным, активным, и скоро сыскал себе репутацию борца за правду. Пошёл в политику, выдвинулся кандидатом в депутаты районного совета. Перед выборами весь посёлок был увешан плакатами с его улыбающейся физиономией. Несмотря на некоторую загадочность его предвыборного слогана: «Я дам вам то, чего у вас нет!», — электорат был настроен к нему положительно — свой же парень, местный — и результат выборов ожидался хорошим. Так оно и случилось, хотя некоторые мелкие

неприятности имели место: чья-то злая рука вывела чёрным фломастером на плакате, прямо через всё лицо: «Кот Васька слушает да ест», или «Кот в мешке», а на побеленной стене общественного туалета крупными буквами было выведено: «У тебя затруднения? Котовасин поможет!»

Может, и вправду обратиться к Серёжке, думала Антонина. Люди о нём хорошо отзываются, говорят, внимательный, уважительный. . . Схожу, наверно, пожалуюсь на милицию, пусть разберётся. . . Что это такое, никаких мер не хотят принимать. . . — Да я, Егоровна, его сама почти не вижу, — вздохнула мать Сергея. — Приезжает поздно, уезжает рано. Иногда баньку попросит истопить, так уж пораньше приедет, а так. . . Ты б лучше сходила в райсовет, да записалась к нему на приём.

Посочувствовав соседке, Антонина отправилась домой. Да, нелегко сейчас людям. Особенно молодым. Вот и Серёжка — с такой работой и жениться некогда. Он после армии на её Танюшку всё заглядывался, да ещё как заглядывался, а она-то на него не очень. . . У неё Вадик — свет в окошке. Какие парни ухаживали, а она — ноль внимания, ждала и дождалась своего Вадика из армии. Теперь живут душа в душу. Антонина зятем довольна. А Серёга так вот пока и один. . . На свадьбе Таниной напился, плакал на плече у Антонины: «Тётя Тоня, ну, зачем она за него замуж выходит? Я ж её люблю. . .». «Ничего, ничего, Серёжа, — уговаривала Антонина парня, — пусть живут, а ты ещё встретишь свою любовь, ещё лучше Тани найдёшь». Парень ей нравился, но раз дочка выбрала другого, что ж тут говорить. . .

Приём по личным вопросам Котовасин проводил один раз в месяц. Антонина Егоровна записалась по телефону и в назначенный день отправилась в районный совет. Народу возле кабинета депутата собралось человек тридцать, и Егоровна порадовалась — как уважают-то Серёжку, вон сколько людей от него помощи ждут. . . Однако, на приём ей попасть так и не удалось — Котовасина срочно куда-то вызвали, и он, извинившись перед гражданами, уехал.

Как-то вечером, увидев подъехавшую к дому Котовасиных иномарку, она решила сходить, поговорить с Сергеем просто, по-соседски.

— В бане он, — мать Серёжки собирала на стол, — попросил баньку истопить, а так бы, наверно, и не приехал. В отпуск собирается, в Черногорию какую-то. . .

Поговорив с соседкой о том, о сём, Антонина, вздохнув, отправилась домой — Серёжка любил попариться, навряд ли она его дождётся.

Тут начались осенние заготовки: соленья, варенья, уборка картошки — дня не хватает на всё. В хлопотах она совсем позабыла про все эти неприятности. Да и незваные гости не появлялись больше. Ну и ладно.

Отцвело и отзвенело «бабье лето». По утрам трава была белая от росы, земля становилась всё холоднее, близилась заморозки. Огородные хлопоты подходили к концу, осталось убрать ботву, да вскопать грядки. . .

День выдался тёплый, тихий, и люди старались поскорее управиться с делами. На огородах жгли

сухую ботву, дым стелился по земле, в палисадниках полыхали оранжевым цветом ноготки, радовали глаз разноцветные звёздочки астр. На небе разгоралась заря, обещая на завтра погожий день.

Мягко шурша колёсами, проехала белая иномарка, остановилась у калитки Котовасиных—Серёжка приехал. Скоро из трубы баньки, стоящей в конце огорода, появился дымок. «Соскучился, поди, по баньке-то в своих черногориях»,—засмеялась про себя Антонина и невольно вздохнула. Она вот жизнь почти прожила, а дальше своего района никуда ни разу не съездила. То дети маленькие были, то денег вечно не хватало, какие уж тут поездки! А сейчас время другое, вон её Таня с Вадиком—то в Египет, то в Турцию, а в прошлом году даже в Таиланде побывали...

Умаявшись за день, Антонина, едва улеглась на подушку,—сразу провалилась в сон. Она не слышала, как вернулись из кино дочка с зятем, как пришёл Тимка, не слышала рёва мотоциклов, каждую ночь будивших несчастных жителей—местные рокеры выбрали почему-то именно их улицу для проезда на свои тусовки.

Среди ночи она вдруг проснулась, как будто кто её толкнул. Сердце рвано колотилось в груди. Что такое, что её встревожило? В доме было тихо, мерно тикали часы. Включила ночник—два часа ночи. Полежав ещё немного, она успокоилась, мысли стали путаться... она стала засыпать...

Вдруг тонкий звук донёсся до её слуха, как будто где-то лопнула струна. Сон как рукой сняло. Она прислушалась. Музыка? Нет, не музыка. Снова что-то щёлкнуло и задребезжало, и она, наконец, по звуку поняла, что кто-то набирает номер по телефону. Она поднялась, кто это в такую пору звонит? Тимка, наверно, со своей подружкой не наговорились на свидании. Телефон белел на тумбочке в коридоре, трубка лежала на месте, но из телефона раздавалось тихое треньканье. Она пошла в комнату Тимофея, сын спал, тихонько посапывая. Она легонько потормошила его. Он подскочил, глядя на неё невидящими глазами: что, мам? «Тише,—она приложила палец к губам,—мне кажется, в подвале кто-то есть». Разбудив Вадима, Тимка запер дверь, ведущую из прихожей в подвал, и позвонил по мобильному в милицию. «Сейчас подъеду»,—недовольно ответил заспанный голос.

Милиционер, молодой парнишка, не скрывал своего недовольства: «Что тут у вас стряслось?» Ему объяснили и он, сморщившись, как от зубной боли, пошёл вслед за ними к входу в подвал.

Вадик пощёлкал выключателем—свет не горел, хотя Тимка только вчера ввернула новую лампочку. Они осторожно открыли дверь. Было тихо. Пахло землёй, яблоками и свежей капустой, но сквозь этот запах пробивался еле заметно другой, кислотовато-резкий, щекочущий ноздри.

— Кто тут?—громко крикнул Вадим,—Выходи!

В ответ—молчание.

— Тима, сбегай за фонариком,—прошептал Вадим.

Тимка принёс фонарик и, включив его, стал обшаривать стены и углы подвала. Никого не было.

Вдруг на стене, в пятне тусклого света, появилась уродливая тень чьей-то головы—так, попался,

голубь! Но их тут же ждало разочарование: в круге появилось очертание милицейской фуражки и пистолета, ходуном ходившего в вытянутой руке. Тимка направил луч фонарика на милиционера—крупные капли катились по лицу сержанта.

Испуганный страж порядка, решительным движением сдвинув фуражку на затылок, дико закричал:

— Выходи, а то стрелять буду!

Тишина.

Тимка стал медленно продвигаться вдоль стены, света фонариком. Никого. Что за дела? Ведь кто-то же звонил по телефону, вон и трубка валяется на столе. Он уже повернулся, чтобы уйти, но что-то мелькнуло в свете фонаря, и тут же исчезло. С заколотившимся сердцем он направился в закуток за сложенными деревянными щитами, неизвестно зачем лежащими здесь, и луч света выхватил из темноты чьи-то колени, потом сидящую фигуру с низко склонённой головой. «Мёртвый, что ли?»—на голове у Тимофея зашевелились волосы.

— Вадик,—крикнул он,—сюда, скорее!

Прибежали Вадим с милиционером, устались на сидящего человека, полуголого, в одних трусах, в белой «капитанской» фуражке, на голове наушники, от которых тянулся шнур к валявшемуся рядом плееру. В опущенной руке человек держал наполовину опустошённую бутылку, рядом лежала пустая пивная банка. Милиционер пнул человека носком ботинка, тот поднял голову.

— Серёга!—заорал ошеломлённый Вадим,—это ты, что ли? Ты что здесь делаешь?—Он сорвал с головы Котовасина наушники, отшвырнул их в сторону,—Так это из-за тебя тут всех нас колбасит? Ах ты, хорёк, да я тебя сейчас...—он, не сдержавшись, ткнул Серёгу кулаком в лицо.

— Вадик, Вадик, не бей,—лепетал совершенно пьяный Серёга,—я тут просто так, отдыхаю, не бей, Вадик... Тима, скажи ему...

— Ну-ка, вставай,—милиционер пинками поднял его с пола.

— Ты не имеешь права, я депутат,—хорохорился Котовасин.

— Давай, шагай,—милиционер жил в посёлке недавно и Котовасина не знал,—В отделении разберёмся.

— Ты...—Вадим просто кипел от негодования,—ты, блин, зачем сюда залез? Тебе чего здесь надо? У тебя что, своего подвала нет? Убью сейчас, гад!...

— Отпустите вы его ради Бога,—Антонину трясло,—отпустите, пусть домой идёт. Тима, сбегай за тёткой Натальей...

— Никуда я не пойду,—огрызнулся Тимка.—Пусть милиция разбирается.

На улице хлопнула дверца милицейской машины, вызванной по радиации сержантом. Дюжие ребята хмуро смотрели на известного всему району лица.—Брось его, на хрен, связываться с ним—неприятностей не оберёшься,—сказал старший наряда сержанту.

Тот нехотя отпустил Серёгу, мешком свалившегося на землю. Ни на кого не глядя, процедил сквозь зубы:

— Завтра принесите заявление в отделение, — и сел в машину.

Взревел мотор, узик, развернувшись, помчался по улице, разгоняя светом фар темноту.

Заявление Антонина Егоровна писать не стала. Через несколько дней Котовасин пришёл извиняться, принёс коробку конфет и бутылку шампанского. Зачем лазил к ним в подвал — не объяснил, они тоже не стали спрашивать. Конфеты оказались старыми, с вытекшей начинкой, и их выбросили. А шампанское так до сих пор и стоит в буфете — невостребованное.

Возлюби ближнего своего...

Некрасивая всё-таки Виола, думала Таня, глядя с балкона на подружку и своего мужа Бориса, отплясывающих какой-то быстрый танец. Да ещё одеваться совсем не умеет, и за волосами не следит... Муж, почувствовав её взгляд, поднял голову и кисло улыбнулся. Она помахала рукой: ладно, ладно, не злись... Музыка смолкла, и танцующие стали подниматься на балкон, где стояла Таня. Борис подошёл, обнял её за талию, и прошептал: «Больше не проси!» Она укоризненно покачала головой. «Я хочу танцевать только с тобой, почему я должен...» «Тише!» — Таня поднесла палец к губам, к ним подходила Виола.

Таня жалела некрасивую подружку и всюду таскала её за собой. Мало того, на любой вечеринке она заставляла Бориса приглашать Виолу на танец. Муж сопротивлялся, но она стояла на своём: пригласи да пригласи. Он приглашал, но страшно злился — почему он должен танцевать с Виолой, когда он хочет танцевать с ней, Таней? «Ну, как ты не понимаешь! Ей же тоже хочется потанцевать... Ну, что тебе стоит, один разочек всего», — уговаривала Таня, и он сдавался.

Виола часто бывала у них дома, иногда оставалась ночевать, что тоже не нравилось Борису. «Чего она вечно тут ошивается?» «Ну, ей же скучно одной сидеть в общепитии», — оправдывала Таня подружку. «Ей что, делать нечего? Пошла бы на какие-нибудь курсы вязания, там, или кройки и шитья, чем надоедать людям», — ворчал он.

Характер у Виолы был не сахар. Вечно недвольная, хмурая, язвительная. Жила у них подолгу (Таня даже ящик выделила в комод для её вещей), но была всегда как будто чем-то обижена, как будто что-то ей недодали. Таню критиковала абсолютно за всё: не так одевается, не так готовит, не так разговаривает — та только улыбалась в ответ. Ну, не повезло девочке, разве она виновата, что красотой природа обидела. Правда, могла бы и последить за своим внешним видом, а то, как пугало огородное. Ни причёски, ни макияжа. Волосы красит, но в какой-то кирпично-жёлтый цвет, что ей совершенно не идёт. Зачешет их назад, на затылке аптечной резинкой перетянет — вот и вся причёска. Вместо туфель — резиновые какие-то тапочки, или кроссовки... Таня уж и так и эдак старалась ей помочь, и журналы подсовывала, и свои какие-то вещи дарила — не помогает. Конечно, кто же на такую посмотрит! Но, как ни странно, Виола была о себе довольно высокого мнения.

Она жила в общепитии, работала на заводе, в одном цехе с Борисом. Он её недолюбливал и не скрывал этого. Она тоже не питала к нему тёплых чувств, и когда он, у себя дома, вступал в их с Таней разговор, презрительно фыркала. Что бы он ни сказал — она обязательно скажет против. Они постоянно обменивались колкостями. Он терпел ради Тани, но после её ухода у них нередко возникали ссоры.

— Что-то твоей подружки давно не видно? — спросил он как-то.

— Соскучился?

— Да уж... Век бы её не видеть!

— Да ладно тебе! Не до нас Виолке, — засмеялась Таня. — Познакомилась с кем-то, вроде...

— Да ты что! Ну, наконец-то! Может, от нас отстанет. А что за тип?

— Не знаю пока. Она в гости просится, познакомиться хочет...

— Ну, это на твоё усмотрение.

В ближайший выходной Таня приготовила обед, испекла пирог, Борис купил вина. Гости есть гости, да и вдруг у Виолы это серьёзно, может, повезёт, наконец, девочке.

Избранник Виолы им не понравился. Какой-то скользкий, развязный, сам из себя ничего не представляет, а гонору хоть отбавляй. С Виолой разговаривает небрежно, даже как бы и внимание не сильно обращает. Она заискивает перед ним, улыбается, показывая все свои редкие, мелкие зубки... Жалко смотреть! Скорей бы уже ушли. Но гость, как видно, уходит пока не собирався. После выпитого язык у него развязался, он стал рассказывать какие-то пошлые истории, анекдоты, пытался острить. Виола хихикала, Таня с Борисом молча переглядывались...

Он беспрерывно курил. Таня морщилась, она не переносила запах табачного дыма. Потом у него кончились сигареты.

— Сбегай, купи, — небрежно сказал он Виоле. Таня ахнула. Но Виола пошла... Что делается — Виола, и вдруг такое...

Наконец, гости ушли.

— Да, повезло нашей Виоле, ничего не скажешь, — Таня убирала со стола грязную посуду, окурки, пустую пачку из-под сигарет.

— Знаешь, давай лучше не будем их больше приглашать, — Борис обнял жену, потёрся щекой о её волосы, — неприятный тип какой-то... А ты заметила, что у него под пиджаком рубашки нет, только майка-«алкоголичка»? Неужели он ей нравится? — Понимаешь, это у неё первый мужчина, она раньше ни с кем не встречалась...

— В общем, ты как хочешь, а пусть он у нас больше не появляется.

— Перед Виолой неудобно, — неуверенно протянула Таня.

Виола куда-то пропала. Месяца два уже не появлялась — ни одна, ни с ухажёром. Борис иногда встречал её в цехе, но она лишь неприветливо кивала ему. Ну и хорошо, может, не будет надоедать им. Прошёл ещё месяц, и они поняли, что

у Виолы, наверно, всё складывается хорошо, раз не нуждается в них. Ну, и слава Богу.

Однажды, поздно вечером, в дверь позвонили. Таня открыла—и ужаснулась. Перед ней стояла Виола, с огромным фингалом под глазом, с распухшими губами.

— Боже мой! Что это с тобой?—Таня втащила подругу в коридор,—кто тебя так?

Та промычала что-то в ответ. Таня поняла лишь одно слово: Виталик.

Наутро устроила подруге допрос. Оказывается, он бросил её, встречается с другой. Она пыталась удержать его, бегала за ним, как собачонка, ничего не помогло. А тут пришёл пьяный, полез в драку... — Ну и зачем он тебе такой нужен?

— А где я другого возьму,—Виола зашмыгала носом,—как будто мужики на дороге валяются... — Вот тут ты права, мужики на дороге не валяются! Валяются алкаши всякие и подонки! А на этого негодяя надо заявление в милицию написать. — Нет, ты что! Никакого заявления! Может, ещё помиримся...

— Дура ты, дура, Виолка!

Виола всхлипывала, размазывала слёзы.

— Ладно, хватит реветь! Давай-ка, оставайся у нас. Поживи неделю-другую, пока заживёт.

Виола взяла на работе отпуск за свой счёт и поселилась у них. Болячки её давно зажили, но она не торопилась уходить. Борис злился, но что он мог поделать.

— Слушай, три месяца она у нас ошивается. Сколько можно! Надоела до чёртиков, хоть домой не приходи!

— Боренька, потерпи, пожалуйста, она стала немножко успокаиваться, скоро, может, уйдёт. Кстати, меня отправляют в командировку на две недели, вот пусть и живёт, готовит тебе, а то ты сам...

— Справлюсь без неё. Уж пельмени-то смогу сварить. На черта она мне тут нужна!

Не дождавшись возвращения Тани из командировки, Виола собрала вещи и ушла. Надоело, наверно готовить да убирать, подумала Таня, она же не привыкла к этому, питается в столовой. А может, помирилась со своим уголовником. Ну, её дело.

И опять она надолго исчезла.

Перед Новым годом решили поездить по магазинам, купить что-нибудь к празднику. В супермаркете неожиданно встретили Виолу.

— Виола, ты куда пропала? Не звонишь, не ходишь! Ой...—Таня вдруг увидела, что фигура у Виолы заметно округлилась, из-под куртки выпирал довольно большой живот.—Ты... что, беременная?—Виола ничего не ответила.—Вот здорово, Виолка! Поздравляю! А... он... знает?

— Кто?

— Ну, как кто? Папаша ребёнка? Вы помирились, да?

Виола буркнула что-то, Таня поняла, что она не хочет говорить на эту тему. Наверно, не сладилось у них. А как же ребёнок?

— Ты приходи к нам, на Новый год приходи, мы никуда не собираемся, дома будем отмечать.

На Новый год Виола не пришла, а через месяц появилась. Была туча тучей. Борис, увидев её, молча ушёл в спальню. Таня предложила поесть, она резко отказалась: не хочу.

— Ну, что, как ты?—расспрашивала Таня.—Помирилась со своим?

Виола усмехнулась. Таня поняла, что ничего у неё с этим её Виталиком не получилось.

— Ну и что ты теперь думаешь делать?

— Что я могу думать! Хотела аборт... Врач сказал, что поздно, срок большой. Что мне делать!—Её как будто прорвало, в голосе появились истерические нотки.—Как я скажу матери? Та сразу начнёт: кто отец, кто отец... А бабы деревенские—я как представляю...

— Да плюй ты на всех! Что тебе какие-то бабы. Ребёнка воспитаешь, на старости лет опора будет. — Тебе легко говорить,—взъярилась Виола,—у тебя муж есть!

— Ну...—Таню неприятно кольнули её слова. Ну, есть муж, так ведь она его не украла, что же упрекать этим!

— У тебя муж, а ты детей заводить не хочешь,—продолжала Виола.—А мне советуешь. Советчица нашлась!

Татьяна молча проглотила обиду. Да, детей пока у них нет. Но Виоле-то какое дело! Злитесь, грубит, как будто я виновата в её бедах. Но она пересилила себя—подруга расстроена, сама не понимает, что говорит. Надо как-то помочь. Но как?

На следующий день она отправилась в общежитие. Виола встретила её неприветливо, даже враждебно.

— Виола, я придумала, как выйти из положения. Поедешь в ближайший выходной в деревню, к матери.

— Зачем?—Виола неприязненно смотрела на неё,—Чтобы все увидели меня с пузом?

— Поедешь не одна. С Борисом.

Виола резко повернулась к ней, глаза недобро сощурились.

— Ты что, издеваешься?

— Послушай меня. Ты приезжаешь с Борисом, говоришь всем, что вышла замуж, два дня изображаете из себя мужа и жену, а потом...

— А потом что?—Виола всё так же зло смотрела на неё.

— А потом скажешь матери, что развелась...

— Ну-ну... Спасибо, подруга, не ожидала... А он... согласен?

Борис, услышав о предстоящем деле, побагровел, хотел что-то крикнуть, но, видно, горло перехватило от гнева—ничего не сказав, ушёл в спальню, громко хлопнув дверью. Таня пошла за ним. Надо помочь, уговаривала она мужа, ну, дура она, конечно, но кто-то же должен помочь. Тебя ведь никто там не знает, никто же не будет проверять... — Ну, смотри сама, как бы не пожалела потом!—он, отвернувшись, сделал вид, что спит.

В ближайший выходной пара отправилась к матери Виолы. Тане было немножко не по себе, к тому же Виола вела себя как-то странно—как будто Таня была виновата в её бедах. Вернулся Борис злой,

на её расспросы не отвечал, рано ушёл спать. Несколько дней они не разговаривали, дулись друг на друга. Потом помирились, но о поездке той говорить избегали.

Виола не появлялась, что Таню даже обижало: как что — так она тут как тут, а то месяцами не заходит. И на неё, Таню, как будто за что-то злитесь. Странно люди устроены — чем больше для них делаешь, тем больше они тебя не любят...

Ну, не хочет — не надо. Прижмёт — сама заявится. И Виола пришла. Грузная, живот большой, скоро, наверно, рожать... Опять проблема: мать приезжает, как быть? В общежитие её не поведёшь, будет докапываться, где муж, почему с пузом в общежитии живёт... Может, они с матерью у них поживут дня три-четыре?

— Ну, конечно! Борь, пусть Виола с матерью у нас поживут несколько дней.

— Что-о-о?! — заорал, как сумасшедший, Борис. — Да когда же это кончится! Какая мать, чёрт возьми!

— Ну, как какая — тёща твоя, — попыталась было пошутить Таня, но, взглянув в его побелевшие от гнева глаза, она осеклась. Ей показалось, что сейчас он её ударит. Что это с ним? Конечно, ей тоже уже надоело заниматься чужими проблемами, но куда деваться... — Боренька, ну, последний раз, клянусь, больше не буду с ней возиться...

Приехала мать. Виола прямо с вокзала привезла её к ним домой. Мать охала и ахала, разглядывая квартиру, радовалась за дочку, она не сомневалась, конечно, что это квартира дочери и её мужа. Таня не знала, как себя вести, даже растерялась. Было уже довольно поздно. Мать зевала, сердито поглядывала на Таню. Когда же ты уйдёшь, читалось в её взгляде. Что это за подружка такая, сидит и сидит, ни стыда, ни совести... Виола поманила Таню в коридор.

— Тань, что делать-то? Она же считает...

— Да знаю я, что она считает... Ты что, — она подозрительно посмотрела на Виолу, — ты хочешь сказать, что я... должна уйти?

— Не знаю я...

— Да-а-а... Вот это номер! Я должна уйти из своего дома и оставить тебя со своим мужем? Я оказывается, здесь лишняя? — Таня начала закипать. — Ты сама придумала всё это, тебя никто за язык не тянул! А мне теперь что делать? Пойду, скажу всё, как есть. Раз ты — назад пятки! — разозлилась Виола.

— Ладно, — пересилив себя, сказала Таня. — Оставайтесь. Давай ключ, пойду в твою общагу.

Мать жила у них три дня, и каждый вечер Таня, не заходя домой, шла в общежитие. Внутри всё кипело от злости на себя и на Бориса, хотя Борька-то здесь причём! Правду говорят: не делай добра — не получишь зла. И даже что-то похожее на ревность заползло в её душу, но она отгоняла эти мысли: ревность — к кому? К Виолке? Не смешно!

С мужем после этого отношения стали натянутыми. Таня чувствовала обиду на него, хоть и понимала — он ни в чём не виноват, она сама во всём этом запуталась со своей добротой. Не добротой,

а глупостью, осаживала она себя. Разве можно так унижать мужа!

В феврале Виола родила сына. Таня, забыв обиды, носилась по магазинам, покупала детские вещи, носила передачи в роддом. Она искренне радовалась за подругу, хотя на душе скребло: вот Виола родила ребёнка, даже без мужа, а она...

Забирали Виолу с ребёнком они с Борисом. Таня предложила первое время пожить у них, но та категорически отказалась и даже разозлилась, когда Таня стала настаивать на этом. И ребёнка не показала — холодно на улице, простудится.

Когда Таня навещала её в общежитии, она встречала её враждебно, ссылалась на занятость. Ну, что ж, Таня её понимала, хотя ей очень хотелось поиграть с ребёнком, поддержать его на руках... Она бы тоже так тряслась над своим... Она приходила домой и, закрывшись в ванной, плакала. Ну почему, почему у неё нет ребёнка?... Порой появлялось чувство неприязни к мужу. Они совсем отделились друг от друга в последнее время. Он целыми вечерами сидел за компьютером, по выходным уходил в гараж; они почти не разговаривали.

Время шло, Никите было уже семь месяцев, а Таня его ещё ни разу не видела. Кто-то сказал Виоле, что ребёнка до года нельзя никому показывать. Таню всегда поражала людская глупость. У неё на работе молодые, современные девчонки, все с образованием, а верят во всякую чепуху, послушаешь — уши вянут. «Ты бы сфотографировала его, хоть на фотокарточке ребёнка посмотрю», — сказала она Виоле. «Ты что, — возмутилась та, — нельзя ребёнка до года фотографировать!» «Какую ерунду ты говоришь!» «Роди своего, тогда делай что хочешь», — отрезала Виола.

Однажды вечером, возвращаясь с работы, Таня из окна автобуса увидела машину мужа, стоящую у общежития. Что это он там делает? Она пришла домой, приготовила ужин — его всё не было. Наконец, часов в девять, хлопнула дверца, она по звуку поняла, что это муж. Она всегда безошибочно узнавала, когда он приезжал, хотя во дворе парковались десятки машин.

— Что-то ты долго сегодня? — спросила она, подавая ужин.

— Виола попросила отвезти в больницу.

— А что такое, ребёнок заболел? — встревожилась она.

— Да нет, на медосмотр, они каждый месяц должны ходить к врачу.

— Ну, ты хоть видел Никитку?

— Нет, — коротко ответил Борис.

— Что она с ума сходит — какой-то дурак выдумал, что ребёнка нельзя до года показывать, она и верит...

— Ну, это её дело. — Борис включил компьютер.

— Ты меня сегодня рано не жди, — сказал он как-то утром. — Виола звонила, просила в больницу отвезти.

— Хорошо, — с обидой сказала она. Что она такого сделала, что Виолка на неё дует, не приходит, не звонит? — Ты бы привёз её к нам, Никите уже год исполнился. Я ему костюмчик купила — прелесть.

Он промолчал.
— Борь, надо по магазинам поездить, продуктов закупить, а то холодильник пустой.
— Давай в выходной.
— Давай.

— Чуть не забыл,— они проезжали мимо магазина компьютерной техники,— мне надо одну штуку купить. Посиди пока.

Таня смотрела, как он, широко шагая, идёт к магазину—высокий, стройный, в длинном пальто, с развевающимся шарфом, и вдруг почувствовала прилив такой любви к нему, что чуть не задохнулась. Как-то не так у них всё в последнее время, устали, что ли, друг от друга... Ей тоже надо сдерживать нервы, а то чуть что—сразу обиды, слёзы. Надоест кому угодно... Она включила радио «Шансон». «Париж, Париж, ты причинил мне эту боль, от счастья нашего потеряны ключи...»,— пел Стас Михайлов. Она сделала звук погромче, Михайлов ей очень нравился. Она отстегнула ремень безопасности, и, повернувшись, стала поправлять пакеты на заднем сиденье. Из пакета высыпались мандарины, упали на пол, она, перегнувшись через сиденье, стала собирать их. Под сиденьем лежала какая-то бумажка. «Свидетельство о рождении»,— машинально прочла она. Ой, наверно, Виола выронила, когда возила ребёнка к врачу. Точно, Петров Никита Борисович, дата рождения... Нет, это чьё-то чужое. Фамилия Виолы—Пищи... ко... Что? Петров? Никита Борисович?

Внутри всё похолодело. «Петров, Никита Борисович, Петров, Никита Борисович»,— стучало в висках.

«Родители,— читала она,— мать: Пищикова Виола Александровна, отец—Петров Борис Алексеевич».

Из магазина вышел Борис. Она заметалась, хотела спрятать свидетельство, потом положила его на приборную панель, перед баранкой—не специально, автоматически. Он сел в машину, включил зажигание и увидел бумажку: «Что это?» Она молчала. Он развернул корочки.

— Ну, вот... теперь ты всё знаешь...— сказал он деревянным голосом.— Я давно хотел тебе сказать... Никита—мой сын.

— Но ведь ты... Она...

— Так полюбилось... Таня... Прости.

«Ну, вот и всё, ну, вот и всё, я ухожу из твоей жизни...»,— печалился Стас Михайлов. На улице мела позёмка. В салоне вкусно пахло мандаринами.

Весёлая грусть

У Астаховых дом—не дом, а общежитие. Всегда там толпится уйма народу: родственники со всех концов страны, друзья и знакомые, а то и вовсе незнакомые, приехавшие по записочке тех же родственников и друзей. Они всех принимали. Ну и что с того, что приходилось их всех кормить-поить, а после стирать горы белья—зато сколько впечатлений! Они жили всё-таки достаточно уединённо, хоть до Москвы и рукой подать, да ведь каждый день туда не наездишься. Когда

они жили на Севере, мечтали: вот построим дом, рядом с Москвой, будем ездить в театры, на выставки, на концерты. В результате, за десять лет два раза съездили в цирк и один раз на концерт хора Турецкого. Правда, они слышали, что и сами москвичи не так уж часто балуют себя походами в театры и музеи, а многие из них даже и не знают, где эти очаги культуры находятся.

Сегодня у них гостили две дочкиных подружки, Марина и Оля, и тётя Геля из Тюмени.

Девчонки, распаренные после бани, сидели внизу, в столовой, попили пивко и болтали. Юля, хозяйская дочка, смеясь, рассказывала про тётю Гелю, мамину сестру. Лет пять назад они с мужем заехали к Астаховым на пару дней—проездом на курорт. В столице они были впервые. Вечером хозяин покатал их по Москве, и даже завёз в «Макдональдс», где они съели по огромному «бигмаку» с жареной картошкой, запив всё это кока-колой. Ночная Москва совершенно ошеломила их своей красотой. Впечатления были так сильны, что они не спали почти всю ночь. Живут же люди!

Перед отъездом зять попросил купить ему в Москве теннисную ракетку. Его другу привезли из столицы шикарную, импортную. «На улице Профсоюзной,—объяснял зять,—есть магазин, где продаётся спортивный инвентарь. Вы туда съездите, только там, говорят, эти ракетки продаются».

Улица Профсоюзная была широкая, но какая-то несуразная, вся завешанная рекламой; куда ни глянь—киоски, павильоны, лотки, входы в магазины. Шумная, многолюдная, заполненная машинами всевозможных марок, движущихся сплошным потоком, она им не понравилась. Они долго ходили от одного магазина к другому, пытались найти тот, где торгуют спортивным инвентарём. Но всюду висели вывески: «Обои». Куда бы они ни пошли, везде—«Обои», «Обои»... Они поворачивали в какие-то переулки, и снова наткнулись на «Обои» и никак не могли выбраться с этой самой Профсоюзной улицы. Им стало казаться, что других улиц в Москве вообще не существует—одна сплошная Профсоюзная.

Уставшие, голодные, они зашли в какое-то уличное кафе, был, как видно, обеденный перерыв в разных офисах, народу везде—не протолкнуться. Выстояв огромную очередь, они долго изучали меню с невероятными ценами, в конце концов, взяли по порции привычных пельменей и чай. Всё это вылилось в такую сумму, что решили больше в такие заведения не ходить. Потерпят до ужина.

Нашли, наконец, магазин спортивного инвентаря. Внутри помещение походило на какой-то дворец: всё сияло и блестело зеркалами, на стенах висели плакаты с загорелыми красотками и спортивными молодыми людьми, которых в обычной жизни сибирякам как-то не доводилось встречать. Играла музыка. Толпились покупатели. Продавец, молодой парень, долго не мог или не хотел понять, что им нужно. Муж, обычно довольно самоуверенный мужик, стушевался, разглядывая ценники, тихо матерился. Тётя Геля толкала его в бок, косилась на продавца, с пренебрежением и насмешкой наблюдавшего за ними. Помочь им он явно не

торопился—не его покупатель, чего суесться. Ничего не выбрав, расстроенные, уставшие, они ушли из магазина, подавленные всем этим великолепием чужой жизни.

— Ну, как Москва?—поинтересовались хозяева.
— Да что Москва, что Москва!—сердито отвечала тётя Геля.—Одна улица Профсоюзная и ничего больше. Куда ни поверни, везде улица Профсоюзная, да обои.

— Какие обои?—не поняла сестра.

— Да кругом одни вывески: «обои, обои...». Кроме обоев, продавать, что ли, нечего? Сколько же их нужно-то, этих обоев!..—Помолчав, тётя Геля добавила: Я думала: Москва, Москва, а Москва—одна Профсоюзная улица. Целый день по Москве ходили, а, кроме Профсоюзной улицы, ничего не видели. Стоило ли ради этого в Москву ехать...

— С тех пор мы зовём нашу тётушку тётей с улицы Профсоюзной,—смеясь, рассказывала Юля. Девчонки хохотали.

Со второго этажа спустилась тётя Геля, в длинном цветастом халате, на голове—бигуди.

— Чего шумите—ночь на дворе?—Она ложилась спать рано, всё-таки разница во времени между Москвой и Тюменью существенная.

— Тётя Геля, садитесь с нами,—наперебой стали приглашать девчонки,—пивка хотите?

— Нет, девочки, пиво я не пью,—тётя присела к столу.

— Ну, тогда шампанского!

— Шампанского давайте. Так и быть, выпью с вами. Может, Лену позвать?

— Не надо, мама устала за день, пусть спит. Да и шампанское она не пьёт.

Открыли бутылку. Потом вторую. Тётя Геля раскраснелась, помолодела. Вообще-то, имя Геля, а точнее, Энгельсина, ей как-то не подходило. Она была полненькая, курносая, с мелкими кудряшками на голове с весёлыми конопушками на носу. Ей бы лучше подошло имя Маша, или Нюся, или Лиза какая-нибудь. Но родилась она в то время, когда модными были имена Электрификация, Аида, Идея и даже Даздраперма (Да здравствует Первое мая!). У них в семье было четыре дочери, одну звали Олимпиадой, вторую Октябрьной, её вот—Энгельсиной, и лишь младшей, Лене, повезло. Она родилась после войны, когда такие имена уже вышли из моды. Тем не менее, когда отец пошёл записывать её в сельсовет, мать наказала: «Запиши Сталиной. Ста-ли-на—не забудь». Вырвавшись из домашнего плена, отец семейства зашёл в чайную, встретил приятеля, они выпили, как водится, ну и... Забыл, в общем, как надо назвать дочку. Они с секретарём сельсовета перебрали все имена, но он никак не мог вспомнить. Потом ему что-то показалось знакомым в словосочетании «ли» или «ле», и он «вспомнил»: Леной, вроде бы, надо называть. Точно, жена говорила: Елена. Так вот младшей сестре и повезло с именем, чему сёстры в глубине души завидовали.

— Тётя Геля, как Москва вам показалась? Изменилась, правда?—спросила Юля. Тётя приехала

в Москву уже в третий или четвёртый раз и считала себя почти москвичкой. Она уже научилась самостоятельно ездить на метро, и не боялась больше, как она говорила, остаться в этом метро навсегда. Соседка по дому, там, в Тюмени, как-то, собираясь на курорт, и зная, что придётся дня на два задержаться в Москве, спросила Энгельсину Ивановну, не подскажет ли она, куда лучше сходить в эти дни, что посмотреть. Она тут же перечислила места, по её мнению, подходящие для экскурсии, а про себя подумала: «На Профсоюзную улицу, за обоими сходите». Никак не могла она забыть обои и своё разочарование.

Сегодня она целый день провела в столице. Прошла по Красной площади, сфотографировалась там за 100 рублей с негром, покаталась на речном пароходике по Москве-реке—всё ей понравилось! Только вот ноги устали. Надо бы поудобнее обувку купить. Она увидела вывеску «Обувь» и отправилась туда. Долго ходила между стеллажами, любовалась на туфли, удивлялась, как это люди ходят на таких высоких каблуках! Ничего она себе подходящего не увидела—и на кого только шьют эту обувь! Нормальному человеку нечего носить. Надо, наверно, на Черкизовский рынок съездить, там она бывала—ну, о-о-очень понравилось! Такой выбор богатый! Краем глаза она увидела, что есть ещё один зал, там тоже обуви полно. Надо пройти, посмотреть, может, там что-нибудь попроче продают.

— И вот, девочки,—рассказывала тётя,—иду я, значит, в этот самый второй зал. А там дверей нет, только такие огромные проёмы, от пола до потолка. Только я в этот проём, а навстречу мне женщина, чуть мы с ней не столкнулись. Я в сторнку, даю ей дорогу, а она в это время тоже шаг в сторону делает. Вижу, что она мне уступает, ну, ладно, пройду первая. Только я шагнула, она опять вздумала идти. Я мельком-то заметила, что у неё сумка точно такая же, как у меня. Надо же, думаю, где Тюмень, а где Москва, а сумки одинаковые. «Проходите, пожалуйста»,—говорю, и опять подаю назад. Она тоже отступает. Ну, мне это надоело, я—вперёд. Она—опять мне навстречу. Да что ты будешь делать! «Ну что ж это мы с вами никак не разойдёмся?»—говорю. Поднимаю глаза—а женщина симпатичная такая, улыбается... Наверно, не москвичка, думаю. Москвичка бы не улыбнулась... И тут—батюшки-светы! Гляжу—да это же я сама с собой в зеркале разговариваю. Оказывается, это не проёмы вовсе, а зеркала такие огромные! Я бочком, бочком оттуда, боюсь глянуть по сторонам—вдруг кто-то видел... Позади меня охранник стоит и даже не улыбнётся—наверно, насмотрелся на таких, как я...

Девчонки умирали со смеху. Тётя Геля смеялась вместе с ними.

— Не могу просто, как вспомню: «Проходите, пожалуйста! Что-то мы с вами никак не разойдёмся!»—повторяла и повторяла она, вытирая выступившие слёзы.

Девчонки стали рассказывать смешные случаи из своей жизни. Марина в прошлом году ездила к родственникам в Германию. Они жили

в небольшом городке, в уютном домике, оббитом плюшем, окружённом клумбами с цветами, с чисто вымытыми дорожками, с аккуратно подстриженным кустарником вместо забора... Выйдя утром на залитый солнцем двор, Марина увидела соседку — пожилую пару, мужа с женой, — чинно шествующих под ручку. Они приветливо кивнули ей, говоря что-то. Марина, желая сделать им приятное, решила ответить на их родном языке. Немецкий она не знала, в институте изучала английский, но со школы помнила, что «Добрый день!» по-немецки звучит «Гутен таг!». Она, улыбнувшись самой милой из своих улыбок, помахала соседям рукой и громко крикнула: «Хэнде хох!», в тот же самый момент поняв, что сказала, мягко выражаясь, не совсем то... Изумлённые соседи остановились, не зная, что делать: то ли поднимать руки, то ли вызывать полицию...

От смеха уже болели животы. Решили, что пора отправляться спать. Но никак не могли уюмониться, вспоминали то одно, то другое, хохотали до упаду.

«Хорошие девчонки какие, — думала Энгельсина Ивановна, — а все три не замужем. Куда только мужики смотрят! Куда-куда, — одёрнула она сама себя, — кто в бутылку, кто в компьютер этот ихний, провалиться бы ему! Им не до девок. А такие красавицы пропадают!»

— Девчата, что же вы замуж-то не выходите?

— За кого, тётя Геля? — в один голос воскликнули девушки.

— Ну как это за кого? Оля, вот ты работаешь в какой-то фирме, в Москве, неужели у вас там нет женихов? Мужчин, то есть? — спросила тётя.

— Мужчины-то есть, конечно, да ведь они все женатые.

— О-о, с женатыми боже упаси связываться! Это грех. Знаете, как в Писании сказано? «Не пожелай жены ближнего своего...»

— А мужа ближней своей можно пожелать? — засмеялась Марина.

— А чужого мужа — тем более! Это уж смертный грех, этого Бог не простит никогда... На чужом несчастье счастья не построишь... Слушайте, девочки, я тут в метро купила книжку, там сказано, как жениха найти и как разбогатеть. Хотите, принесу?

— Хотим, хотим, несите! — закричали все разом.

— Тема для нас более чем актуальная, — засмеялась Марина. Она уже была замужем, но развелась, одна растила сына, и приходилось ей, конечно же, нелегко. Юля была вся в работе, а Ольгу подруги вообще называли Ассоль — та всё ждала капитана Грэя с алыми парусами, или принца на белом коне, на обычных парней не обращала внимания.

Книжка называлась «Оксюморон. Академия волшебной игры».

— А что значит — оксюморон? — спросила Марина.

— Я читала, но не очень-то поняла. Сейчас... ага, вот: оксюморон — это... Ой, тут мудрёно как-то... В общем, это «о'кей» с юмором пополам... Вроде так, — озадаченно отвечала тётя Геля. — И ещё... это как бы слова с противоположным значением, например, «грустная радость» или «весёлая грусть»...

Полистав книжицу, они решили план поимки олигархов оставить на потом, а сейчас, не откладывая, заняться обеспечением будущего финансового благополучия.

Тётя, поняв, что девчонки не намерены сейчас же приступить к поискам женихов, потеряла интерес и ушла спать.

— «Храните деньги в банках, вернее, в стеклянной банке, — читала Марина, — банки всегда выполняли роль естественного заповедника и места размножения различных популяций денег...»

— Что за бред! — Юля выхватила книжонку у Марины и, пробежав глазами по странице, громко расхохоталась. «...Микроклимат банок, — давясь от смеха, стала читать она, — способствует выделению в деньгах процентов, которые, по сути, являются денежными половыми гормонами, способствуют усиленному размножению и дают многочисленное потомство», — последние слова она читала под истерический смех подруг.

— Дай я! — Ольга, вытирая глаза, потянула книжку из рук Юли, — «...особенно эффективно помещать деньги в банки весной — они воспринимают это как сигнал к нересту, — ха-ха-ха! — и начинают метать икру — прямо в ваш холодильник...». О-о-ой, не могу больше! Но слушайте дальше. «Однако, стоит отметить, что современный модифицированный вариант банок — бутылки, — дают лучшие результаты...».

Далее автор рассказывала, как надо взять бутылку из-под шампанского, желательно, зелёного цвета (цвет доллара), на дно бутылки положить бумажку с запиской, на какие нужды требуются деньги, и опустить туда же крупную купюру. Раз в месяц, на растущей луне, тереть бочок бутылки и приговаривать: «Плодись, сумма, большая и очень большая!», оборачивать бутылку вокруг своей оси, произнося: «Совершаю оборот — прибыль пусть меня найдёт!»

— А что, давайте попробуем, для хохмы, — отсмеявшись, решили подруги.

Поскольку бутылок было всего две, Юля принесла из подвала ещё одну, которую тут же опустошили. Написали каждая своё желание, потёрли бока бутылок, сбегали за деньгами.

— По сколько кладём?

— Давайте по тысяче.

— Ну, что это за деньги! Давайте по две.

— Вы как хотите, а я, наверно, положу тысячу пять, — сказала Юля, зарплата у неё была самая большая из всех.

— Я тоже три положу, — решила Ольга. — Да, вот ещё что пишут, — она продолжала листать книжку, — надо от каждой полученной суммы добавлять в бутылку деньги, даже если эта сумма — сдача в магазине.

— Вообще-то, если серьёзно, то ведь таким образом можно и вправду накопить какую-то сумму, из бутылки же в любой момент не вытащишь, — вздохнула Марина. — Мишку скоро в школу собирать, а на какие шиши?

Они как-то сразу погрустнели, стали собирать свои кошельки, мобильники — пора спать, третий час ночи.

Марина с Ольгой поднялись наверх, а Юля, поколебавшись, добавила в бутылку ещё одну пятитысячную купюру и тоже отправилась спать. Убирать со стола ничего не стали—оставили на завтра.

Проснулись поздно. В открытые окна доносились птички трели, воздух был напоен ароматом цветов, в изобилии растущих на участке. Хорошо всё-таки иметь собственный дом, никаких тебе машин, воздух чистый и свежий, как в раю. Из кухни потянуло запахом блинов. Заскрипели ступени лестницы.

— Красавицы, пора вставать! Завтрак ждёт.

— Идём, мамуль!—Юля соскочила с кровати, стала тормошить подруг. — Вставайте, сударыни, вас ждут великие дела!

В столовой было убрано, вымыто, на столе дымились горячие блины, стояли тарелка с клубничкой, запотевший кувшин с молоком, в хрустальной вазе благоухали пионы.

— Садитесь, ешьте, Геля чуть свет встала, настряпала вам блинов со щавелем. Пробовали когда-нибудь? Очень вкусно! Просто необыкновенно вкусно!

— Ой, и правда вкуснятина! Я такие никогда не ела!—Марина с аппетитом принялась уплетать блины. — Надо у тётки Гели рецепт взять...

— А... где бутылки из-под шампанского?—вдруг спросила Юля.

— Да всё уже на свалке,—сказала мать,—Геля, ранняя пташка, всё убрала, спасибо ей. Я с утра в супермаркет ездила, заодно и мусор увезла.

Подруги, позабыв про блины, ошеломлённо смотрели друг на друга.

— А деньги?—спросила Юля.

— Какие деньги?

— В бутылках! Деньги из бутылок вытащили?

— Да какие деньги?—не могла понять мать.

— Дай ключи от машины! Девчонки, поехали!

Мама, ты где мешки выбросила? В каком месте?

— Ну, в обычном, на свалке,—растерянно говорила мать. — А что случилось-то, объясни, пожалуйста.

— Потом, мама, потом всё объясню.

— Ничего не понимаю! Зачем тебе на свалку? Или это у вас шутки такие с утра?

— Какие шутки, мама! Тут скорее слёзы... Поедем с нами, покажешь...

Свалка находилась километрах в пяти от посёлка. Подъезжали машины, люди вытаскивали из багажников чёрные полиэтиленовые мешки с мусором и бросали их в кучу таких же мешков. Тут же бродили какие-то личности, копались в мусоре, над свалкой носились тучи ворон. Чёрных полиэтиленовых мешков было много—целая гора.

Возвращались молча. Разбогатели, называется, грустно думала Марина. Две тысячи на дороге не валяются. Лучше бы Мишке форму купила... Юля сосредоточенно вела машину, мать тихо вздыхала. Ольга сидела невозмутима, как всегда...

— Да-а-а, лучше бы мы на олигархов погадали!—вздыхнула Марина.

— Да ладно, девочки, ну подумаешь—какие это деньги!—Юля ловко увернулась от наглого красного «Фольксвагена». — Заработаем ещё!

— Что ж вы блины-то мои не съели?—встретила их тётка Геля. — Не понравились? А я-то старалась! С утра, думаю, пораньше встану, девчат порадую... — Спасибо, тётя! Что порадовали, то порадовали. Очень вкусные блины получились. Спасибо!—за всех ответила Юля.

Такая вот история приключилась с подругами... Между прочим, через год Марина и Ольга вышли замуж: Марина за режиссёра со студии «Мосфильм», а Ольга за своего шефа, владельца рекламной компании. У Юли тоже намечается свадьба, а жених у неё—председатель совета директоров одного московского банка.

Не верите? Ну и зря. Именно так всё и случилось.

Розы и мимозы

Виталий любил прокатиться с ветерком. Ничего удивительного, ведь он был русский, а «какой же русский не любит быстрой езды!» Вот и он: как только сядет за руль своей «Тойоты», в груди как будто что-то щёлкает, и появляется ощущение, что ты со своей ласточкой одно целое, и вы летите—нет, не по шоссе,—а по небу! Кругом никого, никаких знаков, перекрёстков, никаких пешеходов и встречных машин, только ветер свистит, обтекая серебристые бока «птицы-тройки». Здорово, конечно, но иногда у него возникали проблемы с гаишниками. Или гибэдэдэшниками, по-нынешнему. Но как-то удавалось решать этот вопрос, к обоюдному удовлетворению сторон.

С гаишниками умел договариваться, а вот с супругой было посложнее. Когда она сидела в машине, то никакого кайфа не получалось. То она зудела, что не туда повернул, не заметил знака, то кричала: тормози, то, наоборот подгоняла: быстрее давай! Обзывала водителей, обгонявших их, козлами, крутила пальцем у виска—в общем, вела себя неподобающе. Сколько раз он останавливал машину и грозился её высадить—ничего не помогало. Однажды в каком-то журнале он увидел карикатуру: муж с женой в машине, она пристёгнута ремнём безопасности так, что он закрывает ей рот. Он скопировал на компьютере этот рисунок и прилепил его перед ней на панели. Бесполезно! Зато уж, когда ехал один, то отрывался по полной.

В последнее время ему в этом плане везло. Супруга зачастила в деревню, к матери. Скучает, говорит. Надо же! Раньше он за ней таких нежных чувств не замечал, к матери ездила, когда надо было мяса или там картошки-морковки привезти, или мать звонила и сообщала, что деньжонок подкопила, приезжай, дочка. А тут чуть ли не каждый выходной трясётся в автобусе сто километров туда да сто обратно. Он предлагал ей отвезти на машине, но она категорически отказывалась—нечего машину на деревенских дорогах бить, в автобусе съездит. Ну, хозяин—барин! Баба с возу, как говорится...

Конечно, без жены ему ездить нравилось больше, но вообще-то он её любил. И когда она уезжала—скучал. К друзьям-приятелям как-то не тянуло, другие женщины его не интересовали,—какие могут быть другие с такой красавицей

женой! — поэтому долгими зимними вечерами общался только с телевизором. Сегодня, судя по всему, тоже вечер одному коротать — канун Международного женского дня, у неё на работе, конечно же, междусобойчик, придёт поздно. Ну, это понятно. Хотя... Он с годами стал как-то по-другому относиться к этим вещам: мужчины поздравляют-ублажают прелестных дам в коллективе, а дома свои жёны ждут, переживают. А те явятся, бывает, и под утро, пьяные, измазанные помадой — радуйся, жена!..

Впереди замаячил гаишник с поднятым железом в руке. Виталий чертыхнулся. Уже второй раз сегодня. Что это они так лютуют? Перед восьмым марта подзаработать решили? И то: поиздержались, небось, на подарки. Он остановил машину, полез в карман за правами. Инспектор вразвалочку направился к нему.

— Нарушаем?

— Да вроде нет, — Виталий точно знал, что ничего не нарушил, поэтому был совершенно спокоен.

— На-ру-ша-а-ем, нарушаем, — инспектор долго разглядывал водительское удостоверение, крутил его так и сяк, поглядывал на Виталия. — Пересекли сплошную линию... Сплошную линию... Что будем делать? Составлять протокол? Или в отдел поедем? — Зачем протокол, командир? — Виталий потянулся к барсетке. — Может, договоримся?

— Ты что, мне взятку предлагаешь?

— Да нет, какая взятка, командир, так, к 8 марта... жене там, или подруге на подарок...

— Ты что себе позволяешь! — Инспектор достал блокнот, стал составлять протокол. Заполнив бланк, он протянул его Виталию: распишись!

Виталий, делая вид, что расписывается, положил под листок пятак, взглянул на инспектора: хватит? Тот кивнул, забрал бумажку, козырнул и, посоветовав быть внимательным на дороге, направился к своему автомобилю. Виталий перевёл дух. Что-то ему сегодня не везёт. Не хватало ещё без прав остаться... А вот без денег, если так дальше пойдёт, точно останется. Хорошо, что купил подарок Ирке. Он оглянулся на заднее сиденье — там лежал завернутый в обёрточную бумагу роскошный букет из семи красных роз, обрамлённых ветками мимозы, в красивой целлофановой обёртке, собранной в виде семи лепестков, и на каждом лепестке были прикреплены заранее купленные им сердечки с надписью: «*I love you*». Виталий сам придумал этот букет и попросил продавщицу в цветочном магазине сделать именно так. Семь роз в семи лепестках означали, что семь лет назад, в канун 8 марта он познакомился с Ириной... В общем, букет получился обалденный, он представил, как обрадуется Ира, и погордился собой. Ещё в кармане лежала коробочка с золотыми серёжками, но букет, на его взгляд, был подарком гораздо шикарнее.

Он подъехал к супермаркету и стал искать, где бы припарковаться. Всё было заставлено машинами, ни одного просвета. Можно, конечно, рядом с остановкой автобуса приткнуться, но там знак висит, нарвёшься опять на гаишника. Но решил рискнуть — два, а тем более, три раза подряд снаряд

в одну воронку не падает... На минутку забежит в магазин, авось, пронесёт. Выйдя из магазина, он понял: не пронесло! Да что это за день такой!

После встречи с очередным инспектором в кошельке осталась всего одна купюра, достоинством в тысячу рублей. Но зато права при нём, а это главное. Ну, обнаглели совсем ребята, правильно президент реформу объявил! Однако хватит судьбу испытывать, пора домой. Он свернул с автострады на асфальтовую дорогу, ведущую в посёлок. Машин было мало, середина рабочего дня, а вот вечером в пробках можно простоять час, а то и больше. А ему ещё к приходу жены подготовиться надо: накрыть стол, цветы поставить, вино охладить...

Машина летела легко, тихонько звучала музыка. Вокруг ещё лежал снег, но на дороге кое-где уже образовались большие лужи. Придётся мыть машину... Он опустил стекло, в кабину хлынул свежий воздух, повеяло чем-то таким, весенним, едва уловимым. Он любил это время, когда ещё не весна, но уже и не зима, и в душе появляется предчувствие чего-то необыкновенного, радостного, небывалого...

Встречная машина мигнула фарами. Всё ясно. Стоят. Он сбавил скорость, но было уже поздно — в кустах притаилась машина ДПС, и от неё на дорогу вразвалочку вышел гаишник.

— Лейтенант Лютов, — представился он. — Нарушаем? Пойдёмте в машину.

Виталий, чертыхнувшись про себя, пошёл за ним. Инспектор долго разглядывал документы, Виталий сидел молча, ждал, что будет. Конечно, на этот раз он виноват — скорость была приличной, а здесь ограничение. Он заметил, конечно, знак, но... На пустой дороге грех ползти как черепаха... Машина летела, как по воздуху, совсем скорости не ощущал. Вот и нарвался.

— Подпишите протокол, — сказал инспектор, пряча водительское удостоверение Виталия в планшет. — После праздников явитесь на административную комиссию.

— А права? — робко спросил Виталий.

— Комиссия решит, возвращать вам водительское удостоверение или нет...

— Может, договоримся, лейтенант?

— Хотите, чтобы я оформил протокол о даче взятки? Свободны!

Виталий, совершенно расстроенный, поставил грязную машину в гараж, забыв и про букет, и про 8 марта. Что же делать? Без машины, как без рук. А уж что скажет по этому поводу Ирина, можно только догадываться.

— Макс, — позвонил он другу, работавшему когда-то в ГИБДД, — помоги! У тебя же остались связи? Представляешь, четыре раза сегодня останавливали, и, в конце концов, права отобрали. Лишат года на два, что я буду делать без машины?

Макс не изъявил восторга, но обещал что-нибудь предпринять. Поздно, конечно, перед праздником кого найдёшь, все уже отмечают, но он попробует...

Минут через сорок позвонил: подъезжай к отелу.

В гибдд, несмотря на предпраздничный день, было многолюдно. Народ сновал туда-сюда по коридору, кто-то заискивающе заглядывал в глаза проходившим с отстранённым видом сотрудников отдела, кто-то горячо доказывал кому-то, что он прав, кто-то разглядывал таблички на дверях кабинетов. Две дамы в роскошных шубах высокомерно поглядывали на всех этих невезучих—они-то здесь по недоразумению, а если и не так, то за них уже подсутились: права вернут, да ещё и извинятся... Тем более, праздник женский, вообще...

Максим зашёл в один из кабинетов. Виталий терпеливо ждал. Наконец, дверь запахнулась, и показался улыбающийся Макс, в сопровождении высокого, полноватого майора. Тот пожал Макс руку, скользнул взглядом по Виталию и вернулся в кабинет.

Друзья вышли на улицу. «Ну что»,—одними глазами спросил Виталий.

— В общем, так. Два букета к пяти часам. Один— три розы, второй— мимозы. Вон видишь, «девятка» серая стоит? Вот тебе ключ, положишь сам.

— И всё?—недоволиво спросил Виталий.

— Ты что, недоволен?

— Да нет, как-то странно—букеты. И потом, почему в машину, может, лучше в кабинет занести?— Ты что, за ними же следят... Припают взятку... Давай, поторапливайся, а то сегодня короткий день, предпраздничный, сам понимаешь...

В цветочных магазинах толпились раздражённые мужчины, стоял удушливый запах собранных вместе разных цветов, огрызались усталые продавщицы. Мимозы не было ни в одном магазине. Он объехал несколько точек—тщетно. Что же делать? Скоро конец рабочего дня, все разойдутся по домам, и тогда—административная комиссия и неизвестно какое решение она примет.

Наконец, в одном павильончике, ему повезло. Попросив продавщицу упаковать ему два букета—один из роз, другой из мимозы,—он открыл кошелек и... похолодел: в кошельке сиротливо лежала тысячная купюра. Других денег не было, он точно знал. Роскошный букет для жены и золотые серьги стоили недешево, да ещё гаишники «помогли». Как это он не рассчитал? Домой ехать поздно, не успеет, магазины закроются, кредитную карточку тоже оставил дома, идиот!

— В кассу, тысяча восемьсот двадцать пять рублей,—устало сказала молоденькая продавщица. — Извините, девушка, я... мне дайте только мимозы, два букета по три веточки, а розы я передумал. — Как хотите,—равнодушно ответила девушка и поставила розы обратно в ведро с водой.

Он подъехал к зданию гибдд, без труда припарковался, и, взяв букеты, направился к указанной «девятке». Оглядевшись, он вставил ключ, повернул—замок не открывался. Виталий торопился, не дай Бог, кто увидит, что он чужую машину открывает, загребуг, как угонщика. Он ещё и ещё поворачивал ключ—напрасно. От волнения и страха он взмок, но тут ключ повернулся... Виталий открыл дверцу, положил букеты на сиденье и почти бегом вернулся в свою машину. Отдышавшись, он позвонил Макс: всё в порядке, как договаривались,

только получилось не совсем то—розы не смог купить. Как теперь права получить? Зайти самому к этому майору или Макс возьмёт?

— Ты что, обалдел?—разозлился Макс.—В семь часов жди у арки, он будет мимо проезжать, отдаст... а ты ему ключ вернёшь.

Прошло два часа. На улице уже начинало темнеть. Народ разошёлся, на стоянке не осталось ни одной машины. Из здания никто не выходил. Виталий понял, что ждать больше не имеет смысла. Придётся, наверное, на административную...

В окнах гибдд погас свет. Вышел майор. Хлопнула дверца, заурчал мотор, потом вдруг замолк, и Виталий увидел, что гаишник идёт назад, в здание. Наверно, права мои забыл взять, вернулся за ними, подумал Виталий. В одном окне зажгётся свет, и Виталий увидит майора—тот куда-то звонил... Тренькнул мобильник.

— Виталья, что за дела?—кричал Макс.—Где букеты?

— Букеты в машине, я часа два назад положил, как договаривались.

— Нет там ни хрена! Ты что, ты так не шути!

— Да положил я, говорю тебе! Ты тоже—сам, сам откровенно, я еле открыл, ключ заело. Надо было ему самому отдать, а то... хорошо, что не арестовали как угонщика.

— А ты точно положил?

— Конечно!

— Но там точно ничего нет! Ты представляешь, что будет?

— Да ты что? Положил я эти проклятые букеты, как договаривались.

— Может, ты в другую машину положил?

— Я что, дурак, что ли! В голубую «девятку», я их положил!

— Какую голубую!—закричал Макс.—Я тебе сказал русским языком: в серую!

— Ты же мне сам показал голубую... Ч-чёрт! Слушай, а... если... Я, понимаешь, никак не мог открыть дверцу, что думаю, ключ-то не подходит... Ё-моё!

— Осёл!—Макс продолжал что-то кричать, но Виталий, не дослушав, кинулся во двор. Там одиноко стояла серая «девятка», никаких других машин не было. Он метнулся к своей машине, схватил букет, купленный для Ирины, и в два прыжка оказался у «девятки». Замок открылся легко. Виталий кинул букет на заднее сиденье и бегом помчался назад. Не дожидаясь, когда гаишник выйдет, рванул с места и скоро уже катил по дороге в посёлок.

Пару раз пришлось простоять в пробке, и домой Виталий добрался в двенадцатом часу ночи. Жены ещё не было. Он открыл бутылку водки, налил полстакана, выпил. Прав нет, букета нет, денег нет, жены дома нет. Красота!

Он включил телевизор—там шла обычная мара,—прилёг на диван и незаметно задремал. Проснулся как от толчка, машинально взглянул на часы: четверть второго. Однако! Где же Ирина? В сердце закралась тревога—а вдруг что-то случилось. А может, просто поехали догуливать к кому-нибудь на квартиру? Такое тоже случалось. Он позвонил Ирине на мобильный—абонент

недоступен. Он набрал номер её подруги, Ольги, долго слушал гудки, наконец, заспанный голос сказал: «Алло».

— Оля, вы где?

— Кто это? — недовольно спросила Ольга. — Ты, что ли, Виталик? Что случилось?

— Вы что там, никак не нагуляетесь? Два часа ночи. Ирку позови, а то её телефон не отвечает.

— Виталь, мы в девять разошлись по домам. Между прочим, Ира и предложила закругляться... Может, куда ещё зашли. За мной-то Игорёк приехал, а они... не знаю, может, к Светке поехали... Ты Светке позвони, может, они там, — Ольга зевнула и отключилась.

Под окном скрипнули тормоза, хлопнула дверь, потом лязгнула железная дверь в подъезд,

загудел лифт и тут же заскрежетал ключ в замке. Ну, наконец-то!

Ирина, красивая, пахнущая духами и вином, с охапкой цветов в руках, скинула на пол шубу, и, перешагнув через неё, прошла в комнату. Бросив цветы на стол, она, не раздеваясь, плюхнулась на диван.

— Безумно хочу спать... — язык у неё слегка заплетался. — Сил просто нет... Милый, поставь цветы в воду... Посмотри, какой мне букет подарили. Прелесть, правда?

— Правда, — согласился Виталий.

Букет действительно был хорош: семь красных роз в обрамлении веточек мимозы, искусно упакованный в целлофан, в виде семи лепестков, и на каждом лепестке было прикреплено сердечко с надписью: «*I love you*».

Алан Милн

Стихи для Винни Пуха

Перевод Нонны Слепаковой

Рыцари и дамы

Картинки в книжках говорят:
Вот едет рыцарей отряд,
Храня порядок боевой,
По старым плитам мостовой.

И дамы в платьях голубых
Глядят на рыцарей своих
И улыбаются слегка...
Так было в Средние Века.

...Гляжу в окно. Стоит зима.
По склону дальнего холма
Шагает ёлок тёмный строй,
Храня порядок боевой.

Они суровы и стройны,
Точь-в-точь герои старины,
И голубые небеса
Глядят на тёмные леса.

И я волнуюсь каждый раз:
А вдруг теперь, а вдруг сейчас
Увижу рыцаря в броне,
Верхом на рыцарском коне?

Наверно, нет... А если — да?
Не угадать вам никогда!

Три лисички

Честь имею вам представить трёх лисичек из лесочка.
Ни одной у них рубашки, ни единого чулочка,
Только есть у них коробка, а в коробке три платочка,
Носовые три платочка.

Вот и всё. На этом точка!

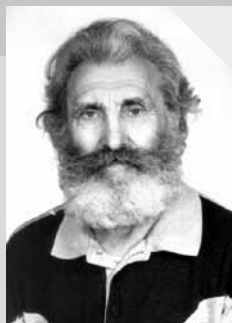
Ни одной у них подушки, ни одной у них кровати,
Но зато они с мышами поутру играют в прятки,
Через лес они несутся, и у них сверкают пятки —
Эти игры у лисичек вместо утренней зарядки.

В магазин совсем не ходят три весёлые подружки,
А охотятся (на речке) и рыбачат (на опушке),
И однажды на рыбалке им попались три кукушки,
И однажды на охоте им попались три лягушки.

Вот пошли они на праздник, получили там награду:
Три котлетки, три конфетки, триста плиток шоколаду.
На слоне они катались и смеялись до упаду,
После сели на качели и качались до упаду!

Вот и всё, что мне известно про лисичек из лесочка,
У которых ни кровати, ни рубашки, ни чулочка,
У которых есть коробка, а в коробке три платочка,
Носовые три платочка.

Сказка вся. На этом точка.



Евгений Мартынов Голод не тётка

100

Евгений Мартынов
Голод не тётка

Утром одного из дней начала апреля 1988 года я пришёл домой, как говорят, с пустыми руками, включил свет, и сообщил тяжело больному брату неутешительную для него новость. Он полулежал на низенькой тахте в своей комнатке, с задёрнутыми гардинами, покуривал и ждал меня с нетерпением. Я начал разговор издали:

— Володя, дорогой, утром, сразу после ночной смены я смотался в городскую поликлинику, выписал рецепт на обезболивающие, сходил в управление МСЧ-42 к главному врачу Елесину, чтобы дал «добро», но на этот раз он мне отказал.

Брат поморщился от боли, от плохой новости, вытер запястьем потный лоб, глянул на меня своими огромными зелёными, как око светофора, теперь затухающими глазами. Я подошёл ближе и виноватым голосом продолжил объяснение:

— Пётр Лазаревич сказал, что этого лекарства, Володя, ни в одной аптеке города нет. Отказали в поставке. Оно имеется только в больнице,— я достал из кармана свёрнутый вдвое квиток, расправил его и показал брату.— Если больной согласен, сказал мне главный врач, выписываю ему направление. Так, что решаю.

Вовка был ярым противником больниц. Но, к моему удивлению,—впрочем, чему удивляться-то!—брат откинул суконное одеяло и застиранную простыню, поперечно-полосатую (выцветшее синее с зелёным), спустил ноги. Поднялся неловко. Худющий, одни мослы торчат. Старик стариком. В пятьдесят пять-то лет! Сходил на кухню и молча стал собирать самые необходимые вещи в семейную сумку, светло-коричневого цвета.

От сопровождения брат отказался: — Доеду автобусом до «Хирургии» в больничном городке. Ну, а там уж рукой подать через дорогу—терапевтический корпус.

Помнится, была суббота середины апреля.

Я наспех позавтракал и завалился спать после ночной канители. Работал тогда слесарем-ремонтником (хлораторщиком) спортсооружений ЭХЗ. Дежурка наша располагалась в здании плавательного бассейна «Нептун».

Разбудил меня телефон, стоящий в головах диван-кровати «большой» комнаты, давно требующей ремонта. Звонил Володя:

— Женя, я уже на месте, в больнице,—произнёс он, как мне показалось, повеселевшим голосом и сообщил этаж, номер своей палаты, дни и часы возможных свиданий.

Потекли обычные дни посещения, передач и плюс ещё, с моей стороны—трёхсменной, «по скользящему графику» работы в качестве слесаря-

ремонтника. Со стороны тяжелобольного брата—процедуры, лежание на кровати, проминка по бесшумному длинному широкому коридору, никчёмные разговоры, приёмы пищи, сон и тому подобные заморочки.

Я без причины не пропускал назначенные общения. Исполнял какие-то незначительные просьбы Володи.

Пролетело недели три с той поры, как брата положили в больницу.

Однажды, в мой отсыпной день, под вечер раздался звонок телефона. Я взял трубку.

— Вы—Казанцев Евгений Андреевич?—спрашивает мужчина. Подтверждаю его догадку.—С вами говорит лечащий врач вашего брата. Вынужден вам сообщить, как опекуну, Евгений Андреевич, что состояние здоровья Владимира Андреевича безнадежное и, по-видимому, через две недели его не станет, самое большее—три недели...

Я... лишился дара речи. Встал по стойке «мирно», заledenел будто. Хотя умом-то и понимал, что это когда-нибудь случится.

Вспомнил о Боге.

Не помню, какие мысли возникли в голове в первый момент после такого известия, но чувства были подавлены. Онемел язык. Я сел на диван-кровать. Задумался.

И как-то вдруг, спонтанно, поднял трубку белого телефонного аппарата с приличной «памятью». Машинально стал набирать номер телефона Елесина, поняв разумом и ощущая всем телом предстоящую утрату.

Вот как случается, ёкнуло сердце—столько лет вместе и вдруг!..

...Я попросил главного врача не переводить брата в палату №1 онкологического отделения, что в западном торце коридора. Из этой особой комнаты еженедельно, а то и чаще, вывозили на вёрткой тележке в рост человека неловко занятых покойников. А через какое-то время, сменив простыни и наволочки, переводили в неё из другой... очередного. Все больные, понятно и дураку, знали...

Елесин Пётр Лазаревич в общих чертах был знаком с нашей судьбиной и сочувственно относился ко мне, когда я приходил заверить рецепт на наркотики брату. Он понял первопричину моей просьбы без разъяснений и пообещал.

Мы с Володей вышли из палаты и присели на мягкие топкие диваны лоджии. На виду—большой аквариум, в котором кипела жизнь опьянённых бытием удивительных «золотых» и прочих рыбок.

— Ты, Женя, побудь здесь, — сказал худой и, как стена, бледный, Володя, — я сейчас, только схожу... сестра укольчик поставит. Чуть не забыл...

— Пожалуй, тут забудешь, — подумал я, входя в его положение, направляясь к широкому окну в торце коридора.

На улице весна! Конец апреля. Деревья ещё голые, листвой непокрытые, тянутся ввысь. Рудые, или, точнее сказать, бордовые серёжки тополей набухают.

Меня окликает Володя, вернувшийся из procedure кабинета:

— Иди сюда, Женя. Сядем, поговорим, — произнёс он теперь уже жизнерадостным хрипловатым голосом.

Выглядел он архи-плохо. «Храни его Бог», — невольно подумалось. Худой. Тело таяло. Мосол на мосле. Глазищи и сивые небритые щёки ввалились. Безразмерная, с закатанными выше запястья рукавами, полосатая помятая казённая распашонка обвисла, смотрелась салопом.

— Готовят к операции, наверно, скоро будут делать. Ничего, может, пронесёт. Значит, ещё не всё кончено, значит, поживём.

Брат поглядел на меня, ожидая подтверждения его прогнозов. У меня непроизвольно наворачивались слёзы, подступали к горлу. Я проглотил скопившиеся и... промолчал. Володя присел на одно из кресел, поглядел на очарованных существованием рыбок этого прозрачного манежа — объёмного, лирического, улыбнулся, опять же, достал портсигар и коробку спичек, заозирался, прокашлялся и закурил. В неполюженном месте.

Я сел на стоящий рядом диван. Володька неожиданно спросил:

— А Кан тронулся? — Вовка же заядлый рыбак!..

— Да нет, но — вот-вот.

— Спасибо тебе, Женя, что приходишь, заботишься обо мне, — и он вдруг засмеялся:

— Помнишь, когда мы жили в Увало-Битинском детдоме, в те дни, — сто лет пройдёт не забуду! — когда ты уже выздоровел от сыпняка и помогал по хозяйству дяде Мише, то, — Вовка многозначительно прервал речь, улыбнулся и продолжил, — то приносил мне печёной картошки, завёрнутой в тряпицу! Голодали же тогда. Досыта не наедалась. А тут, проснись, бывало, после «мёртвого часа», суну руку под одеяло. А под боком, она, картошечка тебе, сила! Ещё тёпленькая!.. — Брат благодарно, как-то даже радостно, посмотрел на меня, замолчал и стал наблюдать за резвящимися «золотыми» и всякими там заморскими малютками, переливающимися всеми цветами радуги.

Мир Божий в миниатюре. Как сейчас помню...

В спальне Увало-Битинского детдома вечером после поверки, обшарив тщетно полки своей тумбочки в поисках завалявшегося сухарика, чтобы, хоть сколько-то утолить голод, ничего достойного внимания не обнаружив, кроме, разве что жирного розового клопа, которого, долго не думая, тут же придавил клочком газеты, Женя неожиданно предложил Коломину:

— Лёшка, пойдём утром после завтрака зорить грациные гнёзда. Дядя Миша по воскресеньям

меня от работы освобождает, так что можно. Птицы эти где-то неподалёку, видимо, водятся, раз и в деревню залетают.

— Конечно, гнездятся. И в колках неподалёку. Например, вправо по переулку за огородами, по дороге в Аксёново. За «Низинкой». Сразу после поля, на которм в прошлом году картошка росла. Да толку-то.

— Здорово! — обрадовался Казанцев. — Толк-то есть, Лёша: добудем яичек, напечём на костре, налопаемся!.. Не хуже чем в гостях у моей тётки Марьи, которая живёт в Аксёново.

— Ну, уж ли?! — засомневался Коломин.

— Эх ты, дубина! Да ты хоть когда-нибудь весной зорил гнёзда-то?

— Нет, не приходилось.

— А на берёзы-то хоть лазил?

— Какой деревенский мальчишка на деревья не лазил. Чаще на сукватые, конечно, сподручнее. А грачи вьют гнёзда — о-го-го на каких, не долеешь, не дотянешься.

— Ну да, не долеешь. Мы-то в боголюбовском детдоме с Игнатом Володиным и Витькой Нестеровым лазили, добывали, пекли яички на костре! Знаешь, какая вкуснятина! Наедемся и запьём берёзовым соком!.. — размечтался Казанцев.

— Да, ведь, они маленькие, яички-то, — контра-таковал Фёдор.

— Вот, чудик! — три-четыре грациных, считай, куриное яйцо, — парировал Казанцев, — а их в одном гнезде бывает аж до пятнадцати! Наедемся. Ну, что, пойдём, Федя?

— Я подумаю.

Коломин подумал, почесал затылок и согласился.

— Хорошо бы втроём. Я бы Федю Ботова пригласил, да ведь он инвалид.

Фёдора в спальне не было. Отсутствовал, должно быть, по нужде перед сном. У него с малолетства левая нога была тоньше правой и как бы заплеталась при ходьбе. Вымахнет он её вперёд, перенесёт тяжесть тела и — скорей на правую ногу, чтобы опереться основательней... и снова. Так вот и мучается Ботов уже столько лет. А что поделаешь?..

— Женя, мы же на обед опоздаем! — засомневался снова Коломин.

— Наверное, — подтвердил Казанцев.

— Так ты, Женя, может, попросишь Марию Ивановну, пусть она нам выдаст обеденные пайки хлеба.

— Ха-ха, Лёшенька. Дубина ты. Даже и пытаться не буду. Не знаешь нашу Марусю. Справедливую, даже, можно сказать, суровую. И не сунушь даже к ней с такой просьбой. Ты хоть когда-нибудь заметил, чтобы она меня и моего Вовку привечала: ну, супу бы в обед погуще налила или там каши побольше в тарелку положила?

— Да, нет.

— То-то и оно. Она же, Маруся, аксёновская. Дочь моей тётки Марьи. А тётя моя — дочь Александра Моисеевича, моего деда. Он грамоте и тому, как надо жить-быть, у ссыльных правдолюбцев-народников учился, сторонников самого Чернышевского!.. А у них равноправие было превыше

всего. Так что нет, Лёшка. Да мы и так наедемся досыта, вот, посмотришь. Как в гостях у тётки Марьи, — повторился Казанцев, подумал, грустно усмехнулся и добавил: — да ведь у них теперь тоже не мёд житуха, не халва подсолнечная.

Дождик бы только не тормознул. Но, судя по вечерней заре, завтра погода, как на заказ, ведренная будет — ни клока туч разлапистых, ни розовых, ни бордовых цветов...

Лёшка пошёл пригласить зорить гнёзда Свешникова Кирилла из соседней палаты, а Казанцев стал готовиться к завтрашней вылазке.

Казанцев вывернулся из калитки на улицу первым. Огляделся — нет ли шухера, как говорили детдомовцы Боголюбовки, ну, воспеток (воспитательниц) там, или кого из сексотов-доносчиков, свернул вправо, припустил по мураве обочины дороги. Не добегая до кузницы, юркнул в переулок и было пошagal по Аксёновской дороге, но тут же остановился и стал поджидать дружков. Солнце уже вылезло на тесовые крыши рубленых домов основной улицы, озаряло, веселило. Тучи на небе отсутствовали. Веяло прохладой, но... вот-вот и потлеет, по-видимому. Залаяла чья-то собака. Стадо коров уже прошло. Из-за угла дома нарисовался босоногий Лёшка Коломин. Бледненькая луна на фоне лазури, очертаниями на лешего, что ли, похожая, как бы, казалось, шла навстречу, совмещалась с западным горизонтом.

Почти сразу за Лёшкой появился и Свешников.

«Три мушкетёра», любители приключений. Босые. В лаптях, не говоря уж о казённых полуботинках, на деревья не полезешь. Но в зимних шапках-ушанках не по сезону. Шагали с прискоком, помалкивали. О чём говорить-то. Всем было Женькой всё растолковано ещё прошлым вечером.

Шумно пролетела к старице парочка гагар.

Высоко, синицами гонимый, парил кречет.

Ротозейничали. Оглянутся назад, глянут на огороды, на село и — дальше. Дорога, довольно торная. Справа и слева — лесная поросль. Щебечут птицы.

А вот и обещанное Коломиным поле.

— В прошлом году на нём росла картошка!.. — Казанцев неожиданно для Лёшки и Кирилла резко свернул влево, чтобы убедиться в Лёшкиной правоте.

— Ты куда это, Женька?! — окликнул его Свешников. И Лёшка тоже остановился в недоумении.

Удостоверившись, что поле и впрямь было под картошкой, Женька махнул рукой, позвал:

— Пацаны, идите сюда!.. Видите?.. — Казанцев показал Лёшке и Кириллу только что выковырянную, довольно крупную картофелину.

— Дива-то!.. — недоумённо произнёс Коломин.

— Если её прохлопать, Лёша, хотя бы ладошками, получится лепёшка. А испечь, да не одну, как мы в боголюбовском детдоме, в золе только что прогоревшего костра, то получатся лепёшки из мороженой картошки!.. — не упустил возникшую мимолётную рифму, успел, скамбурил таки юный лирик, взглянул на Кирилла и продолжил, но уже прозой:

— В начале войны, ещё когда мы с моим Вовкой квартировали у бабы Раи, мы пекли их весной

и в русской печке. Деревенские пацаны и потом так... В детдоме-то где пекти? На костре только, у колхозного поля, возле околка... А вы, пацаны, как будто и не голодали...

Мы с Вовкой перевелись в этот детдом и радовались неожиданному благополучию. Хотя бы тому, что пайки хлеба, да белого! — здесь куда больше, чем в Боголюбовке, порции первого и второго — тоже. Воспитанники здесь были почти все блокадники. Льготами пользовались.

Война была ещё в разгаре, и пайки подрезали, порции уменьшили. Живо так. Голодно стало... — Идём вдоль полосы, собираем мороженую картошку. Можно в шапки, — скомандовал он. — Если связать тесёмки, вот так, получим что-то вроде корзинки.

Женька и определил для этих зимних ушанок другое предназначение, но помалкивал до поры.

...Стали высматривать, выковыривать прозимавшие под снегом клубни. Не доходя до конца пашни, парнишки насобирали почти по шапке этих раскисших, неживых клубней и свернули на дорогу.

Бодро шагали, помалкивали. Махали в такт движению новоиспечёнными лукошками, на две трети наполненными обещанными Казанцевым, надо же, съедобными! — лепёшками!..

...Щебет птах!.. Жёлтенькие и большие, как птенцы кобчика, цветковые почки вербы. «Низинка». С накатным, похоже, из осиновых ровных брёвен, настилом. Двух брёвнышек посередине не хватало. По узенькому руслу между намокших стволов текла живая талая вода.

Солнышко припекать стало. Что-то неразборчивое, своё, пташечка прощebetала и вспорхнула...

«Надо поторапливаться», — подумал Казанцев, — хоть бы к трём часам, к «мёртвому часу» успеть вернуться». — Он прибавил шагу. Лёшка и Кирилл еле за ним поспевали.

Отвилок дороги вправо.

Возле колка, слева, мальчишек заметили грачи и — ну, галдеть, ошалевшие, почувствовавшие неладное. Самые беспокойные вылетели навстречу, отмахивались, возможно, даже материли пришельцев на своём языке, кто их поймёт?..

Казанцев облюбовал место стоянки около плакучей, пока безлистной, но уже с набухающими сережками берёзы. Вытряхнул из шапки картошку. — Вот здесь и костёр организуем, — громко сказал он мальчишкам, — хворосту много, гнёзда грачные — рукой подать.

Взлетели две куропатки. Любопытствовал суслик.

Женька отцепил солдатский котелок, подарок дяди Миши, от ремня под толстовкой навывпуск, снял крышку и установил его у комля дерева. Выдернул ножичек из ножен. Просверлил им бересту. Берёзовый сок не заставил себя ждать. Капли чистые, как слёзы, покатались вниз, косо по серебряной бересте, но из-за небольшого наклона ствола, сорвались... и затарабанили по доньшкуну ещё пустого котелка.

Мальчишки тем временем тоже вытряхнули содержимое шапок рядом с Женькиной кучкой мороженых клубней. Наблюдали.

— Ну, что роготейничаєте, хворосту принесли бы, хоть по охалке,— оговорил их Казанцев на правах старшего по возрасту знатока.

...Наевшись вдоволь, как говорят, от пуза, облупленных печёных грачиных яиц и этих лепёшек, допив берёзовый сок и, котелком таская из ближайшей лужи с оседающим смуром сугробом снеговой воды, «подавая», как в бане, парнишки залили ещё шипящие остатки костра.

— Ну, всё, пацаны, скоренько собираемся и... по-топали!—скомандовал Казанцев,—до объявления «мёртвого часа» успеть бы.

Шумно взлетела пара казарок!.. Трезвонили жаворонки. Разорённые грачи не могли успокоиться. Галдели, мотались вверх и вниз, слева направо. Атаковали. Суетились. Норовили отомстить. По небу проследовали две чёрно-белые вороны. Непрошенный вихрь взвил, снизу вверх, сухие прошлогодние листья...

В Вовкиной двадцатиместной палате пацаны спали. Или умело притворялись. Мёртвый час.

Не шваркая ногами, а на цыпочках прокравшись к кровати младшего брата, Женька подсунул ему под одеяло штук семь испечённых в золе

костра лепёшек, а пятнадцать штук грачиных яиц, завернутых в тряпицу, оставил на его тумбочке.

...Прошедшая ночная смена была не из лёгких: спуск воды из большого бассейна, очистка и смыв плесени с бортов и дна, заполнение этой огромной ванны свежей водой, да плюс «сюрприз»—два засора!..

Пока, легко сказать, в резиновых перчатках, вручную прокрутил семиметровым тросом ша-рошки, очистил канализационные трубы в мужском и женском туалетах, всё переделал—и ночь пролетела. Не прикорнул даже.

Открываю дверь квартиры—надрывается телефон. Поднял трубку.

— Жень, — говорил Володя взволнованным голосом, — знаешь, что я хочу тебе сказать!..

— Да, что ты, Вова, — я к тебе завтра утречком приду, и ты мне всё скажешь.

— Ну, что ж, ладно, Жень — ответил он...

Так мы простились.

После полуночи поднял телефонную трубку в предчувствии чего-то недоброго. Звонили из морта...

ДиН цитата

Игорь Фунт

Непреходящее, незабываемое, вечное...

«Русско-американским отрокам, сызмальства кумекающим и щебечущим по-английски, не обращающим внимания на прозвища, кликухи (Стоцик-Поцик) и национальности, не понять воспоминаний о щенячьей радости от встреч с давним другом под звук и запах бобинной «Дайны», разогретой многочасовым проигрыванием «Beatles for Sale», и... «только саднит и саднит вросшая, назойливая заноза памяти. И уже никак эту занозу не вытащить — пока думается и помнится...» <...>

«Запад» не плох и не хорош, он хитёр и коварен, скуп и щедр, милостиво благодушен к забравшимся на «небо» — впрочем, так же как и «тут»; — человеческая страсть к духовному началу не сгорает и не затухает «там», где закончились неправда, обман и дефицит, ограничивавшие творческое рвение желанием получить недоступное; наоборот, созерцание «оттуда» приводит человека домой, делает его ближе к оставшимся — живым и усопшим; ..знаете, их — отплывших и уплывающих — целое море, плеяда, но все они, литераторы, творцы, чуть отставая и запаздывая тематически (и это верно — ведь за бурей не поспеть!) неизменно возвращаются в русскоязычное «домой», так и не уезжая навсегда. <...>

Семён Каминский — псевдоним русского американского писателя, биографический интерес к

которому вы вполне удовлетворите, открыв Википедию (добавлю только, под стать доброй иронии книги, что девичья фамилия жены Семёна — Сметанкина — это упомянуто в рассказе «Сметана» <...>); простой искренний человек, уместивший в небольшой автобиографической книге двойное видение «здесь» и «там» — являющееся ценностным ориентиром в понимании значений не громких, а именно простых: гуманность, бескорыстие, доброта, детская наивность (а ведь у слона — два хобота!); душевная уверенность и покой в обстоятельствах отнюдь не тривиальных, а довольно критических, пограничных и, добавим, скептических с точки зрения умудрённого читателя, что вовсе не умаляет событийности в интриге повествования.

Заканчивается же всё «банально» — любовью к жизни и к нашей в ней несмыслимой памяти в преддверии общечеловеческих духовных праздников — я бы, наверное, так и назвал эту книгу: «В преддверии Рождества», как символа непреходящего, незабываемого, вечного, — но автор назвал её иначе: «30 минут до центра Чикаго».

Игорь Фунт. *Боб, форшмак и рок-н-ролл. По страницам книги рассказов Семёна Каминского «30 минут до центра Чикаго».* Русская жизнь: № 12, 2011.

<http://promegalit.ru/publics.php?id=3933>



Светлана Рябец Зойкины рассказы

104

Светлана Рябец
Зойкины рассказы

Зойка и её друзья

Дом, где жила Зойка, стоял на самом берегу моря. За высоким прочным забором и маленькой калиткой — бесконечный простор: огромное, бездонное небо, море в белых барашках и необыкновенный песок. Он ласково обнимал ноги, был мягкий, шелковистый, тёплый. Зойке нравилось ложиться на спину, зарываться в него и слушать песни моря, крики чаек, и долго-долго смотреть в небесную даль. Что там? думала она? Хорошо птицам, они летают так высоко...

Длинноногая, с длинными косами и пышными ресницами, Зойка была всеобщей любимицей. А глаза у неё были под цвет волн — то синие, то зелёные, то тёмно-серые, как море перед штормом. И это море она любила больше всего на свете.

Отъявленный сорванец и бесёнок, она всё своё время проводила на берегу, и с ней всегда была её преданная босоногая гвардия: Юрка, Валерка, Вовка. Они были неразлучны. А этот бесконечный морской простор, и шум прибоя, и перекличка сторожевых катеров, и весь берег с удивительным песком — всё это было Зойкино и трёх её друзей.

Едва позавтракав, они встретились на любимом Зойкином пригорке из песка, нанесённого приливами и штормами. Отсюда они наперегонки побежали к морю.

Волны как будто поджидали ребят и затеяли с ними игру в догонялки. Каждая последующая волна всё дальше и дальше набегала на берег, заставляя их с визгом отступать назад. Ослабев, волны ушли в море, чтобы набрать новые силы. Отважные Зойка и Юрка побежали за ними вслед, потом, резко развернувшись, сверкая пятками, понеслись назад, от самой большой волны, несущейся к берегу. Это было весело, но очень опасно. Однажды такая волна подхватила маленького Саньку, сбила с ног и покатила за собой в море. На берегу были взрослые. Они пилили брёвна, выброшенные штормом. Дядя Гриша рванулся к испуганному малышу и выхватил его из воды.

Поиграв с волнами, дети стали печатать следы на песке, делать постройки из сырого песка. У Валерки получился очень сложный, красивый замок, а Зойка украсила его мелкими перламутровыми ракушками

— А давайте в загадки, — сказал Юрка. Дети сами придумали эту игру: кто-то один быстро писал слово, а остальные должны были успеть его прочитать или угадать, потому что набегала волна и смывала всё, что было написано.

— Зойка, пиши ты, у тебя быстро получается! — крикнул Валерка.

Зойка нашла палочку и стала писать: «Чайка», — она знала уже все буквы. Юрка и Валерка успели его прочитать, ведь они были уже почти второклассники. Зойка стала писать новое слово: «паро...», но следующая волна была большей силы, и дети бросились подальше от воды.

— Успели, — со смехом прокричал Вовка, — па-роход!

Валерка сделал пяткой углубление в песке, но набегала волна и наполнила его водой.

— О-о-о, Зойка, смотри, сколько рачков! — сказал Валерка.

Рачки были маленькими-маленькими и ходили на крошечных рыбёшек; только, попадая на берег, они быстро-быстро зарывались в песок, ввинчивались, как маленькие винтики.

Усевшись на корточки, ребята стали выкапывать ямки в сыром песке, волны приносили новых рачков и те, попадая в ямки, смешно виляя хвостиками, исчезали в них. Набегала новая волна, ровняла берег, как будто не было ни ямок, ни рачков, и он блестел как лакированный.

На берег пришли местные корейцы, они зашли в море по колено и стали зачерпывать воду корзинками. Так они вылавливали рачков.

— Что они с ними делают? — думала Зойка — Едят?

Наигравшись с рачками, шумная ватага по-неслась вдоль берега.

— Эгей! — кричала Зойка.

— Эге-гей! — вторили ей Юрка и Валерка. Босые ноги поднимали фонтаны брызг, а они сверкали и переливались на солнце. Вовка был самый младший, он сопел, пыхтел, но старался не отставать.

Добежав до погранзаставы, они помахали часовому на вышке. На заставе хорошо знали Зойку и её друзей.

Усевшись на тёплый песок, подставив мокрые мордашки солнышку, дети запели любимую «Коричневую пуговку». Это была песня бдительных и сознательных босоногих жителей пограничного городка:

Коричневая пуговка валялась на дороге,
Никто не замечал её в коричневой пыли.
А рядом по дороге прошли большие ноги,
Большие, загорелые, протопали, прошли.
— А пуговка не наша — сказали все ребята
— И буквы не по-русски написаны на ней!
К начальнику заставы бегом бегут ребята,
Бегом бегут ребята: скорей, скорей, скорей...

Обсохнув и отдохнув, Зойкина команда побрела домой, загребая ногами остывший песок. Зойка обернулась и помахала часовому рукой.

А за погранзаставой, у огромной скалы, было лежище тюленей, и Зойке так хотелось взглянуть на них хоть одним глазком. Но бегать за погранзаставу детям было запрещено!

Зойка шла и смотрела себе под ноги. Все её мысли там — среди тюленей. Она предстала, как они лежат среди камней, влажная шерстка их блестит на солнышке, и они бархатисто, раскатисто рычат.

Зойка вспомнила про дядю Гришу. У него ведь есть машина. И он никогда и ни в чём не отказывал своей племяшке. Он снова отвезёт её к тюленям.

Она долго будет любоваться ими из кабины машины. Особенно ей нравились малыши: они покусывали друг друга, били лапами и сверкали блестящими, выпуклыми глазками-бусинками.

Её мысли прервал Вовчик.

— Что это? — прошептал он.

На мокром песке ясно отпечатались следы, ведущие от моря к домам. Это были не человеческие и не собачьи следы, а какие-то большие, необычной формы углубления в песке.

— Здесь прошёл кто-то огромный?! — сказал Юрка.

На берегу было пустынно. Дети легли на живот и поползли рядом со следами.

— Здесь какая-то тайна, — прошептала Зойка.

Увысокого забора они поднялись и заглянули в открытую калитку. Во дворе, на колышках, висели два больших валенка. Здесь жил кореец Филя. Он стоял возле поленницы дров и смеялся. Его узкие глаза совсем исчезли за щеками и стали щёлочками. — Напугались! — продолжал хохотать он, — я видел, как вы пошли на заставу, и решил над вами подшутить!

Всем стало очень весело.

— А мы думали, шпион, — схватившись за живот, сквозь смех прокричал Валерка.

Взявшись за руки, дети, счастливые, побежали на Зойкин песчаный пригорок.

Это наши крабики!

Недалеко от пирса на берегу лежала выброшенная штормом баржа. Её, видно, очень долго носило по волнам и течениям, и теперь от неё остался лишь деревянный скелет. Издалека она была похожа на огромного кита.

Зойка любила забираться на самый верх баржи, карабкаясь по перекладинам, как обезьянка. И там она стояла у самого неба и смотрела, и смотрела на море. У берега оно было белым от пены, а там, далеко, то синим, то зелёным, то свинцово-серым. У горизонта небо и море соединялись, и, казалось, это один огромный океан.

Сегодня Зойка снова убежала к барже одна. Она стояла высоко над землёй, широко раскинув руки, и как будто парила над океаном, как чайка.

Вдалеке показались мальчишки.

— Зойка, ты почему не дождалась?!

— Та-а-к, — прокричала Зойка. Сейчас ей было хорошо одной...

— Свистать всех наверх! — скомандовала Зойка.

И ребята быстро, один за другим, оказались рядом.

— Раз, два, три, кто дальше?! — и они дружно прыгнули в мягкий сыпучий песок.

Под баржей был тайник. В этом тайнике они собирались хранить припасы для дальнего плавания. Достав из тайника короткие, острые лопатки, они стали снова делать подкоп под нижней перекладной. За ночь волны размыли их тоннель. И началась весёлая игра: они перепрыгивали через деревянные перекладыны, подлезали под них, лазали по тоннелю. Всем было очень весело, они воображали себя тренированной командой, готовой к дальнему плаванию.

Ещё они очень любили своих крабиков. Под баржей была небольшая заводь, где у них было жилище. Когда жители заводи выползали из него, лучи солнца играли на их жёлтых, зеленоватых и сероватых спинках-панцирях. Вода здесь была тёплая, прозрачная.

— Зойка, смотри, вот этот мой, а вот и твой выползает из-за камня, вон, с зелёной спинкой, — сказал Валерка.

— Нет, это мой! — обиделся Вовка, — Зойкин ещё не здесь, он в норе.

В этот затончик заплывали и рыбёшки-мальки. Смешные камбалята, распластавшись, плавали по дну и подглядывали одним глазом. Мальки радовались солнечным бликам в воде, они резво носились друг за другом, задевали брюшками дно, выскакивали из воды и снова сновали туда и обратно.

Юрка и Валерка устроили охоту на крабиков. Взяв длинные прутки, они подставляли их к клешням, крабики крепко цеплялись за эти прутки, и мальчишки вытаскивали улов на берег. Вскоре пучеглазые обитатели моря ползали по сырому песку. Они смешно перебирали членистыми ножками и боком, боком бежали к морю. — Откуда они знают, что там их дом? — спросил Вовка. — Какие умные!

Вовка побаивался крабов, однажды ему досталось от их клешней. Если подставить тонкий прутик к клешне, он запросто его перекусывает.

Ребята прутиками стали направлять крабов к воде: идите, идите! — всё-таки это морские жители, на берегу их долго держать нельзя.

На следующий день ребята снова отправились к своей барже. Издалека они заметили трёх незнакомых мальчишек. Зойка ни разу не видела их на берегу. По всей вероятности, они явились сюда поохотиться. Крабики в заводи были лёгкой добычей.

Сидя у разведённого костра, мальчишки называли живую добычу на железные прутья и жарили их, отрывали им лапки, ели или просто выбрасывали.

Опешив от такой жестокости, ребята оцепенели и не могли сдвинуться с места. Первым опомнился Вовка — он громко заревел и рванул назад, размазывая слёзы по щекам.

Зойка стояла в нерешительности, мальчишки были намного старше. Она резко повернулась, сделала к ним несколько шагов, погрозила кулаком и, сгорбившись, побрела по берегу вслед за Вовкой. Рядом понуро шли Валерка и Юрка...

Утром следующего дня они бегом побежали к барже. Ночью был шторм, море было ещё беспокойно. Следы кострища унесли с собой волны...

После шторма весь берег был в водорослях. Длинные широкие ленты морской капусты извивались в набегавших волнах, как большие коричневые змеи. К жилищу крабов подходить пока было опасно, там была большая вода. Сколько их там осталось?!

— Будем спасать крабиков,— сказала Зойка друзьям,— сделаем ловушки.

Иногда они так играли: копали глубокие ямы в мягком, податливом песке, прыгали в них, проваливаясь по пояс, закапывались в мягкий сырой песок, и он приятно обнимал ноги, освежая своей прохладой.

Зойка с Валеркой побежали к тайнику, принесли лопатки. Дети усердно стали копать глубокие, по их мнению, ямы, преграждая подход к жилищу крабов. Когда ямы были готовы, дети забросали их сверху морской капустой, которую всю это время собирал Вовка.

Получилось здорово! Все ямы были замаскированы длинными бурыми лентами. Пусть теперь незнакомцы попробуют прийти: ловушка для них готова!

Вот оно, наше чудо!

Утром в комнату заглянуло солнышко.

— Ура-а-а— закричала Зойка,— На море!

— Сначала позавтракай, сорванец— проворчала бабушка.

Ей нравилось, что Зойка в свои неполных семь лет была самостоятельной, смыслёной, и ей можно было доверять.

Проглотив наспех завтрак, Зойка выпорхнула за дверь. Небо было высоким и чистым, а солнышко ласково погладило её по щекам.

Открыв маленькую калитку в высоком заборе, она оказалась на своём любимом пригорке.

— Здравствуй, море!— и оно ответило шумным всплеском.

А на самом берегу... На самом берегу стоял катер. Самый настоящий, небольшой сторожевой катер. Такой, какие бесконечно сновали вдоль берега, и называли их «Петушки».

«Почему петушки?— часто думала Зойка,— они ведь не кукарекают!»

Его, видимо, выбросило штормом, и теперь он стоял носом к берегу и поджидал...

— Видала?!— спросил Валерка.

Мальчишки уже сидели на пригорке и ждали своего капитана. В округлившись Зойкиных глазах были восторг и решимость!

— Бежим!— и они понеслись к берегу, обгоняя друг друга.

На море, как всегда утром, было пустынно. Волны плескались о борт катера, поигрывали солнечными бликами. Штормом его выбросило на берег, и он носом зарылся в песок. Палуба была очень низко, детям ничего не стоило забраться на борт.

— Вот она, наша мечта!

В трюм Зойка прыгнула первой.

— Бр-р-р, как здесь темно и сыро,— поёжилась она, по щиколотку стоя в воде.

Мальчишки уже были рядом. Вот это да! На нём же можно отправиться в дальнее плавание!

— Это будет «Варяг»,— сказала Зойка.— На рейде ночью легла тишина...— затянула она. Мальчишки подхватили:— Прощай любимый город, уходим завтра в море...

И вдруг катер качнуло раз, другой, и закачало на волнах. Валерка, Юрка и Вовка пулей вылетели из трюма. Зойка осталась одна в темноте. В глубине трюма что-то плескалось, скрипело, копошилось. Сердце Зойки сжалось, она зажмурилась, прижав руки к ушам:

— Нет, не боюсь,— прошептала девочка. Вода в трюме стала подниматься...

— Утону?— пронеслось в голове. Она открыла глаза и посмотрела на квадрат неба над головой. И тут какая-то неведомая сила вынесла её наверх, на палубу.

— Что это было?!

Новой волной катер опять прибило к берегу. Зойка спрыгнула в прохладную воду и выскочила на песок. Волна подхватила катер, увлекла за собой в море, и он гордо закачался недалеко от берега.

Потом волны снова принесли его к Зойке, катер ткнулся носом в песок.

— Прощается со мной,— подумал отважный капитан.

Но вот катер снова закачался на волне, и каждая последующая волна стала увлекать его за собой, унося всё дальше и дальше от Зойки. Море решило забрать его.

— Прощай,— с грустью прошептала Зойка и помахала рукой. Из-под ладошки она смотрела на удаляющуюся мечту. Потом катер как-то странно накренился— наверное, в трюме была пробоина. — Прощай!— крикнула Зойка и резко отвернулась от моря. Платье прилипло к ногам, и вода струйками стекала на мокрый песок.

Берег был пуст. Видимо, испугавшись, мальчишки разбежались по домам.

— Предатели,— прошептала она.

Зойка ещё раз оглянулась. Катер едва виднелся, он затонул недалеко от берега. Наверно, волны всё-таки унесут его в море. Навсегда!

Понурая, она побрела домой. У калитки стояли мальчишки и взрослый сосед Володя.

— Бежали за помощью,— промелькнуло у Зойки в голове. Она молча прошла мимо.

— Батюшки-святые!— всплеснула руками испуганная бабушка: ведь море это море,— что с тобой, детинка моя?

Она стянула с Зойки мокрое платье и завернула в свой тёплый халат.

— Бабушка!— зарыдала Зойка, и слёзы, которые она едва сдерживала, хлынули из её глаз,— бабушка!

— Ладно, ладно,— бабушка ласково похлопала её по спине,— потом, потом всё расскажешь.

Слёзы лились и лились по щекам. Зойка горько и долго плакала. А бабушка была такая большая и тёплая... и очень, очень добрая.

Пока Зойка успокаивалась в большом уютном халате, бабушка согрела воды, налила в большой таз и усадила в него внучку. Она ещё всхлипывала, но тёплая водичка ласково лилась по плечам, спине, смыла последние солёные слезинки, морскую воду

с коленок. Потом, завернув в простынку, бабушка уложила её на свою высокую мягкую кровать, налила в кружку вкусный свекольный квасок, ласково погладила по волосам.

— Отдыхай, дочушка, потом всё расскажешь.

Глаза у Зойки сами собой закрылись, но сквозь сон она подумала, надо ли тревожить бабушку? Она же больше не станет ей доверять

Но теперь Зойка знала: с морем шутить нельзя!

Грустно!

Зойка одиноко шла по берегу. Поссорилась с мальчишками — они поступили не по-товарищески. Зойка шла и смотрела вдаль. Тёплый песочек ласкал ноги, обнимал их, и она погружалась в него по самые щиколотки. И она погружалась в него по самые щиколотки. Песок был крупным, жёлтым, сверкал в лучах солнца, а ещё шуршал, как будто пел.

Море было таким тихим, спокойным и синим, что казалось, в нём утонуло небо. Пролетела чайка, она махнула Зойке крылом, коснулась воды и улетела в сторону пирса. Там их было много, наверное, охотились на рыбёшек.

Зойка подошла к воде. Волны лениво накатывали на берег: одна, другая, третья...

«Привет, привет», — шептали они. Одна волна подобралась к ногам и ласково дотронулась до них. Удивительно приятное чувство охватило девочку.

Зойка вдавила пяткой песок, и в ямку хлынула вода с маленькими рачками: их было очень много, они засуетились и стали быстро зарываться в песок, но сегодня они Зойку не интересовали.

Она стала печатать на мокром песке свои следы, ладошки, а волны набегали и смывали их, как будто забирали на память.

На рейде стоял пароход. Совсем недалеко, но, видимо, там уже была глубина. Пароход поджидал баржу — на ней привезут груз и пассажиров.

Зойка поднялась на носочки и помахала рукой: «Эй, эй!» и кто-то помахал ей в ответ. Плыть далеко, далеко и долго было давней мечтой.

Вдоль берега промчался сторожевой катер «петушок»:

«Ву-а, ву-а, ву-а-а», — прокричал он. «И вовсе он не петушок. Почему его так назвали?», — подумала Зойка.

Зойка шла и шла по берегу. Постояла у выброшенной на берег баржи, где они любили играть своей командой, дотронулась до неё ладошкой — тёплая. Вдалеке виднелся пирс. Чайки с криками носились над водой, высматривали добычу, выхватывали рыбёшку из воды и уносились прочь.

На пирс Зойка не пошла. Опасно. Он уходил далеко в море, и к нему причаливали небольшие суда. На пирс она ходила с папой, и он всегда очень крепко держал её за руку.

Зойка уселась на тёплый песок, прижалась подбородком к коленкам и стала слушать море. Оно плескалось у Зойкиных ног, шептало, успокаивало. Она могла смотреть на него бесконечно и слушать, слушать... С моря дул тёплый ветерок. Он ласкал её лоб, щёки, обдувал ресницы, поигрывал прядями волос. Зойка запрокинула голову назад, и волосы коснулись песка. Волосы у неё были

длинные и шелковистые. Бабуля очень любила заплетать их в тугие косы. Зойка вдруг поняла, что ей сейчас очень нужна бабушка. Она уткнётся в неё, такую тёплую, добрую, и грусть сразу улетучится. Недолго думая, она вскочила и понеслась по берегу, шлёпая босыми ногами по волнам и поднимаемая сотни брызг. Бабушка обнимет её, всё поймёт и успокоит.

Верный поджидал её во дворе, он радостно завил хвостом, ткнулся в ладошку и проводил до двери. Бабуля суетилась у печки. Лёлька спала. — Пришла, Зоюшка, я тебя уже потеряла.

Зойка прижалась к бабушкиной груди, обняла её и стояла так долго-долго.

— Ты где была, мальчишки забегали, хотели позвать тебя в кино на «Маленького Мука». Бегали на море, смотрели, не увидели тебя. Ну, ладно, садись обедать, завтра увидитесь.

— Бабушка! Как здорово! — Зойка поцеловала её в щёку. — Я была у пирса. Там столько чаек!

— Знают, где охотиться, плутовки, — сказала бабушка.

Зойке стало хорошо и спокойно. Она улыбнулась — на мальчишек она уже больше не сердилась.

Примирение

Море снова зовёт Зойку на берег. Кажется, что оно плещется у самого дома.

Она взяла палку, которую любили по очереди грызть Верный и Дунай, и тихонько свистнула. Собаки только этого и ждали — радостно запрыгали вокруг, ревниво хватая друг друга за лапы. Дунай — огромный, чёрный и лохматый, и не понятно, где у него глаза и какого они цвета. Он был неуклюжий, но смело нападал на Верного.

Верный — овчарка. Щенком его подарили Зойке пограничники. Это был действительно верный и породистый пёс. Осторожный и великодушный, во время игры он позволял Дунайке нападать и одерживать победу.

Зойка приоткрыла калитку, и собаки вырвались на простор. Они добежали до моря и снова вернулись к Зойке, призывая её за собой: «Гав, гав! Ну что ты так медленно идёшь?»

Зойка легко побежала за собаками и с разбега забросила палку в море. Палка улетела совсем далеко. Верный и Дунай одновременно настигли её, и Зойка звонко рассмеялась: собаки выхватили палку из воды с двух сторон и так потащили к ней. — Хорошие, хорошие собачки, — потрепала их Зойка по шерстке. Это было их любимое развлечение. Им очень нравилось бегать за брошенной палкой или другим предметом и приносить их обратно. — Вперёд! — прокричала Зойка, и они помчались вдоль берега к барже, выброшенной морем на берег, любимому месту детских игр.

Собаки забегали в воду, прыгали вокруг, перескакивали друг через друга, носились с лаем по берегу, не зная, что ещё можно сделать со своей свободой.

Возле баржи стояли мальчишки.

— Зойка, а мы твоего крабика видели, и Вовкиного тоже, и ещё там есть. Только сейчас уже темно, и не видно!

Вечерело. Солнце двигалось над морем к горизонту.

Дети забрались на баржу и устроились наблюдать закат.

— Зойка, ты уже не сердисься?—спросил Юрка.

Зойка промолчала. Она скучала без мальчишек, только зачем они её бросили? Ведь ей было так страшно в тёмном, сыром катере, а они струсили, оставили её одну. Ну и что же, что она капитан, она же девочка. Они все вместе хотели плыть в дальнее плавание. Кто же знал, что катер такой старый, и в нём пробоина. Не просто же так он потом затонул!

Солнце всё катилось и катилось над морской гладью, оставляя золотую дорожку.

— Здорово было бы пробежаться по ней,—сказала Зойка.

Мальчики молча кивнули в ответ, принимая её слова как знак примирения.

Дойдя до горизонта, солнце стало огромным и ярко-красным.

— Красотища!—прошептал Вовка.

А солнце стало медленно погружаться в море, пока не исчезло совсем.

— Там его дом—важно сказала Зойка.

Дунай и Верный, вволю набегавшись, терпеливо ждали детей у баржи, уютно устроившись на прохладном песке. Сумерки тихо опускались на город. Волны тихо, одна за другой, набегали на берег: до свидания, до свидания, до свидания...

Ребята спрыгнули вниз и направились в сторону дома, собаки бежали следом.

Недалеко от баржи стоял Юркин папа, он поджидал ребят и тоже любовался закатом. Сергей Юрьевич работал в больнице хирургом. Однажды Зойка вывихнула руку, и он приходил к ней ночью со смешным фонариком—«жучком». Почему-то не было света. И что бы он горел, нужно было часто-часто нажимать на рычажок.

У калитки Зойку тоже поджидали.

— А мы солнышко домой провожали,—сказала она.

— И мы тоже,—сказали мама и тётя Мила.

Собаки проскочили в калитку первыми. Торопились на ужин!

Зойка поспешила к бабушке рассказать, каким красивым было солнце на закате.

Дмитрий Кедрин Кофейня

*...Имеющий в кармане мускус
не кричит об этом на улицах.
Запах мускуса говорит за него.*
Саади

У поэтов есть такой обычай—
В круг сойдясь, оплёвывать друг друга.
Магомет, в Омара пальцем тыча,
Лил ушатом на беднягу ругань.

Он в сердцах порвал на нём сорочку
И визжал в лицо, от злобы пьяный:
«Ты украл пятнадцатую строчку,
Низкий вор, из моего «Дивана»!

За твоими подлыми следами
Кто пойдёт из думающих здраво?»
Старики кивали бородами,
Молодые говорили: «Браво!»

А Омар плевал в него с порога
И шипел: «Презренная бездарность!
Да минёт тебя любовь пророка
Или падишаха благодарность!

Ты бесплоден! Ты молчишь годами!
Быть певцом ты не имеешь права!»
Старики кивали бородами,
Молодые говорили: «Браво!»

Только некто пил свой кофе молча,
А потом сказал: «Аллаха ради!
Для чего пролито столько жёлчи?»
Это был блистательный Саади.

И минуло время. Их обоих
Завалил холодный снег забвенья.
Стал Саади золотой трубою,
И Саади слушала кофейня.

Как ароматические травы,
Слово пахло мёдом и плодами,
Юноши не говорили: «Браво!»
Старцы не кивали бородами.

Он заморозил их песней птичьей,
Песней жаворонка в росах луга...
У поэтов есть такой обычай—
В круг сойдясь, оплёвывать друг друга.



Татьяна Секлицкая

Под солнечным лучом

Август

(деревенский сонет)

Вот тучи небосвод заволокли.
 Но дождь прошёл — и жарко стало снова.
 Цветы ромашки и болиголова.
 Среди заборов маялись в пыли
 На берегу, как на краю земли,
 Жевала жвачку сонная корова,
 И гуси гоготали бестолково
 О том, что Рим от варваров спасли.
 Сосед уже достроил сеновал
 И разрубил заброшенный скворечник:
 Он всё равно всё лето пустовал.
 Не повезло скворцу в делах сердечных,
 А может, сил своих не рассчитал
 И потерялся в тучах бесконечных...

Сидели ангелы в саду,
 Смотрели в зеркала кривые,
 Где люди корчились живые
 И спотыкались на ходу.
 Господь покинул их давно.
 Молитвы — громче, стоны — тише.
 Он далеко, Он не услышит.
 Что ж ангелы? Им всё равно:
 Земля для них скучна, мала,
 Их даже время не осудит.
 Вот только б не разбили люди
 Её кривые зеркала...
 Деревья розово цвели.
 Играли нежные свирели.
 В кривые зеркала Земли
 С улыбкой ангелы смотрели.

Покров

Там, перед храмом
 кто-то в белом,
 Там, перед храмом
 кто-то в чёрном.
 А в сизых облаках пробелы
 Сияют ярко-голубым.
 И блещет купол
 золочёный
 Под солнечным лучом
 несмелым,
 И первый снег
 для наречённой —
 Фаты венчальной белый дым.

В ясный день сентября деревенская осень
 Воскурила большой погребальный костёр.
 Дым плывёт над рекой. Вместе с дымом уносит
 И мечты, и надежды, и смех, и позор...

За рекой на горе золотятся берёзы.
 Бабье лето им дарит свою благодать.
 Пред осенним костром, опочившая в Бозе,
 В огороде лежит моя бедная мать.

Депрессия

О, этот пирс!
 Как мостик в никуда.
 Скрипит настил, шатаются перила...
 Чем дальше, тем черней под ним вода.
 Здесь будущего нет. Всё было, было...
 Здесь перевозчик хмурый и седой.
 Он стар и никому уже не верит.
 Закат оранжевый над чёрною водой
 Окрасил охрой пирс и тихий берег.
 Там, далеко, за дымкой огневой
 Есть золотые древние ворота,
 Пёс у ворот сидит сторожевой,
 Стоят весы и с ними рядом кто-то...
 И я кричу в закатной тишине:
 «Эй, перевозчик! Я уже устала!»
 И отвечает «первозчик» мне:
 «Чего орёшь? Всю рыбу распугала!..»

И. Н.

Подари мне мечту.
 Я давно ни о чём не мечтала...
 На траву под окном
 Стелет озеро белый туман.
 Подари мне рассвет.
 От закатов я с детства устала.
 Будет искренним взгляд,
 А в словах твоих — сладкий обман.

Подари мне мечту.
 Пусть она горделиво и бойко
 Унесёт меня вдаль
 Сквозь туман по росистой траве,
 Как весенний поток,
 Как лихая буланая тройка...
 Ах! Какие фантазии
 Кружат в твоей голове!



Яна Гильмитдинова Грусть под зонтом

110

Яна Гильмитдинова
Грусть под зонтом

Я думала: «Скорее бы весна!
Чтоб таял снег, чтоб птицы прилетели!»
Я по ночам ворочалась без сна,
Прислушиваясь—где же вы, капли?

Я, как шаман, камлала на апрель,
На брызги солнца, россыпи веснушек,
На тёплый ветер, неба акварель,
На пробужденья родников уснувших.

Я думала, виновница зима—
Метелью запорошила надежды,
Пытается свести меня с ума...
Придёт весна—и будет всё, как прежде!

Я думала, забуду о тебе,
Как только календарь перевернётся,
И ночь полярную безумный сменит день,
И май грозой в первый раз прольётся.

Я так мечтала: вот она придёт—
Я буду рада даже грязным лужам,
Придёт весна, и что-то оживёт...
Она пришла. И стало только хуже...

Это я

Белое небо в лучах проводов.
Скоро зима.
Чтобы поверить, не надо слов.
Знаю сама.
Чтобы убить, не стоит стрелять—
Просто уйди.
Жаль, не сумели сразу понять—
Всё позади.

Думаешь, можно начать опять?
А, ни о чём...
Больше не плюй, когда говорят,
Через плечо.
Больше не верь, когда сулят
Рай земной...
Чувствуешь? Это же я
За спиной.

Ветер, лаская, коснулся щеки—
Это я.
Листьев пожар взметнул огоньки—
Это я.
В берег ударившая волна—
Это я.
Лопнувшая вторая струна—
Это я...

В белом городе идёт дождь.
Для кого-то—неплохой знак.
И всё время получается так,
Что приходят те, кого ты не ждёшь.

Белый город без тебя пуст.
А кому-то всё равно—факт.
И стучат сердца, да только не в такт.
И гуляет под зонтом грусть.

Белый город. Сказка лучше, чем быть.
Полуправда. Полусвет. Полутень.
С белых стен вода смывает пыль.
Полуложь. Полуночь. Полудень

Белый город убаюкан дождём.
Белый город под дождём спит.
Кто-то плачет, кто-то пьёт, кто-то молча сидит.
И выходит, дождь совсем ни при чём.

Кто-то украл весну.
Ночью подкрался к спящим,
Долго в шкатулках шарил
в поисках птичьих трелей.
И на себя тянул
с глаженным небом ящик,
И по карманам прятал
пригоршнями капли.

Кто-то украл весну!
Скрипнул тихонько дверью,
Вытащил с дальней полки
баночку с солнечным светом,
Полупустой флакончик
с запахами апреля,
Первый лесной подснежник
и ожиданье лета.

Кто-то украл весну!
Если увидите где-то
Майского дождика нити,
ласточек наважденье,
Стук каблучков по асфальту,
почки, набухшие цветом...
Я вас прошу—звоните!
Нашедшему—вознаграденье!

Татьяна Панова
Звёзды звенят



111

Татьяна Панова
Звёзды звенят

Разноцветная вьюга мне царапала дверь
Облетевшими листьями,
Только сердце шептало: «Это ласковый зверь,
Да с повадками лисьими».

Я открыла ей двери, впустила её,—
Что одной-то печалиться?
И запела мне песню жёлто-красным ручьём
Молчаливая странница.

Радость с грустью в обнимочку, как случайный каприз,
И, в дожде растворённые,
С безразличного неба тихо падали вниз
На меня—просветлённую.

И сентябрьской ночью горько-сладкой на вкус
Осень—злая потешница—
Целовала дождями колокольную грусть,—
Желтоглазая грешница.

Плачут дожди, провожая остывшую осень,
Треплет ветрами последние кисти рябин.
Знаю, она ни о чём меня больше не спросит,
Лишь удивит ослепительной сменой картин.

Утром, пылая в лучах восходящего солнца,
Через туман, что встаёт над уснувшей рекой,
Веткой рябины в моё постучится оконце
И, улыбнувшись сквозь слёзы, уйдёт на покой.

Словно пальцы дрожат на капризной струне,
Поднимая октавы,—
Так звенят в тишине, так звенят в тишине
Звёзды, падая в травы.

Просыпаясь, река перекатами бьёт,
Наслаждаясь рассветом.
И на счастье подковы кузнечик куёт,
Раздавая поэтам.

Здесь наполнено утро цветным хрусталём,
Пахнут клевером руки.
И рождают лучи в вечном танце своём
Музыкальные звуки.

Я возьму этот миг, дрогнут пальцы мои,
Переполнившись светом.
И пойму—нет дороже и лучше земли
Под ногами, чем эта.



Светлана Гурова Сломанный каблук

112

Светлана Гурова
Сломанный каблук

Такая любовь

Каждая история любви имеет своё начало. Конца у любви может и не быть, но начало есть всегда.

А эта история началась в тот день, когда Игорь, молодой и перспективный инженер, шёл по улице домой, и прямо на голову ему спикировала голубка. Она уселась у него на плече и начала ворковать громко и восторженно. Молодой человек удивился, потом пошарил в карманах в поисках чего-нибудь съедобного для птицы. Естественно, в его карманах не было ничего, даже отдалённо напоминавшего еду для голубей. А потому он просто взмахнул рукой, чтобы прогнать воркующую птицу. Она вспорхнула с плеча, но не улетела, а продолжала лететь рядом с ним.

Она отстала только тогда, когда Игорь сел в автобус. Мужчина очень быстро забыл о птице.

А несколько дней спустя на окно его холостяцкой квартиры села та самая голубка. Она потопталась на подоконнике, как бы решая для себя, удобно ли напомнить о себе. Решив, что удобно, голубка стукнула клювом в оконное стекло. Игорь удивился, но окно не открыл. Голубка же, подождав немного, снова настойчиво постучала клювом в стекло. Тогда молодой человек, уступая ей, открыл форточку. Голубка тут же влетела в квартиру.

И влетела она так, как входят женщины первый раз в жилище любимого мужчины. Ну, знаете, женщины входят сначала нерешительно, робко, быстро оглядывая квартиру. Мужчины при этом даже не догадываются, что прямо с порога она оценивает и мужчину, и его квартиру. Женщина никогда не подаст виду, но именно у порога она решает, остаться ли здесь или нет, а если остаться, то надолго или нет, а главное — если остаться, то можно ли здесь что-нибудь переделать. И уже потом, зайдя в квартиру, женщина очень быстро устраивается в ней навсегда, даже если пришла всего на пять минут.

Вот точно так же голубка нерешительно переступила порог форточки, робко наклонила голову, как бы говоря: «Да я ненадолго. Я буквально на пару минут». И потом уже уверенно и красиво влетела в комнату и удобно устроилась на шкафу.

Игорь пожал плечами. Потом сходил на кухню и принёс хлеб. Он покрошил его на подоконнике и обратился к голубке:

— Иди уж, поклуй.

Голубка наклонила головку набок, внимательно посмотрела на Игоря, затем взглянула снисходительно-оценивающе на крошки, а потом слетела на подоконник, всем своим видом говоря «я буквально чуть-чуть», и склевала всё. После этого она

заворковала точь-в-точь, как воркуют женщины, удобно устроившись на диване.

Игорь подошёл к ней и протянул руку. Он ожидал, что птица улетит, но она вся потянулась к его руке и замерла в ожидании ласки. Молодой человек улынулся и погладил её по маленькой аккуратной головке. Голубка закрыла глаза от удовольствия. Неожиданно для себя Игорь заговорил с этой совершенно незнакомой птицей:

— Ну что, поклевала?

— Ур-р, — ответила голубка

— Откуда ты?

— Ур-р, — вновь ответила птица.

— Как же мне тебя назвать?

— Ур-р, — ещё раз ответила голубка

— А назову-ка я тебя Дуськой, — решил Игорь

— Ур-р, — согласилась птица.

Всю ночь Дуська просидела в комнате на подоконнике, а утром, когда Игорь пошёл на работу, она тоже улетела по своим птичьим делам. Вечером, как только мужчина переступил порог, голубка уже ждала его за окном. Она стукнула клювом, и Игорь открыл ей форточку, как открывают дверь женщине. А потом он накрошил ей крошек и налил миску воды. И весь вечер они проговорили, вернее, Игорь говорил, а Дуська согласно ворковала.

Вообще Дуська была из обыкновенных серых голубей, которых в городе пруд пруди. Не было у неё ни красивых мохнатых ножек, не было пушистых нежных хохолоков, не было шикарного белого хвоста, но, право, была какая-то грация в её маленькой серенькой головке и круглых блестящих янтарных глазах. А ещё у неё был красиво очерченный клювик и стройные ножки. И двигалась она как-то по-женски, грациозно и изящно, так же женственно склоняла голову набок и кокетливо смотрела на Игоря глазом. И ворковать она умела тоже удивительно нежно.

Нет, у Игоря не было недостатка в женщинах. Домой он их обычно не приводил, но часто оставался на ночь у любовниц. С тех пор, как у него появилась Дуська, он завёл привычку открывать на ночь форточку и оставлять на подоконнике крошки, чтобы голубка всегда могла залететь в дом и поесть.

И однажды, вернувшись домой утром, Игорь увидел голубку, мечущуюся на окне. Она буквально не находила себе места и бегала по подоконнику взад и вперёд. Крошки, которые он оставил ей на ночь, были не тронуты. Увидев Игоря, Дуська тут же нахохлилась и отвернулась от него, всем своим видом показывая полное безразличие и нежелание разговаривать. Игорь убрал старые крошки, принёс свежего хлеба и покрошил перед

голубкой, но она лишь взглянула на еду и вновь гордо отвернулась.

Игорю стало так стыдно:

— Дуська, ну прости меня. Я не буду больше нигде ночевать, кроме дома.

Голубка взглянула на него янтарным глазом, как бы оценивая глубину его раскаяния. Видимо, раскаяние было, на её взгляд, достаточно искренним, а потому она робко сделала прощающий шаг навстречу мужчине. Игорь погладил её головку и перья. И Дуська неожиданно прижалась клювом к его губам, вся замерев при этом и закрыв глаза от удовольствия. Мужчина не отшатнулся и почему-то даже не удивился.

Зато когда он рассказал о Дуське на работе, все сразу решили, что птицу непременно нужно показать ветеринару. Во-первых, это ненормально, когда дикий голубь так привязывается к человеку. А во-вторых, вдруг она больная какая-нибудь. Может, у неё лептоспироз или ещё чего-нибудь похуже.

Наслушавшись ужасов про птичьих болезни, Игорь повёз свою жиличку к врачу. Всю дорогу она доверчиво сидела у него за пазухой.

Ветеринар оказался пожилой уже человек, много повидавший на своём веку. Он внимательно выслушал рассказ Игоря, осмотрел Дуську и вынес свой вердикт:

— Птица совершенно здорова.

— Но почему она привязалась ко мне?

— Не знаю, молодой человек. У птиц, знаете ли, есть инстинкт следования. Кого увидели первым, вылупившись из яйца, за тем и будут следовать.

Он ещё долго рассуждал о птичьих инстинктах, о том, что Дуська могла вылупиться у кого-нибудь дома, запомнить его как своего родственника, узнать в Игоре вожака и следовать за ним и так далее, и тому подобное. Игорь уже потерял нить разговора и перестал понимать ветеринарные термины, когда врач сказал просто и буднично:

— Она вас любит.

Игорь удивился:

— Что значит «любит»?

— То и значит, что любит. И заметьте, любит всем своим крохотным сердцем. Так могут любить только животные — без предательства и без хитрости.

Игорь задумался на пару секунд:

— А разве может быть такая любовь?

— Любовь может быть разной. И такой тоже.

Озадаченный Игорь взял свою Дуську, посадил её за пазуху, и они поехали домой.

Так они прожили несколько месяцев. Игорю нравилось приходить домой, видеть за окном Дуську, открывать ей форточку и выпускать в комнату.

А потом пришла Жанна. Игорь так долго добивался её благосклонности. И наконец, она уступила. Остаться на ночь в её доме не было возможности, да и он обещал Дуське, что будет приходить домой ночевать. А поэтому он пригласил Жанну к себе.

Игорь тщательно готовился к её приходу. Как водится в таких случаях — музыка, освещение, шампанское, фрукты и конфеты. Он даже тщательно пропылесосил квартиру. Дуська всё это время следила за ним, пытаясь понять, что же это он делает. Но, так и не поняв, потеряла всякий

интерес и просто задремала на своём подоконнике, удобно устроившись за шторкой.

Жанна, естественно, по своей обычной привычке опоздала. И как всегда, сделала это с редким изяществом и наглостью, присущей только ей. Игорь обрадовался уже неожиданной девушке и крутился около неё, снимая пальто, сапожки и проводя в комнату. Жанна, жеманясь и кокетничая, присела на краешек дивана, как бы говоря: «Я только на минутку. И сразу же уйду». Игорь, включившись в игру и так же кокетничая, налил шампанское. Никто из них не заметил притаившуюся за шторкой Дуську. А она взглянула из-за неё и, увидев сцену соблазна, сразу вся взъерошилась и занервничала.

Игорь по-деловому начал целовать Жанну, быстренько расстёгивая на ней блузку. Жанна страстно и также деловито отвечала на его поцелуи, закатывая глаза от якобы нестерпимого желания. И вот в тот момент, когда рука Жанны уже легла на ширинку Игоря, и длинные гибкие пальцы стали расстёгивать молнию, Дуська сорвалась со своего подоконника и налетела на девушку. Она вцепилась ей в волосы лапками и выдрала несколько прядей, а потом больно стукнула в темечко клювом.

Жанна заверещала:

— Что это такое?

Игорь машинально ответил:

— Это Дуська. Она живёт у меня.

— Да это не Дуська, это агрессор какой-то.

Дуська же продолжала налетать на Жанну и, пытаясь клюнуть её в нос, теснила в прихожую. Отбиваясь от птицы, Жанна завопила:

— Да сверни ты ей шею.

Игорь сразу озверел:

— Да я лучше тебе сверну шею.

— Ну и целуйся со своей ненормальной птицей. Маньяк. Зоофил.

Последнее слово Жанна прокричала в прихожей, куда её загнала разъярённая Дуська. Хлопнула входная дверь. Голубка влетела в комнату. Игорь начал было ей выговаривать:

— Да ты вообще рехнулась...

Но Дуська уже не слушала его. Она пролетела прямо к окну и вылетела в форточку.

Дуська не прилетела на следующий день и потом тоже. Игорь сначала не придал этому значения, а потом заскучал. Ему не хватало этой птицы и её воркования по вечерам. Игорь даже попытался её найти. Но в городе миллионы голубей и тысячи мест, где они живут. Как найти в этом голубином муравейнике маленькую Дуську?

Игорь на всякий случай оставлял форточку открытой — вдруг она прилетит сама.

И она прилетела через неделю. Робко села на подоконник и нерешительно стукнула в оконное стекло. Игорь встrepенулся и повернулся к окну. Там сидела Дуська — похудевшая, какая-то обтрёпанная и несчастная.

— Дуська, родная, где же ты пропадала — бросился к ней Игорь.

Дуська сначала отвернулась от него, а потом, быстро взглянув на молодого человека, неожиданно и горько прижалась клювом к его губам

и вся замерла. Игорь погладил её по маленькой головке, и она заворковала нежно и укоризненно.

Сломанный каблук

С первыми летними деньками отцветает черёмуха, и заканчиваются весенние заморозки. Ласковое майское солнце становится уже по-июньски наглым, но ещё не безжалостным, как в июле. Молодая зелень радуется глаз своей нежностью. Манит тонким ароматом сирень, дурманит цветущая рябина. Именно на эту чудесную пору каждый год приходились раньше, да и сейчас, наверное, тоже, выпускные экзамены во всех школах и институтах страны. Бедные выпускники каждый год изнывали от желания завалиться где-нибудь под цветущей сиренью и так проваляться весь день. А вместо этого они должны были зубрить алгебру и химию, и историю, и ещё много чего такого, ненужного в летние погожие деньки.

Но кончались экзамены, и начиналась взрослая жизнь. А до этой новой жизни был ещё выпускной бал. Школьницы впервые надевали туфли на каблуках и юными принцессами впархивали в спортзал под восторженный шёпот мальчишек. Учителя всегда вздыхали: «Какие у нас, оказывается, красивые девочки». Конечно же, была ещё затянута торжественная часть с обычными слезами учителей, речами родителей и бывших школьников.

Но самое главное и самое ожидаемое начиналось потом. А потом были танцы. Каждая девочка сразу вспоминала про Наташу Ростову, даже если никогда не читала «Войну и мир». Мальчики были всегда элегантно и задумчивы. И кружились пары прелестных девочек в шёлковых платьях и мальчиков в строгих костюмах. Тем временем родители и учителя уединялись в каком-нибудь классе и пили шампанское с фруктами, пока их не видели дети. Нет, конечно, кто-нибудь из родителей или учителей периодически проверял, что там делают их выпускники, но проверки случались всё реже и реже, пока не прекратились совсем.

А молодые люди всё чаще отлучались в туалет, где за батареей ещё до начала вечера была припрятана бутылка водки или дешёвого портвейна. С каждым глотком спиртного в них прибывала смелость. Она была нужна им, чтобы сегодня в последний школьный день сказать, наконец, Марине или Ларисе о своей любви, которая длится уже класса с пятого. Что за беда, если таких любимых набиралось штук пять, какая-нибудь из них отвечала на искреннее чувство подвыпившего мальчика, и они долго целовались где-нибудь в пустом классе.

Но вот шампанское выпивалось, водка за батареей тоже кончалась, часы пикали полночь, и выпускники отправлялись на улицу. По сложившейся традиции, они гуляли всю ночь одни, без родителей и учителей. Но сколько бы ни гуляли бывшие школьники, все они должны были оказаться на рассвете на Плотинке — так называют в нашем городе набережную реки. Стайки выпускников оседали на ступеньках и ждали первых лучей солнца, чтобы прокричать: «Прощай, школа! Здравствуй, жизнь!». Правило это соблюдалось многими

поколениями и не могло быть нарушено ничем: ни дождём, ни ураганом, ни даже землетрясением.

И Наташкин выпуск был похож на все другие выпуски. В спортзале с утра вручили аттестаты, а вечером стайки школьников, уже теперь бывших, стекались на выпускной бал.

Наташа ещё была дома, когда к ней прилетела Маринка. Она сразу с порога закричала:

— Как! Ты всё ещё не готова?! Мы же опоздаем!

Маринка всегда кричала и всегда боялась опоздать. Поэтому Наташа пожалала плечами, как бы говоря «успеем ещё», и стала собираться. Маринка тут же успокоилась, уселась на диван, широко раскинув юбку розового шёлка.

Наташа достала своё выпускное платье, сшитое ещё зимой в лучшем ателье города, и белые польские босоножки, за которыми она с матерью простояла часа три в очереди в Доме обуви. Маринка со своего кресла давала ценные указания по поводу макияжа. Эти ценные указания перемежались с мыслями о вечере, об Алёшке из параллельного класса, об институте и ещё о каких-то важных вещах. Наташа, слушая вполуха Маринкину болтовню, окунулась в прохладу голубого шёлка. Когда она вынырнула из неё, Маринка ахнула от восторга. Платье сидело просто изумительно, оно обтягивало фигуру Наташи вверху и, спадая вниз красивыми складками, колыхалось волнами вокруг стройных ног в белых босоножках на каблуке. Голубой шёлк так шёл к её глазам цвета морской волны и длинным локонам вьющихся золотых волос.

Когда Наташа с Мариной вошли в зал, их встретил шёпот восторга и зависти. Мальчики только сейчас узнали, что в их школе училась настоящая красавица, а девочки отметили и красивые глаза, и шикарные волосы, и стройные ноги бывшей Золушки. Одним словом, явление принцессы на бал прошло с триумфом. Не имеет смысла говорить, что все танцы были её, признания в любви тоже, а уж поцелуев на этом вечере было вообще не пересчитать.

В полночь все высыпали на улицу с цветами, воздушными шариками и отправились гулять по ночному городу. В наших широтах ночи короткие и белые, но они всё равно кончаются, и солнце восходит, невзирая на выпускные балы. Стайки выпускников уже оседали на ступеньках Плотинки, готовясь прокричать: «Прощай, школа! Здравствуй, жизнь!».

А на другой стороне набережной, на лестнице, усаживались выпускники военного училища. У них тоже был выпускной. И они уже, следуя незыблемым традициям своего училища, выбросили с пятого этажа казармы все магнитофоны, радиолы, телевизоры, с которыми прожили целых четыре года учёбы. Бывшие курсанты уже протаскивали свои полевые сумки по училищу, и при этом каждый старался тащить свою сумку по асфальту как можно более шумно. Они трижды прокричали на плацу «Ура!» и, маршируя перед начальником училища, кинули вверх монеты с годом выпуска. Они даже получили назначение в воинские части. Оставалось лишь прокричать

на Плотинке с первыми лучами солнца: «Прощай, шара! Здравствуй, армия», а потом угнать троллейбус и прокатиться на нём по городу. Последнее не удалось сделать ни одному поколению выпускников училища, но каждый год каждый выпуск упорно пытался это сделать.

Вот из-за горизонта показалось солнце. Его первые робкие лучи осветили бледное небо и слегка окрасили в розовый цвет редкие облачка. Бывшие школьники дружно прокричали: «Прощай, школа! Здравствуй, жизнь!». Им вторили курсанты своими молодыми командирскими голосами: «Прощай, шара! Здравствуй, армия!».

После этого стайки бывших школьников и курсантов разлетелись кто куда. Одни пошли домой спать, другие пить пиво к кому-то в гаражи, третьи угнать троллейбус.

А Маринка с Наташей двинулись домой. Ноги девушек гудели от долгого хождения на каблуках, и к тому же польские босоножки натёрли мозоли. И вот когда подруги устало брели по направлению к дому, у Наташи сломался каблук. Зажав в руке каблук и чертыхаясь, Наташа поскакала на одной ноге к ближайшей скамейке. На её счастье мимо проходили новоиспечённые офицеры, обсуждая детали угона троллейбуса. Один из них увидел прыгающую на одной ноге девушку с каблуком в руке.

Устав воинской службы предписывает офицеру оказывать посильную и непосильную помощь гражданскому населению. А такому гражданскому населению было даже приятно оказать её. А потому он просто подхватил ковыляющую девушку на руки, донёс её до скамейки и прибил каблук каким-то камнем, найденным тут же. После этого он бережно надел ей на ногу босоножку, аккуратно застегнув ремешок. А когда офицер, наконец, поднял голову, и его глаза встретились с глазами Наташи, Марина сразу же поняла, что она здесь больше не нужна. Но для очистки совести она всё-таки сказала Наташе:

— Я пошла домой.

Та рассеянно ответила:

— Да-да, конечно.

Марина так и не поняла, услышала ли её слова подруга или нет, а потому просто пошла по направлению к дому. С трудом дойдя до своей постели, девушка уснула, даже не раздеваясь. И проспала она часов шесть.

Она проспала бы и больше, но её разбудила Наташа. Она влетела в комнату, радостная и оживлённая, прямо с порога заявив:

— Сядь, а то упадёшь.

При этих словах Маринка окончательно проснулась и с интересом посмотрела на подругу. А Наташа, солнечно улыбаясь, поведала:

— Я замуж выхожу.

Маринка открыла рот от удивления. Впрочем, удивление её длилось недолго. Она почти сразу же закричала:

— Ты не можешь выйти замуж! Тебе ещё нет восемнадцати!

На что Наташа, солнечно улыбаясь, ответила: — Я знаю. А поэтому выйду в тот день, когда мне исполнится восемнадцать.

Маринка сообразила спросить:

— А за кого ты замуж собралась?

— За Костю, — как само собой разумеющееся проронила Наташа.

Маринка искренне удивилась:

— За Круглова, что ли, из 10-6?

Наташа махнула рукой и счастливо рассмеялась: — Да нет же. За того офицера, который мне вчера каблук чинил.

И Наташа мечтательно поведала Маринке, какой замечательный её Костя, как он приедет за ней через год и какая у них будет классная свадьба. А главное, жить они будут долго и счастливо, и у них будет четверо детей. Маринке удалось вклиниться в оживлённый монолог подруги с глупым вопросом: — А фамилия у этого замечательного Кости есть?

Наташка застыла с открытым ртом, не договорив последней фразы. Она с ужасом вспомнила, что не только не знает фамилию Кости, но ещё и адрес свой ему не дала. А проводил он её только до Маринкиного дома. И девушка залилась слезами. Слезы быстро перешли в рыдания. Маринка как человек практичный сразу вспомнила, что военное училище у них в городе одно и, стало быть, Костю найти не составит никакого труда.

Наташа подскочила на диване, размазала слёзы пополам с тушью по щекам и бросилась к выходу. Маринка, зная взбалмошность подруги, составила ей компанию. В конце концов, здесь нужен был хоть один здравомыслящий человек.

Так они и приехали к военному училищу. Там царил суета, молодые военные прощались с друзьями, получали деньги и документы и уезжали в аэропорты и на вокзалы. Искать человека в такой суете, всё равно, что пытаться найти иголку в стоге сена. Но им повезло. Первый же офицер, к которому они обратились, знал Костю. Правда, он же сообщил, что Костя уже уехал.

— Куда? — растерялась Наташа.

— В среднеазиатский погранотряд, — улыбаясь, ответил молоденький военный.

Наташа побледнела, потом покраснела, потом снова побледнела и залилась слезами. Маринка сказала обычную свою фразу (она всегда говорила её в таких случаях):

— Ворона ты, Наташка.

Новоиспечённый офицер, внимательно посмотрев на девушек, поинтересовался:

— Может быть, я могу чем-нибудь помочь?

— Нет, — зарыдала Наташа.

Но офицер как истинно военный не мог оставить плачущую девушку одну, а потому вместе с Маринкой проводил её до дома.

В августе Наташа поступила в Московский институт и уехала из нашего города. Студенческая жизнь быстро закрутила её, заставив позабыть о Косте.

Приехав домой в первые зимние каникулы, Наташа попала на свадьбу Маринки. Выходила она замуж, как нетрудно догадаться, за того самого молоденького офицера. Он приехал всего на три дня, и уже утром они улетали во Владивосток, а оттуда вертолётном до гарнизона. Наташа поздравила подругу и даже проводила её на самолёт. Так

разошлись их пути. Маринка моталась с мужем по военным городкам, родила четверых детей и осела в Москве женой офицера Генерального штаба.

Наташа же закончила институт, осталась на кафедре в Москве и домой почти не приезжала. Замуж она вышла ещё в институте за коренного москвича и быстро родила сына, а, спустя восемь лет, и дочь. С мужем они жили дружно, но недолго. В один прекрасный день он не пришёл с работы. Наташе позвонили из больницы и сообщили, что её муж умер от инфаркта. Так она осталась одна с двумя детьми. В родной город Наташа вернулась с началом перестройки, оставив квартиру в Москве сыну.

А что же Костя? В то утро он пришёл в училище с горящими счастливыми глазами, получил документы и сразу же уехал. У него давно уже были куплены билеты на самолёт до Днепропетровска, где его ждала мама. Всю дорогу он мечтал о Наташе, о свадьбе, о четырёх детях и других приятных вещах.

Всё это он выпалил маме сразу же, встретившись с ней в аэропорту. Мама почему-то не обрадовалась, а трезво спросила сына:

— А фамилию её ты знаешь?

— Нет

— Ну, адрес-то хоть записал?

— Нет.

— Горе ты моё луковое. Как же ты к ней приедешь?

Костя задумался. Конечно же, мама права, как всегда, но перед ним были глаза цвета морской волны, а в ушах звучал Наташин смех. И он решил, что всё равно найдёт её, как обещал, через год и женится. Мама — как женщина мудрая — рассудила: — Зачем же год ждать? Езжай сейчас.

Костя подивился маминой пронизательности и взял билет на ближайший рейс, т. е. на завтра. А ночью маму увезли в больницу с инсультом. Врачи боролись за её жизнь почти месяц, и весь месяц около неё просидел Костя, но болезнь победила. Похоронив мать, он уехал сразу же к месту службы.

Весной, получив отпуск, Костя первым делом поехал к Наташе. Адреса её Костя не знал, но хорошо помнил тот дом, куда он её проводил. Около этого дома он и караулил Наташу. Но безуспешно. Костя даже пытался узнать о ней у всезнающих старушек, вечно дежуривших около подъезда. Но все, кого они знали, были не его Наташа.

Может быть, если бы дома была Маринка, может быть, если бы Наташа училась не в Москве или была бы дома, то они бы встретились. Но ничего этого не случилось. И они не встретились. Костя уехал в свой погранотряд служить дальше. А вскоре женился. Его жена родила ему двоих сыновей. А потом, устав мотаться по гарнизонам, оставила его с детьми и укатила в Москву.

Так прошло время. И как это обычно бывает в нашей жизни, снова пришли чудесные июньские деньки. Снова выпускники мечтали завалиться где-нибудь на пляже, а не зубрить химию с биологией. И опять торжественные речи, слёзы, выпускные балы. И снова стайки выпускников слетаются на Плотинку, чтобы прокричать «Прощай, школа! Здравствуй, жизнь!».

Только летит в этой стайке в голубом шёлковом платье уже не Наташа, а её юная дочь. А её

постаревшая мать утирает слёзы и ждёт первых лучей солнца, чтобы снова услышать, как и много лет назад, юное приветствие взрослой жизни.

А в военном училище бывшие курсанты уже выбросили видики, телики, плееры с пятого этажа казармы. Ещё накануне они протасили свои полевые сумки по всей территории училища. И теперь молодые офицеры в парадной форме стоят на плацу, подогнув одно колено и держа фуражку в руках. Под коленом лежит бумажная сотня с написанным на ней напутствием будущим выпускникам, а в карманах брякают монеты, чьё достоинство равняется номеру выпуска.

Вот уже юные офицеры идут ровным задорным строем мимо трибун, и каждое проходящее подразделение бросает вверх монеты и кричит «Ура!» молодыми командирскими голосами. В этом строю, чётко печатая шаг, идёт сын Кости, и его молодой голос звучит так же звонко и чисто, как звучал голос его отца много лет тому назад.

С рассветом стайки новоиспечённых офицеров осели на ступеньках Плотинки.

Они прокричали с первыми лучами солнца: «Прощай, шара! Здравствуй, армия!», а с другого берега им дружно ответили: «Прощай, школа! Здравствуй, жизнь!».

Откричавшись, выпускники разбрелись, кто куда. Курсанты пошли угонять троллейбус в надежде, что у них это точно получится.

По набережной шёл немолодой уже военный с сыном. Его сын вместе со своими однокурсниками только что прокричал приветствие армии, но угонять троллейбус не пошёл. Он слушал историю про девушку с глазами цвета морской волны, сломавшую на этом самом месте каблук много лет тому назад.

А навстречу им шла по набережной немолодая полноватая женщина с юной девушкой. Она рассказывала своей дочери, как на этом самом месте много лет назад она сломала каблук и как молодой зелёный ещё офицер донёс её на руках до скамейки.

И надо же было случиться такому: у обеих женщин сломались каблуки. Они одновременно вскрикнули, чертыхнулись и заковыляли к ближайшей скамейке.

Увидев их, офицер вздрогнул, и сердце его больно заныло, а потом застучало часто-часто. Он побежал к немолодой женщине. Добежав, задышавшись, он с испугом и надеждой взглянул ей в лицо. Конечно же, он сразу узнал Наташу, хотя не было у неё ни золотых локонов, ни стройных ног. А она узнала своего Костю в этом постаревшем и польсёвшем человеке. Так они стояли и смотрели друг на друга. По лицу Наташи катились слёзы, а в руке она сжимала свой сломанный каблук. Они увидели свою жизнь такой, какой она могла бы быть.

Ни он, ни она даже не заметили как молодой военный, сын Кости, подхватил на руки девушку с оторванным каблуком, донёс её до скамейки, прибил каблук найденным поблизости камнем. Они не видели и того, как молодые люди, взявшись за руки, пошли по набережной: стройный молодой офицер и юная девушка в голубом платье.



Андрей Дёмкин Твои руки

117

Андрей Дёмкин
Твои руки

Однажды, по дороге домой, я задумался о том, что для меня важно в мире вокруг меня.

В том самом мире, что появляется лишь там, куда упадёт мой взгляд. Мир этот словно не существует до того, как моё внимание выхватит его из небытия, словно луч прожектора, вскользь рождающий плоть из тьмы. Грань между внешним — «их» миром и внутренним — «моим» миром парит вокруг меня в воздухе, скорее всего где-то в полуметре от моего тела. К сожалению, внешний мир не так велик, как мир внутренний. Можно подумать, что мир внутри меня почти безбрежен. Во всяком случае, я никогда не мог даже представить себе, где он заканчивается. Я могу видеть лишь его наружную границу с внешним миром, край которого, в лучшем случае, простирается до горизонта, что составляет всего-то около девятнадцати километров. И по правде сказать — наблюдать этот край света можно только на море в хорошую ясную погоду. Чаше же всего, мир внешний заканчивается гораздо ближе. Например, на штукатурке или зеркальном стекле дома на другой стороне улицы, или вообще упирается в цветную подложку на экране за спиной телеведущего.

Внешний мир предсказуем и обычен. Чтобы разнообразить его, приходится проделывать много всевозможных штук: куда-то идти, встречаться с кем-то и что-то постоянно делать. И признаться, я не вижу в большинстве этих дел какого-то особого смысла, кроме навязанной кем-то со стороны обязательной рутинки. А интереснее всего мир меняется за окном чего-нибудь движущегося — будь это автомобиль, поезд, корабль или самолёт. Но, в любом случае, внешний мир — это лишь лента с картинками, которая скользит под моим взглядом.

Внутренний мир — совершенно другое дело. Чтобы путешествовать там, не надо тратить так много усилий. В моём собственном мире можно одновременно находиться в совершенно различных местах. И что самое удивительное, мой внутренний мир в одно мгновение может расширяться или свернуться. А ещё он может слиться с чьим-то другим миром. И что удивительнее удивительного — для этого даже совсем не обязательно встречаться с обладателем этого мира в своём внешнем мире. Да и вообще не обязательно знать этого человека.

Хотя... Мне всегда хотелось кое-кого найти. Я никогда не знал, кто она и где живёт. И вообще существует ли на самом деле...

Я не могу сказать, что видел когда-нибудь её лицо. Скорее я просто чувствовал её. Я не был

уверен, как она на самом деле выглядит. Во множестве лиц внешнего мира я видел лишь отдельные её черты. Это как гигантская мозаика-головоломка, которую совершенно невозможно собрать воедино. Там — промелькнул знакомый слегка восточный овал лица. Вчера мне приснились её длинные тёмные волосы. А завтра мне покажется знакомым чей-то озорной быстрый взгляд. Но, не более того. Сколько раз я пытался найти недостающее, но всё тщетно. Внутри себя я был уверен, что эти мимолётные случайные намёки — лишь опавшие пёрышки, принадлежащие совсем разным пташкам, а не той, встречи с которой я так ждал.

Иногда я пытался уговаривать себя, что вновь встреченный человек и есть — тот самый... Я старательно пририсовывал к реальности недостающие черты, словно ребёнок балуется с фломастером на глянцевой фотографии. Однако при первом же движении мои добавления, словно высохшая глиняная маска, трескались, разваливались и осыпались на землю, не оставляя мне никаких надежд и иллюзий.

Глядя вокруг, я вдруг понял, как много людей пытаются примирить свою внутреннюю жизнь с реальным миром. Кто-то, в конце концов, сдаётся и довольствуется лишь намёком на свою мечту. Другой, боясь упустить важное, выписывает что-то на бумажку и тщательно сравнивает очередной объект с записными пунктами. Список обязательных примет со временем всё растёт. А бумага с записями изнашивается и ветшает вместе с волосами, кожей, взглядом и душой.

Я, признаться, и сам уже почти отчаялся. Но в запасе всегда оставался другой испытанный прежде путь: можно было завертеться во внешнем мире настолько быстро, что мелькающих вокруг тебя лиц будет уже совсем не различить. А если не привязываться к кому-то конкретно, то уже и не надо будет тратить душевных сил. И тогда, постепенно, внутренний мир начнёт сжиматься, сокращаться почти до размера твоего тела. И не останется безбрежных просторов, бескрайнего неба и бездонных глубин. Всё будет просто: ты — это только твоё тело, только то, что ты делаешь во внешнем мире. Так гораздо проще. Постепенно исчезает лёгкость и воздушность внутри тебя. Пропадает что-то, что постоянно двигало тебя вперёд, заставляло творить и создавать. Зачем теперь всё это? Для кого? Если ты — просто твоё тело, то управиться с ним гораздо проще. И твой внутренний взор постепенно перестаёт быть внутренним. Он потихоньку выползает наружу и постепенно сливается с обычным простым зрением.

И не удивительно, что однажды ты обнаруживаешь, что совсем не в состоянии заглянуть внутрь себя, в свой собственный внутренний мир. То, что раньше получалось легко и непринуждённо, вдруг станет совершенно недоступным. И тут ты почувствуешь, почему невозможно жить лишь снаружи от себя. Ты понимаешь, что существует огромная разница между тобой самим и твоим представлением во внешнем мире. И тебе совершенно необходимо хоть ненадолго вернуться внутрь себя, прогуляться по своим бескрайним просторам, побывать в важных для тебя местах и увидеть тех, кто тебе был так дорог там. . . Это нужно для того, чтобы просто оставаться самим собой.

Но вполне может оказаться, что попасть в свой собственный внутренний мир уже почти невозможно. Теперь туда ведёт лишь узкая тропинка. Почти нехоженая тропка, которая с каждым днём зарастает всё сильнее. И совсем скоро лишь размытые, как акварель под каплями воды, воспоминания будут напоминать о когда-то пролежавшем здесь пути.

Может оказаться, что кто-то подскажет тебе, как можно вернуться внутрь себя хоть на мгновение. Совершенно верный и испытанный способ. Он может плескаться в склянке, может куриться приторно-сладковатым дымком или разливаться по венам. И ты уже готов рискнуть, чтобы хоть на мгновение взглянуть на то, что давало тебе силы раньше и наполняло твою жизнь.

Поначалу, кажется, что всё просто: поток захватывает тебя, и ты несёшься, не запоминая пути обратно. В одно мгновение ты можешь оказаться там, где желал. Казалось, без всяких усилий с твоей стороны. И ты начинаешь думать о том, какой смысл в том старом привычном пути, если всё можно получить так быстро и сразу. И только потом ты замечаешь, что тот старый внутренний бескрайний мир отделён от тебя какой-то прозрачной стеной. Когда ты поймёшь это, ты, конечно, бросишься к ней и начнёшь колотить в неё, бить её ногами и всем прочим, что попадёт под руку. Потом неожиданно вдруг налетит мощный порыв чёрного ветра, и через мгновение ты, сломленный его силой, рухнешь на землю совершенно измождённый там — в прежней реальной жизни, оторванный от себя настоящего. О том, что будет дальше, — не хочется и думать.

Возможно, так бы оно и было, если бы однажды я не почувствовал тебя. Это был совершенно обычный день, когда я был, кажется, не совсем здоров и просто сидел дома. Я совершенно не планировал оставаться в этот день дома, но подскокившая температура и головная боль заставили забросить свои обыденные дела. Почему-то я надел чистую белую рубашку и в довершение всего нацепил поверх жилет от костюма. Брюки и штiblеты

тоже не остались без внимания. Странное поведение для простудившегося человека, не правда ли? Да, возможно, виновата в этом была высокая температура.

Я подошёл к входной двери в тот самый момент, когда зазвонил дверной колокольчик. Странно, но мне кажется, что я протянул руку к дверной ручке заранее — ещё за долю секунды до того, как медный колокольчик расплескал свои первые волны.

Угол двери ещё описывал свою пологую дугу над плитками пола, а я уже понял, что смог почти полностью погрузиться в глубину своего внутреннего мира. Я забыл, что я стою на полу, что вокруг меня стены, да и вообще, что я человек. Я не знал, кого я увижу за открывающейся дверью, но мой внутренний мир уже изменился. Краски стали яркими, как на первых детских игрушках, откуда-то появилось цветочным ароматом, сменяемым дуновением свежего морского бриза. Мой внутренний мир неожиданно расширился, открывая совершенно новый и незнакомый для меня путь вперёд. Я уже успел заметить, что там, впереди, за покатым склоном знакомого цветущего луга, появилась новая жемчужная полоска моря. Я пошёл вперёд, погружаясь всё глубже в море полевых цветов, и увидел совершенно новые, незнакомые мне до того горизонты. Дойдя до края поля, я остановился у цветущего куста жасмина и протянул руку, чтобы раздвинуть ветви.

Взмахом крыла волна мягкого тепла накрыла мою руку. Следующая волна захлестнула меня с головой и понесла куда-то прочь. Точнее — она унесла всю тяжесть, все печали и заботы, весь груз моей прошлой не слишком весёлой жизни. Через мгновение, я понял, что вся короста времени, навязавшая на мне, как ракушки на днище старого корабля, растрескалась и облетела под мощными ударами этих сильных удивительных волн тепла.

Моя рука держала твою руку. Ещё не поднимая глаз, я уже знал, кого я увижу через мгновение. Клянусь, я мог бы специально крепко зажмуриться и рассказать тебе, как прекрасны твои длинные слегка вьющиеся волосы. Я мог бы рассказать тебе, как прекрасно глубоки тёмные оливки твоих прекрасных глаз. И как бесконечно красива твоя улыбка.

Я уже мог не слушать твой рассказ о том, как ты случайно решила остановиться у моего дома, чтобы спросить дорогу. Мне уже не надо было ничего другого. Мой внутренний мир в одно мгновение обрёл равновесие, слившись с твоим миром, которого так мне не хватало. Твоя рука распахнула запёртую дверь внутри меня. И теперь в одно мгновение я мог охватить взглядом всю свою жизнь от самого начала до самого конца.

И я твёрдо знал, что последнее, что навсегда проводит меня когда-нибудь в глубины моего собственного мира, будет тепло твоих рук.



Наталья Анзигитова Всё как у людей

119

Наталья Анзигитова
Всё как у людей

Диванчик

Вещи мы собрали ещё с вечера. Рано утром Сергей заправил бензин и масло в бачок моторной лодки, а я вскипятила чайник и приготовила омлет из яичного порошка. Наскоро позавтракав, мы отправились на реку мыть посуду.

Приречный луг благоухает мёдом, заливается овсянка-дубровник, мир и покой. Зелень тайги на том берегу постепенно переходит в синеву, растворяясь вдаль. Июнь здесь, в Сибири,—ещё весна. Только что отгремели первые грозы, дав старт цветам и травам. Молодой лист душист и терпок. Птицы поют, как заведённые. Северное лето коротко. Всё торопится в рост, в цвет, в гнездо, успеть дать потомство. Природа мудра, она одинаково оделяет своих детей, где бы они ни жили. Пусть здесь мало тепла, зато свет в избытке. И день, и ночь можно петь, цвести, наливаясь соком.

Мы тоже рады светлым ночам. Экспедиция длится столько же, сколько навигация. Многого нужно успеть—отоспимся в Москве. Работаем группами по два-три человека. Мы с Сергеем вдвоём. Первый цикл работ завершён. Сегодня возвращаемся на базу. Три-четыре дня на анализ и обсуждения и снова разъедемся. Пока всё идёт по графику. Главное, с погодой везёт, тьфу-тьфу, чтобы не сглазить.

Если смотреть сверху—не река, а зеркало. Баланное, конечно, сравнение, но чистая правда. А бережок, мягко говоря, высококат. Я оступилась, выронила кастрюльку и, если бы не Сергей, последовала бы за ней на пятой точке. Муж отобрал у меня оставшееся, и остаток пути я проделала, вцепившись в его плечо.

Вот, наконец, и вода. Мисками и ложками мы тревожим стайку шаловливых рыбок. Отыскав беглую кастрюльку, я скребла её песком и не сразу заметила появление нового звука в звенящей птицами тишине. Такой низкий гул, будто идёт очень большая самоходка. Но никаких судов на горизонте. А гул, между тем, приближается, причём подозрительно быстро.

—Смотри!—Сергей схватил меня за руку. Бирюзовая гладь реки выше по течению сделалась чёрной. Граница черноты стремительно неслась к нам.

—Быстро вверх!—скомандовал Сергей. Я начала было собирать ложки-плошки, но он крикнул «брось!» и мы, промчавшись по отмели, полезли по крутизне. Ну, кто же придумал такие высокие берега! Фу, наконец-то... Теперь бегом через поляну к бараку! Упругая волна воздуха ударила меня, швырнула на Сергея. С трудом устояв на ногах, мы добрались до двери и вдвоём еле открыли её... Рёв ветра, треск вырываемых с корнем деревьев, полёт

оторванных с крыши листов шифера—стихия, хаос. Вот тебе и на!

Мы обалдело смотрели в окно. Хорошо хоть стёкла не выбило! Первый страшный порыв прошёл, теперь это был просто хороший штормовой ветрюга. Начался ливень. Переезд на базу определённо откладывался до лучших времён. Я уселась за полевой дневник, Сергей—за карту, намечать будущие маршруты. Так прошло полдня. Дождь не стихал, ветер тоже.

Все продукты упакованы, а кушать, однако, хочется. Так, что тут у нас есть поближе? Сухое молоко, макаронные изделия... сойдёт! Сварю-ка молочную лапшу. Отсыпав сухого молока и плеснув в него воды, я задумчиво водила в месиве ложкой, глядя в окно. Реки отсюда не видно, но и без того ясно, что вода в ней кипит белыми «барашками». Над угором появилась голова—кто-то поднимался от реки. Вот уже вырос в полный рост, одной рукой держит маленького ребёнка, другой—чемоданчик, тоже маленький. На ребёнке синий комбинезончик. Стоп! Откуда они тут взялись, в бурю, посреди тайги, в таком виде? Будто на автовокзал приехали!

—Серёжа, к нам гости.

Муж оторвался от карты и непонимающе уставился на меня.

Войдя в барак, человек откинул капюшон плаща и, устало опустившись на нары, сказал малышу: —Ну вот, Митька, здесь и переждём. Не возражаешь, Сергей Петрович?—это уже мужу.

—Вы меня знаете?—Сергей достал сигареты и протянул гостю.

—Кто же не знает начальника экспедиции Сергея Журавлёва? Читали про вас в «Сибиряке». Фотографию вашу с Леной видели.

Ага, муж—Сергей Петрович, а я, как всегда, просто Лена. Между прочим, я на полгода старше. Недавно вообще смех был. Подплыли на лодке к теплоходу хлеба купить. Тётка-буфетчица как увидела у меня на руке кольцо, так и ахнула: «Как же тебя такую молоденькую мама замуж отдала!» Это в мои-то двадцать восемь. Ну, никак не выходит солидности нагулять. Хотя, вообще-то грех сетовать.

Гость, наконец, представился:

—Я из Горетово, директор школы, Виктор Анисимов. Не слышали?

Что ж, будем знакомы, Виктор. Чего это тебя понесла нелёгкая в непогоду, да ещё с дитём малым? Ну, ни черта эти мужики не соображают! А жена-то куда смотрит! В отпуск она, что ли, уехала? Решительно отбираю младенца у родителя.

Снаружи Митька весь мокрый от речной волны. Внутри... ну, внутри, естественно, тоже мокрый. Так, тёплая вода, условно чистый вкладыш от спальника, и вот уже завернутый Митька упоённо причмокивает молоком, которое я так кстати развела к их появлению.

— Ловко вы с ним управляетесь! — одобрил гость. — Своих-то, поди, нет ещё?

— Свои на будущий год уже в школу пойдут.

Показываю на прикнопленную к стене фотографию Машки и Дашки.

Кстати, я же чуть не забыла её здесь. Мамаша называется!

— Ух ты, близняшки! — восхитился гость. — И уже шесть лет! А я-то думал, вы ещё девочка.

То-то же! Я раздуваюсь от гордости.

— А Митьке десять месяцев. Аккурат сегодня стукнуло. Ну, ничего, и он вырастет, — почему-то вдруг посуровел Виктор. Может, показалось?

Заводим обычный разговор случайных знакомых. Долго ли плыли из Горетово? Часа три. Когда выезжали, ещё тихо было? Нет, первый шквал уже прошёл. А лодка какая? «Казанка». Я холодею. В такую погоду и на «Прогрессе»-то мало кто поплывёт даже в случае крайней нужды, а на лёгкой «Казанке» перевернуться и вовсе ничего не стоит, её же швыряет, как щепку.

— Как же вы Митьку везли?

— Посадил рядом, укрыл плащом. Но как только первая волна ударила, он встал, колени мои обхватил, лицом в них уткнулся и всё время так простоял.

Что-о?! Простоял?! В этой чёртовой «Казанке» и усидеть-то взрослому человеку в волну трудно. А тут дитё десятимесячное! Простояло!! Три часа!! Со смесью ужаса и восхищениязираю на грудь спальников, где сладко улыбается во сне героическая кроха.

— Ну, я одной рукой — за румпель, а второй его придерживал. Он то на ногах стоял, то на коленках. А сюда подбегали, смотрю, немоготу ему. Вот и остановился...

Дальше выясняется, что по пути они перегнали почтовый катер. Скоро он будет здесь. Виктор предлагает не дожидаться погоды, а плыть на почтовом. Что ж, это мысль. Надо только его не пропустить!

— Пойду, гляну, — Виктор выходит за дверь. Сила ветра такая, что ему не сразу удаётся её открыть. — Серёж, а если он догнал почтовый, что ж он не поплыл на нём дальше?

Муж поднял от карты отсутствующее лицо.

— Что, Лен? На почтовом? Кто его знает... а вообще, действительно странно. Знаешь, похоже, у него что-то стряслось. Больно уж торопится. Но раз сам не говорит... — и Сергей снова уткнулся в карту.

Возвращается Виктор с известием, что почтовый уже появился на горизонте. Начинается лёгкая суэта — выносятся вещи, грузятся в «Прогресс». Когда почтовый уже близко, Сергей стреляет из ракетницы. Катер подходит по возможности ближе к берегу, разворачивается носом против ветра и сбавляет обороты. Теперь самое трудное — подплыть

на лодке и выгрузиться. Ох, как бьёт лодку о борт катера! Ой, лучше не смотреть! Фу, кажется обошлось... Вторым рейсом «Прогресс» забирает меня с Митькой и подтаскивает к катеру викторову «Казанку» — её мотор залит водой и не заводится. Сильные руки подхватывают меня, выдёргивая из лодки на палубу катера. Снизу передают малыша. У перепуганного Митьки сосредоточенное лицо. Он сопит и крепко хватается за меня ручонками. Интересно, он вообще плачет хоть когда-нибудь?

Обе лодки привязывают под борт. Катер прибавляет обороты, разворачивается и отходит от берега. Всё, поехали!

В кубрике почтового нас ждёт крепкий чай, крупно нарезанный хлеб, солёная рыба. Красота! Усаживаемся, соловеем в тепле... Катер качается как колыбель, спит Митька, чинно течёт солидный мужской разговор о рыболовных снастях и лодочных моторах. Не то чтобы я не могла его поддержать, но уклад здешней жизни, в общем, не предусматривает моё в нём участие. Да и жарко уже стало от гудящей печурки, на которой без конца подогревают чайник. Дождь вроде кончился, и вообще потише стало. Пойду-ка на ветерок.

Перегнувшись через борт, смотрю, как нос катера режет волны на две упругие серебряные ленты. Они разлетаются в стороны, кудрявятся пеной и рассыпаются брызгами. Почему огонь и вода так притягивают взгляд? Бесконечно можно смотреть. И как бы мудреешь, понимаешь что-то, что нельзя объяснить словом. Говорят, память предков, генетическая память... А что это такое? Как оно работает?

— Вот как, Лена, в жизни бывает, — я чуть не кувыркнулась за борт от неожиданности, но Виктор этого не заметил, он тоже смотрел на воду. — Вот как бывает. Три года мы с ней нормально жили. Я для неё всё делал, а она, паскуда, с заезжим молодцом на диванчике... в зале у нас стоял синенький такой диванчик в цветочек... в спальню-то вести видно постеснялась, а тут вот на диванчике... Я тогда невожидно с мужиками ездил на всю ночь. Возвращаюсь утром — спит на диванчике. На столе бутылка, закуска засохшая... Чегой-то, говорю... Она как вскочит, забежала, ой, прости, Витенька, подруги заходили, заснула, прибраться не успела. А у самой губы вспухшие. У ней подруги — Зинка с пекарни, да Людка с магазина. Людка за товаром уезжала. А Зинка, та, правда, заходила, соседи мне потом сказали, и ещё двое к ним пришли, строители. А потом Зинка с одним ушла, а эти остались... на диванчике... Да я тебе его сейчас покажу.

Из внутреннего кармана пиджака появляется фотография. С фотографии улыбается очаровательная брюнетка с ямочками на щеках.

— Кто это?

— Да я ж тебе говорю, это тот самый диванчик.

— А на диванчике кто?

— Это она... так вот ты видишь, вот он диванчик-то, на нём всё и происходило.

Сочувственно качаю головой и двигаюсь в сторону кубрика. Виктор не отстаёт. В кубрике нет никого, кроме спящего Митьки, — Сергея как почётного гостя позвали на капитанский

мостик—соучаствовать в ведении судна по бурным водам.

— И ладно бы ещё я её честную взял, так она ж ещё в девятом классе путаться начала. Деревня—не скроешь ведь ничего. Я ж её, подлюгу, из грязи вытащил, учиться на курсы послал, секретаршей в сельсовет устроил, она ж мне по гроб жизни благодарна быть должна! Отблагодарила!.. на диванчике.

Виктор скрипнул зубами и выругался. Я мысленно его извинила.

— Она тогда, дрянь, после первого разу-то такой лапши мне на уши навешала—рукой махнул. Ладно. Забыто. Живём дальше. Даже диванчик, дурак, отремонтировал. Обивка-то на нём потёрлась уже. Так перетянул. Зелёнький сделал в клеточку. Здесь на фотографии-то он ещё в цветочек? А нет, уже в клеточку. Ну вот, живём. Поехал я в отпуск к матери. Они не ладят, один поехал. Возвращаюсь, соседи говорят, опять тут этот пасся. На зелёньком уже, стало быть. Ну, я ей: так мол и так, всё мне известно. Она, курва, в ноги мне повалилась и опять за своё: он-де меня принудил и пригрозил тебе рассказать, что я сама... а я и испугалась. Прости, мол, Витенька, в жизни больше никому не дам до себя пальцем коснуться, кроме тебя.

Пацана я тогда пожалел, пацан у нас был уже. А диванчик сжёт. В огород вынес и сжёт. Верить-нет, не мог я на него смотреть больше. Так она, гадина, сама выносить помогала, в балок сбегала, канистру солярки принесла. Сгорел диванчик. И картошка в огороде сгорела. Снова живём. Смотрю, зачастила она на почту. А этого... который с ней... на диванчике... в посёлке уже не было, уехал. Ну, я туда сходил, с кем надо поговорил, заплатил, конечно—а как же? И через некоторое время отдают мне письмо—её письмо. Вот оно, читай. Что, темно здесь?

Так он истолковывает мой, выраженный мимикой и жестом протест против столь недостойного занятия, как чтение чужих писем.

— Тогда я сам тебе прочту.

Нет уж, только не это. Беру листок. Стараюсь не читать, но глаза против воли выхватывают обрывки фраз: «Игорёк, любимый... живу воспоминаниями... сердце замирает... а если думаешь, что боюсь мужа, то не боюсь».

Ура, Сергей возвращается, я спасена. Отдаю письмо, качая головой, развожу руками. Нет, оказывается, муж—только за сигаретами. Мы с Виктором опять вдвоём. Продолжаются мои мученья. — Я ей ничего не сказал. Утром—она спала ещё, у неё зуб ночью болел, под утро только заснула—Митьку одел, дверь снаружи на проволоку закрутил и в лодку. Всё! Бывай здорова, вспоминай свой диванчик!

— Куда же вы теперь?

— В Тын, а там—на самолёт и в Новосибирск. У меня мать в Новосибирской области. Свой дом. Оттуда уже в Горетово телеграмму отобью, чтобы расчёт выслали, и на развод подам. Разведут без звука. Я в Горетово большой человек, директор школы, а она—тьфу. Пока нас разыщет, дело сделано будет. Попомнит у меня диванчик!

— Митьку жалко, как же без матери...

— Она, что, мать? Истаскалась вся. Нужна она ему, такая! Я своей-то матери ещё раньше написал про её фокусы. Она мне так ответила: приезжай, Витя, не сомневайся, работа тебе найдётся, и мальчика без твоей шалавы подыдем. Сразу надо было ехать, а я ещё надеялся на что-то. Мать-то моя сразу всё поняла. Она у меня с пониманием. Митьке с ней хорошо будет. Здоровье у неё ещё есть. Вырастим парня.

— Как же вы на новое место, в чём есть, без вещей?

— Вещи—дело наживное. Вот глянь-ка...

Виктор открыл свой чемоданчик. Я так и ахнула! Полон собольих шкурок! Тёмных и посветлее, блестящих, пушистых, волосок к волоску. Никогда не видела столько соболей сразу—здесь не принято хвастать соболиным фартом.

— Осенью на охоту сходил, белок сдал, а этих ей на подарок оставил. Она про них и не знает. Вот когда пригодились. Знаешь, здесь на сколько? Хватит и вещи купить, и на жизнь на первое время. Митька нужды знать не будет.

Вернулись Сергей с механиком. Проснувшийся от мужских голосов Митька потянулся ко мне и с нежной внятностью, присущей совсем маленьким детям, произнёс: «Мама». Я глупо просияла, беря его на руки, и смущённо оглянулась.

— Вот-вот, ничего, он быстро её забудет,—мстительно сверкнул глазами Виктор.

— К Уманску подходим,—сообщил механик.

Я оставила Митьку и выскочила на палубу. Стоящий на стрелке двух рек Уманск наплывал, разрастаясь, как в сферическом зеркале. Вдоль берега сновали лодки. Одна явно направлялась к нам. Механик прищурился:

— Кому это там неймётся? Пристанем же сейчас—так нет, лезут прямо под киль! Да это никак Кучеренко! Стряслось чего, что ли?

С лодки на палубу поднялся человек. Что-то сказал капитану, потом Виктору. Вдвоём с Виктором они спустились в кубрик. Я сунулась было туда же, но Сергей поймал меня за рукав.

— Так подъезжаем уже, Серёжа, выходить будем, надо Митьку одеть и вообще...

— Не беспокойтесь, мамаша, без вас справятся.

— А, ну да... Серёж, а кто это к нам подъехал?

— Семён Кучеренко, уманский участковый.

Скоро они появились—Виктор с чемоданчиком и участковый с Митькой. Виктор шагнул к нам. Глаза его были прищурены, губы кривились.

— Эта тварь, оказывается, уже по всем посёлкам радиogramмы разослала. Везде меня встречают, и здесь, и в Тыне. Ребёнка я у ней украл, видите ли. Я—отец этому ребёнку! Но ничего, мы ещё посмотрим, чья возьмёт!

Участковый с Митькой сел в лодку. Отвязали викторову «Казанку», после нескольких попыток Виктор завёл мотор. Они уехали. Катер пошёл к пристани.

Через час Уманск уже медленно уходил за поворот реки. Стояли мало—из-за шторма катер вышел из графика. Сергей обнял меня за плечи:

— Иди вниз, Ленка, хватит на палубе торчать, протудишься.

Мы ехали дальше, в Тын, там базировалась экспедиция. Рано утром будем на месте.

А вечером следующего дня в дверь нашего тынского жилища постучали. На пороге—Виктор. С Митькой и чемоданчиком.

— ???

— А я тебе что говорил,—возбуждённо сверкал он глазами,—говорил, по-моему выйдет, вот оно и вышло! Что ж, участковый не мужик, что ли, не понимает? Посидели мы с ним, выпили. Я как порассказал про художества этой шлюхи, он и говорит: «Ладно, Виктор, я тебя не видел. В шторм ты прошёл, на лодке, другим берегом». И своим сюда по радиации сообщил, ну словом, чтоб они меня... тоже... не заметили. Всё, рейс у меня через сорок минут. Не достанет она нас больше, пусть теперь локти кусает да диванчик вспоминает! Летим с Митькой в новую жизнь. Попрощаться зашёл. Не поминай лихом! А это вот тебе на память.

Из заветного чемоданчика возникает меховое чудо, тёмно-коричневое с проседью, с искрой, как здесь говорят. Как же давно мне хотелось соболью шапку! Но Сергей и слышать не хотел купить шкурку у охотников:

— Ты прекрасно знаешь, что это не-за-кон-но!

— Но ведь все так делают, и у всех жёны в шапках,—ныла я.

— Приедем в Москву, купишь в магазине.

— Ну да, втридорога! Что нам, деньги девать некуда?

— Значит, пока в вязаной походишь.

Вот и весь сказ.

Пушистая мечта нежно ласкает мне руки. Я набрасываю её Митьке на шею, связываю узлом лапы и хвост.

— Ё-ы,—радуется Митька и пускает пузыри на драгоценный мех.

— Спасибо, Виктор, но это слишком дорогой сувенир. Я не могу взять, извини.

Они уходят. Черёмуховый цвет за окном берedit душу манящим ароматом.

Хрустальные сине-золотые дни начала сентября. Работа почти закончена. Скоро в Москву. Каждый раз в конце сезона мне немного грустно. Не то, чтобы домой не хотелось, совсем нет, наоборот, жду не дождусь схватить в охапку Машку-Дашку и расцеловать любимые мордашки (во, прямо стихи!). Но всё-таки, всё-таки...

Уж больно шалым цветом расцветает тайга, больно щемящим ароматом наливается воздух, больно звучной становится тишина и шумы-шорохи в ней...

У реки солнце припекало почти по-летнему.

— Ле-е-на-а!—от стоящей поодаль самоходки ко мне бежал человек.

— Смотрю, девушка гуляет, в бинокль глянул, а это ты. Здорово!

— Виктор! Вот это да! Какими судьбами?

— За оборудованием приехал. Оборудование пришло для горетовской школы. Сегодня погрузили, завтра с утра двинемся. Самоходку-то видишь госпромхозовскую? Вот на ней.

— Так ты по-прежнему в Горетово?

— Ну. Оборудование вот получил. Прошлый год ещё заказывал, только пришло. Вы-то как? Сергей здесь?

— Здесь Сергей, в конторе. Всё нормально у нас. Сезон закончили, домой собираемся. А где Митька?

— Митька молодцом. В ясли ходит, говорить начал. Растёт пацан.

— А что жена?..

— Да живу я с ней,—он махнул рукой и неожиданно просиял улыбкой, на миг затмившей блеск предзакатного солнца.

Всё как у людей

Этим летом Маня с семьёй жила в деревне. Нельзя сказать, чтобы ей там сразу понравилось: удобства на улице, вечно мокрая трава, непривычные запахи и странные звуки старого дома, который вздыхал и постанывал по ночам. Сухой треск крыльев мошкар, вьющейся вечерами под оранжевым абажуром, раздражал, вызывая желание прихлопнуть. Утомлял почти несмолкаемый ор соловья, такой громкий, будто тот засовывал голову прямо в форточку. Маня пыталась его выследить, но куст сирени был густым, а птаха—осторожной. И вообще, она скучала, потому что Василию здешняя жизнь наоборот сразу пришлась по вкусу. Он перезнакомился с соседями и частенько пропадал из дому. К тому же в реке водилась рыба, а в лесу и в поле дичь. Вечерами Василий похаживал на охоту или присоединялся к местным рыбакам.

— Что за радость—часами паяться на поплавок? И почему я всё время должна сидеть одна!—ворчала Маня.

— Охота пуще неволи, Мусенька,—оправдывался Василий.—Потом, ты ведь не одна, а с Ксюшкой. Кстати, парное мясо и свежая рыба ребёнку на пользу. Да ты и сама не отказываешься. А если скучно, пошла бы, вон, хоть с соседками поболтала. — О чём мне с ними разговаривать! Вряд ли у нас найдутся общие темы.

— А ты попробуй. Вот по диагонали от нас живёт вполне симпатичная...

— Кто? Эта коротконогая толстуха?

— Ты красива, но не унижай других.

— А что это ты её так защищаешь,—щурилась Маня,—Ещё и симпатичная, видите ли! Это не к ней ли ты захаживаешь вечерами, м-м?

Наверно, это глупо, и пусть лучше он не догадывается, но она ревновала. В самом деле, она ведь не знает его здешних друзей. Может, среди них и подружки имеются?

— Да, будет тебе,—пытался предотвратить ссору Василий.

Но Маня уже завелась:

— И потом, как ты справедливо подметил, я не одна, а с ребёнком и помню об этом в отличие от некоторых, которые совсем забросили родное дитя. Забыл, что случилось в день приезда?

Тогда они все втроём пошли прогуляться по деревне и едва свернули на соседнюю улицу, как на них с лаем набросился огромный ротвейлер. Заслонив жену и дочь, Василий бросил им: «Осторожно уходите»,—а сам приготовился задержать

пса, если тот вздумает кинуться следом. Пёс с лаем скакал вокруг, но схватить не решался, а Василий всё время поворачивался к нему лицом и смотрел в глаза. К счастью, довольно быстро на лай выскочил хозяин и затащил собаку во двор. Возмутительно, выпускать таких псов без поводка и намордника! На улице гуляют дети! И что характерно, этот хам даже не извинился.

Под впечатлением происшедшего Ксюшка сочинила песенку:

Мой папа самый сильный,
Мой папа самый смелый,
Мой папа всех на свете победит.
Мой папа самый умный,
Весёлый и умелый,
И с ним не страшен никакой бандит.

И частенько распевала её к вящему удовольствию Василия.

После того случая у Мани пропало желание ходить гулять. По утрам хозяева дома, где они жили, на старенькой «Ниве» уезжали на работу в город, Василий, отдохнув после завтрака, отправлялся на поиски приключений, а Маня играла с Ксюшкой, бродила по саду или проводила время в уютном кресле-качалке на террасе. Вот и все развлечения.

В тот день после сытного обеда её потянуло в сон, но на улице так оралы куры, что заснуть было просто невозможно. Маня решила посмотреть, что там у них стряслось. Но стоило ей показаться за калиткой, куры утомонились и принялись чинно рыться в пыли. Сидя на обязательной деревенской скамейке возле калитки и глаза на кур, она задумалась.

— Добрый день, Манечка! — раздался совсем рядом мурлыкающий голос. На скамейку подсел Борис, сосед из дома напротив. Очень, надо сказать, приветливый сосед. Маня частенько перебрасывалась с ним парой слов. Ей нравилось, что он держался так, будто они знакомы давным-давно. Да и вообще, он был ничего...

— Жара-то сегодня какая! Скучаете?

— Да вот, вышла взгянуть... тут шум какой-то был.

— А-а, это свадьбу гуляют на соседней улице. Что же вы не пришли?

— Куда? На свадьбу? Нас не приглашали.

— Да что вы, Манечка, это же деревня. Все соседи приходят запросто. Пойдёмте сейчас!

— Нет, всё-таки неудобно. И мужа сейчас дома нет.

— А-а... да... я говорю, жара-то какая. Водички попить не дадите? — Борис наклонился к Мане, касаясь её уха усами. Ей стало щекотно и смешно. И тут Борис вдруг легонько прихватил её ухо зубами. Маня так и подскочила:

— Вы что себе позволяете!

— Простите, не сдержался, — промурлыкал Борис, лаская её взглядом, — как вам идёт сердиться, киска!

— Я вам не... А вот и мой муж. Сейчас он вам разъяснит правила хорошего тона.

По разъярённому виду Василия было ясно, что он всё видел, а, может, и слышал.

— Ступай в дом! — рявкнул он Мане.

Лучше было не возражать. Маня быстро, не оглядываясь, пошла по дорожке. С крыльца за кустами и деревьями ей было не разобрать слов. Доносился лишь низкий баритон Василия и срывающийся тенорок Бориса. Мане даже показалось, что она услышала звук удара, после чего голос Бориса сорвался в фальцет и стал удаляться. На дорожке показался Василий.

— Ну и слизняк оказался этот твой рыжий, — презрительно фыркнул он, — я и дать-то ему толком не успел, а он уж и скис.

Маня так и ахнула.

— Ты с ума сошёл! Что про нас скажут! Как так можно!

— Только так и нужно! — рыкнул Василий, — А тебя, что, тоже надо поучить? Так мне не трудно! — и он влепил жене оплеуху.

Ох, надо было ему, как следует, ответить, но Маня только прошипела:

— Совсем спятил, идиот, ребёнок же смотрит!

Действительно, перепуганная Ксюшка робко выглядывала из-за угла террасы. Василий сверкнул глазами и молча ушёл в дом. Маня обиженно уселась на крыльце и стала смотреть вдаль. В вечерующем небе с визгом носились стрижи. Их стремительные виражи и пронзительные крики всегда завораживали Маню. Казалось, если сильнее напрячься, как следует сгруппироваться и правильно оттолкнуться, она тоже сможет взмыть над садом и рекой, отчаянно воля от полноты жизни. Вот и сейчас это ощущение постепенно вытеснило обиду и овладело всем её существом. Когда какая-нибудь птица проносилась особенно близко, у Мани даже безотчётно напрягались и начинали вибрировать мышцы. Чепуха, конечно, но как здорово было это себе представлять!

Из дома вышел Василий и сел рядом.

— Ладно, мир! — буркнул он. — Но запомни: ты — моя жена. Моя! Поняла?

— Поняла, — шепнула Маня и потёрлась носом о шею мужа.

Всё ещё опасно косясь на отца, на крыльцо вскарабкалась Ксюшка, слегка помедлила и ввинтилась между родителями. Немного помолчали. Потом Ксюшка замурыкала своё: мой папа самый лучший, большой и справедливый...

— Устами младенца глаголет истина, — наизда-тельно заметил Василий.

И всем сразу стало легко и весело.

Наступил июль — макушка лета. Соловей замолчал, дали задрожали в призрачном мареве, и даже куры стали ленивыми и нешумными.

После завтрака Маня умыла Ксюшку, которая до ушей перемазалась манной кашей, и, поскольку росы не было, отпустила играть на лужайку. Сухое утро переросло в душный день. К обеду Ксюшка приплелась домой вялая и капризная. Побыстрее накормив, Маня уложила её спать и собиралась отдохнуть сама. Но не вышло.

— Ксюфа! — раздалось от калитки. По дорожке шла Маленькая Соседка. — А где Ксю-уфа?

— Ксюша спит, Милочка, — отозвалась Маня.

— А я хотю с ней игла-ать! Ксюфа-Ксюфа-Ксюфа!

— Не надо её будить, Милочка, — попросила Маня. — Поиграй пока со мной.

— А ты умеешь? — усомнилась Маленькая Соседка. — Ты же больфая!

— Я не очень большая, Милочка, — засмеялась Маня. — Вот смотри. Бежим!

Они поиграли в салки, в прятки и ещё в одну игру без названия. Потом Маленькую Соседку позвали обедать, и она, покапризничав для порядка, ушла домой. Это было хорошо. Маня с облегчением вернулась на увитую диким виноградом террасу и устроилась в своём любимом кресле-качалке.

Было очень тихо. Птицы молчали. Даже шмелей не было слышно. Все будто затаилось, ожидая чего-то. А может быть, миром просто владела полуденная дрема. Маня отдалась ей без возражений. Во сне она ещё некоторое время играла с Маленькой Соседкой. Потом с Ксюшкой. Потом они обе исчезли, и стало как-то неуютно. Потом тревожно. Потом страшно. Маня искала причину страха и нашла её: спрятавшись в кустах, за ней следил ротвейлер с соседней улицы. Поняв, что обнаружен, пёс кинулся на Маню. Она бросилась бежать к террасе, но террасы не было, и Маня всё бежала и бежала по лужайке, а за ней гнался ротвейлер. Она слышала за спиной его глухой рык и напрягала все силы. От натуги у неё в глазах вспыхивали искры, а спасительной террасы всё не было. Обернувшись через плечо, Маня увидела, что ротвейлер вырос до размеров дома и продолжал увеличиваться, как бы клубясь и нависая над садом и бегущей по саду Маней.

Ксюшка! — вспомнила Маня. — Надо спасти Ксюшку! Ведь такому будет мало меня одной. Меня ему не хватит, а надо сделать так, чтобы хватило. Как это сделать, Маня точно не знала, но выходило, что надо бежать, даже если этот клубящийся ротвейлер настигнет и проглотит её. Так и случилось. С очередным громopodobным рыком, сопровождающимся фейерверком искр, Маня была поглощена, но продолжала бежать ради Ксюшки. На неё навалилась страшная тяжесть, что-то давило и угнетало, но она бежала и, кажется, добилась успеха: оно расступилось, и Маня опять оказалась на подбрии лужайки. Но успех был иллюзорным, потому что её вновь преследовал другой ротвейлер, находящийся внутри первого. Всё повторялось по заданной схеме: второй ротвейлер тоже разрастался и клубился, и Маня поняла, что для спасения Ксюшки мало только бежать — нужно разорвать цепь циклических явлений, а сделать это в одиночку она не сможет.

— Васи-или-ий! — закричала Маня изо всех сил и проснулась. Но цепь циклических явлений не разорвалась. Вот он, ротвейлер, всё так же клубится и рычит до искр из глаз. Хотя, если честно, с ротвейлером у него уже мало общего. Скорее всего, это чёрная туча, рокошущая громом и прыскающая молниями. Просто жуть, подумала Маня, вздрагивая от очередного разряда, и пошла в дом — Ксюшка там могла проснуться и испугаться. Помимо грома, за окном нарастал какой-то тревожный гул. Первый порыв ветра был такой силы, что дом содрогнулся и как бы присел. Загрохотал

слетевший откуда-то лист железа, и что-то с жалобным стоном рухнуло в сад. Частым горохом замолотило по крыше.

Ксюшки в комнате не было. Маня в растерянности обежала дом, и тут мир раскололся. Гул, что нарастал издали, достиг дома и стал нестерпимым. Маня выскочила на крыльцо и не увидела ничего за белой грохочущей стеной. Землю устилал слой круглых льдинок. Оскользываясь на них, Маня помчалась по дорожке. Градины лупили её по голове и спине. Почему-то Маня знала, что нужно бежать на реку, и, достигнув обрыва, почти сразу увидела светлую головку дочери. Скользя по льдинкам, Ксюшка пыталась карабкаться наверх, но с каждым шагом съезжала всё ближе к воде. Маня кубарем скатилась вниз по обледеневшей тропинке, подхватила голосящую Ксюшку, и в этот момент, град сменился ливнем. Глинистая тропинка, по которой Маня несла, Ксюшку в момент сделалась водопадом. Маня потеряла равновесие, и они обе оказались в воде, накрывшей их с головой. Когда Маня вынырнула, Ксюшка уже не кричала, и это было страшнее всего. Маня заставила себя сосредоточиться на борьбе с течением и каким-то чудом выволокла Ксюшку на берег. Ксюшка дрожала крупной дрожью и безумными глазами смотрела на мать. Маня чувствовала, что её тоже начинает бить дрожь, тело онемело и не слушалось, а с неба и обрыва ни них продолжали нестись потоки воды. Собрав последние силы, Маня закричала, как кричала в своём страшном сне. С учётом шума ливня это было безнадежно, но — о чудо! — над обрывом тут же появилась чёрная голова Василия. В следующую секунду он был рядом, подхватил Ксюшку и полез наверх, цепляясь за траву и коряги. Маня последовала за ним.

Как они добрались до дома, Маня не помнила. Первым делом нужно было обсушить и обогреть Ксюшку, потом привести в порядок себя и только после Маня почувствовала страшную усталость. Последним ощущением было тёплое плечо мужа, к которому, засыпая, она прижалась головой...

Когда они проснулись, их встретил душистый, чисто вымытый мир, безмятежно отражающийся в лужах и кокетливо сияющий каплями в лучах предвечернего солнца.

Услышав звук мотора, они вышли на крыльцо встретить хозяев, и, когда те подошли, неся продуктовые сумки, заговорили все разом. Маня сказала, что была такая невозможно чёрная туча, такие жуткие раскаты грома, страх, какой ливень и чудовищный ветер, она чуть с ума не сошла от ужаса и от криков Ксюшки, но хуже всего было, когда Ксюшка замолчала.

А Василий сказал, что он всегда говорил, что воспитание ребёнка — это очень ответственно, но Маня, видимо, ещё слишком молода, чтобы понимать это в полной мере, и, если бы он не подоспел вовремя, то неизвестно, чем бы всё кончилось, то есть наоборот, известно, но об этом не хочется говорить, и вообще всё хорошо, что хорошо кончается, и, в конце концов, на то он и глава семьи, чтобы обеспечивать её безопасность.

А Ксюшка сказала, что она и не испугалась во-все, то есть, конечно, очень испугалась, но позвала папу с мамой, и они пришли и спасли её, и иначе и быть не могло, потому, что мама самая лучшая, а папа самый сильный. И она затила свою песенку.

Хозяйка слушали и качали головами, глядя на сломанную яблоню и сорванную крышу сарая. Потом все поужинали, и наступил тихий и долгий летний вечер. Закат был сначала золотым, потом медным, а луна — сначала медной, потом серебряной.

Умыв и уложив Ксюшку, Маня вместе со всеми сидела на террасе. Подступали сумерки. Василий встал и с наслаждением потянулся.

— Пойду, пройдуся, пожалуй, — сказал он, — может, к соседям загляну.

Маня молча кивнула. Конечно, пусть идёт. Почему бы мужу не прогуляться, когда всё хорошо

и спокойно. А она с удовольствием посидит тут, где весело вьётся мошкара под уютным оранжевым абажуром, а за стеной сладко посапывает Ксюшка. И какая, в сущности, разница, к кому он сейчас пойдёт! Дело не в этом, а в том, что в трудную минуту есть на кого положиться. Главное — знать, что, когда нужно, он будет рядом, поможет, защитит, спасёт. Чего же ещё? Это и есть семья. Семья. Хотя их сейчас только трое.

Василий мягко спрыгнул с крыльца и растворился в темноте. Точнее растворился он только для хозяйки, пивших чай на террасе, а Маня ещё долго следила за его удалявшейся тенью. Потом она тоже потянулась, запрыгнула на хозяйские колени и свернулась уютным клубком. Почувствовав на затылке руку, ласково перебиравшую её шерсть за ушами, Маня блаженно зажмурилась и замурыкала.

ДиН стихи

Анатолий Берлин

Очарованье давних лет...

Львы стерегут Петербург

Эту дикую кошку
обнаружил рассвет...
На гранитную крошку
теневого силуэта
Наползает из бездны,
и рычит, как живой,
Возле сонных подъездов
лютый зверь молодой.

Припорошен ли снегом,
солнцем скудным умыт,
Он под северным небом
неизменно стоит.

Оторочен лохматой
медной гривой густой,
Он могучею лапой
катит шар пред собой.

Спит, замаявшись, город,
только львам не уснуть:
Паутиною морок
опустился на грудь
Площадей и соборов,
своейравной Невы,
На огни светофоров,
ширь проспектов прямых.

День за днём, год за годом
горделивые львы
Сторожат в непогоду,
берегут от беды
Город юности нашей,
город нашей любви...
И ветрами раскрашен
вечный «Спас-на-крови».

Осколки памяти

Петра смиренность,
в веках застывшая Нева,
Оград томленье,
отважность каменного льва,
Рассвета влажность,
пробитый шпилем тучи плед,
Соборов важность,
кабриолета свежий след.

Стрела проспекта,
мостов чугунных кружева,
Сирени ветка,
зелёной бронзы старина,
Театров звуки
и перламутровый лорнет,
Поэта руки
и ненавязчивый сонет.

Прелестниц бывших
ещё неотразимый шарм,
Салонов пышность,
Игривое «cherchez la femme»,
И шёпот тайный,
мазурки выход на паркет,
И стол игральный,
квартет, записка и корнет,

Очарованье
и пересуды давних лет,
В любви признание
и данный смолоду обет,
Круженье вальса,
волна блестящих эпозет,
Движенье пальца
и конь, гарцующий вослед.



Алексей Казовский Ещё быть может...

126

Алексей Казовский
Ещё быть может...

Студенты — тоже люди, только немного сумасшедшие. Особенно в зачётную неделю перед сессией. Лёнька убедился в этом, когда Витёк и Андрюха однажды вечером притащили в комнату целый ворох прокатного туристского снаряжения: палатку, рюкзак, спальники, лыжи, закопчённый котелок и топор. На удивлённый взгляд «сожителя» ответили весело: — Мы завтра в поход идём, на ночёвку в лес. Ты с нами?

Лёнька молча покрутил пальцем у виска. — Сам такой, — сказал Витёк и презрительно усмехнулся. — Вот посидишь ещё пару ночей с лекциями и точно сдвинешься.

Утром Лёня, едва разлепив глаза, поплёлся на первую пару, а его друзья-товарищи, всю ночь прохрапевшие богатырским сном, уложили манатки и бодренько поскрипели на лыжах к трамвайной остановке.

В полдень накатила пурга, к четырём часам день укрылся ранними сумерками, стемнело. Лёнька обречённо досиживал бесконечную консультацию, не слушая монотонный голос преподавателя. Тоскливо глядя в чёрное окно, представлял, как ребята валяются сейчас в уютной палатке, налопавшись у костра горячей картошки с тушёнкой, и травят байки под завыванье ветра. Хорошо им, наверное, лежать в тёплых спальнях мешках, слушая темноту и заряжаясь адреналином от близости к дикой природе. Благодать...

Он ошибся самую малость. Распахнул дверь в комнату и остановился на пороге, опешив от неожиданности. В паутине растяжек меж койками реяла палатка, и в ней, действительно, с комфортом устроились поверх спальников Андрюха и Витёк, покуривая сигаретки. Выражение Лёнькиного лица им очень понравилось. Сдавленный смех перерос в оглушительный хохот, и туго натянутая палатка затряслась в конвульсиях, когда Лёнька, не в силах держаться на ногах, заполз на четвереньках к друзьям.

— Ну, вы и придурки! — бормотал он, утирая слёзы и пытаясь отдышаться. — Я думал — они в тайге, мужественно борются с трудностями, а они...

— Ты знаешь, как там холодно?!

— Правда?!.. А костёр?

— Да дрова сырые оказались, и вообще... страшно!

Новый припадок напрочь лишил их способности двигаться и говорить ещё на несколько минут. Вдобавок на шум сбегались соседи и потешались в дверях над бесплатным цирковым представлением. — А-а-а! — заорал вдруг благим матом Витёк и бросился вон из комнаты, расталкивая зрителей. — У нас же картошка на плите!

Ужин получился на славу, хоть и поджарился чуток лишнего. Запасливые путешественники отыскали в рюкзаке бутылку портвейна, хлеб и пару луковиц. Стол накрыли прямо в палатке, на газете. — Завтра же зачёт... — слабо возразил Лёня, но друзья так на него посмотрели...

Действительно, стоило ли говорить — по двести пятьдесят грамм бормотухи на брата. Зато спали потом без задних ног. В той же палатке, на спальниках, и с открытой форточкой, изображавшей дикую природу.

Свою любовь Лёнька встретил в комнате для самостоятельных занятий, под самой крышей студенческой общаги. Весь семестр «учебка» обычно пустовала, а когда подходил срок сдавать курсовые работы и готовиться к сессии, в неё было не пробиться. Только подскочив часиков в пять утра, можно было захватить местечко за одним из расшатанных письменных столов.

Лёня так и сделал наутро после «походной» ночёвки, выпавшись на всю катушку. И был немало удивлён, когда, поднявшись по истёртым ступеням, обнаружил всего лишь двоих «ботаников» в пустой комнате. Одну беспробудно спящую физиономию в тетрадку личность и едва знакомую девчонку из параллельной группы.

Девчонка, судя по всему, сидела над книжками уже давно. Серые глаза её устало и задумчиво смотрели куда-то в далёкие дали грядущего высшего образования и совершенно равнодушно скользнули по лицу вошедшего однокашника. А он вдруг, словно пришибленный, брякнулся на подвернувшийся рядом стул и так и остался сидеть, затаив дыхание и не решаясь поднять мятущийся взгляд. Сердце бешено колотилось, во рту пересохло, и вообще, самочувствие его резко ухудшилось. Явно что-то случилось с Лёнькиным организмом, совсем ещё новеньким и никогда не дававшим раньше никаких сбоев. И причиной этого разлада с самим собой была она — совершенно обычная и единственная из тысяч и миллионов населяющих Землю людей.

Через пару минут Лёнька осмелился всё же исподтишка рассмотреть красу, безжалостно сразившую его сердце. Она продолжала сидеть, как ни в чём не бывало, уткнувшись в учебник, шептала чего-то себе под вздёрнутый носик, морщила его временами, улыбалась, крутила на палец золотистую прядь у виска и не обращала внимания на окружающее. Никого милее Лёнька никогда раньше не видел. Он понял, что пропал. И от этого знания на душе стало горячо, беспокойно

и радостно. Начиная «праздник, который всегда с тобой», как сказал старина Хэм когда-то. Какая тут может быть учёба?..

Она заметила парнишку, наконец.
— Ты не сможешь мне разобраться? — прозвучал тихий голос.

Девушка смотрела на него и ждала ответа. Он изобразил на лице задумчивую мину и через силу повернулся.

— Что, что?

— Помоги, пожалуйста, никак не решу задачу по физике, — глаза её были невинны, как и просьба, но в самой глубине их пряталась ласковая хитринка.

Лёнку окатило жаром от макушки до кончиков пальцев. Он заставил себя встать, переместился к барышне за стол и уткнулся в раскрытый учебник. А через полчаса уже кипел, словно самовар, в третий раз рисуя на исчерпанном листке решение задачи.

— Ну, как ты не понимаешь?! Это же так просто!
— Спасибо, теперь мне всё ясно. Другим, я заметила раньше, ты готов объяснять часами. А на меня, значит, можно и поорать?

— Другие — это другие. Они могут быть тупыми... А ты — не можешь, — пробормотал Лёнка, с ужасом осознавая, что сморозил несусветную чушь.

Он поднял растерянный взгляд и с огромным облегчением увидел озорные искорки в зрачках своей симпатии. Она была так близко: русая чёлка над тонкими бровями, лёгкая россыпь веснушек на щеках, ямочки в уголках полных губ... Бесконечно милое, притягательное и родное лицо. И с этой секунды две нашедшиеся половинки стали неотделимы друг от друга, как будто так было всегда и всегда будет.

— Эй, двоечники, сколько время? — заспанная физиономия одним глазом уставилась на ребят из-за соседнего стола.

— Шесть часов, рано ещё, ты спи, спи... — отмахнулись они хором и прыснули со смеху, зажимая рты ладонями.

Её звали Ольга. Оленька, Олька... И ей так понравилось целоваться, да и Лёнке тоже, что с тех пор в любую свободную минуту они убежали гулять и прятались от людей на тропинках Универовской рожи, в аллеях Лагерного Сада, в глухих квадратных двориках академических корпусов политеха, и целовались, целовались до беспамятства.

А когда у обоих уже начинало перехватывать дыхание, и губы превращались в спелые вишни и начинали саднить, они с сожалением отрывались от любимого занятия и просто бродили по заснеженным улицам. Олька рассказывала о себе, с самого далёкого детства. О домике на бандитской окраине степного шахтёрского городка и о своей дружной семье. Про огород, за которым нужно было ухаживать летом. Про печку, которую нужно было топить зимой. Про воду, за которой ходили на колонку круглый год. А Лёнка пересказывал ей книги. Он-то детство провёл в квартире, и времени на чтение мальчишке всегда хватало. Олька слушала с жадным вниманием, переживала за каждого литературного героя, и глаза её меняли

выражение вслед за вязью повествования. Она умела слышать.

И никогда им не было скучно вдвоём.

Июнь перевалил через самый длинный день, ночи стали безветренными и тёплыми, как парное молоко. Воздух, напитавшийся солнечного жара, к вечеру колыхался над асфальтом и у стен домов знойным тягучим маревом. Сессия закончилась, и с последним экзаменом отвалились разом все заботы — зубрёжка, бессонница, нервный мандраж. Впереди раскинулось бескрайнее лето, время ратнулось неимоверно, и новый учебный год казался далёким и нереальным. Впереди были каникулы, а точнее — трудовой семестр, как тогда говорилось.

Лёнка и Олька решили провести его в стройотряде, только каждый в своём. Рабфаковцы собрались тянуть линии электропередачи в сибирской деревушке с есенинским певучим названием — Коломенские Гривы, — и сблатовали ехать Лёнку. А девчоночий отряд собирался отправиться ещё севернее, в Стрежевое, поднимать в тайге городок нефтяников.

Проводы устроили в последнюю ночь перед отъездом. На пологом берегу реки, «переправившись» по мосту над широким долгим потоком.

Костёр горел, жадно пожирая сухой плавник на ветру и разбрасывая в небо яркие трескучие искры. Картошка на сковороде взялась поджаристой корочкой за шесть секунд, и девчонки бросили в неё тушёнку из двух банок, а Витёк сверху приправил «праздничный» ужин толстым слоем лука.

Потом тихонько пели у костра под Андриюхину гитару.

Лёнка и Олька лежали бок о бок на тёплом песке, подложив под головы скатку из одеяла, ловили взглядами падающие звёзды. Млечный путь искрился туманной вуалью в чёрном небе, и Луна смотрела на Землю с улыбкой Джоконды, загадочно и многообещающе...

До конца июля лил один сплошной, мелкий, занудный дождь. Полигон в самом центре Коломенских Грив, на котором стройотрядовцы «вязали» опоры для электролиний, превратился в неглубокое, по колено, озеро жидкой грязи. От холода и простуды «бедных» студентов спасал обыкновенный физический труд. Наломаться за день монтажной и ломиком, увязывая десятиметровые брёвна и бетонные пасынки стальной проволокой, так, что от фуфайки пар валит — никакая хворь не страшна. Бабки местные и мужики только охали, гоняя утрами-вечерами скотину мимо полигона. Качали головами участливо и спешили до дому.
— Лучше б самогонки налили, чем издали жалеть! — кричал им Саня Байкалов и хохотал заливисто вслед.

В августе начали ставить опоры по улицам и тянуть провода. Благо и погода наладилась. Горячее солнце быстро высушило грязь, обладало природу и людей, и дела веселей пошли. Вечером в субботу решили закончить пораньше, помыться в бане и отметить за ужином успешное окончание первого стройотрядовского месяца.

— У меня идея,— крикнул Саня, сидевший на траверсе угловой опоры, Лёньке, «повисшему» на соседней в монтажном поясе. — После ужина танцы устроим для всех. Деревенские бабёнки сильно хотят с нами поближе познакомиться. Вон, гляди, одна подруга уже топаёт.

Вдоль улицы, по «тротуарной» тропинке шла пухленькая девушка в ярком платье и лаковых туфлях. Поравнявшись с очередным столбом, она вскинула к бровям ладонь от солнца и всмотрелась в маячившую наверху фигуру. Лёнька продолжал крепить провод к изолятору, делая вид, что не замечает гостью.

— Эй, Валюха, иди сюда! — крикнул ей Саня. — Он тебя стесняется.

— Я ж не кусаюсь вроде, — ответила девушка, тряхнув рыжими кудрями, хмыкнула и пошла дальше. — Подожди, дело есть. Сейчас слезу.

Саня перекинул через плечо страховочную цепь, защёлкнул карабин на поясе и начал спускаться, споро переставляя ноги, обутые поверх кирзовых сапог в стальные шипастые «когти».

— Рубль принесла? — с ходу спросил он внизу, потянувшись цепкой пятернёй к крутому бедру собеседницы.

— Это твоё дело? — с озорной улыбкой ответила она и оттолкнула шаловливую руку. — Не лапай, не для тебя приготовлено.

— Какие мы строгие! Для кого честь бережёшь? — Так я тебе и сказала. Держи карман шире.

Девушка стрельнула глазами в Лёнькину сторону и протянула знакомцу смятую купюру на раскрытой потной ладошке.

— Ай, молодец, Валюха! За это я тебе сейчас новость скажу, такую-ю!

— Какую?

— Мы сегодня вечером пляски устраиваем! Сбор в девять часов.

Саня подбоченился, наслаждаясь произведённым эффектом.

— Беги скорей к подружкам, скажи всем. Будем ждать. Да бражки не забудьте прихватить!

Валя кивнула, повернулась плавно, отчего грудь её всколыхнулась за вырезом тяжкой волной, притягивая к себе вспыхнувший взгляд парня, и ушла неспешно. Саня облизнул пересохшие губы, посмотрел на рубль, зажатый в пальцах, довольно засмеялся.

— Лёнька, кончай работу, я денег раздобыл! Гуляем сегодня!

После бани всей толпой раскрасневшиеся от крепкого жара студенты прошли деревню насквозь по центральной улице. Поверх заборов и из окошек им вслед смотрели спелые девчонки, срочно наводившие марафет, несмотря на запреты родителей. Местные парни кучковались по двое-трое у ворот, решали — идти ли на танцы, их ведь вроде никто не приглашал.

Стройотрядовский вагон-городок стоял на отшибе, километрах в пяти от села, рядом с высоковольтной подстанцией. Пока ребята топали к нему напрямик через лес, успели высохнуть и волосы, и полотенца, накинутые на голые загорелые плечи. Дома ждал ужин с временной отменой сухого

закона, небо играло закатом, птицы гомонили вокруг по деревьям, и дышалось от всего этого благолепия легко и радостно, как бывает, наверное, только когда ты молод, беспечен и здоров, как бык.

Так было, и так будет...

Светлая, усыпанная звёздами ночь раскинулась над Сибирью. На «пляски», как выразился Саня, деревенские подтянулись без опоздания. На тракторах, мотоциклах и велосипедах. Парни привезли девчат. Студенты не подали виду, что удивились такому повороту событий — женского пола явно хватало на всех с избытком.

Из громкоговорителя-колокола над вагон-городком поплыла музыка. Крис Норман клятвенно обещал кому-то хриплым фальцетом: «Водки найду-у!» Ему вторили на разные голоса явно принявшие перед танцами «на грудь» для храбрости или для задора гости. Дамы наперегонки, не дожидаясь объявления «белого» танца, без разбора ангажировали кавалеров. Но Лёнька достался именно Валюхе.

Она сходу прильнула к нему всем телом, обвила шею горячими руками, смотрела в глаза смело, не отрываясь, и молчала. У Лёньки аж дух захватило, колени задрожали противно, не спасали и праздничные сто пятьдесят. Испугался он, что греха таить. Испугался, что поддастся неприкрытому напору, а отшить её сразу, конечно, не мог. Решил подождать окончания танго, чтобы потом незаметно слинять куда подальше. Валя не оставила ему такого шанса. Лишь только музыка стихла на несколько секунд, она мягко взяла стушевавшегося парня под руку и шепнула на ухо:

— У тебя есть сигареты с фильтром? Угости.

Они отошли в сторонку, свернули за ближний вагончик, остановились. Лёнька вытряхнул из пачки пару сигарет, чиркнул спичкой.

— Ты чего такой колючий? И не похож на городского — больно стеснительный.

Глаза её блестели в лунном свете, тихий смех хрусталём рассыпался в душном воздухе. Огонёк сигареты, разгораясь при очередной затяжке, отражался в зрачках кошачьими угольками.

— Просто не хочу заводить лишних знакомств, — подумав, медленно ответил Лёнька.

— Чего ты, в самом деле, я ж тебя не съем. Потанцуем и разбежимся, делов-то, — Валюха бросила окурок на землю. — У меня в сумке, в коляске, самогонка лежит. Надо тебе всё-таки, выпить немножко, а то совсем раскис.

Она тараторила без остановки, снова подхватила его под руку, и они, спотыкаясь, наощупь пошли искать мотоцикл. Нашли, вернулись к вагончику. Танцы были в самом разгаре.

— Где твоя комната? — спросила Валя, касаясь губами Лёнькиного уха, чтобы перекричать музыку. — Стаканы есть там?

— Нет, вся посуда в столовой.

— Ладно, всё равно пошли к тебе, чтоб не мешал никто. А то налетят, как саранча, вылакают все, оглянуться не успеешь.

Они поднялись по ступенькам, вошли в комнату. Лёнька потянулся к выключателю на стене, девушка перехватила его руку.

— Увидят же, а от луны и так светло, мимо рта не пронесём.

Она по-хозяйски расстелила на столе газету, поставила мутную поллитровку, выложила шмат копчёного сала в марле, хлеб, огурцы, лук зелёный. У Лёньки слюнки потекли от одного запаха домашней деревенской еды, хоть и недавно из-за стола вылез.

— Знаю я, чем мужика-то раззадорить! — радостно сказала Валюха, выдернула зубами деревянную пробку из горлышка и протянула бутылку Лёньке. — Глотни-ка.

Он махнул рукой на свои предрассудки, — что такого-то, в самом деле, — и сделал три неосторожных глотка. Только после этого уразумел, что пьёт почти чистый спирт, поперхнулся, хватанул воздуха ртом и раскашлялся, зажмуривая брызнувшие слезами глаза. Валя рассмеялась, постучала его по спине, сунула в руку огурец и скорей настрогала перочинным ножом сала. Пока он утирал слёзы и закусывал, выпила сама, наблюдая за парнем внимательно и откровенно.

Подошла, расстегнула полы кофточки, открыв тугие груди с острыми сосками, помедлила секунду, давая кавалеру время насладиться взглядом, и впиалась ему в губы жарким поцелуем. Он уже почти провалился в бездну, увлекаемый желанием и хмелем, но насмешливая улыбка Луны, заглянувшей в окно, кольнула сердце воспоминанием.

Лёня твёрдо и резко отстранил от себя девушку, развернулся к столу и снова приложился к бутылке. — Хорошая у тебя самогонка, — сказал, набивая рот кусками сала, хлебом и луком.

Валя смотрела на него с изумлением, перерастающим в злую обиду. Спихватилась, запахла кофту, теребила пуговицы нервными пальцами, жгучими зрачками пытаясь поймать глаза кавалера.

— Ты жрать сюда пришёл?! — спросила звонко.

— Ага, — Лёнька пьяно ухмыльнулся, изображая заядлого алкаша, а сам готов был сквозь землю провалиться.

Но другого выхода у него просто не было...

— Что случилось, Олька? — через силу спросил Лёнька. — Уже три месяца не могу добиться от тебя ни слова. Почему ты чужая со мной?

— Обыкновенная, как все.

Они разговаривали, будто сквозь толстое вагонное стекло, говорили и не слышали друг друга. А сказать нужно было обязательно и многое — ещё минута, и поезд уйдёт.

— Я очень скучаю...

— Не подходи ко мне больше...

— Это глупо, наверное, но я не могу без тебя.

— Я не хочу с тобой встретиться.

— Почему?

— Ты летом-то времени зря не терял. С деревенскими развлекался. Или забыл уже?

— Что за выдумки? Кто тебе наплёл? — Лёньку словно ушатом ледяной воды окатило. — Не знаю, что тебе наговорили, но это всё неправда!

— Рассказали хорошие люди, — Олька смотрела на него, улыбаясь, но в глазах её стояла тоска

смертная — приговор окончательный и бесповоротный. — Ну, что ж, молодец, сейчас все так делают. Одна для души, другая — для тела. И у меня появились новые друзья.

— Это ты всё врешь! — он разозлился не на шутку, заиграл желваками. — Тебе соврали, и ты врешь!

— Нет, не лгу, милый, — она смеялась и жгла, жгла его взглядом до самого сердца. — Я пошла к нашим.

Рыбки смотрели из аквариума на Лёньку и разевали рты. Тоже хотели что-то сказать, но он их не слушал.

За окном упала быстрая зимняя ночь. Свет уличного фонаря отпечатался на потолке чётким квадратом окна. Из-под закрытой двери в комнату сочились музыка и смех.

Он вышел к столу, налил себе водки полный фужер, выпил махом, оделся в коридоре и полетел вниз по лестнице. Шагнул из подъезда — шапка в руке, пальто нараспашку — и ткнулся в сугроб головой, упав на колени. Дышал сквозь снег, пока щёки, нос и уши не превратились в бесчувственные льдышки, а волосы в скрипучий проволочный клубок. Встал, отряхнулся, глянул на чужой дом за спиной. Хмель накатил ознобом, светлые пятна окон колыхались и плыли в глазах, вытянулись жёлтыми цепочками от земли до неба. Порывы ветра задували весёлую музыку из форточек на улицу, рассыпались в воздухе на белые ноты-снежинки и искристой порошей укрывали истоптанное месиво у крыльца.

Никто его не искал.

Жгучая обида захлестнула горло, сердце ухало молотом в груди и в висках. Лёнька выпростал из кармана мятую сигарету, закурил жадно, выдыхая дым ноздрями и загоняя горечь в желваки на скулах. Нашарил в сугробе шапку, натянул на макушку и пошёл вдоль улицы прочь, пошатываясь в такт раскачивающимся пятнам фонарей под ногами.

В скверике позади автобусной остановки шла драка. Последние ночные пассажиры топтались в ожидании транспорта на скрипучем снегу и делали вид, что не замечают размахивающих рук, ударов и криков за своими нахохленными спинами. Дрались трое курсантов против пятерых — уличной шпаны. И это было несправедливо, по мнению Лёньки. Он даже не успел, как следует, подумать, а ноги уже перенесли его через сугроб на газоне, и руки принялись растаскивать дерущихся. Курсанты и шпана тоже ничего не поняли, но потасовку свернули и разбежались в разные стороны. Лёнька воспрянул духом и с чувством исполненного долга потопал дальше.

Тротуар привёл его к площади перед зданием ровд. На площади никого не было, кроме памятника Дзержинскому, и тёмные милицейские окна свидетельствовали, что в плане борьбы с преступностью в городе всё обстоит нормально.

Лёнька как раз проходил мимо задумчивого первого чекиста, когда почувствовал вдруг удар под колени и от неожиданности упал вперёд. Нападающий всем телом навалился ему на спину и скрёб ногтями щёки, стараясь засунуть пальцы Лёньке в рот и порвать губы. Лёнька брезгливо помотал головой, отплёвываясь, с усилием

поднялся на ноги и стряхнул с себя противника. Тот отскочил и испуганно замер в двух шагах, ожидая ответной атаки.

— Ты чего, с ума спрыгнул?— удивлённо спросил его Лёнька.— Чего на людей бросаешься?

— А ты сейчас за курсантов бился с нашими, а?— озираясь, ответил типчик.

— Ничего я не бился,— улыбнулся Лёнька,— я просто разнял их.

— Врёшь, гад,— неуверенно настаивал противник и всё оглядывался.

С той стороны, куда он смотрел, из-за деревьев вывернул длинный парень в узкой короткой куртке и неторопливо направился к спорщикам. Лёнька выудил из пачки сигарету, распахнул пальто, шаря зажигалку по карманам джинсов, прикурил. Он не желал больше никаких драк, хотел только побыстрее уладить недоразумение и идти дальше своей дорогой.

— Эй, друг, рассуди нас,— обратился к новому человеку с просьбой.— Он зачем-то напал на меня, хотя я ничего ему не сделал.

— Конечно,— прищурив острые глаза, сказал подхитивший и выставил вперёд правую руку, вроде как поздороваться.

Лёнька потянулся к нему в ответ, но парень уже скользнул мимо, криво ухмыляясь, и утащил за собой настырного спорщика, схватив его за рукав. А у Лёньки вдруг обожгло низ живота, и глаза поплыли вбок, увлекая за собой голову, а за ней и всё тело. Он опустился на ослабевших ногах, сел на тротуар, сглатывая накатившую тошноту. «Вот ведь напился, дурак, прожёт свитер»,— вяло подумал парнишка и стал оглаживать живот в поисках упавшего огонька сигареты. Но вместо этого нашарил скользкую влагу, сочащуюся сквозь шерсть свитера, отдёргнул в испуге руку и стал тщательно обтирать её о снег.

Фонари ярко горели вокруг. Феликс Эдмундович строго взирал с пьедестала на пытающегося подняться Лёньку, будто хотел тут же арестовать его за вопиющее нарушение общественного порядка. Лёньке было стыдно за свою кровь, размазанную по утоптанному снегу у самых ног Дзержинского, и он понимал, что сильно виноват. Но сделать ничего не мог. Феликс Эдмундович хотел отвернуться от этого безобразия, но тоже не мог. Тогда он просто перестал смотреть на парня, словно того и не было.

Наконец, какой-то прохожий, обойдя окровавленную фигуру на тротуаре, свернул к высокому каменному крыльцу и начал колотить в дубовые двери. Заспанный дежурный вышел на улицу.

— Тут у вас прямо под окнами пацана убили, а ты и не видишь ничего,— в сердцах сказал прохожий и быстренько испарился по своим делам.

Спешил, наверное, домой с работы. А может, просто не хотел, чтобы его схватили в свидетели

или в обвиняемые и затаскали по судам. Дежурный моргал глазами, ничего не понимая, потом увидел чёрное тело на красном снегу и бешено засвистел, сбегая по ступенькам.

— Вы чего это здесь?— задал дурацкий вопрос милиционер, перестав свистеть.— Тут нельзя в таком виде!

Он оказался молоденьким, как и Лёнька, и вовсе забыл, что нужно делать.

— Я не буду,— прошептал раненый, глядя снизу в его румяное лицо.— Помоги... скорую...

Тут только дежурный включился в ситуацию и кинулся обратно. Вспомнил про телефон. Через пять минут на площади стало тесно от бело-красных и жёлто-синих машин.

Повезло Лёньке— получить ножиком в живот в таком замечательном месте...

Из операционной его перевезли на каталке в палату и оставили досыпать под наркозным хмелем на железной продавленной кровати. Первое, что попало на глаза, когда очнулся, было Ольгино лицо. Она внимательно, без улыбки смотрела на него, кивнула удовлетворённо, заметив его пробуждение, и отвернулась в сторону. У окна, за изголовьем кровати стоял кто-то ещё, не видимый Лёньке.

— Живой, всё нормально,— сказала Ольга этому невидимке, потом обратилась к раненому.— Ты сам виноват. Зачем разыграл трагедию всем на показуху?

Лёнька не верил своим ушам. Запрокинул голову на подушке, пытаясь взглядом ухватить лицо третьего. Получилось— это был тот самый длинный парень с острым взглядом и скошенной улыбкой— и тут же провалился снова в бредовый сон...

— Любовь до гроба, дураки оба!— ляпнул Лёнька и счастливо улыбнулся сквозь слёзы.

Олька ревела рядом с его кроватью, шмыгала красным носом и тоже виновато улыбалась.

— Ты же понимаешь, нам никак нельзя друг без друга,— говорил Лёнька и гладил её ладонь.— Понимаешь?

— Ага,— кивала она, улыбалась и ревела.

— Это всё ерунда, заживёт, как на собаке,— говорил Лёнька и прижимал её ладонь к своему лицу.

— Ага,— кивала она и снова ревела.

— Ты только больше не говори так,— шептал Лёнька и целовал её руку.— И я не буду, хорошо?

— Ага,— она потянулась к его губам...

Но поцеловаться им не дали.

Дверь распахнулась, и в палату ввалились Витёк и Андрюха, наполнив пространство хрустящим морозом и новогодним мандариновым духом.

— Эй, больной, кончай шланговать! Мы в поход собрались и на тебя спальник прихватили...



Ли́ка Галкина Слушать гида, козлы!

131

Ли́ка Галкина
Слушать гида, козлы!

Все поехали в Израиль

Я Овен: нелёгкий, своенравный, упрямый и запутанный в себе знак. Сколько нужно гороскопов, чтобы рассказать о тебе и понять, что для тебя лучше, кому с тобой хорошо и с кем успокоится твоё сердце. Перемешаются в колоде карты гадалки, сбившись на твоём жизненном пути и не успевая пересказывать твои импульсивные движения и перемены. А уж объяснить их, понять... Не хватит колоды, не хватит гадальной свечи. А если ты ещё и женщина, а если ещё и хороша собой... Несёмся вперёд, меняем города и страны, пропускаем чужие жизни через себя. Ох, как много всего... Что может получиться из этого огненного напитка, из этой взрывоопасной смеси?... Поднимите бокалы, друзья! Не грустите о том, что не удержали оставшиеся позади любви. Заглянем внутрь, за ширму этой вьющейся, как разноцветный вьюнок, жизни?

Ну вот, я наконец-то совсем одна и могу свободно писать. То есть я, конечно же, никогда не бываю одна: у меня бесконечно звонит телефон, передо мной, как немой упрёк, лежит куча неделанной работы: контракты с отелями, ненаписанные письма, необработанные программы. Я хозяйка туристического агентства. Я сижу в большом чёрном кресле, в морском городе Генуя, что в середине Италии, и думаю: а что я, собственно, здесь делаю? Это естественный человеческий вопрос, и периодически он настигает каждого нормального человека, но меня он в последнее время посещает слишком часто. Очевидно, не находя ответа, вопрос в недоумении путается в моих беспорядочных мыслях, скачет с предмета на предмет, с воспоминания на воспоминание и потом, уже совершенно и окончательно потеряв надежду найти свою вторую половину, то есть ответ на самого себя, затихает, чтобы через какое-то время, отдохнув и выждав подходящий момент, снова ринуться на поиски.

Мы живём в Италии уже два с половиной года, а до этого мы жили в Израиле, а до этого мы жили на Украине... Какая длинная жизнь: померкнувшие цели переездов, забытые чувства от достигнутых побед. Отъезд с Украины и сегодня абсолютно объясним. До сих пор с ужасом думаю, что Израиль могли бы в сорок восьмом году не основать, и тогда в девяносто четвёртом нам некуда было бы уехать, и я так навсегда могла бы и остаться в городе Запорожье, в том, что за Днепром. Это там, где казаки писали кому-то письмо... Но я не из казацкого потомства и ко всему там происходившему имела очень отдалённое отношение. Мой папа одним из первых в классе освободил

меня от изучения украинского языка, а учителя неустанно напоминали, что, несмотря на это, я с удовольствием кушаю украинский хлеб и сало. Это была святая правда, и я даже не пыталась оправдываться, хотя грех незнания «ридной мовы» мерк перед грехом куда более серьёзным: оказывается, мне ещё и категорически нельзя есть сало. Как часто наше неведение облегчает нам жизнь, а потом мы так с ним сродняемся, что, уже зная, делаем вид, что не знаем, или что это вовсе не сало, или что это сало не свиное, или что мы обязательно выучим украинский язык, может быть, потом, в другой жизни, если получится.

Я всегда знала, что уеду, чувствовала, жила этим. Я ещё не знала—куда, потому что Израиль не представлялся нам никак. Потому что, кроме чёрно-белых отрывков из моей юности, когда в новостях показывали палестинских захватчиков, а мои подруги шёпотом у меня спрашивали: «Так вот это и есть ваши израильтяне? Какие хорошенькие!» Вот именно тогда от слов «наши» и от замирания маминого голоса, когда диктор сурово начинал отчитывать «захватническое государство Израиль»... кроме этого, ничего, собственно, и не было. Это всё, что я знала. Вы будете смеяться, но я даже не знала, что у евреев есть религия и что они могут сходить куда-то помолиться и поговорить, посоветоваться. Я была настолько уверена, что единственная религия на свете—христианство, что, когда запрет на веру стал слабеть, я тут же крестилась сама и крестила свою дочь в небольшой белорусской деревушке, где родился мой муж. Он и его родители мягко и ненавязчиво говорили об успокоении на душе, когда веруешь. Я верила...

Никогда не забуду глаза мамы, когда по приезде в Израиль я ей сказала, что крестила себя и дочь. Она расплакалась и только приговаривала: «Как ты могла, как ты могла?» Она не виновата, что никогда не говорила и не объясняла мне всё остальное, то главное, что я должна была знать с пелёнок (времена были такие: дед восемнадцать лет отсидел на Колыме, и мама—дочь врага народа—тщательно скрывала от меня всё, что могло бы мне испортить жизнь). Так я пропустила самое главное в своей жизни: Тору, свою принадлежность к большому народу, свою историю, свой язык. Я как будто бы спала тридцать лет, а ведь я знала, что я еврейка (ещё бы, за ярко выраженную еврейскую фамилию я регулярно получала если не по морде, то, по крайней мере, по затылку), но это, собственно, и всё, что я знала. И вдруг... все поехали в Израиль.

«На будущий год в Иерусалиме, на родине»,— радостно восклицал, хлопая по плечу моего белорусско-христианского мужа, очередной отъезжающий в Израиль репатриант. Это была просто какая-то эпидемия, массовый исход, и люди, не разбирая и не задавая лишних вопросов, собирали вещи, паковали чемоданы, снимались с насиженных мест. Самый расхожий анекдот тех лет: один проходит мимо очереди в ОВИР и, видя негромко переговаривающихся людей, подходит к ним: «Я не знаю, о чём вы тут говорите, но ехать надо...» Да, так это и было, и мой муж, смущённо улыбаясь в ответ на фразу, словно извлечённую из «Маугли»— «мы с тобой одной крови, Ка-а-а-а»,— не старался никого разубедить просто из нежелания нарушить благостное чувство единства, которым совершенно неожиданно и беспричинно зажёгся весь люд вокруг нас. Моему мужу было неловко ответить, что он имеет к еврейству такое же отношение, как я к его польско-белорусско-татарским корням, и что поездка в Израиль ему вовсе и не представляется таким уже занимательным и притягательным мероприятием. И более того, что ещё совсем недавно, а точнее около пяти лет назад, он был обвинён в абсолютно небратском и недружелюбном отношении к этому самому еврейскому народу...

Я познакомилась со своим будущим (а в настоящее время уже «бывшим») мужем на дискотеке, которая проходила в одном из общежитских корпусов университета. Организована она была специально «для развода»: т. е. голодных курсантов для повышения активности мозговарения и гормонального рвения к прогрессу привели в общежитие к девушкам с филфака и, потушив свет, разрешили им слиться в экстазе до полного окончания вечера. Как вы уже правильно догадались, я представляла нежность и красу филфака, а невысокий паренёк со скуластым смуглым лицом был курсантом лётного училища. Курсанты не были мужчинами моей мечты и страсти, так как в те времена меня намного больше интересовали начинающие бизнесмены или просто мужчины постарше, но это был праздничный вечер, и мы с подружкой задержались в полутёмной напряжённости зала под медленную музыку, под приглушённое дыхание... Игерь в этот вечер был в увольнительной, и формы на нём не было, поэтому я довольно легко поверила, что он случайно забрёл на огонёк и что он вовсе не курсант. Любовь с первого взгляда?... Ну, можно сказать и так. А можно сказать, что вообще единственная любовь моей жизни... Ну и, слава Богу, что это всё в прошлом. Сегодня, по крайней мере, можно об этом говорить совершенно безболезненно и даже шутить, писать. А тогда... В общем, начался пылкий роман. Мы гуляли до утра, ходили по дискотекам, регулярно навещали маленький частный домик, где у добродушной и гостеприимной Марии Ивановны пятеро курсантов снимали одну комнату, куда и приходили по очереди, соответственно с дежурствами и увольнительными, и где каждая девушка со своим избранником чувствовала себя единственной и почти как дома. Мы болтали абсолютно

обо всём, и казалось, что на свете просто не существует повода, который мог бы нас поссорить. Но повод не заставил себя ждать. Прошло всего около месяца, когда на очередной дискотеке, совершенно случайно наш разговор (это в грохоте музыки, в глухом полумраке танцзала) коснулся национального вопроса. Трудно сказать, с чего это началось, но помню, что в ответ на какую-то фразу мой возлюбленный, совершенно невинно ухмыляясь, спросил: «А ты случайно не еврейка?» Естественнo, я тут же напряглась, и лицо моё прочно окаменело: «А что?—ответила я по-одески, вопросом на вопрос,—У тебя с этим проблемы?» По-прежнему глупо улыбаясь, он ответил: «А я не люблю евреев». Отлично, приехали, ну вот и потанцевали... «А что такое?»—продолжала я избрaжать из себя идиотку. «Ну... они все какие-то не такие, как надо»... Необходимость быстро и чётко сформулировать довод именно в момент, к которому он был совершенно не готов, поставила его на мгновение в тупик. Но поскольку мой муж не привык пребывать в тупике и за словом никогда в карман не лез, он тут же и нашёл, видимо, всё ещё не до конца понимая, кто перед ним, и что ему надо бы просто закрыть рот: «И вообще, они все уезжают в Израиль, бегут, то есть». Ничего глупее он просто не смог в этот момент придумать, но для меня это было—как упавший на голову карниз. Ну, вот и всё... Видимо, осознание того, что этого говорить не стоило, и моя пощёчина догнали его одновременно, потому что он схватился за щёку и в полной растерянности спросил: «Или нет?»... Уже через пять минут он бежал за мной следом через центральный вход дискотеки на освещённую фонарями улицу, ловил мои руки, извинялся, а потом в первой же лавке купал мне цветы... Но тогда никто—ни он, ни я—даже не предполагали, что самый большой и непредсказуемый шутник—это сама жизнь, потому что не пройдёт и пяти лет, как мой муж уедет вместе со мной и нашей дочерью в Израиль, пройдёт там военную переподготовку и прирастёт корнями и душой к этой стране. А когда уже через много лет после нашего развода, я уеду с дочерью в Италию, он останется жить в Израиле, говоря на иврите не хуже самих израильтян и ежегодно призываясь в израильскую армию, чтобы в любой момент встать на защиту этой страны. А ещё он скажет с грустной улыбкой: «Ну вот, я же говорил, что еврей—всегда еврей: привезла меня, белоруса, сюда, а сама свалила в Италию». Но обратно он не возвращается, и грусть в его голосе, скорее всего, была вызвана тем, что уехали мы, а не тем, где остался он. Вот такой поворот судьбы. Да, он всегда подшучивал на эту тему, но с годами стал таким настоящим и своим, что ему эти шутки были позволительны. Это, как знаете, когда сам над собой смеёшься, то можешь говорить всё, что хочешь, но когда чужие... Я когда-то сказала, что если бы у меня был свой дом, то первый, кого бы я пригласила, был бы дизайнер: «Еврей еврея всегда первым позовёт»,—добавил мой муж, и эта шутка долгое время вспоминалась в нашей семье. А уезжать в Израиль он долго не соглашался. Уже после того,

как уехали мои родители и семья моей сестры, мы все ещё оставались на Украине, потому что, уволившись из армии, мой муж был какое-то время невъездным и, прикрываясь этим предлогом, он всё тянул и тянул с решением о нашем отъезде. 90-е годы. Смутные и голодные времена. Но не это стало решающим поворотом в нашей семье. Никогда не забуду, как в один прекрасный день в почтовом ящике нашей квартиры я нашла записку со словами «Жиды, убирайтесь в Израиль». И это в доме, где я родилась и выросла, где прошло моё детство и где я была знакома со всеми и с каждым, а значит, все знали и меня. Мне казалось, что меня все любили. Никогда среди соседей нашего дома не было разногласий или национальных проблем. Записка, возможно, была просто шуткой кого-то из подростков: зная, что моя семья уже уехала, кто-то под общим влиянием мог совершенно спокойно так пошутить, но смеха у меня это не вызвало. Я пришла домой совершенно обессиленная с этой гадкой бумажкой в руках и подала её мужу. Я не знала, что ему сказать. Просто протянула ему этот крик чьей-то души, переполненной ненавистью к евреям. . . Муж молча прочитал, сморчал, выбросил бумажку в ведро, а потом так же молча пошёл в кладовку, достал топор и поставил его у входной двери. «Что это? Что ты собираешься делать? Зачем тебе топор?» «Твоя мама когда-то рассказывала о погромах». (Это правда, предыдущее поколение моей семьи: маленькая бабушка, её родители и дед ещё во времена Деникина неоднократно подвергались погромам, восьмидесятилетнего прадеда заставляли приседать, пока он не падал без сознания, а молодых просто избивали до полусмерти). «Так вот, это на случай, если придут. Я буду здесь, буду вас защищать. . .» Это было так трогательно. . . Я расплакалась. Мой муж никогда не любил драться и силе кулака всегда предпочитал остроту слова, но видеть его здесь, в коридоре, таким решительно-растерянным, с топором. . . На завтра мы подали заявление в ОВИР.

Тиха и нежна украинская ночь. . . Пожалуй, то же самое можно сказать и об итальянской ночи. Она так же насыщена запахами и теплотой, в её небе ослепительно светят такие же яркие звёзды, а небо велюрово — бархатное, тёмно-тёмно синее. Скорее разница только в том, что на Украине нет моря, воздух сухой и пахнет разогретыми за день колосьями бесконечных полей. На Украине прошли первые тридцать лет, и, видит Бог, было много хорошего. Но вот сознание того, что ты вечный гость, что ты всегда «чужой» среди «своих» или наоборот, не покидало никогда. Вечная необходимость быть настороже, в напряжении, не пропустить ухмылки, подвоха. Видимо, у тех, кто заранее был поизворотливее и сменил имя Фима Роземлат (ну, бывает же так, ну, вот не повезло человеку, вот так он назывался изначально, и всё тут) на Вася Синепупов, такие проблемы возникали значительно реже, и жизнь у них протекала поспокойнее. Хотя зачастую вовремя поданный паспорт не менял мнения собеседника о том, что Вася Синепупов слишком смугл, длиннонос и совершенно

не соответствует стандартным представлениям о человеке с такой нехитрой фамилией. И вот тогда неизменно возникал вопрос, а потом ухмылка на заранее заученный ответ, а потом, конечно же, и оплеуха или мордобой, или просто неприязнь (в случае, если вторая сторона отличалась хорошим воспитанием). Ведь бьют, как известно, не по паспорту, а по морде.

У меня всё было с точностью до наоборот: по внешности я прекрасно сходила за милостивую казачку, с чёрными волосами, зелёными глазами и довольно «казацкими» формами, но я никогда не скрывала своей национальной принадлежности, хотя, честно признаться, и не афишировала этого без необходимости. Понимала, что нужно как-то определиться в этом вопросе, иметь свою точку зрения. Как в анекдоте: «Приходит мужик в баню, раздевается: на шее висит огромный дорожный крест. Снимает штаны, а он обрезанный. Тут к нему банщик подходит и говорит: Эй, мужик, ты или крест сними, или штаны надень». Логично, не так ли?

Проблема возникала в тот момент, когда мне нужно было произнести свою фамилию или, озвучивая общие списки, читающий доходил до меня. О этот вечный трепет в душе, и замирание сердца, и стучащая в висок мысль: ну что, обязательно нужно зачитывать это вслух, вот так вот, при всех? Может быть, подойти пораньше и сразу, чтобы никто не слышал, сказать, что я здесь? Напряжение, с которым ждёшь приближение твоей буквы по алфавиту. . . Вы когда-нибудь сталкивались с этим? Или Бог миловал?. . . Вот, например, стою я в очереди за получением номерного знака на мою первую машину, и настроение у меня самое что ни на есть лучезарное, и выгляжу я прекрасно, и в очереди уже нашлось два-три заинтересованных молодых человека, которые одобрительно окидывают меня взглядом и явно выражают решимость помочь мне прикрепить номерной знак, и всё такое. . . Но вот выясняется, что номера будут выдавать по спискам, а списки будут оглашать всей очереди. . . Ну, зачем это, господи, какое разочарование! Ведь они все сейчас услышат и обернутся. . . Представьте себе, жить с этим чувством тридцать лет. Конечно, если бы они обернулись на фамилию Иванов и увидели чёрненького ярко выраженного еврея, то всеобщий вздох не был бы менее разочарованным, но ведь мне-то от этого не легче. . . И потом, кто обернётся на фамилию Иванов?. . . Чёрт его знает, почему это так. Это сидит так глубоко в крови, что даже совсем недавно одна очень близкая моя подруга, разговаривая с другой, выдала такую фразу: «Слушай, всё хотела спросить, ты только не обижайся, а твой муж еврей?» Не обижайся. . . То есть, если тот, кого заподозрили в этом постыдном грехе, если он не еврей, то должен был смертельно обидеться (или жена за него), а если он всё же еврей, то — ну, что же делать. . . с кем не бывает. . . Как говорится, у каждого свои недостатки. . .

Радость облегчения пришла тогда, когда я вышла замуж и сменила фамилию. Вот наконец-то можно было спокойно представлять себя во всеулышание, не бояться, что на тебя будут смотреть,

что ты привлечёшь чьё-то нежелательное внимание. Наконец-то я вкусила, что должен ощущать полноценный член общества с рядовой фамилией, что означает быть, как все. О, как это сладко, как спокойно. Но что вы думаете? Жизнь, как я уже говорила выше, — самый большой шутник. Пройдёт совсем немного времени, и мы уедем в Израиль, и моя новоприобретённая гордость, фамилия моего белорусского мужа, станет такой же мишенью недоразумения и неприятия, как и еврейская фамилия на Украине. Ну, могли ли мы вообразить, что, прожив все наши разновозрастные жизни «евреями» в Советском Союзе, по приезде в Израиль навечно приобретём звание «русские» (без гордого звучания). Я всё говорила своим друзьям: «Друзья мои, да ведь это же практически по-ленински: цель, к которой мы так долго стремились, наконец-то осуществилась. Мы русские! Но в Израиле...» И снова не такие, как все. И снова нужно было отстаивать, объяснять, удерживать позиции. До сих пор в детских садиках Израиля, выделяя за километр белобрысенскую головку одного из детей наших русских евреев (среди евреев тоже бывают белобрысенские), израильские дети кричат «руссия». И даже воспитатели называют наших детей «руссим» (русские). Даже тех, которые родились в Израиле и совсем не говорят по-русски... Не абсурдно ли?..

Ах, какой калейдоскоп жизней, судеб! Как непредсказуемо пересекаются и разветвляются дороги! Калейдоскоп стран, дорог, языков. Зато как весь этот красочный мир удивительно выглядит со стороны! Я смотрю на него со стороны? Моя дочь смотрит на него со стороны?.. Куда ведёт дорога?.. «Кем ощущает себя ваша дочь: украинкой, израильтянкой, итальянкой?» Ты кто, моя дочь? Может быть, ты цыганка или цыганская дочь. Без баронов и кибиток, без цветных юбок и шагров. Свободно говоришь на пяти языках в пятнадцать лет. Какой язык считаешь родным? На каком языке думаешь? Не на том ли, в какой стране сейчас живёшь? Не запутаться бы, успеть рассказать, а потом вернуться к истокам. Где они, истоки?

Но я начала своё повествование с того, что я живу в Генуе, а до этого жила в Израиле. Да, камешек за камешком, плиточка за плиточкой, я пытаюсь пройти снова этот, такой длинный и короткий путь, восстановить его, понять. Объяснить характер, подогнать его под знак гороскопа, в конце концов. Должно же быть какое-то объяснение всему.

Год за два, невероятно, но факт. Для меня очень быстро бежит время: я быстро думаю и быстро устаю. У меня очень быстро загораются глаза, и мне быстро надоедает. «Мама, ты не умеешь радоваться тому, что есть. Ты всё время переставляешь свои цели и, достигая их, уже мечтаешь о другом. Расслабься». Так говорит моя выросшая сначала в Израиле, а потом в Италии дочь. Наверное, это правда. Ах, как я завидую тем, кто умеет радоваться мелочам, ежедневным праздникам и маленьким фейерверкам. Как это замечательно, когда на душе спокойно, и всё идёт, как идёт, в нормальной

повседневной колее. Преклоняюсь перед спокойной уверенностью в собственной правоте или перед лёгким восприятием действительности: «Жизнь такова, какова она есть и больше никакова» — любимая присказка моего друга. И он прав, сто раз прав, но не все, совсем не все могут принять жизнь такой, какая она есть, и успокоиться. Что же это за огонь в душе, который гонит тебя с места на место, заставляет рваться вперёд, менять города, страны, любви, в конце концов? Что за ненасытная жажда новизны и впечатлений, желания доказать... Кому? Конечно, в первую очередь, себе. Это самый строгий судья, самый неподкупный арбитр, который сидит внутри тебя и отсчитывает очки и баллы, заработанные или потерянные тобой. Вперёд, вперёд, вперёд. Вам уже скучна эмиграция в том виде, в котором вы прошли её вместе со всеми? Вам Европу подавай? Вам специально нужно забраться в самое трудное, в самое неразрешимое, чтобы почувствовать себя обессиленным? Ах, ещё и свой бизнес? Ах, ещё и социальная лестница? А вы ещё не пробовали писать?.. Но ведь только беспокойные двигают прогресс. Ведь только амбициозные не дают этому миру превратиться в затянутую паутиной рутину. А уж чего это им стоит?.. Что же делать. У всего есть своя цена. Размышлять об этом можно веками. Изменить что-то — невозможно. Ну вот, собственно, в двух словах, почему я уехала из Израиля в Европу.

Но не так быстро, не галопом. Мы же не краткое содержание предыдущих серий рассказываем. Мы же пытаемся создать образ, понять жизнь. Именно поэтому, повторю, что отъезд с Украины, был вполне объясним, а вот переезд в Италию?..

В Израиле мы прожили восемь лет, а потом бес неумности и самотерзания сказал: «Вперёд! Мир велик, а мы ещё молоды. А что-то нас ждёт в Европе? А сможешь ли? Слабо?» А поскольку сказал он это на фоне 2001 года, когда в Израиле началась война, и туризм, мягко говоря, прекратил своё существование, то и сформировалась сама собой мысль о том, что было бы совсем неплохо открыть свою туристическую компанию в Италии и там, точно так же, как до этого в Израиле, принимать туристов. Сказано — сделано. Шучу. Конечно, всё было намного сложнее, но если в принципе, опять-таки в двух словах...

«Ох, руководил твоею дорожкой кто-то с небес», — говорит моя подруга. А иначе как? Почему? Каким образом? Всё так сложилось-получилось, и оп-ля! Вот я уже в Италии, в Генуе, в кожаном кресле... хозяйка турфирмы... Шутница эта жизнь.

Всё, что я тогда задумала, давалось с такой лёгкостью, дорога в Италию была такой бегущей и прямой, что действительно невольно задумаешься, не совершилось ли это с Его Самого святого благоговения. Тогда казалось, что главное — преодолеть трудности, добиться намеченной цели, а все объяснения происходящего уже потом, когда будет момент присесть, отдохнуть задуматься. Всё шло как по накатанному и давно задуманному плану,

и крылья вырастали за спиной, и хотелось летать, парить, ваять. Решение было принято, и переезд состоялся. А потом... Ну, это уже потом. Только потом придёт сознание того, что Овну не хватает мудрости и спокойствия, рассудительности и осторожности. Сознание того, что, намечая цель, Овен несётся к ней, не разбирая дороги и сметая всё на своём пути. Что, врезавшись рогами в стену с такой силой, что искры летят из глаз, встряхивает головой, приходя в себя от удара, и вот он уже несётся в другую, прямо противоположную сторону с такой же быстротой и напором. И снова обломанные рога, и снова потерянные цели этого прекрасного искромётного бега. Зато как бежит... Красиво, грациозно, впечатляюще. Зрители вокруг аплодируют и восхищаются, а потом осыпают комплиментами и похвалами. Жаль, что у Овна никогда нет времени, чтобы остановиться, присесть, порадоваться достигнутому и подумать о будущем. Вечный бег, вечная перестановка целей и вечное неудовлетворение от нереализованных желаний. «Усложняем правила игры. Переходим на следующий уровень». Так и есть. И создаётся впечатление, что всё твоё время уходит на преодоление препятствий, на борьбу и несбыточные мечты. А в реальности? Что в реальности? Где твоя душа? Что она чувствует? Чего желает?

В Генуе море то же самое, что и в Израиле, Средиземное, но совершенно другое. Вообще моё плотное общение с морем началось с жизни в Израиле, потому что там, в центральной части страны, везде море. Море и солнце. Слишком много солнца и очень мало дождей. Можно сойти с ума от вечного солнечного потока, который уже в семь утра настаивает тебя в самых укромных уголках и выжигает, выжигает оттуда покорно растворяющуюся и исчезающую тень. Солнце — террорист. Я так скучала по дождю. По его освежающим каплям, по его незабываемой прохладе. Однажды я проснулась оттого, что по крыше капал дождь, и всю мою душу пронзила такая радость, такое ощущение чуда, что я вскопчила с постели и, уже понимая, что в жаркий израильский день просто не может приключиться незамысловатый летний дождь, подбежала к окну... О, грусть разочарования... Это капало с соседского кондиционера прямо на крышу нашего карниза, а всё пространство вокруг заливал неминуемый, как наказание, и неизбежный, как кара, солнечный свет. Может быть, солнце? Может быть, жара? Может быть, европейская природа и этот пьянящий прозрачный воздух Европы?... Может быть, именно это была та точка отсчёта, от которой начался мой бег в направлении Европы? Неужели только это? Ей Богу, сейчас не вспомнить. Не вспомнить, что же восемь лет назад так сильно застучало в моей голове и заставило меня нестись к далёкой и такой нелёгкой цели.

И снова море, но уже итальянское. Признаться честно, оно мне порядком надоело. Видимо, одно — это весь год мечтать о море, оказаться на его сказочно манящем берегу, развалиться на пляже и вот так почувствовать себя свободным, т. е. в отпуске. А вот когда море становится неотъемлемой частью твоей повседневной жизни, когда оно неразлучно

с тобой в течение рабочей недели и по вечерам провожает тебя прибоем, когда ты возвращаешься с работы домой, и ноги подкашиваются от усталости, море теряет свою прелесть, перестаёт успокаивать, завораживать, обещать. Оно просто становится неотъемлемой частью твоей жизни, как растворимый кофе с молоком, к которому ты привык когда-то и теперь просто пьёшь его по утрам, как автомат, и этим начинаешь свой день. Море теряет, пожалуй, даже эту функцию. Оно перестаёт быть замечательным, перестаёт быть нужным, перестаёт быть праздником.

«Не нужно путать туризм с эмиграцией» — я же давно знала этот анекдот, рассказывала его туристам. Как же я могла позабыть всё это, броситься с головой в то, чего совсем не знала. Ах, эта бешеная уверенность в себе, ах, эта запоздалая задумчивость и уже никому не интересное раскаяние Овна. Поздно. Слишком поздно. «Вперёд и только вперёд»: новый народ, новый язык, новый менталитет. Но мы же Овны. Мы прорвёмся!

Так предадимся же бегу, великопленному артистическому галопу, в котором несётся мой Овен в сиянии года огненной лошади. И пусть вокруг продолжают аплодировать друзья, любить мужчины, недоумевать недруги. И, чёрт побери, кому какое дело, что думает о себе сам Овен, то есть я.

Выбирая страну в Европе, я не случайно осталась в Италии: тепло, но не жарко, туризм круглый год, итальянцы максимально толерантны. Всё именно так. Все три пункта себя оправдали, и претензии предъявить некому. Только одно, только одно я не учла тогда: я не учла, что этих оснований совершенно недостаточно, чтобы назвать страну своим домом.

Слушать гида, козлы!

Я только что закончила школу экскурсоводов и получила лицензию настоящего израильского гида, которая должна была определить мой путь в загадочный мир туризма. Курс был очень сложный и тянулся целых полтора года. Не буду говорить о том, что он стоил немалых денег, но затраты были вполне оправданы: нам преподавали лучшие профессора тель-авивского университета, и раз в неделю профессиональные гиды возили нас на учебные экскурсии. Такие экскурсии длились целый день, а потом мы должны были подготовить работу на эту тему. Серьёзнейшее мероприятие. На нашем курсе из тридцати человек было всего пять русских, то есть евреев, говорящих на русском языке. Ещё три немки, непонятно каким образом залетевшие в Израиль, и одна венгерка с потерявшимися целями пребывания в стране обетованной. Все остальные были коренные израильтяне, но и для них курс наш был непростой, и они уставали по полной программе, пытаясь перелопатить весь заданный материал и сдавать один за другим бесконечные экзамены. Остаётся только добавить, что многие из них уже давно работали гидами и водили экскурсии, даже не имея никакой лицензии, и некоторые предметы были им вполне знакомы. Что же касается нас...

Мы с подружкой к этому времени жили в Израиле около года, и наши познания в иврите давали нам вполне сносную возможность объяснить, что ты «новый репатриант», что ты незаменимый работник или «спасибо, ваши ухаживания совершенно бесмысленны». Но лекция профессора университета?! Материал, преподаваемый на высоком иврите, и требования всё это отобразить на бумаге, на том же самом языке?! Это было из области фантастики. Нужно честно признаться, что из первой нашей учебной экскурсии, когда около восьми утра мы сели в автобус и около десяти вечера вернулись к исходной точке, единственное, что я поняла из всего, сказанного преподавателем за день, было «доброе утро» и «всего вам доброго, до свидания». За целый день из высокого иврита нашего гида мы не поняли ничего. Но мы к этому подготовились и на экскурсию пришли вооружённые новенькими звукозаписывающими устройствами, на которые тщательно наматывали незнакомую речь в течение всего дня. Мы бежали за группой и, пробиваясь через толпу однокурсников, выходили вперёд, подсовывали диктофон почти ко рту преподавателя с извиняющейся улыбкой и всем своим видом давали понять, что мы бедные эмигранты, и не наша вина, что мы чуть дефективные, и что всем нужно только чуть-чуть нас потерпеть... Гида понимали, входили в положение и терпели. Но очень скоро наши однокурсники-израильтяне поняли, насколько удобно «брать» экскурсию на диктофон и потом переписывать дома, и вот уже нам становится всё труднее пробиться вперёд, так как всем хочется встать поближе к gidу, так что, повинувшись естественному отбору и необходимости выжить, мы боремся за место под солнцем, вернее, за место, где нет солнца (в данном случае — в прямом смысле, т. к. все экскурсии проходили под палящими лучами почти круглосуточного израильского светила, и найти лучшее место для прослушивания лекции, т. е. просто кусочек тени, было непростой задачей). А потом, дома, вооружившись всевозможными словарями, мы включали диктофон и предложение за предложением пытались разобрать лекцию на чужом языке. Как же это было трудно! Я спотыкалась на словах, которым не находила никакого объяснения, и искала в словаре что-то похожее, методом тыка пытаюсь определить, глагол это или прилагательное. Если глагол, то нужно было вычислить его корень... Ничего не получалось. Вооружившись списком неподдающихся слов, на завтра в классе мы атаковали наших ивритоговорящих одногруппников и пытались у них выяснять смысл того или другого предложения. Но насколько же абсурдными оказывались наши усилия, когда выяснялось, что загадочные слова были просто именами, переведёнными на иврит. Ну, кому придёт в голову, что Хореш — это царь Кир, а Херодс — это Ирод Великий!

Тяжелее всего было с религиями: когда нужно было учить Тору — мы плакали от изнеможения перед нагромождением библейских событий, а когда нужно было прочесть Коран — в отчаянии курили с вечера до утра и пересказывали друг другу кусочки, которые каждому удалось прочитать.

Израильяне скучали и зевали на лекциях, т. к. Тора — это основной предмет в Израильской школе, да и с Кораном многим из них в армии или после неё приходилось сталкиваться. Зато и по нашей улице «прошёл праздник». Наконец-то началось изучение христианства. Вот тут мы расправили плечи и взглянули на своих однокурсников с гордостью. То, к чему мы, русские евреи, привыкли с детства, было для израильтян откровением. Они никак и ни за что не могли понять, что такое Троица и от кого родился Иисус. Мальчик Йешу, родившийся в Назарете, был для них чем-то вроде легенды, как единорог, красивый, загадочный и чудотворный. Но у Йешу была мама Мария и папа Иосиф, и были остатки дома того периода, сохранившиеся в Назарете, и была церковь, из которой прорицатель был изгнан: «Нет пророка в своём отечестве»... Но кто там был третьим, и каким образом Мария осталась непорочной?... Ну, что говорить, тёмные они, эти израильтяне... Если не дано понять, то и не дано. Мы, как могли, пытались развивать библейскую тему в реалистическом ключе, но потом плюнули и сформулировали всё старой и проверенной догмой: «Тут не размышлять нужно, а верить. А вам вообще нужно просто заучить материал, и всё. Что тут думать? Запомните, как есть, и рассказывайте туристам».

В общем, было непросто. Но мы толкли воду в ступе и верили, что это молоко, из которого собьётся сметана. И Бог взглянул на нас, и открыл нам уши, и прочистил мозги, и мы начали лучше понимать иврит, вникать в историю Израиля и отличать камни пустыни иудейской от песков Негева. Мы выучили, где стоит Священная Голгофа и куда нужно привести туристов, чтобы они не просто приобрели сувениры, вроде крестиков, икон и святой воды, а тем самым поспособствовали нам в получении хороших комиссионных; мы уже знали, что перед посещением Храма Рождества Христова богатых клиентов нужно завести в уютный ресторан, где хозяйка, арабы, не только кормили вкусно, много и водителя с гидом бесплатно, но и не скупилась заинтересовать тебя в том, чтобы каждый твой гость — становился их гостем. Традиционное восточное гостеприимство. В общем, мы становились профессиональными гидами.

Выпускные экзамены сдали все и, счастливые и гордые собой, мы стали первым выпуском русскоговорящих лицензированных экскурсоводов в Израиле. На туристическом рынке нас ждали русские туристы. На дворе стоял 1996 год. Время малиновых пиджаков, оттопыренных пальцев и сумасшедшего ливня из долларов, который лился на выкристаллизовавшийся слой «новых русских», а они щедро делились его благами со всеми, кто подворачивался под руку.

Главным после получения заветной лицензии гида было оказаться в нужное время в нужном месте и подвернуться под «руку дающую». Если говорить конкретнее, то необходимо было найти агентства, которые работали с «новыми русскими», отправляли за рубеж их самих, их жён, любовниц, родителей и детей, и приложить все усилия, чтобы обслуживание этих сливок досталось именно тебе.

Задача простая только на самый поверхностный взгляд. Речь шла о немалых, по нашим скромным тогда представлениям и запросам, деньгах, и борьба на рынке разворачивалась умопомрачительная. Лекции, которые мы сутками переводили и заучивали, согласно заданиям наших тель-авивских профессоров, отходили на второй план, и всё меркло перед необходимостью объединить в одном лице учёного (гид должен знать очень много и обо всём), актёра (гид должен играть, изображать, заинтересовывать, поддерживая интерес туриста на протяжении всего дня и учитывая, что в семье могут быть взрослые, дети и пожилые люди, быть интересным для всех) и лектора, который, однако, не должен забывать, что он «не радио» и не таракать без перерыва, не замечая, что туристы давно спят, и твоя бубня их только убаюкивает). Старые гиды говорили, что настоящий экскурсовод — тот, чьи знания, как айсберг: треть на поверхности, а остальное скрыто под водой.

С другой же, практической, стороны дела, если ты получил от какого-то другого гида хороший, «жирный» заказ, то должен был знать, как остаться порядочным человеком: поделиться заработком, комиссионными и тысячами благодарностей; тактичным: ни в коем случае не вручить клиенту свою собственную визитку и не забыть ни на минуту, что ты должен полностью отчитаться перед вышестоящим; и, конечно же, благодарным, т. е. когда после нескольких хороших заказов коллега попросит тебя сесть в свою машину и, выполняя одновременно роль и водителя, и гида, совершить с туристами ненавязчивую прогулку из Тель-Авива в Иерусалим и на Мёртвое море — в один день, с возвращением вечером обратно в Тель-Авив, за половину того, что это стоит в реальности, ты должен уметь согласиться на всё это легко, энергично, с полагающимся такому случаю воодушевлением. Это была наука не менее скрупулёзная и тонкая, чем полутрагодичные курсы гидов.

Я была ещё совсем «новенькая», только что получила лицензию, и с этого момента мне удалось провести всего несколько групповых экскурсий, которые казались лишь подготовкой к показательным выступлениям, то есть к работе с индивидуалами. Индивидуалы — это те, кто заказывает гида и машину отдельно от группы, сам по себе, и это значит, что всё время ты рассказываешь только для него, его семьи или друзей. В течение всего дня ты принадлежишь только ему: ты, машина, водитель. Индивидуальные экскурсии стоили дорого, поэтому клиент, заказывающий тур исключительно для себя, уже заранее означал выгодную работу. К такой экскурсии мы тщательнее готовились, старались изо всех сил. Но у меня ещё не было опыта работы с индивидуалами, и я ждала своего часа.

Накануне субботы, поздно вечером в моём доме раздался звонок, и я услышала голос довольно известного в Израиле агента турфирмы, знакомство с которым было лестно, приятно и многообещающе. Это был один из тех ребят, которые попали на волну, работали с богатой клиентурой новых русских и их приближённых, сотрудничество

с ними предполагало продвижение твоей карьеры в нужном направлении. «Привет, дорогая!» — услышала я трубке знакомый голос. «Как жизнь? Ты у нас теперь профессиональный гид, поздравляю!». Было ужасно приятно и волнующе, потому что я прекрасно понимала, что Янчик, так звали агента, не позвонил бы просто так... «Слушай, ты завтра как, свободна?» — ага, есть работа. Работал он только с индивидуалами, поэтому под ложечкой у меня противенько засосало. «В общем, да, а что нужно?» — я старалась говорить бодро — как заправский гид. «Да есть тут туристы, охранная команда одного крутого из России, он их в знак благодарности отправил на экскурсию в Израиль, премировал, так сказать...» — Янчик хихикнул: «Публика весьма своеобразная. Так вот, их нужно отвезти в Иерусалим и на Мёртвое море. Что скажешь? Водителя я тебе дам, нужен только гид. Поедешь?» Я ужасно заволновалась, занервничала: «Слушай, я не очень хорошо ещё знаю Иерусалим, и потом нужно же всё это сделать за один день, как же мы успеем? А какой у них Иерусалим: христианский, мусульманский, современный? Что им больше интересно, что нужно повторить из материала?» Янчик успокаивающе засопел в трубку: «Да ты не нервничай по поводу информации — ты всё равно больше их знаешь, а что касается вопроса о времени, то делайте так, чтобы они были довольны. Это главное условие. Я с ними сегодня уже работал. Отморозки ещё те, но водителем я тебе даю Сёму, он профессионал, так что, если что, — подержит и поможет. Ну — идёт?» Что можно было уже сказать? Я взяла ручку, блокнот и записала: 09:00, у входа в гостиницу «Дан», Тель-Авив. Гости живут в шикарном пятизвёздочном отеле, значит, состоятельные и уважаемые. Хотя бы достойно выступить и не опозориться. Я вздохнула и взяла учебник по Истории Иерусалима. Нужно было многое повторить, перечитать. А утром, главное не забыть, сделать упражнение по медитации, чтобы перед встречей с туристами у тебя была хорошая аура и положительная энергетика. Завтра предстоит серьёзный день.

На следующий день, в 08:45, я была уже у входа в гостиницу, одета, как и полагается, скромно, но не по-учительски, спортивно, но со вкусом. Я сразу увидела восьмиместный минибус и Сёму, который протирает стёкла и насвистывал себе под нос какую-то ерунду. «Привет!» — сказала я, и Сёма расплылся в улыбке. «Привет! Поздравляю с дипломом. Много уже наработала? Как оно, вообще?» Сёма был рослый детина с курчавыми чёрными волосами и широкими плечами. Типичный еврей, незримым оком охраняющий одесский Привоз. Такому сливали часть выручки добровольно и доброжелательно. Он был обаятелен, красив и подозрителен. Приехав в Израиль и найдя его размеры не многим большими одесского Привоза, Сёма купил минибус и ломанул в туризм: учиться слушать, запоминать и собирать сливки там, где они не успевали скапливаться, а только поднимались вверх. Он их снимал осторожно, был молчалив и многообещающ. Пройдёт совсем немного времени, и под Сёмой уже будут работать

несколько водителей, бизнес разрастётся, а потом Сёма потеряет голову от сумасшедших прибылей, поддастся мании величия, утонет в долгах и будет скрываться от своих вчерашних благодетелей... Но пока ещё только 96-й год, денежный дождь льёт, не переставая, и кажется, что так будет всегда... «Да всё ничего, спасибо за подравление», — вежливо отвечаю я. До этого я видела Сёму только пару раз мельком, и это наша первая совместная работа. Я волнуюсь. «Пока вот опыта маловато, но это же дело привычное. Слушай, а ты этих клиентов уже видел?» На нервной почве у меня вытягивало в животе, и я подумала, что всё, что нужно сделать до начала экскурсии, — нужно сделать сейчас. «Слушай, я зайду в отель на минутку». «Да, конечно, но недолго» — ответил Сёма, — Не стоит заставлять их ждать». Он как-то таинственно улыбнулся, но мне было не до него, и я рысцой побежала внутрь отеля, чтобы успеть «всё сделать» до начала экскурсии. Ох, уж эта нервозность. А где мои шпаргалки? Записочки с датами? Ага, здесь в сумке. Если нужно будет подсмотреть, то нужно это сделать как-то незаметно, чтобы не ударить в грязь лицом...

Когда я вышла из отеля и подошла к машине, Сёма стоял у двери с моей стороны и как-то хитро и предупреждающе улыбался: «Ты только не пугайся, спокойно, ладно? Помни, если что, я всё время здесь». «Всё будет в порядке» — лучезарно улыбнулась я и вскочила в автобус: «Доброе утро, господа» — я повернулась к салону, продолжая улыбаться с микрофоном в руках, и замерла, потому что, как говорится, «в зобу дыханье спёрло». Передо мной, плотно прижавшись друг к другу, сидели шесть совершенно одинаковых качков в тёмных очках с бритыми блестящими головами и абсолютно синхронно жевали жвачку. Их лица не выражали никаких эмоций, футболки у всех были белые, из-под коротких рукавов торчали накачанные загорелые бицепсы, а ниже пояса на всех синели одинаковые штаны фирмы «Адидас». На моё приветствие они не отреагировали даже мимолётной улыбкой, не говоря уже об ответе. После минутного замешательства я растерянно посмотрела на Сёму, тот в ответ согласно кивнул, сказал: «Вот и хорошо, поехали!» И закрыл дверцу машины с моей стороны. Отступать было некуда.

Я сделала глубокий вдох и подумала: «О. К., я всё равно буду рассказывать, а как они будут реагировать — это уже их дело». В этот момент с переднего сиденья поднялся один из парней, которого от остальных отличал только жёлтый цвет футболки, и, похоже, он был главным в этой туристической группе. Не смотря на то, что минибус уже был в движении, он поднялся, согнувшись под низким потолком, и подтянулся ко мне. На лице его блуждало подобие добродушной улыбки, очень напоминавшее оскал змеи перед сцезиванием лечебного яда. «Доброе утречко, — оскалился он в интимном приветствии, от которого захотелось ужаться до размеров пыли, — Вы наш гид». Это было утверждение, прозвучавшее как приговор. Я загнипозированно кивнула. Наличие по правую руку водителя Сёмы отчасти балансировало ситуацию. «Замечательно, — прошипел

лидер группы, — значит, сделаем так: говорить вы будете медленно, с паузами. Я буду переводить». При звуках человеческого голоса и словах, в которых начал проступать определённый смысл, я очнулась и вернула себе дар речи: «Ну, что вы, — я постаралась сделать свою улыбку очаровательной, посмотреть ему прямо в глаза и мысленно затемнить фон, на котором вырисовывались квадратные бритые головы с одинаковыми очками вместо глаз и синхронно перемещающимися челюстями. «Что вы, это лишнее, я буду вести экскурсию по-русски», — в этот момент мне пришло в голову, что теоретически, по моему приветствию и по тому, что я с ним сейчас разговариваю, уже понятно, что я говорю по-русски и что заказанная ими экскурсия предполагает русскоговорящего гида... Мои размышления были прерваны довольно резко и в приказном тоне: «Говорите медленно — я буду переводить». Он помолчал и затем доверительно добавил: «А то они не поймут». «Конечно, конечно» — я снова глотнула воздух и улыбнулась жующему салону: «Я ваш гид, и сегодня я вас познакомлю с Иерусалимом, столицей Израиля, — пупом земли, домом, где живёт бог». Главарь поднял руку. Я замолчала, он повернулся к салону и торжественно произнёс: «Значит так, козлы, это наша девочка-гид. Только смотреть и слушать! Руками не трогать!» Пауза. «Мы едем в Иерусалим, туда, где живёт самый главный пахан. Как он сказал, так и будет, поняли? Как я сказал вам, так он сказал всем, и все слушают. Понятно, козлы? Всем молчать и слушать, козлы». Группа согласно молчала, хотя никто даже не кивнул. Речь главаря была пережёвана вместе с жвачкой, одобрена и понята. «Продолжайте» — милостиво кивнул мне босс.

Я повернулась к Сёме с потерянно перевёрнутым лицом. Сёма смотрел строго перед собой на дорогу и с трудом сдерживал улыбку. Спектакль начался.

Мой рассказ об Иерусалиме был краток, всего ничего, по сравнению с тем, что приходится рассказывать любознательным туристам, записывающим за тобой всю информацию и пытающимся всё это ещё и перепроверить, заучить и пересказать на обратном пути. Экскурсия была немногословной, но, когда мы подъезжали к Иерусалиму, я понимала, что при входе в город нужно будет удерживать их внимание, успеть посетить церкви и донести до наших гостей, где какой свершается обряд: что делают у Стены Плача, как освящают крестики в Храме Гроба Господня и так далее. Подъезжая к Иерусалиму, уже буквально перед стеной города, я повернулась к салону: «Друзья мои, перед вами святой город Иерусалим. Мы въедем в него через Яффские ворота, а затем будем путешествовать пешком». Босс в жёлтой футболке снова привстал и, сложившись вдвое, наклонился ко мне: «Не надо заезжать в Иерусалим. Они уже всё поняли. Представление имеют. Поехали дальше»... К этому моменту меня уже трудно было чем-то удивить. Всё происходящее казалось сюрреалистическим сгустком жаркого полуденного израильского воздуха: нереально-реальное, выдуманное, но доступное

на ощупь. Его можно было потрогать, но нельзя было удерживать... Реальность, уходящая сквозь пальцы. Я была готова ко всему, но быть у ворот Иерусалима и не зайти в город?! Я повернулась к Сёме: «Как скажете», — прокомментировал Сёма и резко развернул машину. Иерусалим остался за спиной — со своим старым городом, Стеной Плача и всем тем, что, как магнит, притягивает любого, попавшего на святую землю Израиля.

Мы ехали вперёд, к хребту, разделяющему город, и спуску в жаркое утро иудейской пустыни, туда, где на оликах по дорожкам возвращались из школы бедуинские дети, туда, где свои законы веками устанавливали зависшие в небе орлы и каторжники, на протяжении тысячелетий бежавшие из Иерусалима в бесконечные лабиринты каменной пустыни... Священный город оставался у нас за спиной, и я замолчала, так как уже и не знала, что сказать и чем заинтересовать моих туристов. Я понимала, что всё, что я говорю, проваливается в пустоту и что нужно было бы переходить к рассказу о Мёртвом море: история его образования, размеры, лечебные свойства... Нужно сделать глубокий вдох и начать... но в этот момент ожил Сёма. Махнув рукой, он попросил меня наклониться к нему и зашептал мне почти в ухо: «Начинай о мерах безопасности при купании в Мёртвом море. Расскажи о том, что в этом море 33 процента соли, что вода такой плотности, что в ней нельзя утонуть, но и плавать, разбрызгивая воду, тоже нельзя: если кому-то попадёт в глаза, то будет невыносимо больно. Начинай их подготавливать потихоньку». Текстовку я хорошо знала, этому нас учили на курсах. Но обычно группе это преподносилось прямо перед тем, как выйти из автобуса и приступить к «водным процедурам». Зачем нужно было говорить об этом так рано? Скоро мне стало ясно — зачем. Текст о мерах предосторожности мне пришлось произносить раз десять, повторяя с одинаковыми интервалами: в воду нужно заходить медленно, плавать нельзя, нужно аккуратно окунаться в солёную жидкость и принимать солевую ванну медленно и осторожно, чтобы не забрызгать ни себя, ни окружающих. Босс каждый раз после повторения инструкций удовлетворённо кивал головой и переводил то, что я сказала, на блатный язык. Группа слушала молча и, казалось, впитывала каждое слово.

И вот из-за поворота показалось Мёртвое море. Гладкая поверхность солёной плотной жидкости неестественно зеркальна, а виднеющиеся островки кристаллизованной соли напоминают снежные сугробы в воде, как будто крошечные айсберги, заглядевшиеся на солнце. Моя группа в чёрных очках прильнула к окнам, замороженно глядя на это чудо природы, и я снова, уже в который раз, повторила, что сейчас мы остановимся, и у них будет время, чтобы переодеться и испробовать на себе эффект купания в Мёртвом море.

Сёма остановил машину в положенном месте, и я спросила, нужна ли нашим гостям раздевалка, где они смогут сменить спортивные костюмы на купальные. «Нет, спасибо, ничего не нужно, достаточно будет, если вы просто на пару минут

отвернётесь», — вежливо улыбаясь, ответил мне босс. Я деликатно вышла из машины и, расправив спину, замерла от неповторимой красоты этой фантастической местности. Если нужно было бы снимать фильм об инопланетянах и других мирах, то более подходящего ландшафта просто не придумать. Нереальная, непередаваемая, экзотическая, каменная красота... Я зачарованно застыла. Не прошло и пяти минут — время, понадобившееся нашей команде на переодевание в машине, — как дверца минибуса открылась. Я обернулась к группе с улыбкой и желанием пригласить их вместе со мной подойти к воде, но этого уже не понадобилось... В одинаковых плавках (создалось впечатление, что эта купальная принадлежность была выдана каждому из них прямо сейчас, в пакетике, наподобие наушников или одеял, которые раздаются пассажирам в самолётах), отталкивая друг друга и видя впереди только хрустальную гладь, мои туристы побежали к воде: быстро, красиво выбрасывая перед собой ноги. Наверное, они видели себя на пляже Средиземного моря, и всё то, о чём я и их «переводчик» говорили на протяжении последних 45 минут, растворилось в детском неподдельном неприятии реальности. В их головах зафиксировалось только одно: плавки, море, купаться. И абсолютно ничего с этим уже нельзя было поделать. Нещадно палило солнце, в ужасе распахнулись глаза и рты несчастных купальщиков, которые в этот момент находились в воде: кто-то, замерев на спине с газеткой, демонстрировал, что в этих густых и маслянистых водах нельзя утонуть, кто-то, войдя до пояса, пытался устоять на ногах в воде, в которой нельзя утонуть, но вполне возможно захлебнуться, так как перевернуться с живота на спину очень-очень сложно... Купающиеся старались двигаться медленно и осторожно, чтобы не разбрызгивать лечебную маслянистую жидкость и случайно брызгами не попасть себе в глаз или в рот. Мельчайшие свежие царапины от бритвы или от пореза пощипывали так, что ты сразу вспоминал о лечебно-целительных свойствах Мёртвого моря, а на вкус это был концентрат йодно-солевого раствора, оставляющий незабываемое ощущение даже при малейшей его дегустации (естественно, никто это не глотал, а сплёвывал, если вода случайно попадала в рот). У людей, в ужасе замерших на пути моей спортивной группы, не было ни единого шанса уступить ей дорогу: плотность воды не позволяет двигаться быстро, и они только в ужасе пытались прикрыть глаза, нос, рот. И вот моя группа с визгом и криком врзалась в плотную массу... Первые нырнули с такой силой, что брызги воды, разбухнувшей этим вулканом, взорвавшим вековую тишь здешних мест, взметнулись чудовищным фонтаном. Ощущение было такое, что Мёртвое море и в самом деле на минуту поверило, что его чашу наполняет обычная вода Средиземноморья, и ничего не случится, если молодые озорники — купальщики поныряют и поплещутся здесь...

Дальше всё было, как в замедленном кино, когда вдруг ни с того ни с сего механик вручную начинает крутить плёнку обратно, и ты видишь все

движения в обратном порядке. Они медленно и выразительно ведут тебя к тому моменту, когда ещё ничего не произошло, когда ещё все живы, здоровы и счастливы. Ну, это я, конечно, утрирую. То есть, если вы смотрите фильм про Чапаева, то место, где они плывут под пулями с Петькой и где Чапаев гибнет и тонет... Тогда, конечно. Перематывание плёнки сулит вам возможность остановить кадры и не дать любимому герою погибнуть. Предотвратить трагедию. Но в нашей группе не было Чапаева, никто не погиб, хотя и очень испугался... У первого нырнувшего и вынырнувшего из воды было лицо сваренного живьем рака, с зажмуренными глазами и судорожно открытым ртом, пытающимся хватать горячий обманчивый воздух пустыни... И сразу же — те, кто бежал следом, и внезапно увидел это, пытались затормозить на полном ходу, размахивая руками и ногами в обратном направлении на манер велосипеда, который можно остановить, крутанув педали в обратную сторону, против движения... Невероятное усилие повернуть события вспять, но поздно, поздно, поздно... Один за другим бойцы охранной группы какого-то великого нового русского падают во взлетающие, наподобие раздавшихся перед Моисеем вод, и солёная густая масса поглощает их одного за другим. Только последним удалось затормозить, задержать свой великий бег, и у кромки воды они остановились, счастливые уже тем, что вода, обдав их фонтаном, всё-таки не попала на слизистую: в глаза, в рот...

В радиусе нескольких километров от нашего необычного купания поднялась жуткая суета: мы с Семой со всех ног неслись на помощь. Сёма вопил, что нужно звонить в Арад и вызывать скорую помощь, люди кричали, бежали, давали советы, торопились к нам, чтобы поглазеть. Зрелище было незабываемое: парень, нырнувший в воду первым, был вытаскен нами на берег, из всех его головных отверстий лилась вода... Он что-то хрипел, пытался дышать, мы пытались понять, что он говорит, и дать ему питьевой воды, но он захлёбывался водой и продолжал невнятно хрипеть. Уже кто-то позвонил в скорую помощь, и вот под звуки сигнальной сирены к нам несётся медицинский автобус, и молодой израильский врач спрыгивает с подножки машины, на ходу протягивая руки к нашему пострадавшему. Он поднимает ему голову, ищет пульс, и тут хрипы утопшего становятся всё более и более членораздельными. «Что, что он говорит?» — спрашивает врач, уже готовящий машину к госпитализации больного, босс наклоняется ниже, и тут мы всё слышим, что утопший хрипло, но чётко требует: коньяк, коньяк, дайте коньяка... «Он просит коньяк», — совершенно растерявшись, говорю я, прекрасно понимая, что на Мёртвом море, при температуре около 45 градусов выше нуля, пить коньяк — это всё равно, что реанимировать покойника путём спуска его под воду. «Коньяк? — брови врача взлетают почти на макушку — Зе ло йиуман! Уму не постижимо... Пусть молчит, пусть пьёт воду, в больницу!» Но босс уже несёт из спортивной сумки, спрятанной под сидением нашего минибуса, непечатую бутылку «Хеннеси» и, откупоривая её

на ходу, подсаживается к утопленнику. Поднимает ему голову и в открывшийся рот начинает вливать коньяк. «Бейт мишугаим», — произносит молоденький арадский врач, что по-нашему означает «сумасшедший дом». Спасённый пьёт судорожными глотками, босс сосредоточенно поддерживает ему голову, Сёма объясняет врачу, что это практически ложный вызов и что проблема ликвидирована. У меня дрожат руки, и я вытаскиваю из сумочки сигарету. «Ну что, за спасённого» — жизнерадостно возвещает лидер нашей охранной команды и пускает бутылку «Хеннеси» по кругу. Прикладываются все, даже я. И только молоденький израильский врач из Арада, сокрушённо качая головой, даёт отбой госпитализации и запрыгивает обратно в машину: «Сумасшедший дом с этими русскими». Всю обратную дорогу в Тель-Авив вслед за закончившейся бутылкой «Хеннеси», команда гоняла по кругу остатки содержимого спортивной сумки, с утра хранившейся под сидением нашего минибуса. Все были довольны. Моя экскурсия и боевое крещение прошли «на ура», боссу-переводчику не нужно было больше брать на себя ответственность за перевод чересчур содержательного текста, а Сеня уже жил работой завтрашнего дня, так как сегодня никто ничего не купил, а это значит, что заработок откладывался на завтра. Сегодняшний день для него ушёл в никуда. Он был молчалив и задумчив. А лично мне этот день запомнился навсегда. Что-то ещё готовил мне опыт работы в туризме.

Берите пожертвования, матушка, а то хуже будет!..

Обычно водитель подбеджает с туристами к определённому месту, и знакомство с группой индивидуалов начинается с подсаживания гида в микроавтобус, с приветственной улыбки, обращённой в салон машины, и со стандартного «Доброе утро, господа».

Тема сегодняшней экскурсии — «Иерусалим Христианский». Специально для этого случая я захватила Библию и Ветхий завет, чтобы можно было с пафосом и чувством в самый подходящий момент открыть книгу и зачитать соответствующую ситуации цитату. На туристов это действовало безошибочно. Промахов не бывало. Распахнутая на месте заранее приготовленной закладки Библия, её затрёпанно-трепетный и священный вид — всё это гарантирует восемьдесят процентов успеха вашей экскурсии, а если, кроме этого, вы ещё действительно знаете материал...

Мои гости сегодня — совершенно не обычная группка мужчин. Точнее — трое. Один в центре — именно так они и сидели в автобусе — типичный персонаж боевика про эзков, этакий пахан... Невысокий худощавый мужик лет сорока пяти, бритый наголо, с ног до головы усеянный наколками с изображением тюремной символики. То есть его ног, скрытых брюками, я всё же не видела, но могу поклясться, что шея, плечи, бицепсы и запястья рук, а так же (или мне привиделось) лысина, — всё было покрыто плотно наклепанными писаниями и картинками. Остаётся добавить,

что одет он в синий спортивный костюм «Адидас» (атрибутика мафиозно-бандитских структур того времени), а глаза его впиваются в вас слишком внимательно, чтобы вы могли такой взгляд не почувствовать в толпе или забыть сразу же после приветственного кивка.

Поскольку изучать его слишком пристально, а значит, пялиться на него всю дорогу, у меня не хватило смелости, то я практически сразу же перевела взгляд на двух неприметных его спутников, которые были удивительно похожи друг на друга, оба лет пятидесяти, почему-то в серых костюмах с галстуками и в кепках. Да-да, в обычных кепках, которые потом, во время экскурсии, они периодически снимали с головы и мяли в руках.

«Меня зовут дядя Гриша», — представился пахан, улыбаясь, буровя меня своими глазами-колочками и удивляя на редкость нерезким и в меру сильным мужским рукопожатием.

«А это мои адвокаты. Имена запоминать необязательно». Он обязательно улыбается, в то время как с заднего сидения салона поочерёдно поднимаются двое интеллигентнейших на вид людей, неуместно и несоответственно внешности исполняющие роль охранной гвардии пахана. Я улыбнулась всем троим и начала рассказ об истории зарождения христианства и о неразъединимой связи этой истории с землёй иудейской и самым великим Иерусалимом. Рассказывая и вдохновляясь непритворным вниманием со стороны «адвокатов», я видела, как они млели, отпускали накопленную усталость и напряжение, как выдохнули мой рассказ вместе с кондиционированным воздухом машины, и было совершенно очевидно, что с историей они знакомы очень хорошо и что всё, о чём я рассказываю, для них ясно, понятно, бесспорно и очень интересно. Лицо же солирующего представителя нашего квартета оставалось неприступно скупящим и снисходительно понимающим. Он как будто заранее прочёл нам троим нашу заведомую интеллигентность, нашу никчёмность и полную неприспособленность к современной жизни. И как бы я ни пела и ни старалась, и как бы оба эрудита в кепках ни изображали заинтересованность и знание предмета — всем было ясно одно: платил здесь он — и им, и водителю, и мне. А значит, и хозяину был он; ведь, как известно, кто платит, тот и заказывает музыку. Аудитория была на удивление доброжелательной, и я с удовольствием делилась с моими гостями историей церкви, жизнью Иисуса, материализовавшегося здесь, на этой земле, и две тысячи лет назад взвалившего на себя груз незабвенности в веках.

Как обычно, путь в Храм Гроба Господня лежал через антикварный магазин религиозной атрибутики. Его держала древняя арабская семья, не скупившаяся не только на разнообразие продаваемых «священных» сувениров, таких, как бутылочки со святой землёй из иудейской пустыни, со святой водой из Иордана и набором двенадцати свечей (по числу апостолов), которые должны были освящать дом и приносить счастье, но также крестиков

и «древних» икон, старина которых определялась ценой предмета. По негласному закону, стоимость предмета говорила о древности реликвии. Можете себе представить, что на некоторые иконы цены просто зашкаливали, и объяснялось это тем, что их чуть ли не лично писал Андрей Рублёв и его современники. Опровергать или подтверждать эту версию, стоя прямо здесь, в пропахшем ладаном магазине, в пяти минутах ходьбы от Голгофы и главного христианского храма, было не просто некорректно, но даже кощунственно. Поэтому турист, заворожённо слушающий дрожащий голос переводчика-гида о неоспоримой ценности предмета, растворялся в святости происходящего и, как загипнотизированный, доставал кошелек и отдавал деньги хозяину магазина, при этом наполняясь чувством выполненного долга. Мы работали по накатанной схеме и, глядя, как пахан скупает «древние» иконы и кресты, я и его адвокаты стояли в сторонке: я — в ожидании, когда мне дадут знак следовать дальше, а адвокаты — с вымученной надеждой в глазах, что хозяин вспомнит о них, и им тоже что-нибудь перепадёт. И действительно, после того, как пахан набил священный товаром два больших кулёка, он повернулся к своей интеллигентной охране и расплылся в улыбке: «Ну что, братва, возьмите и вы себе что-нибудь. Ну, вот святой водички, например. Хотя, из такого места без крестика выходить — негоже», — и он собственноручно выбрал для них пару самых дешёвых алюминиевых нательных крестиков. «Вот освятите их и будете меня поминать добрым словом всю жизнь». Лучезарная улыбка, обнажающая мелкие и крепкие зубы: «Хотя сколько той жизни», — подмигнул он, и почему-то от этого подмигивания по коже пробежал мороз. Я вежливо подождала, пока всё было упаковано в целлофановые кулёчки, и спросила, можем ли мы продолжать дальше. «Да-вай, зая! — сказал пахан, — поехали». Мы вышли на улицу. За пару шагов до площади перед Храмом Гроба Господня я остановилась и объяснила, что собор состоит из нескольких точек, где стоит не только преклонить колени, но и освятить то, что вам дорого, чтобы впоследствии освящённая вещь была всегда рядом с вами, оберегала от напастей и приносила удачу. Нательные крестики и иконы можно положить на Камень Помазания и, прикрыв ладошкой, прочитать молитву, перекреститься. Ну, а тем, кто давно не исповедовался, обычно рекомендуется вспомнить для начала о своих прегрешениях и в молитве попросить у Бога отпущение грехов, как бы с чистого листа освящая то, чему предназначено в будущем уберечь вас от бед. Иногда израильские гида, евреи по национальности, напоминали своим христианским туристам слова молитвы. Религиозные знания у людей, проживших более семидесяти лет в стране, где религия была дискриминирована и запрещена, поверхностны и сумбурны. Законы и правила верования, причастий и канонов настолько расплывчаты, что, зачастую не зная, что означают и как происходят те или иные ритуалы или обряды, наши бывшие соотечественники просто придумывают, несколько на языческий манер, способ

их исполнения. Христианство, иудаизм, ислам, буддизм — у тех, кто попадает в Иерусалим, всё смешано в неудобоваримую кашу. Оказавшись в этот момент перед неоспоримым фактом святости, до искусно преподнесённым экскурсоводом, люди доверительно, как дети, задают вопросы гида о том, как нужно молиться, что означают святости и как им нужно поступать, чтобы процесс был исполнен в точности, и результат последовал бы без сбоев. Кто знает, когда ты в следующий раз попадёшь на святую землю.

Мне вспоминается случай, когда я работала с группой украинских паломников из Одессы, руководитель которой, подсев ко мне на переднее сидение автобуса, всю дорогу доверительно рассказывала, что она еврейка по происхождению и что, хотя она и везёт в Храм господня христианскую группу, её заветная мечта купить в Иерусалиме мезузу (небольшая коробочка, внутри которой хранятся псалмы из Торы и которую, с благословения раввина, евреи вешают на косяк двери при входе в жилое помещение), и она ничего так сильно не хотела в жизни, как привезти эту мезузу домой и повесить над дверью. Тронутая такими познаниями в области иудаизма и иудейских традиций у человека, прожившего всю жизнь в православной Украине, я уверила её в том, что в том же магазине, где группа будет покупать христианскую атрибутику для освящения в Храме, мы обязательно найдём и то, что ей нужно. Найти мезузу в Израиле — не проблема, и она может не волноваться — её мечта будет исполнена. В магазине перед Храмом Гроба Господня я лично попросила хозяина выбрать нам недорогую и изящную мезузу и с радостью вручила её моей туристке. Она была счастлива. По дороге в Храм я объяснила группе, что по христианской традиции религиозные сувениры освящаются на тех местах, к которым прикасались святые или сам Иисус Христос. Рассказала, как обычно, и про Камень Помазания. Женская часть группы, повязавшись платочками, а мужская, сняв кепки, с благоговейным трепетом двинулись вовнутрь храма. Как обычно, у Камня Помазания было множество народа, но я, чуть раздвинув других туристов, помогла моей группе распределиться вокруг камня. Видя, что они раскладывают религиозные дары для освящения на тёплой, отшлифованной руками причащающихся поверхности Камня, я отошла в угол церкви, где стояли ещё человек пять других русскоговорящих гидов. Это была возможность использовать паузу для передышки: перекинуться друг с другом парой слов или просто помолчать. В тёмном просторстве церкви я подняла тёмные очки, чтобы глаза могли отдохнуть, а поскольку очки мои были с диоптриями, то и видеть свою группу я стала в лёгком тумане, но, зная, что им понадобится не менее десяти минут, я расслабилась в прохладной тени помещения, давая отдых глазам и пересохшему языку. И вдруг кто-то из наших гидов с ужасом воскликнул: «О Боже, это твоя там? Гляньте, гляньте, что она делает!!!» Я как солдат на посту, привычным движением взмахнула боевым ружьём, т. е. вернула на место очки, и стала судорожно вглядываться в спины уткнувшихся

в Камень Помазания людей. Перед многими были разложены только что приобретённые нами свечи, крестики, иконки. И вдруг я увидела свою «доверительную» туристку, ту самую, для которой мы только что выбрали давно желанную мезузу. Она вместе с остальными туристами нашей группы выложила мезузу на Камень Помазания и, отдавая поклоны и истово осеняя себя крестами, освящала еврейскую святость в христианском храме, смешав в одном котле и навсегда перечеркнув все истоки и принципы, смыслы и обряды, истины и домыслы, распри и противоборства двух величайших религий единобожия на этой земле. То, что делала женщина в этот момент, было настолько дико, абсурдно и... объяснимо. Это было так понятно нам, русским гидам-евреям: женщина от всей души и от самого чистого сердца выплёскивает сейчас наружу феерический коктейль, смешавший всё со всем в одном бокале, но это было так чистосердечно, правдиво и... свято... Её незнание и безграмотность в религиозном вопросе просто меркли перед наивной верой... Мы замерли, некоторые гиды выскочили из Храма, чтобы не разразиться хохотом, некоторые сдерживали улыбки и только покачивали головой. Женщина поднялась с колен и, подойдя ко мне, взглянула мне в глаза взглядом очищенным и одухотворённым: «Вот теперь я могу спокойно умереть», — сказала она и вышла из Храма. «Вот теперь ей умирать просто не стоит, — наклонившись ко мне, тихо сказал один из наших гидов, — она на небе такую кашу наворотила, что ей теперь лучше жить вечно, а то по её приходу ни один святой не разберётся, кому она верила при жизни и куда её следует поместить после смерти». Я промолчала. Пусть остаётся в неведении: несмотря на весь сюрреализм ситуации, я была рада за неё.

Ну, это я отвлеклась. Вернёмся к моим «новым русским». Мы вошли в Храм Гроба Господня, и мне не пришлось просить у молящихся место для моих туристов, потому что как-то невольно люди расступились перед нашим криминальным персонажем. Он подошёл к Камню Помазания, встал на колени, положил на камень (при этом ничего не раскладывая и не доставая) оба целлофановых кулька, осенил себя знаменным крестом и вдруг начал неистово и с такой силой бить головой о камень, что те немногие, что остались подле него, освящая свои реликвии, предпочли тут же подняться с колен и отойти подальше. Приговаривая себе что-то под нос и продолжая неистово колотиться головой о камень, после каждого удара он снова и снова осенял себя крестом: пахан молился неистово и отрешённо. Люди уважительно жались к углам церкви, а он, никого не замечая, всё бормотал себе под нос какие-то молитвы и откровения. «Исповедуется», — уважительно сказал один турист из группы паломников. «Это сколко ж надо было нагрешить, чтобы так исповедоваться», — негромко сказал второй. «Н-да, не одного, видать, замочил прежде, чем до Иерусалима добрался», — негромко переговариваясь, паломники проходили дальше, к пещере, где две тысячи лет назад лежало тело Иисуса. «Ой, а я ещё крестик

не освятила», — жалобно воскликнула засмотревшаяся на фрески и отставшая от группы молодая девушка в платочке. «Потом освятишь, на обратной дороге», — обрзал её мужчина постарше, — дай человеку вину свою на свет вытащить. Может, потом это кого от погребели убережёт. Вишь он какой...». Пахан простоял у Камня Помазания не меньше двадцати минут. С красными налитыми глазами он поднялся с колен и взял в обе руки свои кульки. «Скажи-ка... пробирает, а?». И вышел из Храма. После этого камню причастились оба адвоката, которые скорее так освятили свои крестики, перекрестились и вышли за хозяином из церкви. Ещё пару мгновений к камню никто не приближался и только потом, как будто бы дав выветриться духу опасности и темноты, люди стали возвращаться и крестились, напуганные невольной причастностью к чужой жизни.

«Ну, куда дальше?» — спросил пахан, мы прошли через Старый город и вышли к Стене Плача. Передаваемо трогательно и анекдотично смотрелась на нём кипа, ермолка, которую необходимо было надеть на голову, чтобы подойти к Иудейской святыне. Кипы выдавали перед входом на мужскую часть стены и, не зная, будет ли пахану приятно это мероприятие, я спросила, хочет ли он подойти к Стене Плача, интересно ли ему это. Всё же еврейская часть. Он сказал, что, конечно, пойдёт, нацепил на голову кипу и попросил одного из адвокатов запечатлеть его в этом виде на фоне древнейшей святыни. Заодно в кадр вошла и пара ортодоксальных евреев в наброшенных талитах, которые просто не заметили, что их впустили, не спрашивая разрешения, в чужую историю и в чужую жизнь. Иначе они могли бы и возмутиться.

После Стены Плача мы поехали на Масличную гору. Гефсиманский сад, как и было задумано, произвёл на пахана горестное впечатление, а мой рассказ о том, как Иисус плакал кровавыми слезами, и о его последней молитве, заставил его надолго замолчать, и последующие полчаса у нас прошли в довольно тягостном молчании, так как, пока он шёл с закрытым ртом, никто из нас также не решался произнести ни слова. Тишина, повисшая над Масличной горой и нашей группкой, как нельзя более дополняла общее впечатление возвышенности и одухотворённости. Чуть выше от Храма Гефсиманского сада, весь в лесах, но с очаровательными сверкающими золотыми куполами, высился храм Девы Марии — русская православная церковь, которая была на реставрации уже несколько лет. То ли средств постоянно не хватало, то ли из-за бесконечно меняющегося начальства и патриархата, работы постоянно откладывались на неопределённый срок, леса не убирали, а русские сестрички-монашки, приветствующие вас при входе в церковь, частенько заводят разговор о пожертвованиях на окончание строительства. Услышав русскую речь в церкви, пахан растаял и снова заговорил, восторженно зацокал языком прямо-таки на грузинский манер, выражая восхищение русскими иконами, а история русского царя и перевезённого сюда, в Иерусалим, тела погибшей в то же время его родственницы, чуть

не пробила его на слезу. Он достал из кармана спортивных штанов огромный мятый носовой платок и громко высморкался. «Берёт за душу, мать твою... берёт...». Адвокаты испуганно переглянулись, услышав ругательство в священном храме, но он не обратил на это никакого внимания и направился к выходу церкви. Уже у калитки сада к нам подошла матушка и, поздоровавшись, спросила, откуда гости, нравится ли им Иерусалим. Пахан ответил, что он в восторге, что грудь его переполнена, и он, ей Богу, никогда такого не видел. Тихо улыбнувшись, монашка сказала, что все бы ничего, но вот никак не закончат ремонтные работы в Храме и что любое пожертвование с нашей стороны, вернее, со стороны моих туристов (мы с ней были прекрасно знакомы и виделись чуть ли не каждый день, она прекрасно понимала, что если бы я каждый раз оставляла здесь собственные жертвования, то для меня больше смысла было бы в том, чтобы остаться здесь навсегда). Опустив глаза, она сказала: «Пожертвуйте, сколько можете». Этот заключительный аккорд посещения храма Девы Марии был мне тоже хорошо известен, и я смиренно и молча стояла в стороне, зная, что в этот момент туристы вытаскивали из кошельков, сколько могли (10–20 долларов), и умиленно вручали эту сумму матушке. «Храни вас Господь», — говорила матушка, крестила нас на прощание, и все расставались, вполне довольные собой. Так же и в этот раз я замерла, глядя куда-то поверх куполов, матушка в смирении не поднимала глаз, а пахан, засопев, полез в карман спортивных штанов, куда до этого засунул носовой платок и где, как я уже поняла за день, лежала вся дневная, а может быть, и не только дневная, касса этой троицы.

«Вот», — сказал он и протянул монашке стодолларовую бумажку. Я закашлялась, — по тем временам (1996 год) это были большие деньги. Даже очень большие. Такие большие, что монашка испуганно отшатнулась и перекрестилась: «Бог с вами, что вы, это очень много. Столько не нужно». Стодолларовая купюра зависла в воздухе, как будто бы она жила уже сама по себе. Это, скорее, походило на взятку или на отпущение грехов, которого, возможно, не до конца удалось достичь у Камня Помазания. «Берите, мамаша», — поставив ударение на слове «берите», хрипло сказал пахан. «Нет, нет, что вы, это действительно не нужно, это же символически, просто...»

«Мамаша, — голос пахана осел так, что мне стало не по себе. — Вы деньги брать будете?» Я поняла, что это критический момент, и трудно сказать, как бы наш гость повёл себя дальше, но я не стала испытывать судьбу, а, развернувшись к женщине, судорожно и быстро заговорила: «Берите пожертвование, матушка, берите. Берите, пожалуйста, а то хуже будет... нам всем...» Видимо, она это тоже поняла, потому что быстро взяла деньги, перекрестила нас как-то слишком торопливо и, уже семеня обратно в церковь, проговорила: «Храни вас Господь».

«Ну вот, даже на такое благое дело нам удалось пожертвовать», — с наигранным энтузиазмом в голосе проворковала я и, чуть ли не взяв пахана под руку, направила нашу группу на выход. Он был

доволен: глаза светились, настроение было приподнятое. День прошёл удачно. Наш последний рывок, и мы на вершине Масличной горы: заканчивался ещё один иерусалимский день. Солнце катилось вниз, озаряя бесподобными красками купола Эль Аксы и площадь перед Стеной Плача. Старый город как на картине открывался перед нами, и чётко видны были все ворота Старой Стены, и сказки оживали. Казалось, что Златые Врата, которые должны были открыться в Судный День, и ущелье Геены Огненной, и всё, всё, всё, что здесь окутано загадкой и раскалённым воздухом пустыни, только замерло до темноты, до часа, когда день и ночь поменяются местами, и всё будет наоборот, всё, что я рассказала за день, станет сегодняшним днём, а всё то, что есть сегодня, будет далёким-далёким будущим. Мой рассказ и его главные слова: Иерусалим, Иисус Христос, иудеи, христиане, Голгофа— всё это ещё слышалось вокруг, хотя я уже закончила экскурсию, и мы лишь благоговейно смотрели на открывшуюся перед нами панораму. Пахан снова полез за носовым платком: слишком много эмоций в один день.

«Послушай, зая»,— доверительно придвинулся он ко мне,— а скажи мне один вопрос». «Да, я вас слушаю»,— я вся превратилась во внимание. «Вот я тут так и не понял, Иисус Христос, он шо был еврей?». В его голосе было столько неподдельного удивления, недоверия, непонимания... Я искренне растерялась: «Ну, в общем-то, да»,— сказала я извиняющимся тоном, чувствуя, что в этот момент на мне лежит вся тяжесть и ответственность за ошибку места рождения и происхождения Христа. «Он был еврей, раввин, родился здесь...» Пахан неподдельно, как-то по-детски всхлипнул: «Зая, так, а за что ж вы его тогда?..» Вопрос повис в воздухе, и я поняла, что потерялась, что всё, что я рассказывала в течение дня, уже кануло в Лету и что в этом мире ничего нельзя изменить, хотя и кажется, что достаточно правильно себя объяснить, выговориться, изложить мысль, доказать. Всё непреложно, как вселенная, и не мне менять понятия. Я вздохнула и улыбнулась: «Ответ на этот вопрос потянет ещё на одну индивидуальную экскурсию. Думаю, что сегодня нами и так очень много сделано».

ДиН стихи

Артём Трофимов Зажгу свой факел красный

Гром метнул на Атлантиду
Взор пылающих титанов.
И сокрылися из виду
Земли белых великанов.
Без единого завета
Пали стены злой державы.
Не узреет больше света
Их ребёнок величавый.
Ведь не слушали атланты
Предсказанья пифий слабых...
И утешились гиганты
Вечно скорбь грызущей славой...

Зима без верха и низовья,
Зима без края и конца...
Полночных бликов изголовье,
Закатных пурпуров пыльца...
Я знаю— долго так пристало
Судьбу морозную влачить
И— вдруг— тьму ночи осветить
Прозрачной прорубью кристалла...
Но россыпь солнца средь ночи
Потушит холод неподвластный.
И я зажгу свой факел красный—
Обрубок тающей свечи...

С уст монашских льётся
Чистая Псалтырь
К соснам душным жмётся
Горный монастырь.
Дланью Богослова
Образ сотворён
Светлый лик Христовый
Погрузился в сон.
И один на свете
С горестью в очах
Взросший на обете
Молится монах:
«Стали дни греховные,
Не вершат посты
Люди празднословные...
Господи, прости!..
Я один неистово
Верю в Неба синь.
Я, познавший истину!
Отче наш. Аминь...»
В тяжких стонах молится.
Как Святую быть,
Познаёт бездолицу
Горный монастырь...



Екатерина Злобина Большая медведица

145

Екатерина Злобина
Большая медведица

Марфа

Обмануло в этом году бабье лето: только день-два и было всего. А рядилось богато, слепило глаза, так, будто и нет на свете никакой осени. Пригреет макушки — зажмуришься, голову повернёшь, как подсолнух, к свету, и всё уютно вокруг и так красочно кажется! И поверишь почти — будто ни мороси больше промозглой, ни ветра, ни дождя, ни серого цвета не будет. А только радостный и тёплый — жёлтый. Так нет же! Наползло серого, расквасилось, расплакалось и вымерзло...

Людмила Ивановна торопилась домой. Сегодня ей снова пришлось задержаться в школе: директрису предупредили об очередной внеплановой проверке, и всем классным руководителям приказано было в экстренном порядке изобрести какой-то журнал по технике безопасности. Абрисов — ознакомлен — подпись, Аникушин — ознакомлен — подпись, Блинова — ознакомлена, Байда — ознаком... Три графы, тридцать фамилий, тридцать подделанных ученических подписей. На Чванове перестала писать ручка. Заменила, продолжила выводить — не пишет, и всё, что хочешь, то и делай. Испортила, в общем, страницу. Пока переделала...

Тихо треснуло под каблучком стёклышко лужи. Людмила Ивановна пошатнулась, взмахнула руками даже, но устояла. Не хватало ещё и самой — в гипс. Две недели назад её муж отпраздновал на работе день рождения (и ладно бы юбилей!), ну, перебрал слегка, а во дворе у них снова канаву какую-то раскопали с трубами. И вот он решил не по мостку дощатому перебраться, как все нормальные люди делают (до него десяток метров пройти надо было), а перепрыгнуть. Поскорее хотел, чтобы напротив подъезда сразу. Там канавы-то, и правда, смешно сказать...

Женщина вздрогнула: в кармане пальто ожил поставленный на виброзвонок телефон.

— Марфина Людмила Ивановна? — услышала она незнакомый мужской голос.

— Да-да!

— Ваш муж просил вам передать, у него деньги на мобилке кончились...

— Да, да...

Тридцать пять тысяч уже отдали за операцию. А ещё лекарства каждый день, да сёстрам, чтоб посматривали, ведь у него и сердце, не дай бог что, да санитаркам... А не то сама садись ухаживай, а жить за что? Кто теперь зарабатает? Домой не привезти — опять же: кому смотреть? Бабку похоронили, и то до сих пор ещё из долгов не вылезли, царствие небесное, дочке за семестр ещё не заплатили, а не бросишь, четвёртый курс, да и та каждый день: «мама-мама, денег-денег, дай-дай»...

Хлюпали под ногами пахнущие печалью прелые листья. Сейчас, до конца короткой и голой аллеи, направо, мимо заброшенного стадиона, за общежитие, через железнодорожную линию перейти, ещё проулочек — и дома. Высвободиться поскорее из этого давно уже тесного заношенного пальто, из этих сапог старушечьих (правда, кожаные), освободиться от сумки с тетрадами и книгами, больше похожей на чемодан, посидеть в тишине... Немножечко посидеть в тишине. И ужин Мише отнести в больницу. Да. Ужин и карточку не забыть.

Проходя мимо малосемейки-общежития, возле одного из подъездов Людмила Ивановна заметила младшего брата своей ученицы, Скориковой (её сегодня как раз не было в школе). Мальчик замер на мгновение, что-то соображая, потом слегка покраснел и вдруг — шагнул учительнице навстречу. — Марфа Ивановна, здравствуйте! — бодро начал он, стараясь не смотреть ей в глаза. — А Лена заболела!

Людмила Ивановна едва заметно улыбнулась. Конечно, для неё вовсе не было секретом, как называют её ученики. Марфа... Это было самое простое и естественное прозвище, которое можно придумать по фамилии. В конце концов, всё лучше, чем, например, у биологини — «Брюшко»! Ах, нет, нет, у той это же и в самом деле фамилия...

«Эх, Скорикова! Лена, Лена... Даже не отрепетировала с братом, не подсказала!» — подумала Людмила Ивановна, но поправлять его не стала. — Заболела? Снова? Как это некстати... Давай-ка я поднимусь к вам на минутку!

— Э-э-э... а дома никого нет, — растерялся мальчик. — Она это... ну... в общем... в больницу пошла!

Людмила Ивановна понимающе кивнула.

— Участкового врача и я сегодня увижу, о Лене обязательно справлюсь. Может, что-то серьёзное, а мы и не знаем...

Мальчик снова слегка покраснел, невнятно попрощался и убежал.

А ничего, пусть поволнуется Скорикова. Выпускной класс, и уже с первой четверти опять за свое! А ведь как просились в десятый, мать в школу каждый день, как на работу, ходила — «возьмите-возьмите девочку»... Девочка... с четвёртым размером, прости господи... какая школа! Шла бы, вон, хоть санитаркой, что ли. Нет, такая в санитарки не пойдёт, чужие горшки выносить... Ну, продавцом в универсам, деньги бы зарабатывала. И матери всё легче было бы, двоих поднимает одна, без мужика, упахивается совсем, вот тоже бедная...

Людмила Ивановна очень жалела старшую Скорикову. Но чем больше она думала о несчастной женщине, тем яснее вырисовывались перед

глазами родные лица её собственных непутёвых домочадцев, и это было так странно, так... неприятно.

Заморосило. Зонт... забыт в кабинете на вешалке. Впрочем, как всегда. Она одним привычным движением подняла воротник пальто и ускорила шаг.

Дойдя до железнодорожной линии, приостановилась, очень аккуратно переступила через скользкие рельсы и почерневшие деревянные шпалы, и даже обрадовалась, что сапоги у неё на плоской подошве, такие устойчивые: опасное здесь место, всё вокруг будто в мыле, щебень этот особенно, того и гляди,—не только без каблучков, ещё и без головы останешься.

На одном из путей, пережёвывая полосатым шлагбаумом—турик—неподвижно ржавел обезглавленный товарный состав. Поезд, который никуда не идёт. Приехал. Чёрное пустое железое... да ещё поперёк дороги: в обход, будьте любезны!

Раздражённо цыкнув и еле заметно покачав головой, она обогнула это вечное препятствие и оказалась на маленьком естественном перекрёстке: здесь соединились две «дикие» дороги. На одну из них выходили огородики частных домов, другая—короткий проулок—вела вверх, впадая в ту асфальтированную парадную улицу, куда и спешила Людмила Ивановна.

Само перекрестие этих дорог подпирала большая мусорная куча (частники стаскивали туда всякий хлам). Людмила Ивановна, поравнявшись с ней, вздрогнула: куча шевелилась.

На небольшом возвышении среди обгорелого тряпья, ключев жухлой травы и бумаги, целлофановых ошметков, бутылок из пластика и помойных отходов сидел и судорожно копался в большом чёрном пакете местный бродяга Аким.

Это был совершенно безобидный мужичок лет шестидесяти, бывший часовщик, мастер золотые руки когда-то, а теперь—бездомный горемыка, попрошайка и пьяница, человек не в себе. Жил он один, никого у него не было—ни жены, ни детей. Заснул однажды в домишке своём, по пьяной лавочке то ли папиросу не затушил, то ли ещё что, а только дом у него сгорел, и всё сгорело, но сам-то выбрался неизвестно как, жив-здоров, но умом слегка тронулся. Что стало с участком его, земли-то у него было при доме сотки четыре, продавал ли, кому да за сколько, да куда дел вырученное—никто толком сказать не мог. Да и дела никому не было, своих горестей всякому хватает, а только—ничего у него давным-давно не было, чем жил, что ел, где спал, на что напивался—одному Богу известно.

Глаза у Акима горели. Он окунал своё жёлтое морщинистое лицо в чёрный пакет, который держал на коленях, что-то там нюхал, разглядывал, подхихкивал, чесал грязной рукой свой засаленный седой затылок, потом засовывал в пакет обе руки, что-то там ворошил, вытаскивал какие-то пачки, перетянутые резинками, бил их друг о друга, бросал обратно и снова возбуждённо хихикал. Людмила Ивановна прошла было мимо, но всмотрелась невольно и оторопела: не может быть!

Заметив, наконец, пристально наблюдающую за ним женщину, бомж замер, быстро собрал горло

пакета в узел, схватив его обеими руками, прижал к груди, низко наклонился, почти лёг на него: прятал.

Всё это очень не понравилось Людмиле Ивановне. Она, неожиданно для себя, шагнула в сторону кучи.

—Что у тебя там?—строго прозвучал её голос.

Аким молчал, сжавшись в комок над пакетом.

Он почти перестал дышать.

—Ну! Милицию вызвать?!

—Деньги... деньги мои...

—Откуда? Украл? Говори, украл?—Людмила Ивановна уже не могла остановиться.

Аким затряс головой.

—Нашёл! Сам нашёл! Мусор, мусор!

—Где?

—У «Пальмы» в баках нашёл!

Наливайка под экзотическим названием «Пальма», в своём роде достопримечательность—выжившая ещё с советских времён бывшая пивная, известная всем поколениям местных пьяниц—располагалась неподалёку.

—Дал сюда!—скомандовала Людмила Ивановна.—Ну! Я звоню,—она вытащила из кармана телефон и уверенно занесла большой палец над кнопками.

Аким съёжился. Недавно, когда он, устав от голода и холода, разбил камнем стекло в управе района (чтобы забрали наверняка), вместо тёплой кутузки его отвезли в какой-то дворик потемнее да отходили так, что еле отлежался потом.

—Не надо ментов. Давай делить. Напополам, здесь хватит, здесь дохрена, а?—бомж, ещё надеясь, заглядывал женщине в глаза.

—С ума сошёл?! А ну-ка быстро пакет сюда!—приказала она, и по движению её руки Аким увидел, почувствовал: такая не засомневается.

Он бросил свёрток в её сторону и, втянув голову в плечи, побрёл прочь и всё что-то тихо, невнятно, отрывисто бормотал.

Людмила Ивановна застыла среди пустынного перекрёстка с грязным пакетом, набитым деньгами, в руках. Ей казалось, что бешеный стук её сердца слышен на километры.

Она не решалась заглянуть внутрь, хотя ей очень хотелось. «Это не твоё, это чужое, этого для тебя не существует»,—уговаривала она кого-то в себе. Этот кто-то властно принуждал её бегом бежать с пакетом домой.

«Никто не видел. Бомжу никто не поверит. Никто не знает, что там. Раз в жизни, наконец, повезло... Операция, долги, плата за институт, а может быть, даже и новое пальто, и сапоги новые, да ладно уж, сапоги, сапоги—ерунда, не в этом дело, не ради этого же, но как хочется всё-таки, всё-таки, всё-таки...»,—и все эти невозможности так легко и просто становились возможными!

Её вывели из оцепенения чьи-то шаги в проулке. Людмила Ивановна невольно вздрогнула и вдруг словно увидела себя со стороны. Ей стало неприятно и стыдно.

Приняв решение, она немедленно направилась в сторону злополучной «Пальмы».

В кафе было пусто. Во всегдашнем полумраке зала она едва разглядела двух человек. Один, в памяти

рубаше с расстёгнутым воротничком, сидел, уронив голову на столик, как на плаху. Второй стоял напротив, беспрерывно потирал пальцами залысины на своём багровом лбу, и выпирали, как на анатомическом рисунке, тугие жилы его шеи.

— Как, как это может быть, я не по-ни-ма-ю! Я от-казываюсь это понимать! Недельную выручку! Сколько там было?

— Сто восемьдесят тысяч триста девяносто два шестьдесят...

— Сто восемьдесят с половиной штук! В пакете! На помойку! День рождения они отметили! После учёта! Мусор они вынесли! Уроды! Я говорил тебе сразу, сразу везти мне деньги? Говорил?! Я говорил никогда не бухать на рабочем месте!?

— Мы искали, Николай Иванович... сразу же почти, сразу как поняли, где... перерыли там всё... и не было уже... — механическим голосом отзывался помятый.

Боковым зрением тот, что кричал, заметил: кто-то стоит в дверном проёме. Не поворачивая головы, рявкнул: «Закрыто!»

Людмила Ивановна приподняла в руках чёрный пакет. Разъярённый хозяин снова открыл было рот, но она быстро достала из пакета несколько пачек, перепоясанных тонкими цветными резинками:

— Я нашла. Деньги. И документы какие-то, всё здесь. Вот, пожалуйста...

Через несколько минут Людмила Ивановна сидела за столиком, сложив руки на коленях. Перед ней дымилась маленькая чашечка кофе. Николай Иванович и возвращённый счастливым случаем к жизни управляющий энергично, профессиональными движениями считали деньги.

— Сто восемьдесят триста шестьдесят... семьдесят, восемьдесят, девяносто.

Двух рублей с копейками не хватало. Мужчины уставились на Людмилу Ивановну.

Её бросило в жар.

— Я?! — только и смогла она произнести.

— Нет-нет, что вы, что вы! Простите, ради Бога, ради Бога извините! Вы нас просто спасли! Одну минутку, сейчас, я вас так просто не отпущу, — произнёс Николай Иванович и ушёл с пакетом куда-то в подсобку.

«А может, всё-таки сапоги... и всё честно», — подумала женщина и улыбнулась.

— Сейчас, сейчас... уж позвольте, примите от нас... — ласково тянул, возвращаясь, Николай Иванович.

Людмила Ивановна просияла, но уже через мгновение ощутила, что улыбка её, будто клеем намазана, стянула лицо: благодарный хозяин «Пальмы» торжественно протягивал ей коробку конфет. Несколько секунд они смотрели друг на друга.

— Ещё кофе? — не моргнув глазом, произнёс Николай Иванович. По его интонации было ясно: ей пора.

— Нет-нет, спасибо большое, извините, спасибо, я... до свидания, спасибо... да-да, до свидания! — неловко приняв ярко раскрашенную коробку, часто кивая, попятилась она к двери.

«Марфа, Марфа! Заботишься ты и суетишься... что ж тебе вечно-то больше всех надо! — горько

усмехалась Людмила Ивановна, — размечталась, старая дура!». Она почти бежала по тёмному переулку и время от времени утирала глаза рукавом.

Большая медведица

Не то что не любил, а, прямо сказать, ненавидел Валентин Петрович копать огород. Хуже каторги, честное слово: скрячишься в дугу и налегай, пока в глазах не зарябит — всадил, поддел, поднял, бросил, разбил, всадил, поддел, поднял, бросил...

Нарубил земли — аж до забора соседского, до самого горизонта. Всё под лопату! Всё под помидоры! Как же: мало места им... А ты на полуогнутых неделе ходишь потом, как конь... в этих... в шахматах...

Крошево вскопанного земляного моря со всех сторон обступало небольшой твердокаменный островок неправильной геометрической формы, на котором стоял и ругался Валентин Петрович: он лопату сломал. Вишню здесь когда ещё корчевали, хуже сорняка дерево, цепкая, живучая, сантиметр корешка оставь — отобьётся. Вот, хрясть!

— Наташа! Наташа! — выкликал он с досадой, нетерпеливо переминаясь на месте. На подошвы старых огородных сапог жирными слоями narосла земля, пристала трава, ноги не подыметь. Так в кандалах, наверное, ходят. — Наташа! Где ты там, не видишь, что ли, вилы-то дай!

Да он и не копал бы ни в жизнь, если бы не отец. Гангрена разболелась у старика. Так-то всё ничего, зальёт, бывало, марганцовкой, перебинтует потуже да шаркает себе потихонечку, то в огороде, то по дому, а тут что-то совсем размокла, стоять долго — и то не даёт, не то что копать. Ишь, какой грозный — «а не то сам», да куда — сам-то?! В позапрошлом году мать, вон, дневала и ночевала тут. Помидоры свои охаживала, воду на конфорке грела, тёплый полив. Так в этих помидорах и нашли её, чтоб им стореть, помидорам... Магазины для кого?! Сам-сам...

— Наташа!

Из дома выглянула жена. Спустилась с крыльца. Полотенце на плече белое, руки на бегу отряхнула, вытерла краешком. Скользнула к сараю, обратно, молча отдала вилы, унесла черенок и лопату, исчезла в доме.

Вилы входили в землю почти беззвучно. А лопатой — будто арбуз под лезвием треснет, а потом что-то свистнет и тоненько заноеет. Душу тянет. Ну её, эту лопату, хорошо, что сломал.

...Вдруг тяжелее стало копать. Валентин Петрович вынул вилы, осмотрел. Так и есть: на одном из зубцов пробка пивная сидит. А посредине — земли набилось, и в ней половина дождевого червя извивается. Тьфу, дрянь, твари безглазые, жирные!

Валентин Петрович выбил кулаком землю с червём, стащил пробку, отбросил её в сторону. Казалось бы, недавно совсем, здесь, на траве, с шурином покойным пиво пили... Шурин пил медленно, с наслаждением и после каждого глотка по сторонам головой вертел, с какой-то блаженной даже улыбкой.

— Ты, Валя, — говорил он Валентину Петровичу, — смысла, что ли, во всём этом не видишь никакого... — и неуклюже так водил рукой в воздухе.

Они тогда засиделись допоздна, и шурин всё порывался что-то этакое сказать, ось какую-то земную приплёл, в Большую Медведицу пальцем тыкал, а Валентин Петрович только посмеивался и снисходительно хлопал его по плечу...

...Эта бессмысленная работа неизменно портила Валентину Петровичу настроение. Он болел от неё: много курил в одиночестве, часто вздыхал и надолго задумывался. Жена однажды спросила, о чём.

— Да ведь что... ведь так и так закопают... Какого ещё и жить-то — мучиться?! — зло выдал он вдруг, обращаясь к кому-то в сумерки, будто продолжая давно начатый спор.

На этот раз работа, как ни странно, спорилась: Валентин Петрович быстро докопал вилами участок, очистил скребком инструмент, пристроил его к дереву возле дорожки, что шла по краю огорода. Смешно расставляя ноги, чтобы не упасть, добрался до ржавой железной рейки, торчащей из земли. Раз, два, срезало лезвие толстые стружки грязи.

Сапоги он бросил в огороде. Обычно убирал: пустыми, без человека, вида их терпеть не мог — зияют, мол, горлами, будто исчез из них кто-то.

В одних носках, на цыпочках добрался Валентин Петрович до крыльца, поднялся на ступеньку, нашарил свои тапки, нырнул в них, спустился снова. Закурил. Выдохнул вверх густой дым. Небо было чёрное, дугой над дворами, деревьями, столбами, проводами, антеннами... Крутом звёзд насыпано. Недвижимо. Безмолвно. И замерло всё: не шелестела листва на деревьях, притихли собаки, смолкли сверчки в траве, не стучали гулко поздние шаги на пустынной улице. Почему-то стало тревожно.

Какое-то время Валентин Петрович не мог понять, в чём дело. Сигарета в пальцах дотлела. Выбросил. Прикурил другую. А когда понял — так и вцепился в небо: может, померещилось?! Нет. Мерцали несчётно в черноте чужие, несводимые ни в одну привычную линию точки.

Валентин Петрович оглянулся на дом. Неестественно светлилась под тусклым фонарём голубоватая стена, грузно давила её крыша, расплзалась в сплошное тёмное пятно, сливалась с ночной чернотой... Всё вокруг было чужое, безмолвное и страшное. Всё, что ли? — чуть слышно выдохнул... — Наташа!!!

Жена появилась мгновенно. В ярком жёлтом свете из открытой двери. С ложкой в руке. Было слышно, как в кухне что-то шипит, и тихо бормочет телевизор.

— М-м-м?

— Где Большая Медведица, Наташа?! Смотри туда! Нет её! Видишь?! — показывал он.

Женщина вздохнула. Легонько, пальцами под локоть взяла, развернула мужа в другую сторону: — Вон твоя Медведица. Переехала. Лето же...

Звёздный ковш висел прямо над воротами.

Час ночи

Часы на стене в большой комнате клацают. Слишком громко. Слишком часто. Цепко в чёрное щёлкает тонкая стрелка. Зачем так нескромно торжествовать? Незачем...

И дешёвый пластик ваших винтиков — ногтем ткни — развалится. Да и время поломано: то на четверть вперёд, то на четверть отстать, а всё — восклицательными!

В других, давно, кукушечка жила. Серенькая, с мизинец, глазки рисовать негде. Половины — запятой объявляла: у, у, куда кому? Целые — много-точием: сколько надо, и тебе вежливо, и негромко, отсчитает — и калиточку аккуратнo за собой прикроет полукруглую.

Говорили бабке, не тяни цепочки так часто, мало, что гиру оторвала, под кедровую шишку, коричневым крашено и чуть-чуть облупилось уже, вот — и кукушку сломала, и дверцу!

Спяти утра они ей покоя не давали, шишки: ой, низко уже, в самый пол, ой, лягут, ломаем вещь... Хватя за кольца и давая скрежетать цепками! А они как железки в банке с раствором на столе у доктора друг о дружку лязгают, или как вот в металлическом ящичке что-то звякает, я знаю, что потом: штаны стянут, на кушетке клеёнка холодная, пахнет резиной, в шприц прозрачного наберут, потом в другой пузырёк с порошком, поднять, трясти, ватки кусочек, спиртом запахнет, ближе, ближе, и ждёшь, и ждёшь, и всё не угадаешь...

Так в полусне это было, одну цепочку продерёт, за вторую возьмётся — ну уж нет: в одеяле, с подушкой на голове, шлёп-шлёп-шлёп ступнями по голому полу, звонко, хлёстко — что?! Разбудила?! Половики сбивая, в комнату, что одна из всех закрывается, и дверь такая тугая, щепку гладкую пальцами выбить, хлопнуть, чтоб воздух свистнул! Спать не даёт...

Мышь под шкафом орех нашла большой. Катит, роняет, в лапках не удержать, зубом не примерится, скользкий, и бросить не может. Ночью не унесёшь — завтра выметут. Глупая, нашла бы грецкий свой, если бы туда веником достать.

Ещё коты за окном, как сдурели, январь месяц, правда, теплынь, не зима совсем, плюс пять, но орут и орут, всё нутро своё из себя по косточке, по жилке вытягивают, наизнанку с хвоста до морды выворачиваются, и обратно потом, вот же паршивцы, почему у меня только, но пусть... Темноты никогда не боялась, а только — тишины.

Та комната была пустая, свет такой больной, всё жёлтым пятном возле лампочки висел... Ничего в ней от хозяев не осталось, только стул и у стены старое пианино. Тёмные доски испачканы краской, словами изрезаны страшными, кому здесь так плохо было?! Крышку открой, а там — зубы желтеются, руки поднеси — не положить.

Два матраса нам дали, подушки и простыни — обживайтесь. Темно совсем не было. На стене гвоздь торчит, от него две тени, своя и ещё одна — может, картина висела, или чья фотография, да оборвалась, а нитка осталась.

Чёрный квадрат пианино. Спит или притворяется? Стул под вещами нашими. Накидали всего, и оброс тенями новыми, заслоился: то ли зверь какой спину выгнул, воздух ноздрями щупает, то ли стог сена, ещё не сбитый, не связанный, а то, может, карлик горбатый, отдышаться присел — вот тебе и стул, вот тебе и тряпки...

На матрасах на полу разметались ночевальщики. Откинули простыни, жарко. Кто на спине, руки разбросал, кто калачиком, кто в подушку лицом... И странно—ни звука.

Тишина эта тёмным облаком, душным, страшным, т-с-с-с, расплзалась над головами. Ниже, ниже спускалась... Руки-ноги как отнялись, дышать вдруг тяжело: что-то давит такое—глаза закрою—чтобы больно—проснуться—может—пропало—нет—нависает—всё—так же—и—голоса—нет—да—что же—это—такое—не может—быть, нет! Быстро, быстро, просыпайтесь, все! Растолкала, зажгла свет.

И пальцем крутили, и пересмеивались, но больше не спалось. С первой же электричкой—подальше от того дома. И давно там никто не живёт...

А от деда, через огород, вниз, за калитку заднюю—проволочным колючком за забор держится, чтоб не хлопала и куры соседские не лезли. А то Мишка задушит враз, он какой-то охотничей породы подгулян, квартирант принёс вот етакое, и ведь исть-то не умел как следоват, мордой в молоко пхнём—чихал, а вот, глянь, тащит, зубам держит, чернушку, ну, делать неча, не отдашь теперь—шея сворочена, а что добру пропадать, неси-ка, Вася, топор,—бабушка громко так говорила. По всем заборам секрет перекачывался...

—Что ты, Миля, кричишь?!

—А вроде не кричу?—удивится в который раз, на деда махнёт рукой—вон он—глухой, только она всегда такая была: звонкая.

Так спустишься к линии, потом вверх по насыпи, щебень поползёт, захрустит, ноги проваливаются, вязнут; взберёшься, потом по железной дороге недолго, вагонов десять, осторожно, а то в уголь или мазут, оттирай потом, и быстро вниз...

Там, сразу за гаражами, ещё дорожка крутая вдоль крайнего дома обратно на ту сторону улицы, по ней в дождь и не в дождь всегда скользко, сплошь тень да грязь, под деревьями да кустами вверх идёт, никто там и не ходит, только дурные, вот на этом самом месте, чуть в стороне—дом заброшенный.

Нельзя туда ходить—одни стены остались, да балки совсем гнилые сверху, одну сорвало уже, да от крыши пара рёбер с кусками черепицы по краю, а сквозь черепицы и рёбра—кусочки неба высоко.

Двери нет, пол травой зарос, углы крапивою обнесло. Два окна в стене, одно пустое совсем, как вытекший глаз. На другом рамы остались—и не спалили же и пьяницы, почернело с зеленцой, а не сыпалось, что за дерево?! Стёкла давно выбиты, а рама есть, и даже будто бы форточка.

Ветер её туда-сюда болтает, косенькую, глухо о трухлявое дерево бьёт, тук-тук, тук-тук... Вертит на петлях. На улице распахнёт, пустую,—грохота товарных вагонов, тепловозных гудков тягучих, яркого света от фонарей зачерпнёт, тополиных листов в переулке захватит прелых, внутрь кинет—ау! И

А у нас окна тоже на линию выходят. Комната эта—временка такая, на скорую руку лепилась, с низким потолком. Кто ни зайдёт, всегда сначала пригнётся, пока не привыкнет. Смеху-то: большим—всё кланяться...

Как стемнеет, часто там собирались и без света сидели, нарочно. В печке семечками щёлкает весело, кольца на ней дорожками красными, в уголке чайник тихо посапывает. Занавески на окнах крупными петлями связаны: свет фонарей легко идёт, ложится на пол квадратами жёлтыми, все в узорах, да от дюралки, что печка обшита, отблёскивает.

Далеко от нас тепловоз дворовых собак пугнёт коротко—всё равно им, молчат, привыкли, лохматые. Пустые вагоны прогонит вдоль огородов, а сразу за нами со звоном начнёт притормаживать; наконец, вздрогнет и застынет, в испарине вес, и выдохнет шумно.

Стёкла в комнате чуть слышно звенят и в рамках ходят, и мы будто едем куда-то, далеко-далеко, ещё дальше дальнего, за переезд. Может, там дождь проливной, может, снег огромными хлопьями сверху, и ветер зло в спину толкает, и всё незнакомые люди. А здесь тепло и не страшно, и пахнет бабушкиным шкафом, горячей известью, пылью сторовшей от печки, и дед храпит уже... А сам обещал сказку.

Одну только знал, про медведя с липовой ногой. Ночь настаёт,—скрып, скрып, стук, стук—липовой культёй своей, идёт-бредёт по деревне медведь, ищет кого-то, в окна глядит, носом по ветру ведёт: где не спят, где печь топят? Мою ногу варят, моё мясо едят?!

—Хватит, не надо!—Из-под одеяла хныкали тоненько.

—Хр-р-р-р-п-п-п...—отвечал и бросал нас одних бояться, что вот-вот найдёт среди ночи...

Спорили шёпотом, кому за бабушкой идти, а то как спать?! Никто не хотел. Стали ссориться и слышим: с веранды в дом ручка дверная дёргается... Щёлк-щёлк. Открылась. Идёт кто-то. Топают...

—Бабушка-а-а,—заныли, висками стукнулись.

—Чево вы?—отзовётся из коридора. Вернулась!

Толкнёт деда, шикнет. Здоровый какой, а ума как есть нету, вон—девки-то ревут, батюшки-святы, наделал делов, иди-ка, в большой зале печь чево-то не тово, подкинуть ба...

Уляжется с нами на перине, панталоны свои бледные, до колен, стянет и через полкомнаты—фюить!—запустит под стул.

—Мышам спать мягче,—объясняла. Ха-ха-ха, мышам, хи-хи-хи, спать!

Шёпотом громким другие сказки плетёт: и зверьё-то там расчудесное, да и каждому свой голосок, и леса-то дремучие, а всё-всё видать, до последнего деревца, и дороги-то дальние, долгие, а куда надо—всегда попадётся.

—Долго ли коротко ли... шёл Иван Царевич... шёл... Иван... э-э-э... шёл... за молоком... м-м-м... с утра вставать... рано... х-п-п-п...

Коты таз уронили с лавки. Покатился пустой. Звон, гам, на бетонный пол, два круга на нём, один на земле и—стон...

Когда печь ломали, спустя сколько лет, и то тише. Глухо крошился кирпич, из-под лома кусками сыпался, и стены все в оспинах, тоже ровнять теперь. Штукатурка белесыми кляксами на пол... И пыли-то, пыли! В горле першит.

Наткнётся железо на камушек—и будто бы стон потом тоже, еле слышный и тонкий, на секунду почудится. И насовсем под потолком истаёт. . .

Теперь уже не узнать времянки. Хоть по трое становись на плечи и руку тяни—не достать потолка: высоко. Красиво стало и гладко, и стены в шёлку с позолотой, и шторы шнурами витыми затянуты, кисти тяжёлые, будто шишки в тогдашних часах. . .

А где печка была—новый шкаф, тёмной вишни, и телевизор. Комната, не времянка тебе! И двери есть. Хочешь—на замок, а только скучно там и отчего-то зябко, и эхо ходит одно. . . А стёкла в рамках тепловозам не пляшут уже. Там пластик немецкий стоит, ни звука не пустит—с гарантией.

Шкаф бабкин когда переносили, вытрясли всё изнутри. Пакет один с полки упал, рассыпался. Красного сатина отрез, чёрная лента, исподнее новое, тюль. И свёрток газетный, резинкой стянут. Смёртное. Кинулись собирать, быстрее, с глаз долой, и руки жжёт. В печку бы всё. . .

— Страшно тебе?—правнуки пристанут.

— А чево страшно? Мои-то все там давно,—скажет так, усмехнётся.

Дед ей должен остался, лучшей ткани на платье. Спор проиграл, так и не купил. Вот и отдаст, а то ведь она не отстанет. . .

— А мы не твои?!—обидно правнукам.

— И вы мои. Мои золотыя. . .—вздохнёт о чём-то, и замолчит надолго.

В том доме пустом за линией, в печи разбитой, котятка без кошки нашлись. Глазки закисло, блохи огромные по розовой шкурке рассыпями. . . Взяли в дом, из пипеток выхаживали, один только и выжил, чёрный. Пузо раздутое, глаза выпучены, и голову всё закидывал набор—кошмар. Так и звали. Думали, имя сменим потом, а прижилось. — Кошмар, Кошмар, кс-кс-кс-с-с. . .—гости смеялись всегда. Выходил красавец холёный, глянце-вый, и умница же был кот, и со стола не воровал.

Старый стал, сослепу с виноградной сетки си-ганул в форточку, как привык, а её уже не было, поменяли окна. Когтями по стеклу, и стёк вниз. . . Хороший был кот, долго жил.

Бабушка часто сидит в своём уголке, без света, молча, одна. За всю жизнь, разве когда родилась, в церковь ни ногой, а недели две тому ей Богородица приснилась. Что ж ты, Мария, дескать, не идёшь. . . Пошла, и еле отстояла, и ругалась же потом на попа да на служек: всё им денег дай, везде рупчик сунь, тут свечку, там свечку. . . А крестик на толстой нитке, серой уже, носит, не снимая, с того дня.

Как же там было, сейчас, молитва одна. . . Отец?.. Где ты еси?.. Узнают ли?.. Откроют ли?.. А что ты можешь на земли?.. Что готовить будем завтра и днесь?.. Сколько за всё?.. Чего с них взять, с долж-ников наших?.. Во искушение—что?.. И—кто это там ещё?! Лукаво как. . . избавиться. . .

Это иначе надо. . . завтра. . . не спрашивать. . . И часы не забыть со стены. . . притихли. . . вот я. . .

ДиН антология

80 лет
со дня рождения

Римма Казакова Из первых рук

Из первых книг, из первых книг,
которых позабыть не смею,
училась думать напрямик
и по-другому не сумею.

Из первых рук, из первых рук
я получила жизнь, как глобус,
где круг зачёркивает круг
и рядом с тишиною— пропасть.

Из первых губ, из первых губ
я поняла любви всеисильность.
Был кто-то груб, а кто-то глуп,
но я—не с ними, с ней носилась!

Как скрытый смысл, как хитрый лаз,
как зверь, что взаперти томится,
во всём таится Первый Раз—
и в нас до времени таится.

Но хоть чуть-чуть очнётся вдруг,
живём—как истинно живые:
из первых книг, из первых рук,
из самых первых губ, впервые.

Любить Россию нелегко,
она—в ухабах и траншеях
и в запахах боёв прошедших,
как там война ни далеко.

Но, хоть воздастся, может быть,
любовью за любовь едва ли,
безмерная, как эти дали,
не устаёт душа любить.

Страна, как истина, одна,—
она не станет посторонней,
и благостней, и проторенней,
тебе дорога не нужна.

И затеряться страха нет,
как незаметная песчинка,
в глубинке города, починка,
села, разъезда, вёрст и лет.

Отчизны мёд и молоко
любую горечь пересилият.
И сладостно—любить Россию,
хотя любить и нелегко.



Салахитдин Муминов Ты беги, беги...

151

Салахитдин Муминов
Ты беги, беги...

Утром ночь пришла

Раннее утро. Марья Павловна сидит на кухне и внимательно смотрит в окно. «Ночь... ночь... скоро ночь. Я чувствую», — тоскливо бормочет она. — Бабушка! Ну какая ночь? — весело кричит красивая быстроглазая девушка. — Ещё и восьми нет! Вот! — изящным движением правой руки показывает на круглые настенные часы.

Марья Павловна молчит.

— Бабушка! — тормозит её за плечи внучка. — Не грусти! Весна на дворе!

— Вера, ночь скоро наступит. Я чувствую...

— Ерунда! Какая же ерунда! До ночи ещё далеко! Впереди целый день! — Вера распахивает окно. — Птицы поют! Воон, самолёт летит! А ты знаешь! — она звонко, совсем не зло смеётся. — Съехала силиконовая грудь Кристины Агилеры. Это я новости по Интернету только что прочитала. А Николь Кидман стала похожа на Майкла Джексона!

— Верочка, беги уж в университет, а то опоздаешь! — Ну да, мне пора! Бай-бай!

Марья Павловна ласково смотрит ей вслед, а потом снова с нетерпением поворачивается к окну. — Доброе утро, — стремительно входит женщина средних лет. — Как вы себя чувствуете? Как спало? Как настроение?

Вопросы она выпаливает один за другим, не дожидаясь ответа. Видно, ей всё равно, что скажет старуха. Женщина зажигает газ, со стуком ставит чайник на плиту, достаёт чашки из шкафа, прибитого над раковиной. Её движения нервные и торопливые.

— Чаю хотите?

Марья Павловна отказывается. Женщина пожимает плечами, смотрит поверх её головы в окно. Помолчав минуту, говорит тихо, с грустью в голосе: — Вчера на рынке видела Юрку Соколова. В коляске. Инвалидной. Сидит в ней с протянутой рукой. Я сначала не узнала его... Хотела подать, а он голову поднял... Узнала... А какой красавец был! Самый красивый мальчик в нашем классе... Время-то как летит! Прямо, как реактивный самолёт...

В открытое окно медленно вползает туман.

— Что это, туман?! Откуда? Лето скоро! — женщина закрывает окно.

— Зима... зима, оттого и туман такой густой и холодный, — задумчиво отзывается Марья Павловна. — Всем доброе утро! — на пороге кухни стоит мужчина с пивным животом, обширной лысиной и беззащитным взглядом добрых глаз.

Он подходит к Марье Павловне и нежно целует её в щёку.

— Жёнушка, и тебе привет!

Женщина недовольно отворачивается от него.

— Муж и жена одна сатана, — смеётся он, несколько не смущённый её поведением.

— Игорь, вот ты можешь сказать, когда за ум наконец-то возьмёшься? — стоя спиной к нему, с упрёком спрашивает женщина.

Мужчина виновато молчит.

— Он купил участок на Луне! — кричит женщина, вскидывая руки к потолку. — Три гектара Луны! Отдал последние наши деньги!

Она отчаянно рыдает.

— Всё... надоело... я так больше не могу...

Она выбегает из кухни; хлопает дверь в прихожей; слышен стук каблуков на лестнице.

— Мама, не слушай её. Я удачно вложил деньги, — робко оправдывается мужчина. — Знаешь, сколько будет стоить этот лунный участок через десять лет? — Звезда зажглась. Игорь, видишь звезду? Над тополем горит.

— Странно... ещё только утро, а уже звезда...

— Это она мне светит, — с детской алчностью в голосе заявляет Марья Павловна.

— Тебе одной? — спрашивает мужчина с лёгкой завистью.

— Звёзд на всех хватит, — утешает его старушка.

— Я пойду! — говорит Игорь. — А ты тут не скучай.

Марья Павловна остаётся одна в большой квартире. Капает вода из крана, тикают настенные часы. Стремительно темнеет, хотя часы показывают только девять.

— Ночь наступила, — говорит она и растерянно улыбается.

За окном ночь, тёплая летняя ночь. Ярко светит луна, поют сверчки, пахнет спелыми яблоками.

Я ненавижу Достоевского

Новый рассказ никак не желал сочиняться, поэтому Сергей, студент-второкурсник филфака, решил прогуляться в старом парке. Он выключил компьютер, встал, перед круглым зеркалом причёсал светлые волосы. Энергично сбегал по серой клавиатуре лестницы и вышел на улицу.

Дворник дядя Гена в старой шапке-ушанке усердно размахивал метлой. Шапка отличалась необыкновенной преданностью старику, всегда сопровождая его выходы на улицу, гордо устроившись на голове. Шапка была ровесницей пятнадцатилетнего внука дворника и потому изрядно потрепалась. Одно ухо торчало в сторону, что придавало ей сходство с легкомысленным щенком.

Дядя Гена усердно шоркал по асфальту, тщательно выковыривая из трещин окурки, клочки бумаги, фантики. Рядом стоял Николай Иванович, сосед Сергея по лестничной площадке. Синяя рубаха

с короткими рукавами, круглые очки, кожаный портфель. Николай Иванович, учитель русского языка и литературы с большим стажем, устал за мизерную зарплату втолковывать своим ученикам нравственные идеи классиков, и потому скорбное выражение практически никогда не покидало его лицо. Учитель внимательно наблюдал за работой дворника.

— Здравствуйте, Сергей!— торжественно сказал Николай Иванович.— А знаете ли вы, что литература умерла? Вчера по телевизору объявили! Но зато классика жива,— добавил он, радуясь тому, что не останется без куска хлеба, который добывал в поте лица, преподавая классическую литературу.

Дядя Гена перестал мести и ахнул:
— Умерла? Неужель?

Щенок на его голове удивлённо тряхнул ухом.
— Да! Умерла!— с пафосом подтвердил Николай Иванович. Портфель важно качнулся в его руках.
— Жизнь трансформировалась в гигантский роман, а люди превратились в литературных персонажей. Следовательно, литература будет вечной, как и сама жизнь!— предвзвительно глубоко вдохнув, выпалил Сергей и помчался в сторону парка.

Лицо Николая Ивановича вытянулось, как огурец; бледно-голубые глаза часто-часто замигали; густые брови вопросительными знаками сошлись на переносице. Щенок впал в глубокую задумчивость, передав своё эмоциональное состояние метле, которая безвольно упала на землю и лежала в праздном недоумении.

Сергей широко шагал по весенней улице. Навстречу шла девушка. Чёрные тугие крылья волос билась о щёки от каждого её шага. Энергичный ветер, вылетевший как чёртик из табакерки, подхватил пряди волос и подкинул их. Чёрные штрихи весело заплясали в воздухе. Девушка взглянула на него. В её больших глазах несмело, словно первая звезда, вспыхнула лёгкая ласка и тут же погасла. Она покраснела, отчего её лицо напомнило персик.

Девушка прошла, а Сергей, обернувшись, всё смотрел ей вслед. Она будто купалась в лёгких волнах зелёного платица. Изящные туфельки бойкими воробьями прыгали по земле. Казалось, что она вот-вот взмахнёт руками и улетит прочь из душевного города.

Сергей продолжил свой путь. Медленно шествовал грузный старик, иногда с усилием поднимая руку, словно к ней был привязан тяжёлый камень. Рука касалась шляпы, серым котом устроившейся на его голове, словно ему хотелось проверить, на месте ли она. За стариком бодро семенила болонка, похожая на лохматую мочалку.

Резво, лягушкой, подпрыгнул зелёный лист, сорванный ветром со старого клёна. Глаза серые, чёрные, зелёные, карие, голубые. Лысины, шевелюры, шляпы. Парик каштановым кудрявым облаком плыл над красными розами, прыгавшими на спине дородной дамы. Казалось, что парик сорвётся с её головы и легкомысленно умчится догонять светлые тучки, стремительно летевшие на край неба. От тучек отрывались прозрачные лоскутки, тонувшие в густой, как сметана, и сочной

синеве. Взмахивая крыльями юбочек, пронеслась шумная стайка девочек.

За поворотом— парк. Зелёные лохмы плакучей ивы небрежно падали на спинку деревянной скамейки. Лужайка, одуванчики, фонтан, кусты сирени. Только Сергей сел на скамейку, чтобы полюбоваться живописной окрестностью, как над ним раздался немного скрипучий мужской голос.
— Вы позволите?

Высокий худощавый мужчина лет сорока доброжелательно смотрел на Сергея.

— Пожалуйста! Места много...

Мужчина удобно уселся, широко расставив ноги. Немного помолчав, он безапелляционно заявил, чётко выговаривая каждое слово:

— Я ненавижу Достоевского! Не-на-ви-жу!

Сергей почувствовал, что его брови невольно поползли вверх, выражая удивление.

— Вот как? Интересно!— отозвался он, с любопытством уставившись на незнакомца.

— Я на самом деле ненавижу Достоевского,— мужчина потёр рукой твёрдый подбородок, а затем устремил синие глаза на весело взлетавшие струи фонтана.

Он выдержал паузу, затем встал, одёрнул полы пиджака и громко сказал:

— Я ненавижу Достоевского. Ненавижу за то, что он говорил неправду о людях, которые хотели разбогатеть. Ну что плохого в таких людях, как Лужин? Это же не Раскольников, зарубивший топором несчастную старуху-процентщицу. Это же не Свидригайлов и прочие душегубы. Бесы всякие! Лужин никого не убил и не был способен на убийство. Лужин всего лишь хотел разбогатеть. Ну что в этом криминального? Зачем смеяться над людьми, которые пекутся о личном благе? Вот почему я ненавижу Достоевского.

Сергей иронично глядел на него и думал о том, что иные персонажи Достоевского словно сбегали из его романов и зажили самостоятельной жизнью, не стесняясь изрекать те мысли, за которые их следовало бы публично высечь.

— Я никогда не прощу Достоевского!

— Вы устроили защиту Лужина,— усмехнулся Сергей.— Но вы, кстати, не очень-то и убедительны.

— Я ненавижу Достоевского за то, что он оклеветал людей, которые просто хотели жить в достатке.

— Вы не одиноки в своей нелюбви к Достоевскому. Ленин тоже ненавидел Достоевского за сатирические образы революционеров. Не мог ему простить Верховенского, Ставрогина, Шигалёва.

— Так этим злым нигилистам и надо! Поделом им Достоевский врзал! А Лужину-то за что досталось на орехи? Лужины— атланты экономики. Лужины народ кормят. Для проститутки Достоевский нашёл добрые слова, а предприимчивого Лужина с грязью смешал,— с обидой в голосе рассуждал этот странный человек.

— Бунин тоже терпеть не мог Достоевского,— начал было Сергей речь в защиту великого писателя.

— Бунин был желчным человеком,— нетерпеливо перебил собеседник.— Он язвительно критиковал Достоевского за чуждую ему писательскую манеру. А я же как читатель не люблю его за другое,

а именно за то, что, что он осмелял людей, для которых бизнес — дело их жизни.

— Ваш Лужин тот ещё мерзавец! — решительно отрезал Сергей.

— А кто сейчас не мерзавец? Кто?! Все вокруг мерзавцы! Даже небо и то мерзкое!

В это время озорно зачирикали воробьи, прыгавшие по асфальту в поисках крошек.

— Воробьи тоже отменные мерзавцы!

— Митя, Митенька, сыночек! — кричала маленькая старушка, торопливо направляясь к скамейке. — Вот ты где. А я ищу тебя по всему парку. Митя, домой!

— Ну... мне пора! — сказал мужчина и улыбнулся. — Приятно было побеседовать с интеллигентным человеком.

— А вы предприниматель? — спросил Сергей. — Так яростно вы защищали Лужина.

— Был, был предпринимателем, — отвечала старушка. — Но сгорел его книжный магазин. А теперь Митенька денно и ночью читает книжки. Пойдём, Митенька.

Она взяла сына за руку и повела за собой к выходу. Митя то и дело оглядывался, а потом остановился и крикнул:

— Пожалуйста, передайте привет Сонечке Мармеладовой! И Алёше Карамазову тоже!

Сергей посидел ещё немного, затем встал и быстро зашагал по центральной аллее домой.

Сапоги

Нина Петрова купила новые сапоги. Сегодня впервые вышла в них на улицу. Была ранняя осень. Легко и радостно дышалось. Нина шла и любовалась людьми и своими сапогами — ярко-красными, на высоком каблук.

— Девушка! — кинулся к ней молодой человек. — Девушка! В кино сняться не хотите?

— Я?!

— Вы!

Застучало сердце. Нина с нежностью посмотрела на свои сапоги. Она вдруг поверила, что это неожиданное предложение напрямую связано с ними. Нина всегда мечтала о карьере кинозвезды. И вдруг такое предложение! И не когда-нибудь, а именно сегодня, когда впервые вышла в новых сапогах!

Договорились, что Нина придёт на киностудию завтра утром. Примчавшись домой, Нина позвонила своей подруге Тане. Волнуясь, сказала, что будет сниматься в кино. Таня слушала с завистью.

На киностудии было многолюдно. Тот самый парень, что предложил Нине сниматься в кино, даже не посмотрел на неё. Он суетливо бегал, подгоняемый криками толстого человека с чёрной бородой. «Режиссёр!» — произнёс кто-то почтительно.

Вдруг Нина увидела знаменитую актрису Елену Звёздную. Она стояла рядом с режиссёром, который что-то говорил ей. Затем актриса прошла к декорации, изображавшей городскую улицу. Воздев руки к небу, уронила белый платок.

Подстёгиваемый криками бородача, парень подскочил к толпе приглашённых и попросил их пройти мимо декорации.

Нина, стараясь шагать грациозно, двинулась вместе со всеми и нечаянно наступила на белый платок Елены Звёздной. В отчаянии посмотрела на режиссёра, но тот не обращал на неё никакого внимания. Оператор снимал почему-то не лица людей, а их ноги.

Опять подскочил парень, скороговоркой поблагодарил толпу и сказал: «Все свободны!».

Нина вцепилась в его рукав и спросила, как называется фильм. «Любовь и слёзы», — крикнул убегающий на зов режиссёра парень.

Прошёл год. Нина всем рассказала о том, что снялась в кино. Каждую неделю тщательно просматривала программу телепередач. Девушка уже потеряла надежду, что фильм покажут по телевизору. Но однажды утром Нину разбудил телефон. Звонила подруга Таня. Задыхаясь от волнения, сказала, что фильм «Любовь и слёзы» покажут в субботу вечером.

В субботу Нина и Таня, возбуждённые и счастливые, сидели у телевизора. До фильма было ещё три часа. Ползло время. Наконец-то начался фильм. Медленно поплыли густые и мелкие титры. Фильм шёл уже второй час и явно приближался к финалу, а Нину ещё не показали.

Возникла Елена Звёздная, которая уныло брела по городской улице. Затем актриса воздела руки к небу и горько заплакала. Из её рук выпал белый платок. Нина толкнула Таню в бок и сказала: «Сейчас меня покажут!». В это время из кадра пропало лицо Елены Звёздной.

Появились ярко-красные сапоги, которые прошли по белому платку. Нина узнала свои сапоги. Они так грациозно ступали по мостовой!

— Это я! Это я! — радостно закричала Нина.

— Где? Где? — с нетерпением спрашивала Таня.

— Да вот же, вот же, — удивляясь бестолковости подруги, твердила Нина.

Когда Таня ушла, Нина достала из коробки ярко-красные сапоги и со слезами на глазах прижала их к себе.

Летит время. Прошло семь лет. На свой день рождения Нина каждый год приглашает немногочисленных друзей и с удовольствием рассказывает, как однажды снялась в кино.

«Вот в этих самых», — говорит она, вытаскивая из коробки ярко-красные сапоги, и долго с нежностью смотрит на них.

И подруги тоже внимательно смотрят на сапоги. Слышно, как тикают настенные часы, и капает вода из крана на кухне.

Дорогая, мне больше не снится Шопенгауэр

В городе Б. жил Роберт Сергеевич, пожилой учитель истории. Взглянув на его потрёпанное суровое жизненное лицо, можно было запросто потерять веру в её добрые намерения. Видимо, Роберт Сергеевич слишком часто смотрел на своё отражение в зеркале, что и сам вконец утратил всякое доверие к жизни. Может быть, поэтому в его глазах застыло выражение пессимизма, не исчезавшее даже тогда, когда он танцевал.

На свою беду недавно он прочитал книгу Шопенгауэра «Мир как воля и представление». Трактакт понравился ему, и часами напролёт, лёжа на мягком диване, он размышлял о вселенском пессимизме.

А однажды утром он озадачил супругу, жизнерадостную женщину с добрыми глазами, словами:

— Дорогая, мне сегодня приснился Шопенгауэр!

Она всплеснула полными руками и спросила:

— А это кто ещё такой?

Роберт Сергеевич принял было рассказывать о Шопенгауэре, но жена ушла на кухню готовить завтрак.

К великому недовольству жены он совсем перестал заниматься домашним хозяйством. На её уговоры выкопать картошку на даче важно отвечал: «В бытии царит пессимизм. Всё тщетно в этом суетном мире!»

Жена, не выдержав его бесконечных монологов на упомянутую тему, уехала к дочери в соседний город.

На следующий день после её отъезда Роберт Сергеевич как обычно в десять часов вышел из дома и отправился на работу. Вдруг откуда-то ни возьмись выскочила чёрная дворняга и с громким лаем побежала за ним. Он остановился и сказал ей: «Дура!»

Наверное, собаке не понравилась такая аттестация, и она с угрожающим рычанием бросилась на него. Роберт Сергеевич испуганно озирался в поисках места, где можно было спастись от агрессора. Взмахнув неуклюже руками, рысью устремился к остановке, ретиво преследуя желанную цель — добежать до высокой скамейки и вскочить на неё. Дворняга не отставала. Её звонкий лай привлёк внимание мальчишек, игравших в футбол на обочине дороги. Град камней обратил в бегство собаку, норовившую ухватить за штанину Роберта Сергеевича.

— Дедушка, а собак бояться не надо, — наиздательно сказал пухлый краснощёкий малыш пяти-шести лет, — а я знаю, вы вон в том доме живёте! Если хотите, я вас буду провожать до остановки и охранять. Она вообще-то добрая.

Достав из кармашка старого пальтишки кусочек печенья, звонким голосом позвал:

— Жучка! Жучка!

Прошло три недели. Жучке, видимо, понравилось преследовать несчастного Роберта Сергеевича. Каждое утро, кроме воскресенья, она поджидала его у дверей подъезда и с задорным лаем гнала к остановке.

Регулярные энергичные, хотя и вынужденные пробежки резко подняли его жизненный тонус. Ему всё меньше и меньше хотелось думать и говорить о пессимизме. Всё реже и реже он читал Шопенгауэра.

Наконец он решил избавиться от книги немецкого мыслителя. Долго он думал, кому же из своих коллег её подарить и остановил выбор на Степане Никаноровиче, учителе физики, ходившем с кожаным портфелем и выражением скорбного уныния на лице, которое возникло тридцать лет

назад, в тот день, когда он получил свою первую мизерную зарплату. Он любил приговаривать: «Что есть человек? Песчинка... Пылинка...»

Вечером того же дня Роберт Сергеевич позвонил жене и ласково сказал в трубку: «Здравствуй, дорогая! Как ты, не соскучилась? Тебе, наверное, приятно будет узнать, что мне больше не снится Шопенгауэр?»

Сегодня Степан Никанорович жаловался в учительской, что от него ушла жена и утром по пути на работу за ним с лаем бежала чёрная собака и норовила укусить за икры.

Увлечённый рассказом он не замечал, что на губах Роберта Сергеевича играла улыбка Джоконды.

Ты беги, беги...

Тринадцатилетнему Ромке приснилась умершая прошлым летом бабушка. Она молча стояла во дворе — напротив окна; тускло желтел краешек неба, остро сияла синяя звезда, мерно раскачивались ветви старой ели, белым тяжёлым песком струился по ним снег. Луна, сверкая пухлыми боками, румяным колобокком суетливо выкатилась из рваной тучи и осветила сад мерцающим лимонным светом. А бабушка всё стояла и всё смотрела перед собой. Ромка хотел позвать её, но она, словно угадав его намерение, приложила палец к губам и отрицательно покачала головой, а затем повернулась и медленно побрела в глубь сада. Из-за голых кустов сирени показалась фигура мальчишки, подросток присоединился к ней, луна жёлтым клубком вкатилась в тучу, лимонный свет бесследно рассеялся в синей ночи.

Ромка проснулся, протёр глаза, с сожалением выбрался из тёплой постели, ёжась от холода, сунул ноги в тапочки и на цыпочках подошёл к окну, с любопытством взглядел в синее стекло, во дворе — пустынно. В кровати у стены напротив сладко посапывал младший брат — шестилетний Алёшка. «Ишь, как дрыхнет! Набегался за день!» — ласково подумал Ромка и заботливо прикрыл пухлые ручки малыша одеялом.

Радостный запах лимона витал в комнате; на тарелке лежал в предрасветной задумчивости лимон. А яблоко-то где? Алёшка стащил, сильно любит яблоки, может зараз слопать с десяток.

Утром, сварив манную кашу, шлёпнул её в белую, с розовыми цветочками нарядную мисочку и подвинул Алёшке.

— А яблоко где? — сурово спросил Ромка.

— Какое яблоко? — с фальшивым недоумением вытаращил карие глаза Алёшка и тут же виновато хлопнул густыми ресницами. — Я не брал! — Стоял он на своём.

— Так уж я тебе и поверил! — Ромка легко шлёпнул его по тугому затылку. — Ты стырил, больше некому!

Алёшка обиженно засопел, но не заревел, пухлые красные щёки надулись, ну, словно то самое наливное яблоко, что присвоил.

Воскресный день быстро пролетел в хлопотах: Ромка затопил печку, сварил борщ, прибрал в квартире. Алёшка тоже не сидел без дела: сначала строил домик из потёртых деревянных кубиков,

а потом, когда наскучило, принялся что-то рисовать цветными карандашами.

— Ну, давай одеваться, пойдём в посёлок, — сказал Ромка, когда короткая чёрная стрелка старых настенных часов ткнулась в цифру пять.

Мама, отработав смену в больнице, обычно покупала продукты в поселковом магазине, и Ромка всегда помогал ей донести сумки домой. Одев Алёшку, выпроводил его на улицу, а сам задержался на минуту у овального зеркала в прихожей: быстро причёсал волнистые русые волосы, весело подмигнул своему отражению, энергично одёрнул полы старого серого пальто и вышел во двор.

До посёлка идти было всего-то километр. Ромка усадил на салазки Алёшку и направился к мосту. Через минут десять подошли к мосту и остановились. Внизу весело сверкал лёд; река, извиваясь, лениво тянулась серой тропинкой к горизонту; там клубились бледно-сиреневые тучи.

— Ромка, а давай пробежимся по льду? — протестительно смотрели карие глаза.

Ромка задумался: лёд уже крепкий, а почему бы и не поскользнуть по нему? Он кивнул карим глазам. — Ура! — Алёшка соскочил с салазок и резво побежал к реке. Ромка едва успевал за ним.

Громкий хруст, боль в ноге, чёрная вода, испуганные карие глаза... Минут пять бился Ромка в холодной воде, тщетно пытаясь выбраться на лёд. Пальто тяжёлым грузом тянуло вниз, надо бы его скинуть, но уже нет на это сил. Наконец ему удалось ухватиться за корягу... можно немного отдышаться...

Алёшка стоял рядом, до берега-то метра три, не более... Тоска больно кольнула в сердце: Ромка понял, что ему уже не выбраться отсюда. И даже если Алёшка успеет быстро добежать до посёлка, он всё равно утонет, так и не дождавшись помощи.

Поднял измученный взгляд на брата. Тот испуганно пялил тёплые карие глаза, и в них — страх. Ромка тяжело вздохнул, теперь надо было уговорить его, чтобы немедленно шёл в посёлок. «А ну как, если тонуть начну, так он до смерти

перепугается. А то ещё кинется спасать меня и сам утонет», — с тревогой подумал он.

— Алёшка, — сказал, едва шевеля непослушными губами, и не узнал своего голоса: таким чужим он ему показался. — Алёша!

Алёшка удивлённо уставился на него: никогда Ромка так ласково ещё не обращался к нему.

— Алёша, — Ромка поймал себя на мысли, что ему нравится так называть брата: на сердце сразу защемило. — Ты вот что... Ты беги в посёлок. Зови людей на помощь, а я тут подожду.

— Я... я не хочу, я лучше с тобой побуду! Ты, давай, выбирайся да поскорее, молили карие глаза.

— Алёша, тебе нельзя здесь... А сам я не смогу... Из сил выбился... Ты вот что... дуй в посёлок.

Алёшка отрицательно мотнул лобастой головой. — Ты же не хочешь, чтобы я замёрз? Не хочешь? Знаешь... как холодно... в воде холодно. А если ты позовёшь сюда людей, меня вытащат... Ты понял? — Понял, — выдохнули пухлые губы.

Алёшка полез в карман шубки, достал красное яблоко.

— Вот! — он потопал было по льду к полынье.

— Куда?! Назад!!

Алёшка почему-то присел на корточки и бросил яблоко Ромке. Яблоко упало у самого лица.

Бежит в лиловом сумраке малыш, бежит, старательно перебирая толстыми ножками, беги, Алёша, беги, беги, родной мой человек, низко висит оранжевая звезда, тревожно хрустит снег, хруст постепенно удаляется, плеск чёрной воды. Холодно! Очень холодно. Как же — холодно! Как же всё-таки холодно может быть! Звонко плещется чёрная вода. Молчит небо, молчат звёзды, молчит река. Всё молчит кругом, просто небу, звёздам, реке нет дела до него... Тёплый ветер плавно раскачивает ветки яблонь; яблоки со стуком падают в густую траву; запах спелых яблок, травы, нагретой жарким солнцем; злой плеск чёрной воды; низко висит колючая синяя звезда... холодно... как же может быть холодно...



Сергей Петров Последний ужин

156

Сергей Петров
Последний ужин

Антон уже час сидел над холмиком свежей земли, на котором лежали живые цветы. Лилии, георгины, гладиолусы, жёлтые розы. Букеты с нечётным количеством цветов, перетянутые чёрными и красными траурными лентами.

— Смотрим, давно сидишь?— вывел его из раздумий прозвучавший хриплый голос.

Рядом стояли двое мужчин. Перепачканные глиной брюки. Грязные мятые рубашки. Обветренные лица. Мешки под глазами.

— Могильщики,— определил Антон.

— Отец?— пробасил один из них.

Рябое лицо. Взгляд из-под густых насупленных бровей.

— Мать,— выдохнул он.

Мужики присели рядом.

— Меня Тимохой зовут, а его Арсением кличут.— заявил Рябой.

Антон разлил оставшуюся водку. Арсений достал из бумажного свёртка бутерброды с сыром и колбасой.

Помянули.

— А мой отец тоже неподалёку покоится. По пьянке замёрз в сугробе,— вздохнул Тимоха.

— У моей— рак— промямлил Антон и с надеждой в голосе спросил,— Мужики. А магазин рядом есть? Денег на пузырь дам.

Лица могильщики засияли.

— Магазин рядом. Арсений сбегает,— порывисто воскликнул Тимоха.

Антон привстал. Нога затекла. Последствия детской травмы. Дома у них на стене висел большой ковёр. Конец ковра слетел с петель. Ему было лет шесть. Решил снова навесить на петли. И ничего лучшего не придумал, как подкатить к стене трёхколёсный велосипед. Встал на него. Велосипед поехал. Мать тогда его целый километр до больницы на руках несла. Врач констатировал перелом ноги. Запеленали его в гипс, и месяц ходил на костылях.

Память шла дальше.

— Мама! Я нарисую для тебя счастье!— кричал он, раскладывая цветные карандаши, одновременно пытаясь пристроить под столом загипсованную ногу.— Оно будет по-взрослому большое. С синим небом, ласковым солнцем. На этой картине мы с тобой всегда будем вместе до конца жизни!

Вместе не получилось и не только до конца жизни.

— Вам надо с Верой жить отдельно,— тихо, но твёрдо сказала тогда мать.

— Мы тебе мешаем?— озабоченно спросил Антон.

— Не в этом дело. В доме не может быть двух хозяек. Так будет лучше,— спокойно ответила она.

Антону показалось, что названная причина не была истинной, может, потому что жена как-то сразу легко согласилась с предложением матери.

Лишь через многие годы он узнал, что женщины не сошлись характерами, но как женщины, любящие одного мужчину, скрывали проблему.

Отношения между женщинами наладились, когда появилась дочь. Теперь мать почти каждый день бывала у них, а порой забирала к себе внучку на несколько дней.

А уж когда появился сын, мать вся светилась счастьем.

Прошло всего четыре недели с того памятного вечера.

Антон, сидя на диване, рассеянно смотрел на экран телевизора. По нТВ шёл очередной сериал про «ментов». Сам сюжет его не интересовал. Телевизор был для него шумовым фоном, под который лучше думалось.

В мыслях он выстраивал свою будущую стратегию встречи с клиентом, с которым уже безуспешно месяц пытались подписать контракт.

Рядом присела Вера. Зевнула. Посмотрела на экран.

— Эту серию мы уже видели,— сказала она и вопросительно посмотрела.

Потом улыбнувшись, твёрдо сказала.— Раз уж фильм тебя не волнует, то хотела бы с тобой поговорить вот о чём.

Она замерла, понимая, что и её муж не слышит. Затем улыбнулась, и, хитренько щёлкнув пультом, выключила телевизор.

Он встрепенулся и испуганно заморгал глазами.— Антоша,— сразу, не мешкая, начала Вера,— У меня к тебе серьёзный разговор.

— Слушаю,— недовольно промямлил он.

— Сегодня по телефону разговаривала с твоей мамой,— осторожно начала жена.

— У неё всё нормально?— уже окончательно возвращаясь в действительность, тревожно спросил Антон.

— Знаешь, я после стольких лет совместной жизни, хочу, чтобы ты пригласил другую женщину, тоже любящую тебя, допустим, в ресторан,— торжественно проговорила Вера.

Антон растерялся, сразу не поняв смысл сказанного, недоумённо вскинул брови.

Видя выражение его лица, жена звонко рассмеялась.

— Это не то, о чём ты подумал. Я о матери. Вспомни. Водил ли ты когда-нибудь мать в ресторан?— щebetала Вера.

— Ни разу,—подумав, озадаченно ответил он, но тут же выдал,— А почему сейчас и в ресторан? — Потому что туда ни разу не приглашал. Будет неожиданно, и ей приятно. А почему сейчас? По разговору я почувствовала, что у неё что-то не так. Но мне она не скажет. А вот тебе может,—подытожила уже твёрдым голосом жена.

Последнее время он не часто звонил матери, а уж домой к ней приезжал последний раз полгода назад, на её день рождения.

Было уже поздно, но Антон взял трубку телефона.

— Что-то случилось? У вас всё в порядке? — сразу раздался встревоженный голос.

При позднем звонке мать, как пожилой человек, сразу настраивалась на неприятные новости.

— Всё нормально,—успокоил Антон.

Однако, продолжая разговор, чувствовал на протяжении на другом конце провода.

— Ладно. Скажу. Я решил пригласить тебя в ресторан. Имею я право пригласить свою самую любимую женщину в ресторан?—с напором выдохнул Антон.

Жена сразу обиженно притворно надула губки.

Антон, прикрыв трубку, выпалил: «Но тебя, как Бючитай, я называю самой любимой женой».

За что сразу получил от жены удар подушкой. — Ты не перестаёшь меня до сих пор покорять, мой мужчина,—выдохнула мать, её голос дрожал от волнения.

Последние два месяца, после того как попал в аварию, Антон поставил машину на стоянку и ездил на работу на метро. Но сейчас решил встретить мать на машине.

Увидев бмв, ахнул! Автомашина была вся усыпана красными, жёлтыми осенними листьями! Это было настолько красиво, аж дух захватывало! Вдруг встрепенулся лёгкий ветерок, и сказочный ковёр, окутавший машину, зашуршал, как будто приветствовал и благословлял его.

Ехал Антон медленно, а по сторонам ему улыбались тротуары, усыпанные золотом листьями, приветливо кивали деревья, сопровождая его вальсом кружащихся листьев.

— Вот так и живём! Окружающей красоты не замечаем! Все времена года сливаются в один безликий поток суеты. Всё не можем остановиться, спешим куда-то. Про близких людей забываем. Мать совсем одна. А я ей почти не звоню! — кусал виновато губы Антон.

— Ладно,—решил он твёрдо,—Вот съезжу в командировку и буду каждый день ей звонить, и через день хоть на полчаса приезжать!

От принятого решения он улыбнулся и ехал с этой улыбкой до подъезда матери.

Мать немного волновалась.

Смутное лицо с еле заметным пушком на щеках и у нижней губы. Гладко зачёсанные к затылку русые волосы. Светящиеся, излучающие радость, глаза. — Какая ты у меня красивая! — воскликнул Антон.

Когда отец погиб в автомобильной аварии, мать похудела, осунулась. Восковое лицо, отсутствующие глаза. Она почти год ходила, отрешённая, как мумия.

Постепенно время залечило душевные раны.

Но больше ни с кем из мужчин она не захотела сойтись, хотя такие предложения к ней поступали, и перестала заботиться о том, как выглядит.

Последнее платье она купила на день его свадьбы. И больше ни разу не надевала.

Теперь во второй раз.

Когда они вышли из машины, мать взяла Антона под руку и шла величественно, поглядывая на прохожих.

Весь вечер улыбка играла на её лице.

А когда заиграла медленная мелодия, Антон галантно встал и пригласил её на танец.

На счастливых глазах у матери проступили капельки слёз.

— У тебя всё хорошо?—только в конце вечера решился спросить Антон.

— У меня всё даже отлично, Антоша!—с сияющими глазами ответила уверенно мать.

— Как прошёл вечер?—спросила жена, когда Антон вернулся домой.

— Просто прекрасно!—пропел он.

— У неё всё нормально?

— Да.

— Может, мне что-то и показалось, хотя интуиция меня пока не подводила.

— Тебе показалось. Мама была ослепительна! Не один мужчина бросал на неё заинтригованные взгляды!

Через неделю Антон уехал в командировку.

До возвращения домой оставался один день.

Утром он побрился и стал спускаться в кафе гостиницы на завтрак.

Телефонный звонок остановил его уже при выходе с лестницы в вестибюль.

— Антоша!—раздался напряжённый голос жены.

Он напрягся, предчувствуя беду.

— Крепись.—продолжала жена,—Мама умерла!

— Не может быть!—выдохнул Антон.

— У неё был рак в последней стадии. Всё-таки предчувствие меня не подвело.

— Но почему она мне ничего не сказала?

— Видимо, хотела уберечь тебя от страданий. Рак обнаружили поздно. Уже в последней стадии. Врач сказал, что лечение было бесполезно. Но твоя мать понимала, что если ты узнаешь, бросишь работу, потратишь все свои деньги на лучшие клиники и самых высокооплачиваемых врачей, хотя это ничего не даст. Она знала, что ты измотаешь себя до нервного срыва. Её любовь к тебе не могла этого позволить. Главной мечтой её жизни было, чтобы ты был счастлив и успешен. Она во всех поступках в первую очередь думала о тебе. Думала о том, как то или иное событие на тебе отразится, и оберегала твоё счастье и благополучие.

Вера и Антон, уже не в силах сдерживать эмоции, всхлипывали в трубку.

Вот Арсений принёс бутылку «Пшеничной».

Снова выпили.

Свинцовые, мрачные тучи, словно демоны, плотно закрыли всё небо, не оставив солнцу ни единого шанса озарить землю теплом и светом. Деревья мрачно утрамбовывали землю листвой. Подвывал угрюмо ветерок. На сердце было холодно и мерзопакостно. стакан водки теплом разлился по телу, но не согрел. Через минуту всё тело резко прошиб озноб.

— Да, мама,— думал Антон,— Ты так хотела, чтобы я женился, и у меня были мальчик и девочка. Я женился. У меня славные детишки: мальчик и девочка. Ты хотела иметь дачу на берегу реки. Но я так и не успел её купить. Это была твоя мечта: иметь дачу и видеть меня счастливым. Я стал счастлив, но не стало тебя. Эх, вернуть бы всё

обратно. Так бы я тебя сильно любил! Сильно, сильно! Но уже поздно, и возврата в прошлое нет.

На секунду Антону показалось, будто мать сидит рядом и смотрит на него. Глаза её грустно сияли, одновременно и прощая его, и поддерживая в будущей жизни, этой жизни без неё.

Он вострепнулся.

Показалось.

Как он хотел сейчас вновь подойти к знакомой двери. Осторожно позвонить, и перед ним бы оказалась женщина. Одна-единственная, любящая бескорыстно, без обмана! Это Мать! И он бы обнял и прижался к её груди и тихо сказал бы: «Здравствуй, мама! Я дома!»

Но этого уже не будет!

Не будет никогда!

ДиН антология

90 лет
со дня рождения

Юрий Левитанский И в этом вся печаль...

Ялтинский домик

Вежливый доктор в старинном пенсне и с бородкой, вежливый доктор с улыбкой застенчиво-кроткой, как мне ни странно и как ни печально, увя— старый мой доктор, я старше сегодня, чем вы.

Годы проходят, и, как говорится,— сик транзит глория мунди,— и всё-таки это нас дразнит. Годы куда-то уносятся, чайки летят. Ружья на стенах висят, да стрелять не хотят.

Грустная жёлтая лампа в окне мезонина. Чай на веранде, вечерних теней мешанина. Белые бабочки вьются над жёлтым огнём. Дом заколочен, и все позабыли о нём.

Дом заколочен, и нас в этом доме забыли. Мы ещё будем когда-то, но мы уже были. Письма на полке пылятся— забыли прочесть. Мы уже были когда-то, но мы ещё есть.

Пахнет грозью, в погоде видна перемена. Это ружьё ещё выстрелит— о, непременно! Съедутся гости, покинутый дом оживёт. Маятник медный качнётся, струна запоёт...

Дышит в саду запустелом ночная прохлада. Мы старомодны, как запах вишнёвого сада. Нет ни гостей, ни хозяев, покинутый дом. Мы уже были, но мы ещё будем потом.

Старые ружья на выцветших старых обоях. Двое идут по аллее— мне жаль их обоих. Тихий, спросонья, гудок парохода в порту. Зелень крыжовника, вкус кисловатый во рту.

Всего и надо, что взглядеться,—боже мой, Всего и дела, что внимательно взглядеться,— И не уйдёшь, и никуда уже не деться От этих глаз, от их внезапной глубины.

Всего и надо, что вчитаться,—боже мой, Всего и дела, что помедлить над строкою— Не пролистнуть нетерпеливою рукою, А задержаться, прочитать и перечесть.

Мне жаль не узнанной до времени строки. И всё ж строка—она со временем прочтётся, И перечтётся много раз и ей зачтётся, И всё, что было с ней, останется при ней.

Но вот глаза—они уходят навсегда, Как некий мир, который так и не открыли, Как некий Рим, который так и не отрыли, И не отрыть уже, и в этом вся беда.

Но мне и вас немного жаль, мне жаль и вас, За то, что суетно так жили, так спешили, Что и не знаете, чего себя лишили, И не узнаете, и в этом вся печаль.

А впрочем, я вам не судья. Я жил как все. Вначале слово безраздельно мной владело. А дело было после, после было дело, И в этом дело всё, и в этом была печаль.

Мне тем и горек мой сегодняшний удел— Покуда мнил себя судьёй, в пророки метил, Каких сокровищ под ногами не заметил, Каких созвездий в небесах не разглядел!



Пётр Аргунов Всем хочется счастья

Записки простодушного

159

Пётр Аргунов
Всем хочется счастья

Размышления

Иван Иванович, мужчина лет семидесяти пяти, грустно сидит у окна своей квартиры на кухне и смотрит на улицу. Временами вздрагивает холодильник, некоторое время гудит, затем снова тишина. Хозяин квартиры любит подолгу сидеть и наблюдать за происходящим за окном, за изменяющимся каждую секунду миром. Он пытается уловить ту грань, когда уходящий день растворяется в вечерних сумерках и наступает ночь, но сделать этого не может.

Сегодня его мысли заняты новым увлечением. Какое бы, какое может быть увлечение у человека в его возрасте? Но нет. Под старость лет он обнаружил в себе, как он считал, способность к творчеству. Он стал писать стихи, а позже короткие рассказы. К этому его подвигла дикая несправедливость, царящая в современном обществе, в котором ему приходилось доживать свой век.

Стихи у него получались корявые, как пороги на реке, и в них совершенно отсутствовала поэзия, как ему сказали однажды в литературной студии.

Иван Иванович в минуты волнения, воспоминаний о прошлом, о природе, нет-нет, да и укладывал свои мысли в рифмующиеся строки. Делал он это, конечно, для себя, для успокоения нервной системы, но иногда читал их своим друзьям и знакомым. Правда, некоторые, кто слушал его стихи, считали, что они ничего, в смысле хорошие, иные молчали, не соглашаясь с первыми. Всё — как в жизни, одинаковых мнений не бывает, это хорошо, ведь только в споре рождается истина.

Однажды случилось ему прочитать своё стихотворение в институте на праздновании 65-летия Победы Советского народа в Великой Отечественной войне. А через год оно появилось в сборнике стихов и рассказов, выпущенном этим институтом.

Конечно, Иван Иванович очень хотел, чтобы его стихи печатали, но эти мечты он хранил втайне от всех, неудобно было как-то за свои мысли, словно открываешь всем свою душу. Не привык он жить нараспашку. Да и могут ли понять тебя другие люди? Ведь не зря говорят, что чужая душа — потёмки.

В начале лета его стихи напечатали и в другом сборнике другого литературного объединения, который он тоже получил, но, как и в первом случае радости не испытал, понимая несовершенство своего «творения».

— Странно, — думал он, — неужели что-то есть в моих стихах?

Но Иван Иванович прекрасно понимал, что в нынешнее время напечатают даже самого бездарного поэта или прозаика, так как пришло время

денег, а время чести и совести ушло в неизвестном направлении. Поэтому к появлению его стихов в печатных изданиях он отнёсся совершенно спокойно.

Наряду со стихами наш новоявленный литератор писал короткие рассказы.

Однажды и стихи его, и рассказы попали в руки одной писательницы. Её приговор был безжалостен. «В ваших стихах нет поэзии — сказала она мягким, как сон, голосом, — а вот в рассказах что-то есть. Давайте попробуем доработать — и, может быть, что-то отправим в журнал». Иван Иванович понимал прекрасно, что значит услышать то или иное слово от специалиста. В душе он порадовался за свои короткие рассказы, а внешне не дрогнул ни одним мускулом.

Одобрение вселило в Ивана Ивановича надежду, что он, уже немолодой человек, ещё может быть полезен своей истерзанной Родине, где обогащаются без меры, как грибы после дождя выросшие, безжалостные и жестокие русские капиталисты. Впрочем, во всём мире капиталисты одинаковы. Грустно становится Ивану Ивановичу от таких мыслей, обидно за детей и внуков. А разве солдаты во время передышек на фронте о такой жизни мечтали?

Воодушевлённый поддержкой, начинающий «прозаик» решил, что будет стараться приносить посильную пользу своей стране изменившей свой облик и внутренний мир людей до неузнаваемости. Но он прекрасно понимал, что изменить ход событий уже невозможно...

Он знал, что страна наша богата не только полезными ископаемыми, но и талантами народными, которые с приходом дня будут приносить пользу отечеству, а не покидать страну, когда-то дарившую радость жизни и надежду на светлые дни.

— Да будет так — повторял и повторял Иван Иванович, глядя на фонари уличного освещения в наступившей ночи

За ночью непременно придёт день. Этой надеждой и живёт последнее время ждущий рассвета немолодой человек.

Иван Иванович

Наступила уже весна. Но погода была переменчивой: то дружно таял снег, и лужи покрывали дороги, то вдруг резко всё менялось. Поднимался ветер, налетал снег, пряча под серебряным покрывалом всё, что успело обнажиться после зимы, лужи сковывал лёд, всё снова замирало. Люди шли, кутаясь в тёплые одежды. Вот такой весенний месяц март.

В такие минуты Иван Иванович думал о жизни. Он уже дорабатывал последние месяцы перед выходом на пенсию. У него было странное ощущение: как такое может быть, что ты не будешь работать, и тебе будут платить какие-то копейки за то, что ты стал старым.

Ему не верилось, что это может произойти с ним. В душе он чувствовал себя молодым. В подтверждение этому ему никогда не уступали место в общественном транспорте, никто, ни молодые парни, ни девчонки, ни тем более люди средних лет. А пенсионный возраст катился как снежный ком, как лавина, да и спина уже не хотела работать, как раньше, постоянно болела, вот и приходилось Ивану Ивановичу, стиснув зубы висеть на поручнях в общественном транспорте. Не просить же, унижаясь, чтобы место уступили. И многие пожилые люди гордо стоят, а молодёжь... да Бог с ней, с молодёжью, ведь её никто не учил, что пожилым людям воспитанная молодёжь место должна уступать, это ведь воспитанная должна, верно?

Ивану Ивановичу становилось жутко от мысли, что если он не будет работать, то не будет хватать денег ни на еду, ни на одежду, ни на бензин для машины, а это значит, что о даче придётся забыть. А дача—это не только овощи, фрукты, главное на даче—это движение. Всё цепляется одно за другое, думал он, и хорошо, если бы удалось долго поработать, получая пенсию, чтобы дольше быть в полёте на дно, на дно нищеты. Как страшно это дно!

Так он сидел, вспоминая о прошлой жизни, и одновременно думал: раз вспоминаю о прошлом, значит, старость всё-таки наступает. То ему вспоминалось детство, то перед глазами чередой проходили лица удивительных, добрых и отзывчивых людей, с кем ему довелось работать, общаться. На сердце у него в такие минуты становилось по-весеннему тепло. А когда он вспоминал своих товарищей, простых тружеников—братьев Харчевных, семью Зыковых, Жилкина Сергея, сестёр Смирновых и других ребят, то словно ласковое солнце тёплыми лучами касалось его лица. Тогда думалось, что жизнь прожита не зря.

Но последние годы ему пришлось столкнуться с людьми, при воспоминании о которых становилось холодно даже в жару и хотелось сразу вымыть руки с мылом. Но, слава Богу, что уже в прошлом этот кошмар.

За окном лучи солнца нежно касаются снега, который превращается в ручейки, а те серебряным звоном пробуждают в сердце Ивана Ивановича радость тех далёких дней, когда он был ребёнком. Тогда по таким же весенним ручейкам плыли бумажные корабли, гонимые ребячьей мыслью в неизвестное, непонятное будущее, которое всегда манит.

И сейчас у Ивана Ивановича неизвестное будущее, только оно его уже не радует и не манит так, как тогда... Но может ли оно быть лучше под другим флагом? Может ли оно быть лучше, когда все занялись торговлей? Может ли оно быть лучше, когда сокращают рабочие места на предприятиях и миллионы людей не могут найти себе работу?

Правда, молодёжь не слишком-то и стремится на производство, ей бы работу полегче, да денег побольше и сразу. А новоявленные хозяева не думают о стране. Их волнует только прибыль, яхты, самолёты, дорогие курорты и тому подобное. Неужели всё ещё мало? Пора бы взглянуть на мир и другими глазами, глазами людей, несущих ответственность за всё, что происходит не только в зоне собственного обогащения, но и подальше, пора бы. Нельзя долго народ давить, издеваться над ним, как над пенсионерами, которым льготы на проезд в общественном транспорте то дадут, то отменят. Хотелось бы обратиться к их совести, но это пустое. Там, где правят деньги, совести нет места. Пора поднимать разрушенные или уничтоженные предприятия, вроде Шёлкового комбината в Красноярске, на котором работали тысячи людей. А если посмотреть по стране, сколько подобных предприятий превратились в торговые площадки, супермаркеты, а то и просто в пустыри! А деревни? Страх берёт.

Сколько же страдать ещё России нашей?

Дашенька

Даже когда она стала взрослой, её продолжали называть по-прежнему—Дашенька. Была она мила личиком, стройна, изнежена. Она была единственным ребёнком обеспеченных родителей.

Николай Иванович, её отец, бывший фронтовик, человек нелёгкой судьбы, прошедший концлагерь, к концу жизни великим трудом своим добился высокого звания—стал академиком РАН, директором завода, работающего на космос. Это был обаятельный в общении человек.

Но и великие люди уходят в мир иной.

Дашенька со своей мамой, оставшись одни, подключили все свои связи, знакомства и переехали жить в Москву. После того, как они переехали в столицу, Василий, их давний знакомый, о них ничего не слышал.

Но наступил август 1991-го. Люди не отрывались от экранов телевизоров, наблюдая за происходящим в столице. В это время не было равнодушных. Прогремели выстрелы из орудий по Белому дому, возвестившие о том, что события приняли очень серьёзный оборот. Стала появляться информация о погибших.

Через некоторое время стало понятно, что к власти пришли бывшие коммунисты, бросившие свои партийные билеты в мусорные вёдра. В стране начался развал, не суливший ничего хорошего народу.

Спустя некоторое время после этих событий объявилась и наша Дашенька.

В квартире Василия зазвенел телефон. Подняв трубку, он услышал знакомый женский голос, но сразу не мог вспомнить, кому он принадлежит. Из трубки лился воркующий голосок: «Здравствуй, Вася, это Дашенька...—и через небольшую паузу,—Иванова». И Василий сразу вспомнил её. Доводилось ему несколько раз быть в квартире Николая Ивановича. Его тогда поразило огромное количество книг. Книги были и на рабочем столе, и на полках в книжных шкафах, повсюду книги.

Однако Дашенька сразу перешла к делу: «Вася, нам нужна твоя помощь, пожалуйста, выручи, мы тебе хорошо заплатим. Я из Москвы приехала с Семёном, коллегой по работе, и мы надеемся только на тебя. Нам необходимо, чтобы ты нас повозил на своей машине по городу, а мы уж...».

Семён был упитанный молодой человек, не лишённый обаяния, окончивший университет, владеющий языками, которыми пользовался при общении с иностранцами. Он работал в кооперативе, который организовали военные, ушедшие в запас, но сам он пороха не нюхал.

У них с Дашенькой была одна задача — закупать в леспромхозах лес-кругляк и переправлять его в город Новороссийск для дальнейшей отправки за границу.

Благодаря старым папиным связям перед Дашенькой, словно перед министром, открывались двери чиновников, отвечающих за лесные богатства края.

И составы, гружённые кругляком, потянулись к берегу Чёрного моря, пополняя счета московского кооператива зелёными лесными деньгами.

Однажды, под занавес их работы, Василий спросил у Семёна: «А не жалко вам наш лес, который вы за бесценок приобретаете у нас в Сибири и втридорога продаёте за границу? Вроде это как-то не по-хозяйски, как-никак ведь Москва — столица нашей страны, кому как не вам думать о богатстве Родины, а эти деньги проплывут мимо казны, не по-хозяйски, не по-хозяйски всё это».

Ответ Семёна был короткий, как выстрел: «Нет, конечно! Я для того и учился в университете, чтобы из ничего уметь делать деньги. А что будет потом, меня не волнует».

Набив карманы деньгами, а Василия оставив с носом, Дашенька и её компаньон на его горизонте никогда больше не появлялись. Может, они стали жить богато, а может, их посадили за махинации... этого Василий не знает, да и вряд ли узнает.

Иногда Василия гложет совесть, так как он считает себя причастным, хоть и косвенно, к продаже леса, а вернее, к воровству народного богатства в те далёкие дни, когда развалилась некогда мощная держава, стоявшая, как оказалось, на глиняных ногах. Отец Дашеньки всю свою жизнь отдал на укрепление мощи своей Родины, а его дочь, в числе огромной армии хищников, ринулась терзать её...

И сегодня, по информационным сводкам, лес продолжает загадочным образом уплывать за границу. Да только ли лес? А что взамен? А взамен ОЯТ (отработанное ядерное топливо) со всего света на хранение нам прямо под бок. И как всегда, обещание счастливой жизни народу. Ведь простой народ доверчив, как ребёнок...

Жалко птицу будить

Как-то позвонил я своему давнему приятелю. — Здравствуй Лёня, поздравляю тебя с днём Советской Армии, желаю тебе здоровья! — Спасибо — слышит в ответ — и тебя тоже поздравляю.

— Что нам сейчас надо? Только здоровья и надо, которое как-то незаметно, непонятным образом исчезает — подумал я. Лёне недавно сделали операцию, шунтирование. Сердце прихватило. Сколько мы с ним раньше изъездили, то на рыбалку, то на охоту. С каким удовольствием я вспоминаю то время...

— А ты как? Ездишь ли на рыбалку? — спрашивает Лёня.

— Да нет, я только сейчас на дачу и езжу. Какая мне рыбалка? После того как распалась наша компания, я уже забыл, что это такое.

— Да брось ты свою дачу, если она мешает рыбалке, — полушутя, полусерьёзно говорит Лёня. Он часто так говорит, когда я не мог ехать с ним за удовольствием.

— Не могу, — отвечаю ему, — рыбалка, конечно, отдых хороший, но дача кормит. Не могу.

Посуди сам, можно ли на нашу пенсию прожить достойно? Ну вот, видишь? Да ещё из этого мизера львиную долю съедает ЖКХ, газовики, всех и не перечислять. Но страшнее всего бизнесмены, которые, не стесняясь, запускают невидимые руки в чужой карман, поднимая цены от хлеба до бензина. Ты же знаешь, что совесть даже рядом с ними не ночевала. А продукты мало того, что дорогие, они и совсем не вкусные, порой даже ядовитые. Идёшь из магазина и словно кот в мешке несёшь. Не знаешь, проснёшься утром, после ужина, или нет, одному Богу это только и известно.

Да, что тебе рассказывать? Ты и сам не маленький, всё видишь, всё знаешь. Правда, тебе чуть легче, у тебя твоя-то в общепите работает, а нам — лето не поработаешь, туго придёт зимой. Вот так-то дорогой.

Ты посмотри на часы, ведь скоро мы раньше петухов кукарекать будем. Жалко будет птицу рано утром будить, ей Богу жалко! А на работу-то идти надо? Надо.

А бензин? Хорошо ты на солярке, а я вот на бензине. И мой бензин запретили к выпуску. Хоть сено коси да лошадь покупай, а сам, как у Зощенко, два года солому ешь. Но это ведь не выход из положения. А без транспорта в городе никак нельзя. Пешком на дачу не доберёшься, а если и доберёшься, то — как быть с урожаем? На плечах-то не унесёшь! Сердце не выдержит.

Ты посмотри, как о нас заботятся! Всё делают. Чтобы мы лишнего не работали.

Лежите — говорят — старики, на диване да бевевики смотрите по телевизору, да как нынешние ловкачи живут богато, радуйтесь хорошей жизни, готовьтесь, а к чему — не уточняют. Может, намекают, что нам много есть вредно, а может, вообще есть вредно, напускают какой-то туман. А может, снова что-то затевают, только к добру ли это? А может, хотя разом отобрать у стариков последнюю радость, радость общения с природой? Как ни жаль, но считай, что они этого уже добились. Те, кто ещё могли доехать, теперь дойти пешком не смогут.

Мысли увели меня в какую-то мрачную действительность, и чуть было не забыл я о рыбалке...

Когда вспоминаю зимнюю рыбалку, то, кажется, становлюсь моложе лет на двадцать. Бывало, когда мороз отпустит, мы непременно ехали в залив на машине, потом вставали на широкие охотничьи лыжи и километра через три выходили на лёд, сверлили лунки во льду, и начиналась рыбалка. Ловили мы в заливе окуней, редко попадалась щука, доставляя незабываемый восторг. Мужики тогда говорили с лёгкой завистью: «Везёт же новичкам». Я тогда только начинал приобщаться к братству рыболовов и охотников.

В иной ясный день снег искрится, как хрусталь, в лучах солнца. А по берегам залива дремлют горы, поросшие лесом, кругом тишина и покой, и кажется, что этот мир и покой должен быть на всей удивительно красивой, но не спокойной планете. Ощущение, что мы находимся где-то в раю.

Однажды мы проехали по морю от устья реки ещё километров двадцать, а может двадцать пять, и свернули в понравившийся залив. Это было по весне, лёд был крепкий, и погода тёплая. Вот где клёв-то был! Всем клёвам клёв. Только одно огорчало, много зацепов было. Сколько ж мы там оборвали снастей? Но рыбалка стоила того.

Время, неумолимое время, бежит и бежит. Солнце давно повернуло на закат и готово вот-вот коснуться кромки леса. А я из лунки только успеваю выдёргивать окуньков, они хватают в воде всё, что движется. Было так, что по два, а то и по три окунька сразу поднимал на лёд, видно, на стайку попал.

Подошло время собираться в обратный путь. Поглядываю на мужиков, сворачивают удочки, и Лёня мне кричит, я был далековато от них: «Хорош, кончай рыбалку». Но я, войдя в азарт, не могу оторваться от лунки. Только снасть в воду, тут же поклёвка. Окунь хватает жадно, поклёвки резкие, на сердце радостно. Ловлю и думаю: «Вот дома обрадуются, скажут: настоящий добытчик».

Вижу, мужики направляют: кто мне. «Эх, жалко оставлять эту лунку» — думаю..

— Ну, хватит, хватит, оставь до следующего раза, добрался до окуней, — ворчал Лёня, подходя ко мне.

Деваться некуда, сворачиваю и я свою снасть.

А когда выехали из этого безымянного залива на море, то не узнали его. Утром снег лежал сплошным покрывалом, а сейчас почти всё покрыто водой. Дорога, по которой мы ехали, лишь слегка угадывалась. Иной раз казалось, что льда и вовсе нет, виднелась чёрная вода поверх льда и, словно бездна открывает нам свои ворота, готовая проглотить любого, кто попадёт в её объятия.

Но мы ехали, не останавливаясь, брызги летели в разные стороны, словно от быстроходного катера, порой заливая ветровое стекло.

Лёня время от времени говорил: «Нет, мужики, больше мы на лёд не поедим, — и добавлял, сделав паузу, — в этом году».

Все сидели притихшие, уставшие, да и жутковато было на автомобиле по морю, как на катере. Катер хоть на воде держится, а наша машина, как топор, если что...

Но судьба нас хранила, для каких только дел?

А может, всё не случайно?

Выйдя на пенсию, дед Егор часто сидел у окна, и наблюдал за прохожими. Или, в зависимости от времени года, следил за порхающими снежинками, которые, покругившись в потоке воздуха, оседали на ветках деревьев или серебристым ковром укрывали землю. Летом он любил слушать шелест дождя, а в ясную погоду, когда налетал ветер, его привлекал неторопливый разговор шепчущихся листьев на деревьях под его окном. Утром мимо окна люди спешили на работу, а вечером с работы. Женщины преклонного возраста в хорошую погоду любили гулять по двору.

Часто, задумавшись, он в мыслях улетал в те далёкие времена, когда и он, и эти знакомые женщины были детьми. Тогда мир за окном переставал существовать, и он весь погружался в прошлое. Вспоминая эпизоды детской жизни, он незаметно переходил ко времени, когда началась его взрослая жизнь, работа на производстве.

Трудовую деятельность дед Егор начинал в ткацком производстве. Без отрыва от производства получил образование, отслужил срочную службу в армии. После армии пошёл работать на крупный завод.

Новые условия работы, новые люди, — всё было необычным, интересным, да и платили больше, что важно.

Работа нравилась, крутиться приходилось с утра и до позднего вечера. Ни о каком нормированном рабочем дне и не думали. Работать приходилось и с другим цехом, часто работа заставляла обращаться к его начальнику.

Иногда он, этот начальник, носивший фамилию Злодеев, откровенно издевался над своими заказчиками, пользуясь своим положением, в результате получал массу «пожеланий» в свой адрес.

Это был грузный, стареющий, неповоротливый, как мешок с песком, человек. С первого взгляда он мог показаться хорошим собеседником. Но это только с первого взгляда или когда ему было от вас что-то нужно. В противном случае через минуту вы могли получить нервное расстройство и головную боль.

Всё это Егору доставалось регулярно, словно он работал на вредном производстве, только молока ему не выдавали. Егору подкатывало под тридцать, был он парень энергичный, но досаду выплёскивать не мог, всё кипело внутри.

Время бежало, производство крутилось, и, когда Егору становилось немощоту, он мысленно обращался к небесам: «Господи, ну когда ж ты накажешь этого Злодея?»

Так продолжалось несколько лет.

Однажды, придя на работу, Егору услышал, что, вместо Злодеева, будет другой начальник... В чём дело? Оказывается, его «враг» попал в аварию на своём автомобиле и погиб. Много кровушки он попил, а всё равно его было жалко, ведь человек же, хоть и вредный.

Отработав на заводе больше десяти лет, Егор, не жалея, расстался с ним, потому что пригласили

его на другое предприятие, не менее солидное. Он согласился быть рабочим и ни минуты об этом не жалел. Через год Егору предложили должность, хотя и небольшую, зато работа стала много интереснее. А ещё через некоторое время он снова стал руководителем. И в этой должности Егор отработал ровно десять лет, день в день.

Начальник подразделения, где работал Егор, по фамилии Бутафоров, был маленького роста, вечно боялся вышестоящих, часто озирался по сторонам, как бы постоянно ожидая неприятностей. Он был из военных, а в армии, видимо, каждый, не взирая на звание, ждёт неприятностей в любую минуту даже от друзей.

Егору нравилось наблюдать за работой военных, ушедших в отставку. Таких работников под его началом было предостаточно.

Был один, по фамилии Рыжий, и фамилия-то его соответствовала внешности; волосы рыжеватого отлива, лицо на солнце становилось почти красным. Звёзд, правда, у него было меньше, чем у шефа, но изворотливости было не занимать.

Время, как всегда, бежит, и дай Бог, успеть в этой жизни сделать то, что предназначено.

А было предназначено Егору совершить ошибку. И он её совершил, переведя Рыжего на должность бригадира. Рыжий стал чаще бывать в кабинете шефа, получать от него напрямую задания, и, зная способности Рыжего к лестям, легко было предположить, что скоро его повысят в должности. Так и случилось, а значит, и шеф допустил ошибку, за которую позже пришлось расплачиваться многим.

Егор, наблюдая, понял, что подавляющее большинство ушедших в отставку кадровых военных, не смотря на кажущуюся дружбу, в душе то ли завидуют друг другу, то ли, мягко говоря, с трудом терпят друг друга. Эти ребята могут пойти жаловаться к шефу, а другие в это время жалуются на того, кто пошёл жаловаться к шефу. Для Егора всё это было и смешно, и грустно.

Были у Егора в подчинении несколько человек действительно достойных звания офицера. Это были честные, справедливые, порядочные во всех отношениях люди. Общение с ними Егору доставляло одно удовольствие.

Выйдя на заслуженный отдых, Егор общается с ними, созваниваясь по телефону, и всегда им желает здоровья и долгой счастливой жизни.

Но на дворе бурлила перестройка. Делили заводы, уничтожали фабрики, Иные спешно карабкались по служебной лестнице вверх, чтобы захватить себе кресло, а тех, кто спешил, поднимаясь по этой же лестнице следом, спихивали вниз. При этом не заботились, как упадёт человек, главное — спихнуть. Некоторым было вообще не суждено подняться, иные отходили в сторону, не совершая больше попыток. Такое пришло время, кому — к сожалению, кому — к радости.

В штат подразделения ввели должность генерального директора. В тот период это стало модным, кругом — одни директора, только ситуация от этого не менялась к лучшему. Генеральный был

довольно молодой, длинный, как оглобля, правда, умом не блистал, так показалось Егору.

Рыжий был с Генеральным — Боровским — довольно коротко знаком. О чём Рыжий с Боровским говорили, сказать трудно. Егор мог только предполагать, зная, на что способен Рыжий. Но догадываясь, что Рыжий карабкается по служебной лестнице, пытаясь сдёрнуть за ногу своего шефа, Бутафорова. Хватка у него была бульдожья, можно было не сомневаться в его успехе.

Но на сцене появилось ещё одно действующее лицо. Это некий Тихушный, имеющий небольшие связи и тоже стремящийся занять место Бутафорова. Чья же возьмёт?

Расклад по этому делу получился даже интересный.

Бутафоров, не выдержав мощного натиска, получил инфаркт и был уволен. Давление Тихушно-го оказалось сильнее, Рыжий получил хорошего пинка и с ускорением вылетел с завода. А Егора поставили в такие рамки, что он сам ушёл, изрядно испортив себе нервы.

Через некоторое время Тихушный, ставший начальником и потративший много здоровья на борьбу за власть, получил инсульт и тоже потерял работу. Иногда Егор мысленно спрашивал их: «Ребята, что же вы такие жадные? Что же вы такие беспощадные? И ради чего вся эта война?» Понятно — ради жирного пирога, да ещё сверху с маслом и колбасой. Но стоит ли терять здоровье, честь? Вероятно, последнего у вас никогда и не было, а песня «Офицеры», которую вы любите петь, извините, явно не про вас.

Генеральный Боровский через два месяца после описанных событий был отстранён от занимаемой должности как не справившийся. «Всё правильно, — подумал Егор, когда узнал об этом, — Я сразу видел, что у Боровского не хватит ума управлять всем этим... г... почти армейским подразделением».

Глядя в окно, дед Егор думает, вспоминая: что же тогда делается в армии? Там, наверно, они, бедные, совсем плохо живут, если, выйдя на гражданку, так безжалостно рвутся к власти. А может, по привычке? Да Бог их знает. Но результат — все они наказаны.

Однажды, вспоминает дед Егор, поехал он в автосервис подремонтировать своего железного друга. Заехал на яму, открыл капот и ждёт, когда подойдёт слесарь, самый главный, от которого зависит здоровье машины.

Через четверть часа подходит молодой человек с двумя ключами в руке. Нырнул под машину, постучал по рулевым тягам — и отправляет Егора в магазин купить прокладку. Только Егор скрылся за дверью, слесарь Жлобинский поднялся из смотровой ямы, взял ключи, которые по простоте душевной Егор оставил в замке зажигания, отомкнул багажник и взял лежавший там инструмент, не спросив разрешения у хозяина.

Вернувшись, Егор не стал возмущаться, надеясь, что по окончании ремонта всё вернётся на место. Как бы не так. Закончив ремонт, слесарь Жлобинский и не думал ничего возвращать на

место. Кое-что Егор сумел вернуть, но далеко не всё. Разъярённый такой наглостью Егор снова обратился к Всевышнему с просьбой отмерить мелкому пакостнику Жлобинскому за воровство то, что он заслужил!

Через три месяца Егор снова приехал в этот самый сервис, спросил о Жлобинском, и полученный ответ поверг его в ужас. Оказывается, два месяца тому назад Жлобинского зарезали в пьяной драке. Вот такой финал. Хоть к Богу не обращайся!

Ещё был случай, вспоминает дед Егор. По весне он завёз не дачный участок пиломатериал. Тут начались дожди, на дорогах грязь, не проехать. Потом пришло время посадки на огороде, работа — в общем, стройкой было заняться недосуг. После очередных дождей Егор с женой приехали провести дачу. И обнаружили: пиломатериала нет. Егор от гнева чуть до облаков не подпрыгнул, сколько же он высказал всего в адрес воров!!! И в конце лета узнал от соседа Углова, что у другого соседа его, Варёного, в аварии погиб сын. Мурашки пробежали по спине Егора. Неужели, подумал Егор, исчезновение пиломатериалов с его дачи — дело рук Варёного? Теперь, как хочешь, так и думай.

Уже вечереет, а дед Егор всё сидит у окна, перебирая эти события, и пытается понять, есть ли какая-то связь между его гневом и тем, что происходило позже? Говорят же, что мысль материальна...

День знаний

На календаре первое сентября. Раннее утро бодрито прохладой. Тучи закрыли сине-голубое небо. Изредка накрапывал дождь.

Зелёный автобус неспешно катился по полупустым улицам просыпающегося города. Иван Иванович, глядя в окно автобуса, вспомнил, что сегодня день знаний, а он забыл поздравить свою жену с этим праздником.

Он знал, что сегодня, сидя у окна своей квартиры, она будет плакать, глядя на детей, идущих в школу. Каждый год в этот день она, раньше преподававшая в школе русский язык и литературу, не может удержать слёз. Они непроизвольно текут, разрывая на части сердце, терзая душу. В такие минуты она вспоминала свои школьные годы, счастливое, безоблачное детство и юность.

Ивану Ивановичу вспомнились те далёкие дни, когда они, ещё молодые, отправляли в первый класс своих детей. Сколько было радости, волнений и приятных забот. В то утро, когда их сын пошёл в первый класс, школьный двор был залит лучами солнца. Родители смотрели, как первоклашки с букетами цветов вместе с учительницей поднимались на крыльцо, проходили в дверь и исчезали в здании школы. Дети и не догадывались, что с этой минуты у них начинается другая жизнь, полная забот и волнений.

«Да-а-а, как неумолимо быстро бежит время», — думалось ему. Их дети уже закончили институты. Теперь их внуки ходят в школу. Всё повторяется.

А сегодня, когда он сидел в автобусе, сидел потому, что мало народу в столь ранний час, его

мысли метнулись в середину прошлого века. Он сам тогда пошёл в первый класс, вернее, его повела в школу мама. О как это было давно! Лёгкая грусть прокатилась по его душе.

Ему вспомнилось, как они, ребяташки, в свободное от школы время бегали везде, где им только вздумается: и в лес, и в горы, и на речку, и ничего, ни они, ни их родители не боялись.

Теперь — другое время. Теперь всё позволено. Детей в школу водят за руку бабушки, дедушки, братья или сёстры. Все знают, что ребёнок может быть похищен, убит или продан в рабство. Докатились...

В людях от природы заложены звериные инстинкты. Потому и творится столько безобразий. Зачем одному человеку несметные богатства, размышлял он, а другому нищенская зарплата за его труд? Странно, думал он, что тот, кто имеет огромные богатства, как правило, сам ничего не производит. Сколько в стране людей, не участвующих в процессе производства, но получающих огромные деньги. И законы-то сейчас направлены на поддержку не беднеющих слоёв населения, а на процветание новых хозяев жизни, которые позволяют себе лезть в карман народа без зазрения совести. Немудрено, что на выборах в Думу они будут насмерть.

Непонятно мне, рассуждал Иван Иванович, зачем человеку лишнее? А другой не имеет возможности заработать на кусок хлеба... Со справедливостью-то видимо пролёт вышел в нынешнем демократическом обществе. А раньше-то она, какая-никакая, но была? Безобразия, что у нас творятся, — от отсутствия воспитания и культуры, потому и проявляются звериные инстинкты в людях. Но зверь-то не берёт больше, чем ему необходимо на пропитание. Жаль, что человек так далеко ушёл от зверя.

С такими невесёлыми мыслями Иван Иванович вышел из автобуса на своей остановке, довольный тем, что его никто не отвлек. А накануне он был свидетелем неприятной истории. В полупустой автобус вошла пожилая женщина, предъявив социальную карту. Ей необходимо было проехать всего одну остановку, но за это ей от кондуктора пришлось выслушать массу неприятных слов, вплоть до того, что одну остановку можно и пешком пройти. О каком воспитании здесь можно говорить? Его, этого воспитания, в данном случае, не было и, по всей вероятности, никогда не будет, а жаль!

Иван Иванович шагал по тротуару. Мысли его плавно перетекали на молодёжь. Конечно, думал он, много сейчас хороших ребят и девочек. Но много и таких молодых людей, которым палец в рот не клади — откусят по локоть. От этих мыслей становилось совсем тоскливо. Когда прошла в стране тихая революция и власти разрешили частным лицам скупать заводы, трудно поверить, но их стали скупать. Но где же честное частное лицо может найти деньги для таких покупок?..

Тихая революция позволила всем, кому не лень, лезть в карман рабочего человека. Молодёжь группировалась в банды, одни грабили на дорогах,

другие отбирали заводы, фабрики, третьи ломались в Думу, устанавливая себе умопомрачительные зарплаты, такие, что рабочему не заработать за год.

В это же время ввели ваучеры, объяснив народу, что теперь-то заводы будут принадлежать рабочим коллективам. Но через некоторое время руководители предприятий стали скупать эти ваучеры, порой в приказном порядке, с угрозой увольнения. Путём такого обмана появились не чистые на руку хозяева заводов. Теперь хозяева без проблем увольняют не угодных им людей. В результате многие оказались без работы, без средств к существованию, пополняя армию беднеющего населения в этой, некогда прекрасной, стране.

Иван Иванович совсем расстроился. Пришёл на работу, позвонил домой и поздравил жену с днём знаний.

Он решил, что не будет больше размышлять обо всём этом. Заставил себя думать о том, что скоро надо будет копать картошку на даче. Хмурая погода беспокоила его. Если будет дождь, то придётся перенести эту работу до лучших времён. Только жаль, думал он, что нельзя перенести до лучших времён свою жизнь. И ещё жаль, что в такой удивительный день, когда дети идут в школу за знаниями, приходят такие грустные мысли...

Вехи

Сорок лет тому назад Иван Иванович получил новую квартиру в новом доме. Сколько было радости, когда он с молодой женой переехал на новое место жительства. В то время они были молоды, полны энтузиазма. Они с удовольствием участвовали в общественных мероприятиях — озеленяли территории дворов многоэтажек, высаживали деревья, поливали их, вбивали колышки и привязывали молодые деревца, чтобы они не сломались.

Прошло много лет. Ивана Ивановича и его жену всё чаще тянуло к земле, всё чаще им хотелось иметь свой дачный участок, чтобы можно было выкопаться на грядках, выращивать морковь, петрушку, огурчики, помидорчики. Иметь на участке кусты смородины, малины. И наконец, их мечта сбылась. От радости они были на седьмом небе. Работа на даче доставляла им огромное удовольствие.

Их дети уже закончили школу. И в это время в стране, которую они очень любили, произошли события, перевернувшие их жизнь. Они долгое время не могли отойти от шока, не веря в то, что произошедшие перемены надолго. Думалось, что пройдёт год, два и всё вернётся обратно, но ничего подобного не происходило. О возврате к прежнему, конечно, уже не могло быть и речи. Сокрушался Иван Иванович о том, что они детей своих воспитали не для такой жизни, они учили их: не убей, не укради, работай честно. Но всё это сейчас не в почёте.

Сегодня и Иван Иванович, и его жена уже пенсионеры, но до сих пор горюют о прошлом.

В этом году, в подъезде дома, где жила семья Ивана Ивановича, произошли события, коснувшиеся всех его жителей, большинство которых — пенсионеры.

А дело было так. В одно солнечное летнее утро жильцы подъезда содрогнулись от грохота. Перепуганные, они выбегали из своих квартир, пытаясь понять, что происходит. Но дом стоит на месте, стены не рушатся, хотя дому уже сорок лет, и грохот не умолкает. Было такое ощущение, что за дверью, откуда доносились страшные звуки, ломают стены. Эти предположения в дальнейшем подтвердились. Стены были снесены, и из одной квартиры сделали четыре, в каждой — все удобства, нагрузка на электропроводку увеличилась, да и порядок в подъезде стало меньше. Но в тот раз, как и в последующие, двери квартиры не открывались.

Как раз накануне местное телевидение в новостях показало, как в одном из районов города во время ремонта рухнула часть дома. Поэтому жильцы, беспокоясь за свои жизни и жизни своих родных, решили обратиться к власти (не к бандитам же идти) в надежде, что она, теперешняя власть, остановит этот беспредел и не позволит жителям подъезда оказаться под руинами. Но не всё так просто.

Сочинили письмо, указав в нём, что так, мол, и так, неизвестные покушаются на жизнь людей, живущих в целом подъезде, все в этом письме поставили свои подписи, и Иван Иванович понёс его властям.

Через некоторое время стали приходить ответы из жилищной компании, из милиции, из городской архитектуры, из законодательного собрания, куда было доставлено письмо. Обрадовались жильцы, подумали, что власть сейчас скажет своё веское слово, и народ будет спать спокойно. Но не тут-то было. В ответах писали, что проведены проверки, что выявлены нарушения, что владелец квартиры не имеет права сносить стены и делать перепланировку, что власти его обязывают восстановить снесённые стены. С каждым письмом росла гордость за новую власть, и люди стали спать спокойнее.

Но вот однажды появившийся хозяин этой злосчастной квартиры внёс сумятицу в головы жильцов. Он сказал, что переделывать ничего не будет, что он кому надо заплатит, и ему оформят все документы. Видно, так оно и вышло, потому, что к осени в комнатах, каждая из которых со всеми удобствами, с подведённым газом, стали появляться новые люди.

А в последнем письме, пришедшем из городской архитектуры, жильцам сообщили, что они, архитектурные чиновники, имеют право позволять перепланировку, а между строчек невооружённым глазом читалось, если ты сможешь заплатить.

Бедным старикам ничего не оставалось, как отступить от борьбы за свою жизнь, и они молили Бога, чтобы их дом не разрушился и не похоронил их в руинах. А про суды, куда собиралась отправить жильцов власть, если владелец квартиры не восстановит стены в прежнем виде, они и не думали, восприняли это как насмешку.

Последнее событие, упавшее на головы обитателей подъезда, сорок лет относительно мирно пользовавшихся благами цивилизации, повергло всех в ужас. В подъезде ещё в одной квартире

сменился владелец, появился новый хозяин. Вновь поселившиеся жильцы казалось, не нарушали спокойного течения жизни. Но с наступлением холодов всё изменилось. Молодые люди из вновь поселившейся семьи казались вполне обычными и приличными. Только с их появлением в подъезде нашего дома стало нечем дышать, так как они курили в подъезде. Всё пространство заполнялось табачным дымом, который проскальзывал через неплотности дверных проёмов, а если открывалась дверь в квартиру, дым врвался в жилое помещение, как пар от раскалённых камней в бане, когда на них плеснут воду.

Старики долго ходили молча в облаках сигаретного дыма, прикрываясь от него то рукавицей, то воротником. Потом стали просить соседей, чтобы они не курили в подъезде. Но эти просьбы отлетали от них, как от стены горох. На более настойчивые требования один из курильщиков заявил, что он отбывал срок в местах не столь отдалённых и недавно освобождён. Поэтому у него много друзей, и он может их пригласить, человек сорок, и устроить разборки с недовольными.

Это была уже угроза. Тут старики почесали затылки, понимая, что власть их не защитит, и стали думать, какой же им найти выход из этой ситуации. Как повлиять на зарвавшихся наглецов, у которых нет уважения ни к кому. Они уважают только себя и тех, кто им может дать отпор. А какой отпор им могут дать люди, отработавшие уже на своём веку по сорок, пятьдесят лет?

Возможно, когда-нибудь у стариков лопнет терпение, и они совершат непоправимое, ведь им уже терять-то нечего. Может быть, тогда власть обратит на них внимание. Многие из них понимают, что являются обузой для государства, местной власти, нередко и для своих детей, чего греха таить. Но ведь руками этих самых стариков построены фабрики, заводы, гидроэлектростанции, руками этих стариков распахивались пашни, собирался урожай с полей, и вдруг всё это было присвоено отдельными людьми, которые стали владеть несметными богатствами нашей страны. Невероятно, но факт. А мы, думал Иван Иванович, оказались за бортом жизни, как белая пена на морском берегу.

Гроздь калины

Морозный день. Лыжи скользят легко и свободно. Солнце роняет тень, которая неотступно движется передо мной. Вокруг белое царство. Тысячи искр блестят на снегу.

По белоснежным просторам полей разбросаны островки леса, в которых, как в сказке, зимним сном спят осины, берёзы, мелкий кустарник. Их покой нарушает лишь ветер, налетающий как бы ниоткуда, сдувая с веток снег. Но сегодня безветрие.

Зимний воздух бодрит, а звуки хрустящего под лыжами снега ласкают слух. Всё это великолепие: широта и красота окружающей природы, — наполняет душу радостью свободы.

Пробираюсь через островки леса с веток деревьев на меня белым облаком сыплется снег. Иногда я останавливаюсь, поражённый причудливыми снежными фигурами. То мне видится на пне образ

старого деда в шапке ушанке и с бородой, то на поваленном дереве появляется зверёк невиданной породы. Всё это мастерит скульптор, имя которому ветер. Он из снега создаёт необычайно красивые надувы, карнизами нависающие над кустами.

Порой неожиданно, словно молодые девушки, выбегают навстречу кусты калины, на которых призывно красуются ярко-красные гроздья. Пройти мимо кричащих в снежных просторах плодов невозможно. Подхожу к ним и угощаюсь. Радость переполняет меня, и мир кажется необыкновенно красивым и добрым.

Двигаясь на лыжах, иногда поднимаешь с места дневной лёжки зайца. Тогда косой задаст такого стрекача, что только его и видели. В мгновение ока растворится среди бескрайнего снежного моря. Я останавливаюсь и долго смотрю ему вслед.

Иногда встречаешь следы лисы, которые ровной стёжкой ведут к лесному островку, словно по снежному покрывалу заботливой рукой разложили бусинки жемчуга.

Но больше всего удивляет тишина. От этой зимней, поражающей воображение тишины в голове стоит звон, словно кто-то маленьким, серебряным колокольчиком издаёт звуки безмолвия. То вдруг ухнет с ветки упавший ком снега, оставив в воздухе оседающее облачко снежной пыли, то треснет под лыжами сломавшаяся сухая ветка, давно покинувшая родное дерево. Да лыжи при скольжении нарушают первозданную тишину дикого уголка природы.

Здесь отключаешься от городской суеты. Полностью находишься во власти чарующего, волшебного и сказочного мира, освещённого солнцем.

Но время неумолимо движется вперёд, отсчитывая секунды, минуты, часы и годы, втискивая нашу жизнь в рамки, в пределах которых мы создаём, творим, отдыхаем, любимся природой, общаемся с друзьями.

Вот и сегодня отведённое на общение с природой время заканчивается. Пора возвращаться. Тень уже идёт рядом со мной, как добрый друг.

Часа через три возвращаюсь к машине, которую оставил на обочине дороги. Крепко привязываю лыжи к багажнику, затем наливаю из термоса горячий чай, перекусываю бутербродами. Окинув прощальным взглядом поля, островки леса, разбросанные вразнобой, слегка уставший, с грустью покидаю этот тревожащий сердце уголок природы, кажущийся таким родным и близким.

Я нехотя возвращаюсь к городской суете, к проблемам, которые не покидают всех живущих на Земле, к тому, порой жестокому миру, который создали себе люди.

Но жизнь продолжается, и только надежды не оставляют нас. Продолжаем верить, надеяться на лучшую жизнь. Только вера и надежда нам позволяют жить. А отбери у человека это малое, и он зачахнет.

Всем хочется счастья

В лесу я стараюсь ходить тихо, чтобы не тревожить лесных обитателей.

Обычно беру корзину, нож и не спеша, любуясь берёзками, цветами, травой, углубляюсь в лес в поисках грибов. Это самое приятное занятие; оно успокаивает нервную систему, тогда ты забываешь все городские заботы и как бы становишься как бы частицей леса.

Спешить в лесу некуда. Идешь, раздвигая траву самодельным посохом, и всё внимание сосредоточено на поиске грибов.

Процесс этот не сравнить ни с рыбалкой, ни тем более с охотой, хотя азарт и появляется, но он совершенно другой. Это тихая охота. Охотник, идя на охоту, всегда думает, что добыча будет самая большая, а рыбак мечтает поймать вот такую большую рыбку, при этом разводит в стороны руки, представляя размер добычи. Но, как правило, хватает разведённых пальцев на одной руке, к сожалению. Так и грибник мечтает найти гриб чистый, красивый и непременно большой.

И вот, раздвигая посохом траву, вы с ним встретились! Ваше сердце забилось учащённо, глаза засияли азартом добытчика, и от волнения вспотели руки. Перед вами необычайной красоты жёлтый груздь с нежной бахромой. Это настоящий груздь. А рядом второй, третий, а там ещё и ещё... и ты покорён. Ты во власти азарта. А что это? Среди зелёной травы вздымаются бугорком сухие прошлогодние листья, наверняка там прячется груздь. Осторожно разгребаю, и правда—взору открывается ещё один гриб. Я аккуратно его срезаю, и руки в очередной раз ощущают прохладу лесного

красавца. И так грузди один за другим занимают места в корзине. Душа при этом поёт от счастья.

А бывает заяц, задремав, подпустит тебя так близко, что когда спохватится, то пулей вылетает почти из-под ног твоих и чуть тебя не сбивает.

Удивительный народ, эти зайцы, никому не доверяют. Да и как можно кому-то доверять? Ведь каждый норовит подложить ему «свинью». То лиса пытается уговорить его вместе пообедать, но он-то знает, чем этот обед для него может закончиться. То волк пытается ухватить его за воротник. Да и птицы, такие, как совы и коршуны, не прочь украсть маленького зайчонка. Все со слабого пытаются шкуру снять! Незавидная у зайцев доля.

Иной раз гриб так замаскируется, что его ни за что не увидишь. Он тогда доживает до старости, отдаваясь земле, даря траве, берёзам и следующим поколениям грибов радости новой жизни.

А то пройдёт неосторожный зверь, наступит на гриб, сломает его или покалечит, не позволив прожить ему счастливую грибную жизнь. А сколько их, зверей-то, ходит везде? Они, эти беззащитные грибы, пробиваются из земли, чтобы жить, чтобы продлевать свой род, а их ногами...

Нет, я по лесу хожу тихо, не спеша, бесшумно, чтобы не пугать лесных жителей, да не сломать без нужды лишнюю травинку или ветку дерева.

Каждому из нас жизнь на земле отмерена своя, и нарушать закон природы ни к чему. Всем хочется счастья.



Дмитрий Карпин Рассвет для тебя

168

 Дмитрий Карпин
Рассвет для тебя

Уже очень давно его будильником стала старость. Вот и сегодня он проснулся задолго до рассвета. Сбросив одеяло, он встал с кровати и зашагал на кухню. На улице моросил осенний дождь. Старик слышал, как капли тихонько постукивают о металлический карниз его веранды, а затем стекают вниз на крыльцо, где всегда скапливается вода. По силе капель старик определил, что дождь скоро закончится, и это очень его обрадовало.

Включив чайник, старик умылся и снова зашагал в комнату, собираться. Сегодняшнее утро было особенным для него, он намеревался закончить картину, начатую несколько недель назад, но всё время откладываемую из-за других дел. Одевшись, уложив масло, кисти и всё необходимое в сумку, старик вновь отправился на кухню, чтобы заварить крепкий чай в термосе. Есть ему не хотелось, этим он сможет заняться и после того, как вернется домой, а пока он не будет тратить своё драгоценное время понапрасну.

В коридоре старик надел куртку и выдавшую виды фетровую шляпу. Мольберт и складной табурет были бережно перевязаны, взяв их и сумку, старик вышел из дома.

Дождь уже кончился, на улице было прохладно и пахло свежестью. Старик любил эту свежесть после утреннего дождя, когда воздух становился влажным и пьянящим. Небо было чистым, облака рассеялись, но солнце ещё не успело взойти на небосвод.

«Неправду говорят, что самый тёмный час — перед рассветом, — подумал старик. — Перед рассветом он как раз таки не такой уж и тёмный, тем более, когда облака рассеиваются».

Старик зашагал по мощённой камнем улице, оставленной так, как напоминание о прошлом Томска. Его каблук ударяли о камень, создавая глухой звук, эхом разносящийся впереди. Этот звук, пожалуй, был единственным звуком в этот ранний час, на этой старой одинокой улочке. В столетних деревянных домах, окружавших старика, ещё не зажгётся свет, проёмы окон были тёмными и безжизненными. И лишь уличные фонари ещё горели, напоминая старику, что эта улочка обитаема.

Старик любил эту улицу, тихую и спокойную, наполненную призраками прошлого давно ушедших эпох. Сколько времени он провёл здесь, сидя на своём складном табурете за любимым мольбертом, рисуя эти старые, потемневшие от времени дома. За что он любил Томск, так это за его уникальную деревянную архитектуру, прославившуюся на всю Сибирь и так бережно сохраняемую. Но сегодня старик не собирался рисовать

ни деревянных домов, ни утренних безжизненных улочек, он шёл дальше, и цель его была уже близка.

Старик дошёл до конца улицы. Здесь дорога раздваивалась. Каменная мостовая шла вниз, спускаясь к проспекту. Зато другая поднималась на Воскресенскую гору, где, по легенде, более четырёхсот лет назад был заложен Томск. Об этом свидетельствовал и установленный здесь камень железной руды с памятной надписью.

С Воскресенской горы открывался чудесный вид на утренний город. Город был как на ладони, и старик видел его улочки и дома, он видел главный проспект и площадь, видел торговые палаты и театры, созданные купцами и меценатами разных эпох. Вдалеке старик видел университеты, которыми славился его родной город, и высокие новостройки, так нелепо вписавшиеся в исторический ансамбль города. Улицы были ещё пустыми, людей не было, только-только на рейс готовились выйти первые автобусы. Царила тишина, лишь изредка проезжали одинокие автомобили.

Старик скинул поклажу. Сначала он установил мольберт так, чтобы он не загораживал вид с высоты горы на крыши домов и утреннее небо. Потом поставил на мольберт картину, начатую несколько недель назад. Достал тюбики с красками и кисточки. И наконец, разложил табурет и уселся напротив картины.

Картина была готова лишь наполовину. Несколько недель назад на этой горе старик сделал первый набросок, тогда ещё карандашом. Тогда он изобразил лавочку и пару, сидящую на ней и держащуюся за руки. Он увидел их ранним утром. Наверное, они вместе встречали рассвет, старик помнил, какое умиротворение и какое счастье царило в глазах обоих влюблённых, несмотря на то, что они выглядели уставшими, поскольку, наверняка, гуляли всю ночь напролёт. Это тронуло старого художника, поскольку он, вместе со своей покойной супругой, тоже часто приходил сюда, на эту самую гору, на эту самую лавочку, затем, чтобы тоже встретить здесь рассвет.

Сейчас на картине, уже маслом, помимо влюблённой пары, были изображены крыши домов, тянущиеся вдаль, и голые облетевшие деревья. Пожелтевшие листья обильно стелились по земле. Иногда ветер гонял их и подбрасывал вверх. Старик попытался изобразить это так, будто время остановилось на секунду, и листья просто замерли в воздухе, подброшенные вверх проказником-ветром. Это соответствовало и дальнейшей задумке картины, для которой ещё оставалась много пустого места на холсте.

Взяв в руки палитру, старик выдавил на неё масляных красок. Затем он открыл свой рюкзак и, сделав пару глотков тёплого крепкого чая из термоса, принялся ждать.

Ждать ему пришлось недолго. И вскоре первые лучики солнца засияли в небе. Старик увидел, как сначала появляется сияющая корона, а уже потом медленно восходит солнце. Солнце освещало небо, отчего то обретало свой привычный голубоватый свежий оттенок. Оно поднималось выше, и старик видел, как тень, покрывавшая землю, быстро отползает назад и прячется между домами и за деревьями. Лучи солнца ударились о крыши домов и отражались в стёклах. А солнце тем временем поднималось всё выше и выше.

За городом текла река, и старик видел, как медленно и монотонно течёт там вода. Первые лучи солнца нежно коснулись глади воды, и она засияла, начав переливаться радужным блеском.

Старик старался запомнить и уловить каждую деталь этого чудесного рассвета. Он взял в руки кисть и, закрыв её кончиком солнца, стал примеряться. Именно это мгновение рассвета он хотел запечатлеть на своей картине. Его начало, когда солнце ещё не успело подняться высоко, и первые лучи лишь касаются земли, глади воды и крыш домов, отчего мир просыпается и всё вокруг начинает сиять, а в сердце твоём просыпается радость и надежда.

Первое мгновение рассвета всегда самое прекрасное.

Старик улыбнулся. Он обмакнул кисть в жёлтую краску и начал рисовать солнце. Солнце, которое осветит двух влюблённых, их лавочку и золотые листья, кружащиеся вокруг.

Закончив солнце, старик принялся за небо. Нежно-голубое небо, со слегка заметными на нём белыми облаками.

Работа шла своим чередом. И старик был очень рад этому. Как мальчишка, он испытывал духовный подъём и трепет, чувства, которые не испытывал уже очень давно. Он был счастлив, счастливым, что снова может работать, работать так, как не работал уже давно.

— Здравствуй, дедушка!

Старик был так увлечён работой, что не сразу понял, что обращается именно к нему. Он обернулся и увидел улыбающегося мальчишку лет двенадцати. Перед ним стоял его внук.

— Здравствуй.

— Я так и знал, что найду тебя здесь. Сегодня я проснулся рано, увидел, какая чудесная погода, и понял, что ты наверняка пойдёшь заканчивать свою картину. Потому я и решил перед школой заглянуть к тебе, дедушка, и немного посмотреть, как ты работаешь. Если ты не против, конечно?

— Конечно, нет, — сказал старик, не отрываясь от работы и нанося всё новые и новые мазки.

— Красиво получается, — глядя на полотно через плечо деда, сказал внук. — Отчего-то мир на твоих картинах мне нравится больше, чем в действительности. У тебя он получается каким-то весёлым, наполненным красками, а в действительности он выглядит серым и скучным.

— Это не так. Просто ты ещё не научился подмечать и ценить истинную красоту окружающего мира. Мир таков, каким ты его воспринимаешь. Ты знаешь наш город с детства, и он наскучил тебе, потому ты и воспринимаешь его таким. Ты молод, ты жаждешь путешествий и новых открытий, а всё старое кажется тебе скучным и серым. Но всё зависит от восприятия, попробуй взглянуть на старые, приевшиеся тебе вещи по-другому...

— Как Дали или Пикассо?

— Я не совсем это имел в виду, но, в принципе, пример неплохой. У этих художников был свой собственный взгляд на вещи, непохожий на другие. В обыденном они нашли что-то новое и поделились этим с другими людьми. Но мне не нравятся их картины, поскольку я больше склоняюсь к реализму.

— А мне они нравятся, — сказал внук. — Они фантастичные и необычные и напоминают рисунки сумасшедших.

— Каждый художник немного сумасшедший.

— Но ведь ты не такой, дедушка?!

— Не знаю, — сказал старик, делая новый мазок и заканчивая рисовать голубое небо. — Пусть об этом судят другие люди.

— Я и сужу. Я знаю тебя с рождения, и ты не кажешься мне сумасшедшим. А вот учительница рисования в школе назвала меня сумасшедшим, когда я нарисовал Ад и чертей с вилами...

Старик улыбнулся и внимательно посмотрел на внука.

— ...Черти подпихивали грешников в огонь, а те упирались и молили о пощаде. Моим одноклассникам эта картина очень понравилась, а вот учительница сказала мне, что я сумасшедший, сказала, что у меня психическое расстройство, вызванное просмотром дурацких современных фильмов, и пообещала сообщить об этом моим родителям. Но, дедушка, в этом ведь нет ничего плохого? Я видел такие картины у тебя в книгах и попытался изобразить одну из них.

— Такие картины рисовали Иероним Босх и Питер Брейгель, они были очень хорошими художниками. Первый, на мой взгляд, даже лучше, но он, действительно, был немного сумасшедшим.

— Да, наверное, это их картины я и видел у тебя в книгах. Наверное, это был Босх.

— Наверное, — согласился старик. — Когда я был молодым, меня тоже интересовало всё непознанное и необычное. Я любил книги Жюль Верна и Герберта Уэллса. А в искусстве предпочитал картины Пикассо. Пикассо был кумиром для многих художников моего поколения, мы все учились у него и все ему подражали. А вот наши учителя требовали от нас, чтобы мы писали натюрморты. Это казалось таким скучным, и когда я приходил домой, я снова садился за холст и писал, как Пикассо, безжалостно расчленяя окружающий мир на геометрические фигуры.

— Но, дедушка, я не видел у тебя ни одной картины в кубизме. Почему ты перестал писать, как Пикассо?

— Я просто понял, что Пикассо может быть только один. Только ему было дано разделять окружающий

мир на детали, а картины бесчисленных его подражателей выглядели нелепыми и смешными. Поэтому я уничтожил все свои работы и стал самим собой. Но кое-чему я всё же научился у Пикассо: находить в простых вещах истинную красоту.

Старик умолк. Он обмакнул свою кисть в краску и принялся рисовать солнечные блики на крышах домов. Внук смотрел на замысловатые движения его кисти, на лёгкие, но точные, мазки и на вновь появляющиеся новые детали. Удеда была хорошая память, и раз увиденное им мгновение он мог воспроизвести спустя долгое время.

— А что было дальше, дедушка, как ты стал самим собой?

— Я познакомился с твоей бабушкой, — сказал старик. — Любовь творит чудеса, она меняет человека. Мне захотелось рисовать что-то новое, что-то прекрасное, и я стал искать это прекрасное. Поскольку я без ума был влюблён в твою бабушку, я начал с неё. Я написал десятки её портретов, в самых разных образах. На моих картинах она была герцогиней и принцессой, монахиней и сестрой милосердия, барышней и крестьянкой.

— Да, я видел эти картины, они висят у тебя дома, и они очень мне нравятся. Бабушка была очень красивой женщиной, как и моя мама.

— Твоя мама унаследовала от неё лучшие черты, — вздохнул старик. — Она очень на неё похожа.

— Но, дедушка, ты ведь больше не рисуешь портреты?! Кроме портретов бабушки, мамы, меня и твоих самых близких друзей, я больше не видел у тебя никаких портретов.

— Да, теперь я пишу портреты очень редко. Хотя когда-то я только тем и занимался, что писал портреты на заказ. Но это быстро мне надоело. Писать портреты очень утомительно, это сильно выматывает. Причём по большей части выматывает работа с людьми, которые платят тебе деньги и заставляют писать так, как им хочется. Они хотят, чтобы ты убрал их изъяны и сделал их красавцами. И получается, что пишешь уже не ты, а они, комментируя каждый мазок и убивая тем самым правду и истинную красоту. Я писал портреты, когда нуждался в деньгах, а как только эта нужда прошла, я порвал с этим.

— И ты начал писать пейзажи?

— Да, я начал писать пейзажи, — сказал старик. — Хотя их я начал писать ещё задолго до того, как порвал с портретами. Всё началось с деревни...

— Как это — с деревни?

— Ну, твоя бабушка ведь родилась в деревне. И как-то летом мы поехали к ней навестить её родителей. И деревня покорила меня, там я увидел такое, чего не видел в городе. Я понял, что ничего не может быть красивее, чем дремучей лес с обилием его зелёных красок, или колышущаяся на ветру золотая рожь, или бескрайнее поле, усеянное душистой травой и дикими цветами. Я увидел, как в утренний час может быть прекрасно озеро, когда по берегам его растут плакучие ивы, и их листва падает на гладь воды, заросшую цветущими кувшинками. Я увидел, как в деревне работает простой народ, и как красиво это может выглядеть со стороны, когда идёт сенокос, и мужчины

косят высокую траву, а за ними остаётся пустое поле с высокими стогами свежескошенной травы. А впереди трава остаётся такой же высокой, и они идут вперёд и рубят эту траву своими длинными косами. Или как стадо коней несётся по пустоши, засеянному клевером полю, и их гладкая шёрстка и длинные развевающиеся гривы переливаются в лучах солнца. Красивы и коровы, идущие на водопой и топчущие грязь своими тяжёлыми копытами, отчего в глине остаются их глубокие следы, тянущиеся до самой реки.

— Дедушка, ты всё это так красиво описываешь, — сказал внук. — Неужели это действительно так прекрасно?

— Да, это действительно прекрасно. И всё это я смог написать. Пока были живы родители твоей бабушки, мы часто ездили к ним в гости, и как легко и спокойно мне работалось там, так не работалось мне больше нигде.

— Но твои картины нашего родного города, его тихие улочки и старинные дома, тоже выглядят прекрасно.

— Возможно, — сказал старик и улыбнулся. Ему было приятно слышать, что внук понимает его и восхищается трудом всей его жизни. Старик положил кисть и перестал рисовать. Картина была почти закончена.

— Русская природа и простая деревенская жизнь научили меня ценить мгновение и восхищаться окружающим миром. Вернувшись из деревни, я просто не смог смотреть на мир, как раньше. Приехавшие старинные домики и тихие улочки открылись передо мной в новом свете. Я понял, какое богатое наследие оставили нам наши предки, сколько переплетений стилей и характеров можно найти в архитектуре нашего города. И в каждый час, в каждую минуту эта красота своя. И я научился останавливать это мгновение и переносить его на бумагу.

— Как сейчас? — глядя на картину, сказал внук. — Город в час рассвета.

— Да, как сейчас. Идеальное мгновение. Что может быть прекраснее рассвета и двух влюблённых, любующихся им?

— Наверное, ничего, — сказал внук. — Кажется, я начал понимать. Спасибо тебе за эту беседу, дедушка. Теперь я точно, когда вырасту, пойду по твоим стопам и стану художником. Я так же, как и ты, буду останавливать мгновения и показывать истинную красоту мира.

Старик улыбнулся и растрепал внуку волосы. — Я буду любить тебя ничуть не меньше, даже если ты не станешь художником.

— Но я стану! — сказал внук. — А теперь мне пора в школу, дедушка. Прощай.

И внук ушёл, оставив старика наедине с картиной.

Старик вновь взял в руки кисть и начал вносить последние изменения. На картине в голубом небе уже было изображено солнце именно таким, каким старик хотел его видеть. Это солнце отражалось в окнах домов, ударялось о крыши и переливалось на глади реки, медленно и монотонно текущей за городом. Это было раннее осеннее утро, и улочки

города с высоты птичьего полёта выглядели пустыми. Лишь сухие золотые листья от порывов ветра подлетали вверх и стелились янтарным ковром перед двумя обнявшимися влюблёнными, встречающими рассвет. Влюблёнными, так похожими на старого художника и его покойную жену, любившими так же, как и они, встречать рассвет на этой горе.

Как жаль, что её не стало, подумал старик. Ему было так трудно без её поддержки, простых бесед и любящих прикосновений. Но когда он научился

жить без неё, он начал ощущать её постоянное присутствие. Он знал, что она всегда рядом, она стоит за его правым плечом и помогает ему. Иногда он беседовал с ней, хотя она, конечно, не отвечала ему, а иногда просто молчал, наслаждаясь её присутствием.

Вот и сейчас он тоже ощущал её присутствие и знал, что она довольна тем, что он закончил свою картину. Старик улыбнулся и, глядя на картину, сказал:

— Этот рассвет я нарисовал для тебя.

Виталий Молчанов

Под аллегро шумящей волны

Вивальди

Евгению Чигрину

В океане мирской суеты нас привычно выводит из дрейфа
Пасторально-знакомый мотив, неизжитая детская блажь.
Оркестровка почти не звучит, лишь вибрирует мысленно флейта,
Заставляя спуститься пешком с верхотуры на нижний этаж
По ступеням исхоженных лет, мимо прочих людей и событий,
Застывшая голодным щенком у защёлкнутых на ночь дверей,
Где так ждали, но больше не ждут,—остаётся тихонько завить и
Постараться хоть раз изменить нерушимый порядок вещей.
Поджимают свои животы корабли без причалов и порта,
Раздувают мешком паруса под аллегро шумящей волны,
Только склянки давно не звенят молодецки (для пушчего понта),
Ариозо печальной судьбы отдавая навеки конь.
Как размашисто крут дирижёр! Это шторма прекрасное престо—
Перелом, поворот-оверштаг, лязг запора, распяливший дверь,
И надежда в глазах у щенка на концерте для флейты с оркестром,
Что любовь нереально жива в череде бесконечных потерь.
В океане земной суеты нас Вивальди выводит из дрейфа—
Одиноким с рыжинкой старик, в нищете скоротавший свой век.
Пусть поёт и вибрирует в такт вместе с сердцем чудесная флейта
Так, что хочется всё изменить, и слезинки ползут из-под век.

Кончилось лето

Волны, разбитые в брызги, силу попросят у ветра.
Впадины скальные—миски, очередь в полкилометра
Из валунов—просят ила щедро добавить в похлёбку.
Выжало тучу светило в жгучую пляжную глотку.
Ёжится тонкая кожа в мокром плаще из загара.
Август, случайный прохожий в цепких объятьях вокзала,
Топает к поезду быстро, машет, прощаясь, букетом,
Где все бутоны, как числа, в каждом—застывшее лето.
Пахнешь разлукой и морем, чудо в солёных песчинках.
Чайки с природой не спорят—тучи разносят на спинках.
У сентября сигарета палой набита листвою,
Даст прикурить ему лето нашей любовью с тобою.
В бред разбиваются волны, в дым превращаются страсти..
Фото в застенках альбома станут гербарием счастья.



Платон Беседин Зёрна

172

Платон Беседин
Зёрна

Слон

Умер слон в зоопарке, а похоронить негде. Лежит туша и разлагается. Иду к директору:

— Где хоронить будем?

Отвечает:

— Всё там же.

Легко сказать. Это не трупик скунса, а две тонны мяса. Бегаю по инстанциям, уговариваю кладбища, а всем наплевать. Только жильцам соседних домов не плевать. На улице плюс двадцать. Вонь стоит страшная. Хоронить слона надо, а негде.

Слава Богу, есть бензопилы и знакомый на рынке. Звоню:

— Нужна польская говядина? Без документов, но по отличной цене.

Спасибо ему за алчность. И от трупа избавились, и поминки справили.

Прихожу домой. Жена жарит котлеты, радостная, говорит мне:

— Представляешь, фарш подешевел...

Террорист

На праздничных столах американцев рвануло шампанское. Погибло три человека. Правда, все от отравления. Газеты в истерике — террористы! Расследование поручено ФБР.

Отыскали дистрибутора шампанского — некого Рончика, который сообщил лишь то, что товар завезён из России. Всё стало ясно: теракт организован российскими спецслужбами.

На срочном совете госбезопасности разработали контрплан «Троянский конь»: российских политиков похищают и заменяют их на американских шпионов. В ходе операции выяснилось: подмена произошла много лет назад.

Срочно запустили запасной план «Щелкунчик», согласно которому в Россию продали партию электронных устройств со встроенным сообщением. На беду американских спецслужб одно из таких устройств попало к жене президента. Когда изумлённый президент увидел, как его благоверная крошит стены топором, в дело вмешалось ФСБ.

Быть Третьей Мировой войне, если бы, наконец, не нашли производителя рокового шампанского — Саратовский завод шампанских вин.

Сначала допросили директора. Когда тот скончался от непонимания, вызвали его зама. И так, по трупам, дошли до начальника производства Пивкина.

Пивкин сознался во всём. Правда оказалась ужасной. Для лучшей газированности Пивкин, по совету тёщи, решил класть в шампанское карбид.

Как партия карбидного шампанского попала в США, Пивкин не знал.

Инцидент уладили. Террориста выдали властям США, где его осудили как «врага государства». На родине Пивкин стал легендой. Одни считают его агентом «Моссада», другие — русским патриотом. И только сам Пивкин так ни хрена и не понял.

Дура

С дурами жить тяжело, а жена Трушкина была душой. За тридцать лет совместной жизни Трушкин осознал это особенно ясно. Но куда деваться? Двое детей, внуки.

И всё бы ничего, — сколько дур на свете? — но жена Трушкина любила распускать руки. Вспылит и давай кулаками махать. Что не так — получи по голове!

Трушкин в панику не впадал. Говорил, разъясняя. Мол, нельзя так. Жена слушала, плакала, соглашалась. Глаза ясные, как у младенца. Агнец Божий, а не человек! Но чуть что не так — в драку. После говорит: «Прости, милый, бес попутал!».

И вот на тридцатом году жизни Трушкин не выдержал — отвесил в ответ пощёчину. Обомлела жена. Разрыдалась. Вечер проплакала, день проплакала, а после говорит:

— Давай разводиться! Что ты за мужик такой, если на женщину руку поднял?

— Прости, милая, бес попутал, — извиняется Трушкин.

— Какой к чёрту бес? — орёт жена. — Ты женщину избил!

— Ты меня тридцать лет била — я терпел.

— Так ты же мужик...

И чтобы ни говорил Трушкин, как бы ни просил прощения, на всё жена отвечает: «Женщину ударить — последнее дело. Развод!».

Опечалился Трушкин. А тут ещё соседи на него стали косо поглядывать: гад какой — на жену руку поднял. Дом-то маленький — все всё знают.

На бракоразводном процессе спросили о причине развода. Жена отвечает:

— Бил меня муж!

— Последнее это дело — женщину ударить! — вздыхает судья.

Соседей опросили. Бил Трушкин жену или нет? Все в один голос — бил.

И стал Трушкин социальным изгоем. Его даже в телепередачу пригласили. Тема выпуска — «Насилие в семье». Спрашивает ведущий Трушкина: — Били жену?

— Один раз её ударил, дуру такую!

На беду Трушкина жена сидела рядом. Улысала—взбеленилась:

— Кто дура?! Я дура?!

Выхватила у ведущего микрофон и давай им колотить мужа.

В расчёте

Хирург Ляпкин спешил: в операционной умирал человек, а проклятая ширинка никак не застёгивалась. Пухлая блондинка встала с колен. Ляпкин, наконец, справился с ширинкой и заявил:

— За мужа не беспокойтесь. В расчёте.

На операционном столе лежал мужчина. Ляпкин взял скальпель и сделал надрез...

Перед домом Ляпкин обнаружил пропажу обручального кольца. Жена поклялась развестись, если вновь заподозрит в измене. На жену плевать, а вот совместно нажитое имущество жаль. Ляпкин напрягся и с ужасом вспомнил, где оставил кольцо.

Проклиная себя за рассеянность, он вернулся в больницу с изуверским планом, к которому за магарыч приобшил дежурного врача и медсестру.

Доставили пациента, того, которого Ляпкин оперировал днём. Дали повторную анестезию. Ляпкин разрезал свежий шов, расширил рану и принялся в ней рыться. Кольца не было. Нашлась только забытая медицинская перчатка...

В то время как понурый Ляпкин возвращался домой, придумывая объяснение жене, пухлая блондинка вышла из ломбарда. Вырученных денег хватало и на новую кофточку, и на лекарства мужу. «В расчёте!»—думала она, вспоминая Ляпкина.

Почему падают самолёты

— И почему только самолёты падают?— вопрошает редактор нашей газетёнки.— Вот это тема для статьи, а не твои... детдомовские каннибалы. — Не велика загадка,— говорю я,— самолёты падают из-за Сухорукова...

Редактор замолкает. Его брови удивлённо ползут вверх. Что ж, придётся объяснить.

Я был матросом на рыболовецких судах в Атлантике. После рейса мы возвращались домой в Одессу, а судно оставалось в Мавритании на ремонт.

Конечно, перед самолётом мы напились. Напились так, что поразбивали друг другу головы, поломали руки и вообще нанесли колоссальный вред организму. Но в самолёт нас впустили. Окровавленных и пьяных. Частный рейс, как никак.

Летим над Атлантикой, половина экипажа уже отошла ко сну, и тут слышится панический крик капитана:

— Ёптить, я же насос на пароходе забыл!

Оказалось, владелец судна наказал ему привезти в Одессу топливно-подкачивающий насос, ужасно дорогой. Без него зарплаты экипажу не видать. Воцаряется хаос. Капитан кричит, чтобы самолёт разворачивали обратно в Мавританию, а команда едва не бунтует. Массовая паника! И тут стармеха Сухорукова осеняет:

— Ёптить, да у парохода топливный насос, как у самолёта!

План спасения родился моментально, на высоте десять тысяч километров.

Капитан привёз владельцу насос, а экипаж получил зарплату. И только потом из Мавритании пришёл факс, что на судне оставлен топливно-подкачивающий насос.

Выслушав историю, редактор долго молчит, а потом изрекает:

— И часто Сухоруков летает?

— Каждые полгода,— говорю я и добавляю,— да что там, он ещё и на поездах стал ездить...

Патриоты

В сосновом бору, на лавочке, окружённые реликтовыми деревьями, выпивали два патриота. Пили водку, закусывая соленьями. Разговоры, конечно, вели о главном.

— Поотрывать футболистам ноги!— кипятился пузан.— Да за такие деньги я бы лучше сыграл! Предлагаю: не забил пенальти— получи паяльник в задницу!

— Политики! Вот это беда!— отвечал лысый.— Нахапали, гады! Мало им всё, сволочам! А мне, брат, за державу обидно!

— Тебе обидно?— перебил пузан, чавкая свиньи ушками.— Да я за эту землю кровь проливал! И ведь благодатная земля-матушка! А во что превратили?

— А потому что гады!— пьяно заорал лысый.— Всё к себе! Всё для себя!

— Это от безнаказанности,— вставил пузан.

— И всем наплевать! У всех хата с краю! Засрали страну, сволочи...

Они допили водку и засобирались домой. Бутылки швырнули в кусты, одноразовую посуду— на землю. Глядя на звёздное небо, лысый пробубнил:

— Живут, как паразиты, а после них хоть потоп.



Александр Матвейчев Нелёгкое дыхание прозы Эдуарда Русакова

174

Александр Матвейчев
Нелёгкое дыхание прозы Эдуарда Русакова

*Промышляя искусством на свете,
Услаждая слепые умы,
Словно малые глупые дети,
Веселимся над пропастью мы.*

Николай Заболоцкий

«Сраная Сибирь. Страна ссыльных и каторжных. Ненавижу. Все наши беды — от нашего климата: и пьянство, и лень, и звериная злоба...»

Эдуард Русаков. «Музей восковых фигур»

Царственное имя — Эдуард... Ненавязчиво напоминает мне о десяти английских королях — от Edward I до Edward the Confessor. То есть от Эдуарда I до Эдуарда Исповедника.

Но в уменьшительном, своём значении вариант у этого имени по сути один — Эдик. А если Эдику вплотную подкатило к семидесяти — то его уже трудно представить играющим в песочнице Эдюшкой. Недаром в своём электронном адресе король изящной словесности Эдуард Русаков дал себе позывной на аглицкий манер — Eddy. Но как корреспондент самой уважаемой и узнаваемой газеты-долготельницы в нашем крае — «Красноярского рабочего» — Эдуард мог бы носить и имя Edward the Confessor I. Поскольку ему частенько приходится выступать в роли исповедника, когда он берёт интервью. А то и сам исповедует корреспондентам как писатель. Хотя приличный срок личного знакомства с Эдуардом Ивановичем даёт мне право утверждать, что сам он исповедоваться не любит. По крайней мере, при общении со мной: за знание иностранных языков он считает меня «агентом четырёх разведок» и опасается сболтнуть что-то лишнее, дабы не вляпаться в шпионские разборки. Поэтому я могу судить о нём преимущественно по тому, что мне довелось прочесть из им написанного.

А написал Эдуард Русаков много и, в основном, коротко, целиком оправдав чеховскую формулу: краткость — сестра таланта. При употреблении этого порядком затёртого афоризма упор часто делается на первое слово, чтобы получилось так: краткость и талант — синонимы. Для Чехова и Русакова последнее попадает в яблочко... Однако для подавляющего большинства графоманствующих субъектов этот афоризм служит обличительным клеймом: краткость вот она! А что касается таланта — бабушка надвое сказала...

Мой конфиденциальный источник донёс, что на вопрос, почему Eddy не издал за свою жизнь ни одного романа, сам писатель якобы ответил: «На роман у меня не хватит дыхания...» В чём я

сомневаюсь. А если есть сомнение, так и пыжиться нет нужды... Вон Иван Бунин тоже не написал ни одного романа, зато он, наравне со многим другим, подарил миру рассказ «Лёгкое дыхание». И оно, это лёгкое дыхание, одушевило всё его творчество в литературе. Да и у Антона Чехова, в конце концов, нет ни одного романа. Только и без них оба русских писателя признаны миром великими. Или у великого американца О'Генри в конце жизни возникло сомнение в правильности избранного пути, и он вознамерился написать роман. Ведь «всё, что я написал до сих пор, это баловство, проба пера, по сравнению с тем, что я напишу через год»... И не успел! Зато 273 написанных им коротких рассказов хватило для полного собрания сочинений из 18 томов.

Так и Русаков, полагаю, пережив ряд романов с неизвестными миру женщинами, в памяти потомков останется новеллистом Эдуардом Великим, профессиональным психиатром и ещё большим профессионалом в литературе. Поскольку «лёгкое дыхание» его повестей и рассказов выворачивает и больные, и здоровые души наизнанку, вызывая радость, смех, печаль, уныние или фарисейское негодование...

Может, я и загнул чуток, но от своего мнения не откажусь и на плахе. А то и на рельсы лягу, как Б. Ельцин... И добавлю, не без сожаления, что с Eddy мы не друзья, а добрые приятели. Но именно во время его бытности председателем правления Красноярской региональной общественной организации «Писатели Сибири» я, предварительно открепившись от Казанской городской организации Союза российских писателей, 20 декабря 2007 года попал под мягкую пяту его владычества. От которого он в тот же день отрёкся в пользу ироничного фантаста Михаила Успенского. Это Михаил открыл миру великую истину, что «литература поумнела, а общество поглупело». И не потому ли — как бы в доказательство сей истины — красноярское писательское сообщество выбрало «фантазмагорика» председателем?

Через полгода, впрочем, он спохватился и сам, и писательское сообщество безальтернативно избрало другого, «сдвоенного», Михаила II — Михаила Михайловича Стрельцова. А с недавних пор главы региональных организаций СРП назначаются и свергаются головным московским правлением Союза российских писателей... У нас головой так и остался Михаил II. Теперь можно быть уверенными: если назначенцы будут паиньками, не скурвятся и, по воле Москвы, в Красноярске не состоится «Утро стрельцовой казни»,

то он и останется пожизненно посадником-наместником...

Зачал я данную статью об Eddy в пошловато-игривом тоне. Поскольку другого отношения к этому вроде бы и простому, но загадочному своей отстранённостью от бытовушной суеты человеку просто не могу себе представить. Уж таков он в жизни — вроде и серьёзный, вонзающийся тебе в душу чёрными смородинами своих небольших глаз, а про себя смеивающийся то ли над тобой, то ли над тем, что ты изрекаешь или намереваешься изречь. Словно это не герой-ваятель из его повести «Музей восковых фигур» (2011 г.), а сам Eddy говорит мне, старому не эстету-маразматiku: «Тошнит от всего и от всех... Ух, как тошно. Отец бормочет в трубку: глянть в окно, сынок, — какой чудесный закат!.. Старый эстет-маразматик... Писака-неудачник... Да срать я хотел на ваши закаты и восходы!»

«Надо же! — думаю я. — Герой повести бормочет вроде бы про какого-то бездаря-писаку... Неужто про меня?..» Но зачем всё принимать близко к сердцу. Просто это одна из сторон оригинальности писателя. Он, как само собой разумеющееся, к месту применяет жаргон, острые словечки и выражения, и от этого его диалоги и не произнесённые вслух монологи героев и самого автора приобретают живой колорит. А мастерски построенный сюжет с показом событий и переживаний героев в динамике чаще всего приводит к неожиданной развязке — хоть стой, хоть падай!.. За публикацию некоторых его рассказов, пиши он в сталинские времена, сидеть бы Eddy на нарах, а потом за свои зловредные рассказы, порочащие светлую советскую действительность, как, вспомним, привелось Михаилу Зощенко, подрабатывать на жизнь ремонтом обуви и остаться без государственной пенсии...

Про себя же Эдуард Иванович, предпочитающий оставаться на людях в тени, обычно на задних рядах писательских и около писательских тусовок, высказывается скупо. Да и то, когда ему задашь прямой вопрос. А услышишь в ответ не больше двух-трёх коротких фраз. Наверное, как и многие пишущие, Eddy считает, что личная жизнь писателя — события, мысли, чувства — сливается или растворяется в потоке его писаний. И к этому нечего добавить, как к хорошему, приготовленному по испытанному рецепту, блюду.

Однако биографические справки в некоторых книгах Русакова всё же найти можно. Как, например, в сборнике повестей и рассказов «Полуголый король», но уж очень короткая писулька. Тогда обратился за помощью к Интернету — и увидел, что Eddy в нём — «свой человек». Родился в Красноярске в трагическом для страны — военном 1942 году, 31 октября. Когда его отец, Иван Андреевич Русаков, уже несколько месяцев воевал на фронте. А летом сорок четвёртого при освобождении от немцев Литвы, как и бесщётное число наших соотечественников, пропал без вести, так и не увидев сына. Сохранились только сухие

лепестки его треугольных писем-наказов молодой жене — воспитать сына крепким телом и духом мужчиной. А в День Победы, 9 мая сорок первого, если верить Интернету, двухлетний Эдик, как и отец, едва не потерялся без вести в толпе пьяных от счастья и водки победителей в красноярском парке. И мол, навсегда сохранил в душе на всю жизнь чувство безысходности при потере самого родного человека — Мамы. А Елена Васильевна в пору военных и послевоенных лишений выполнила наказ мужа: в одиночку воспитала, выучила, дала путёвку в жизнь талантливому сыну — своему и нашей территориально великой Родины...

Не знаю, как жене, но Отечеству и Красноярску Эдуард не изменял. Здесь он, после школы, в 1966 году окончил мединститут, стал врачом-психиатром. И отрубив положенную в советскую пору трёхлетку за бесплатное образование в психбольнице деревни Поймо-Тина, — вернулся в родной город. А позднее укрепил свой писательский статус ещё одним вузом: шесть лет промаявшись заочником, в 79-ом получил диплом московского Литературного института имени Горького. И в том же году опубликовал первую книгу — «Конец сезона». А на следующий год, в 80-ом, он был причислен к «лику святых»: принят в члены Союза писателей СССР. И как следствие, в Москве через год вышел его сборник «Белый медведь». Журнал «Сельская молодёжь» признал эту книгу лучшей публикацией года.

К месту или совсем не в ту степь приведу автограф Eddy на подаренной мне на 75-летие его книге «Стекланные ступени» (Москва, Современник, 1991, тираж 30 000 экз.): «Александр Васильевич Матвейчеву от бывшего психиатра и будущего психа». От первого рассказа «Обманщик», написанного Эдуардом ещё в школе и позднее опубликованного в альманахе «Енисей», до этого «апокалипсического» автографа пролетело полвека...

В новой России Эдуард Русаков превратился в члена Союза российских писателей и международного пен-клуба. Входит в редколлегии журналов «День и ночь» и «Сибирские огни».

Он даже примерил на себя бездушный сюртук чиновника краевого масштаба: в 1992–1994 годах являлся специалистом по связям с прессой администрации Красноярского края. Я в те же годы ошивался в том же Сером доме в качестве бесплатного маргинала-референта полномочного представителя Президента России в нашем крае. С Русаковым мы нередко раскланивались в коридорах власти. Он стал здороваться первым. Наверняка не зная, кто я, но уважая мою седеющую бороду. А я-то уже его читал и недоумённо размышлял: вот уж действительно — пустили козла в огород! И оказался прав. Уже через год кормления из властным «огороде» Русаков насочинял цикл из девяти сатирических рассказов «Декамерон-92» об его обитателях, включённых позднее в книгу «Ряд волшебных изменений» (1999)...

А я, набрав на ноутбуке вышестоящий абзац, вспомнил, древний склеротик, что мне несколько раз доводилось заглядывать в кабинет Романа Солнцева, моего старого знакомого по Казани —

то ли по делам, то ли просто поболтать. В столице Татарстана он — девятнадцатилетний студент физфака госуниверситета, ударившийся в лирику, и я, уже двадцатипятилетний студент радиофака авиационного института с десятилетним стажем не призанного прозаика, встретились на семинарах литобъединения при Доме-музее М. Горького. Возможно, во время наших бесед в кабинет своего начальника заглядывал и Эдуард, а потом Солнцев высветил ему мой загадочный образ...

Последние десять лет Эдуард Русаков работает обозревателем отдела культуры в газете «Красноярский рабочий». Пожалуй, никто другой в его родном городе, как Эдуард Иванович, не накопил в памяти и в статьях столько информации о культурных событиях, о творцах культуры и содержании их творчества. Из его газетных и журнальных публикаций сложилась бы, полагаю, не одна интересная книга — живая история о писателях, художниках, журналистах, актёрах разных жанров. Там бы могло оказаться и моё излишне откровенное интервью, данное Русакову. За него одна из бывших жён назвала меня в записи на автоответчик сволочью. В суд на неё в защиту своей чести и достоинства я подавать не стал: известно, что на Богом обиженных не обижаются. А с другой стороны, лучший, по Сталину, поэт канувшей в Лету эпохи справедливо заметил в стихах лесенкой: «Все мы немножко лошади, каждый из нас по-своему лошадь...»

И всё же журналистика хоть и съедает большую часть его энергии, Русаков с упорством и терпением истинного таланта пишет и публикует, пусть и скромными тиражами, рассказы и повести, поражающие читателя самобытностью и неожиданными, но жизненно мотивированными поворотами сюжетных ходов. Под многими его вещами отсутствуют даты написания, тем не менее, по пространственно-временным «маячкам» изображаемого без труда угадывается связь персонажей, так сказать, с вселенской исторической ситуацией. Проявляется это не в нудных эпических описаниях внешних признаков героев и обстановки, а во внутренних переживаниях и монологах героев или в продолжительных диалогах оппонентов.

Как автор Русаков искренно не претендует на оригинальность, отдавая её своим нередко нервным, бестолково мятущимся персонажам. А на самом деле — именно в этом многообразии, смелости, внутренней свободе, неожиданности и неповторимости русаковского стиля как средства художественной выразительности, с «привязкой» к образу героя, действующего в свою эпоху соответственно его общественному статусу. И это тесно переплетается с индивидуализацией бытового языка автора и действующих лиц, порой предельно упрощённого до вульгарности. Но так, что читатель, если он не воображает себя эстетом, строящим пылинки грубой действительности с белых одежд фарисейски-девственного сознания, эти речевые «выхлопы» воспринимает как свои собственные. Не менее важная черта русаковской

прозы — её динамичность: постоянная подвижность — не внешняя, а психологическая переливчатость эмоциональных оттенков речи, передающей истинное, скрытое за словами, состояние изображаемого эпизода или человека.

Русаков органически следует приёму «золотого сечения», выказанного не помню кем: мол, любая описываемая вещь имеет одно существительное для своего названия, один глагол, чтобы обозначить её действие и одно прилагательное, чтобы её определить.

Века полтора тому назад француз Гюстав Флобер, автор знаменитых романов «Госпожа Бовари» и «Воспитание чувств», выразил убеждение, что поучающая мораль из его произведения должна протекать естественно, помимо воли автора — «в силу самих изображаемых фактов». А «форма — это само произведение». Прочтите любой рассказ, будь то повесть Эдуарда Русакова — и вы в этом удостоверитесь с большим удовольствием. Как и в третьем завещании Флобера — наставника великого Ги де Мопассана: «Писателю надлежит быть зеркалом явлений действительности».

И пусть насмешливый нрав и стиль Эдуарда Русакова подаёт российскую реальность на манер комнаты смеха — в кривом зеркале, так она и на самом деле искорёжена нашей то и дело вибрирующей и переписываемой под вкус меняющихся режимов историей. С её царями, вождями, президентами и замордованным народом, одуроченным надуманной идеологией, вкривь и вкось. Зато, как Мопассан и русские классики, Русаков отталкивается от действительных событий или жизненных тенденций с временными координатами общечеловеческих изменений, с элементами неожиданной мистификации восприятия читателя.

А из того, что мне довелось прочесть, он никогда не был советским или антисоветским писателем. То есть конъюнктурщиком, торгующим лирой художника ради личной выгоды и прислуживания власти. Оставался всегда русским писателем-сибиряком, летописцем «загадочной русской души» в её неприглядной повседневности.

В качестве иллюстрации приближённости Русакова к проблемам современности приведу цитаты из начала и окончания его «рассказа завтрашнего дня» «Свежезамороженная родина»: «Завтра же, завтра — в первый день нового 2013 года — я побегу с утра пораньше в местный криоцентр «Возрождение», чтобы меня заморозили одним из первых!

Кажется, это Константин Леонтьев когда-то заметил, что «России надо обязательно подморозить...» Золотые слова! В наши кризисные дни они стали особенно актуальными и перестали быть лишь метафорой, о чём нам напомнил в предновогодней речи наш уважаемый президент»...

«...А что, если меня разморозят, — подумал я вдруг, — и увижу над собой незнакомые узкоглазые лица и услышу непонятные слова:

— Нинь хао, тун-чжи! Цзинь-куан жу-хэ? И-це доу хуй хао-дэ!

...Ну и пусть, пусть будут китайцы!»

(«Полуголый король», 2009).

Откройте любую книгу Русакова наугад — и таких историй, где реальность сосуществует с виртуальностью, в его книгах советского и постсоветского периодов в российской бывальщине вы встретите премного. А грустное и смешное в них тоже уживаются в причудливом единстве.

Как, скажем, в его книге «Дева Маруся» (1995). Исторические фантазии и фантастические истории». В одноимённой новелле сибирячка-дурнушка Маруся в конце пятидесятых прошлого столетия внесексульно забеременела от страстной мечты займать ребёнка. И заимела такового от солнышка на енисейском пляже. В такое чудо даже родная мать не поверила. А дальше — ещё трагичней и интересней...

Или в этой же книге начало рассказа «Пробуждение»: «Когда я проснулся в гробу, траурный митинг был в разгаре. Крышку гроба, слава Богу, ещё не заколотили. Ещё бы немного — и всё...»

Дальше читайте сами...

В 7 томе Полного собрания сочинений Эдуарда Русакова, названном «Любовь-кольцо» и подаренном мне с посвящением: «Александру Матвейчеву, агенту оо8 — от красноярского резидента всех разведок», мне довелось, как и русаковскому Дон Жуану, перенести настоящее потрясение при прочтении и параллельном переосознании собственной жизни. Моя мама никогда не говорила мне, как моему двойнику из русаковского триптиха: «Слово мамы — закон!» Но её многострадальная жизнь матери-одиночки с четырьмя детьми могла бы стать для меня и словом, и законом... Да куда там! Я безоглядно окунулся в море греха, и, как следствие, моя молодость, как и зрелая жизнь, в чём-то оказалась созвучной судьбе русаковского Дон Жуана. Известно, что история вселенского человечества упрямо плюёт на уроки прошлого. А чего нам ожидать от отдельной личности, целиком зависящей от внешних обстоятельств?..

Каких только перипетий не пережил писатель Русаков!.. Если Антон Чехов открыл нам «Палату №6», то своей книгой «Палата №666», опубликованной в Москве в 2002 году издательством «АСТ-Олимп» — Эдуард Русаков провёл нас сквозь российский дурдом. А закончил врачеванием Ван Гога, Гоголя, Сергея Есенина, Достоевского, Врубеля, Велемира Хлебникова, Мопассана в той самой замойской палате №666.

Не хочу соревноваться в глубине проникновения в глубину «фантазий» Русакова с известным красноярским писателем Евгением Поповым, живущим ныне в Москве, который написал прекрасное предисловие к «Палате №666». Приведу лишь пару цитат из него.

Первая: «Роддом, детдом, дурдом... Жизнь как повод для запоя. Порезал вены в шутку, а умер всерьёз. Вор-интеллектуал цитирует учёные книги и тут же тибрит часы. Полоумный, ставший «новым русским», заманивает к себе доктора-мучителя, чтобы, пардон, силком трахнуть его. Солдат сбежал, на свадьбу пришёл, невесту убил. Другая невеста, чтобы заработать на грядущее счастье, становится чеченской снайпершей и, по законам мелодрамы, стреляет в жениха...»

И второй пассаж из предисловия Е. Попова: «Фантазии Русакова — не для эпатажа, как у отдельных новых писателей, и не для утверждения бесовщины на Земле. Это — предостережение для тех, кто находится на грани потери человеческого облика...»

Но ещё понятней суть своего воплощённого в художественную оболочку замысла Эдуард Русаков открыл мне короткой фразой: «Это — как начало Апокалипсиса...» А эту книгу из Нового Завета — «Откровение апостола Иоанна Богослова» — мне довелось изучать на трёх языках. И как я понял, до тысячелетнего царства Божия человечеству предстоит пройти и конец света, и Страшный суд. Во что я, наблюдая за жизнью человеческой цивилизации почти восемьдесят лет, оставаясь для окружающих пессимистичным оптимистом, свято верю...

В сборнике повестей и рассказов «Смотри, какой закат» (2010) одноимённая повесть открывается вздохом облегчения: «Слава Богу, жена моя, наконец-то умерла... Алкогольный цирроз печени, острая сердечная недостаточность...» И кого же винить в её несвоевременной кончине?.. Ответ на этот вопрос даёт сын супругов. А какой — найдите книгу автора в библиотеке или в Интернете и читайте.

В разные годы Русаков печатался не только в сибирских, но и во многих других журналах страны: «Знамя», «Юность», «Согласие», «Остров»... А поэты, — прежде всего, его неизменный друг, тоже врач-психиатр, Николай Ерёмин, — посвящали ему стихи. И даже известная чешская поэтесса Гана Суцкова одарила его ожерельем из нескольких стихотворений.

У автора этой статьи, как вы, надеюсь, уже поняли, отсутствует подтверждённое дипломом филологическое образование. Его начала, правда, я получил в Казанском суворовском училище. Фронтовой майор Фёдоровский, человек мудрый, строгий и насмешливый, преподававший нам основы русской словесности, однако, подметил и поощрил во мне проблески соответствующего дарования, благословив, сам того не ведая, непутёвого кадета на вечную муку. Я показывал ему свои рассказы, и он советовал мне послать их в журнал «Советский воин», чтобы рукописи вернулись ко мне с добродетельными рецензиями известного писателя-фронтовика Ивана Фотиевича Стаднюка. А я после суворовского, побывав курсантом и офицером, избрал инженерную карьеру и завершил её пенсионером. После чего своё «литературное наследие», написанное «в стол» в течение многих советских и постсоветских лет, издал в полутора десятках книг разной ёмкости и художественной ценности.

Говорю об этом в качестве самооправдания: я — не литературовед, а лишь читатель и почитатель обширного и признанного читающим миром творчества Эдуарда Русакова. Отсюда и родилась дилетантская чувственная пробежка по самой малой части его произведений, с благим пожеланием для читателей — чаще обращаться к книгам живущего рядом с нами классика. Которого, после перевода, читают во Франции, Японии, Финляндии, Чехии

и ещё в четырнадцать странах—бывших республиках СССР. (Так вот, кстати, почему он—«агент всех разведок»!) И во многом, я так вижу, благодаря которому, как бывшему организатору, руководителю и ведущему литературного клуба «Дебют», его члены стали профессиональными литераторами. Это птенцы-творцы «гнезда Русакова»—прозаики Алексей Бабий, Андрей Лазарчук, Василий Близнацов. Да и поэты—Михаил Мельниченко, Сергей Князев, Владимир Жабин.

..Восхищаюсь тобой, Eddy, что, не в пример мне, ты мужественно распрощался с психиатрией в зрелом возрасте и, следуя своему главному призванию, с головой погрузился в литературу и журналистику. И многое успел блестяще поведать людям—серьёзного, смешного, грустного, трагического. Не сомневаюсь, что «лёгкое дыхание» новеллиста, дарованное тебе Господом, позволит обогатить наш разум и дух таким, чего до тебя ещё никому воспроизвести не доводилось...

Михаил Фисенко

Ветер гудит о нас...

Мадонна челноков...

Любимая,
И ты серьёзней стала...
Разбили стан и вывезли весло...
И женщину столкнули с пьедестала...
Любимая, тебе не повезло...
Но ты жива, в эпоху дальних странствий
Сквозь пыль дорог мелькнёт твоё лицо...
Ты молода, проста в своём убранстве
И на руке забытое кольцо...
Так новой Евы вижу я черты,
Прокуренной, ветрами всеми битой,
Но всё равно ещё совсем открытой,
Как хорошо, что это нам дано...
И вслушиваясь в голос новой саги,
Где караванов пролегал путь,
Спешу я в белизну клочка бумаги
Вписать твою непознанную суть...
Что от тебя оставит добрый гений?
Какую загаённую мечту?
Открытый взгляд, дрожащие колени
И тайну, что не схватишь на лету...
В каких краях с тобой мы побывали,
Какую взяли вместе высоту...
Своих друзей нигде не забывали,
Прости меня за эту простоту...
Прости меня, я не могу иначе
И говорить, и думать и мечтать.
Скупое время воровато прячет
И ничего не хочет открывать...
Ни тишину струящейся дороги,
Ни этот непростой осенний путь,
Ни этих гор высокие отроги,
За них с тобой сумел я заглянуть.
Меня качали дальние дороги,
Туман белесый, льющийся огнём...
Услышал мира я слова и слоги,
Которых мы всегда с надеждой ждём.

Чем нам милее родины цветок?
Когда гляжу я
утром на восток
На птичий клин,
весной в заре летящий,
Я думаю о родине.
Всё чаще
Она ко мне приходит
зовом строк.
Что я услышать
в птичьем крике смогу,
Весну несущем нам
на смену зимам
И приходящим утром
на порог?
Что им милее
родины цветок
И этот путь
в бескрайнем небе синем.

Степь

Дорастут до Луны ковыли,
Встанет стенкой полынь-трава.
Ноги сонные вязнут в пыли,
И уснувшие дремлют слова.
Здесь чужак я в предутренний час.
Дотлевет вдали звезда.
Смотрит ночь, не смыкая глаз,
И боится уйти навсегда.
Это древние токи земли,
Я оторван от них давно,
Проросли сквозь полынь ковыли,
Приоткрыли веков окно.
Это ветер гудит о нас
Песню гор в час ночной звезды,
Отголосками древних фраз
Оставляет в душе следы...



Николай Ерёмин Код Русакова 6 + 9

Страницы поэмы

179

Николай Ерёмин
Код Русакова 6 + 9

Позвонил Матвеевич и сказал:

— Николай Николаевич! 31 октября текущего 2011 года нашему другу, замечательному прозаику Эдуарду Русакову исполняется 69 лет. Я знаю, у вас есть много посвящённых ему стихотворений. И у меня есть кое-что. Давайте издадим и подарим ему в качестве сюрприза поэму типа «*Русаковиана*», или «*Русаковиада*», или «*Русаковирая*».

Конечно же, я согласился.

Но материал оказался неисчерпаемым, как атом, и только часть из него смогла войти в первый вариант произведения. Так что — продолжение следует!

Следующий выпуск — к 70-летию имьярека.

31 октября 2004

Из окна виднеется крыша сарая
И другие покосившиеся строения...
Ты, в плохом настроении пребывая,
Ненавидишь себя и свой День рождения...
.....
Ты хочешь исчезнуть, развоплотиться,
А вынужден принимать бессмысленные подарки
И терпеть улыбающиеся лица,
И поздравления, написанные без единой пометки...
И, тяготясь своей несвободой,
Пить то шампанское, то виски с содовой,
Выслушивая тосты и воспоминания,
И хмелеть на фоне взаимного непонимания...

31 октября 2009

Тебя
В критической поре,
На радость детям и внучатам
Родившегося в октябре,
Не зря
«Октябрь» напечатал —
О осветили «Сибогни»,
Чтоб не остался ты в тени...

И сердце
Ёкнуло в груди...

Но все невзгоды — позади.
Горит сибирская заря,
Дымок осенней славы сладок...
Жизнь продолжается не зря,
И впереди —
Восьмой десяток!

Эдуарду Русакову

Тебе сегодня 6 + 9!
Да как же это может быть?
Нет, с этим нужно что-то делать,
Менять судьбу, работу, быт!

— Старик, — когда-то говорили
Шутливо обращаясь, мы —
И вот сегодня повторили
Всерьёз, в преддверии зимы:

— Старик, тебе ли в час вечерний
О возрасте напоминать?
Но повторенье — мать ученья,
И это надо понимать.

Октябрь 2011

Звезда и решётка

31 октября 2010

1.
От звезды и до решётки,
Замыкая круг забот,
Так, то с водкой, то без водки,
Русаков теперь живёт.

Но и в хмель, и с похмела
Хороши его дела!
На двери — секретный код,
А за дверью — чёрный кот.

Просто так, ядрёна вошь,
Ты к нему не попадёшь!

Но Ерёмин и Немков
Знают код, без дураков.
И поздравить (каждый рад)
С днём рождения спешат...

Шесть десятков лет плюс восемь!
Но в душе его — не осень,
А цветущие сады —
От решётки до звезды.

2.
Вновь Русаков, как встарь,
Воскликнул в День рожденья:

— Кончается октябрь...
Остановись, мгновенье!
Ведь осень на душе
Закончилась уже,
А впереди — Эх, ма! —
Опять — зима, зима...

Эд Русаков уходит в отпуск

Уходит в отпуск Русаков,
Как боцман с корабля...
Пред ним—до самых облаков—
И небо, и земля.

Иди, катись, лети, живи—
Свободный, отпускной,
С любовницей любовь лови,
А хочешь, так с женой...

Или совсем-совсем один,
Писатель-ветеран,
Твори, желаньям господин,
Очередной роман...

Исчезли быстро, как в кино,
На праздничном столе—
Коньяк, и водка, и вино...
«Красраб» навеселе...

У всех матросов бравый вид.
Простились. Ни гу-гу...
Корабль плывёт, а Эд стоит
Вдали, на берегу...

На финишной прямой

Эд. Русакову

Пора спросить на финишной прямой:
— Куда бежали мы всю жизнь, друг мой?

Зачем спешили обогнать других,
Преображаясь в прозу или стих?

Пора признать: мы обогнали всех!
Всё позади—и слава, и успех...

И не хватает воздуха в груди...
И никого не видно впереди.

31 октября 2006

Не вчера ли с тобой без печали
День рождения мы отмечали,
Пили водку,
Кричали «Ура!
С Днём рождения!»

Нет, не вчера.

Год прошёл, пролетел и промчался
И опять я с тобой повстречался
На пути то ли в Рай, то ли в Ад...

И сегодня я рад, Эдуард,
Что с тобой мы по-прежнему дышим,
Дружим с музами,
Пишем и пишем
Для России такой и сякой,
Я—как Пушкин, а ты—как Толстой.

И пока в регионах России
Люди ждут появления Мессии,—
В День рожденья тебе:
«С нами Бог!»—
Говорю,
Как пророку
Пророк.

стр. Алейников Владимир Дмитриевич
21 Москва / Коктебель, 1946 г. р.

Поэт, писатель, переводчик, художник. Основатель и лидер легендарного содружества СМОГ. С 1965 г. публиковался на Западе. Более четверти века тексты его широко распространялись в Самиздате. В восьмидесятые годы был известен как переводчик поэзии народов СССР. Автор многих книг стихов и прозы — воспоминаний о былой эпохе и своих современниках. Лауреат премии Андрея Белого.

стр. Анзигитова Наталья Валерьевна
119 Москва

Окончила биофак мгу. Кандидат биологических наук, зоолог. С экспедициями объездила всю страну. Долго работала на севере Красноярского края. Потом занялась розоводством и написала по этой теме множество статей и несколько книг.

стр. Аргунов Пётр Александрович
159 Красноярск, 1948 г. р.

Родился в Красноярском крае. Жил в Туве. С 1961 года в городе Красноярске. Окончил Красноярский политехнический институт. Работал на трёх крупных предприятиях города. С 2006 года стал пробовать писать стихи, позже прозу.

стр. Беликов Юрий Александрович
15 Пермь, 1958 г. р.

Родился в городе Чусовом Пермской области. Поэт, эссеист, публицист. В 1980-м закончил филологический факультет Пермского госуниверситета. Автор трёх поэтических книг — «Пульс птицы», «Прости, Леонардо!» и «Не такой». Обладатель Гран-при и звания «Махатма российских поэтов» (всесоюзный фестиваль поэтических искусств «Цветущий посох», Алтай, 1989), лауреат международного фестиваля театрально-поэтического авангарда «Другие» (2006) и всероссийской литературной премии имени Павла Бажова (2008) за свод избранных стихотворений «Не такой» (московское издательство «Вест-Консалтинг»). В начале 90-х входил в редколлегию журнала «Юность», где учредил и вёл две рубрики — «Письма государственного человека» и «Русская провинция». Основатель трёх поэтических групп — «Времири» (конец 70-х), «Политбюро» (конец 80-х) и «Монарх» (конец 90-х). Лидер движения «дикороссов» и составитель книги «Приют неизвестных поэтов» (Москва, 2002). Работал сборником «Комсомольской правды», «Трибуны», спецкором газеты «Труд». Стихи публиковались в журналах

«Юность», «Знамя», «День и ночь», «Арион», «Дети Ра», «Флорида» (США), «Зарубежные записки» (Германия), «Киевская Русь» (Украина), «Иерусалимский журнал» (Израиль), в антологиях «Самиздат века», «Современная литература народов России», «Антологии русского лиризма. XX век». Награждён Орденом Велимира «Крест поэта». В настоящее время — собкор «Литературной газеты».

стр. Берлин Анатолий
125 Лос-Анджелес, 1939 г. р.

Поэт и эссеист, философ, переводчик и меценат. Член Международного пен-клуба. Член Союза писателей «Новый Современник». Мистер «Интер-Лит-2002». Лауреат Международных поэтических конкурсов. Автор сборников стихов и альманахов поэзии. Диплом Лауреата Первого Международного литературного конкурса «Золотая номинация» за 1 место в номинации «Поэзия». Диплом «Признание Мэтра». Учредитель Международной Литературной премии «Серебряный стрелец».

стр. Беседин Платон (*Амен Бодхи, Михаил Аумов*)
172 Киев, 1985 г. р.

Родился в Севастополе. Образование — высшее техническое и высшее психологическое. Автор современной интеллектуальной прозы. Публиковался в периодических изданиях «Литературная газета», «Зарубежные задворки», «Флорида», «Девушка с веслом», «Новая реальность», «Альтернатива», сборниках прозы и литературных альманахах (Россия, Украина, Германия, США).

стр. Василевский Юрий Анатольевич
75 Эссо (Камчатка), 1951 г. р.

Родился в селе Ардатово Горьковской области. Окончил заочное отделение геологического факультета Иркутского государственного университета. Первые публикации появились на рубеже 80-х–90-х гг.

стр. Галкина Лика (*Галина Татарчук*)
131 Генуя (Италия), 1966 г. р.

Родилась в Запорожье (Украина, СССР). Выпускница Харьковского государственного университета (факультет филологии и журналистики). В 1994 г. эмигрировала в Израиль. В 1996 г. закончила первый организованный в Израиле курс для русскоговорящих экскурсоводов; до 2001 г. работала в туризме; в 2002 году переехала жить в Италию. Дебютировала как прозаик в журнале «День и ночь».

стр. 110 Гильмитдинова Яна Вячеславовна
Зеленогорск, 1972 г. р.

Родилась в 1972 году в г. Верхняя Пышма Свердловской области. Окончила факультет иностранных языков Уральского государственного педагогического университета. Работала в СМи г. Зеленогорска. С 2001 года — сотрудник Центра информации и печати ОАО «ПО „Электрохимический завод“». Член Союза журналистов России. Участник ряда коллективных поэтических сборников. Соавтор и редактор городского литературного альманаха «Лаборатория 69» (Зеленогорск, 2007). Публикации в журнале «День и ночь».

стр. 112 Гурова Светлана Викторовна
Екатеринбург, 1962 г. р.

Закончила философский факультет Уральского государственного университета имени А. М. Горького. Публикации: интернет-журналы «Слон» (Издательство «ОЛМА-медиа»), «Девичник». Сценарий «Свердлова, 56» — финалист IV Международного конкурса сценаристов».

стр. 117 Дёмкин Андрей
Санкт-Петербург, 1970 г. р.

Выпускник Военно-медицинской академии. Служил на Северном флоте. Специализировался в области психофизиологии. В настоящее время работает в ВМА на должности психолога в научно-исследовательском центре. Имеет множество научных публикаций. Рассказы печатались в журнале «День и ночь», альманахе «Образы жизни» (США) и других.

стр. 179 Ерёмин Николай Николаевич
Красноярск, 1943 г. р.

Родился в Красноярске. Окончил медицинский институт, работал врачом-психиатром. Заочно окончил Литературный институт имени Горького. С 1981 года — член Союза писателей. Автор более сорока стихотворных сборников, нескольких книг прозы. Лауреат премии «Хинган». Живёт в Красноярске.

стр. 145 Злобина Екатерина Викторовна
Севастополь, 1976 г. р.

Прозаик, журналист. Родилась в Петропавловске-Камчатском в семье военнослужащего. Выпускница Литературного института им. А. М. Горького.

стр. 8 Иослович Илья Вениаминович
Хайфа, 1937 г. р.

Родился в Москве. Окончил мех.-мат. мгу в 1960 г. по специальности «механика». Работал в различных НИИ. В 1957–58 гг. участвовал в литобъединении мгу на Ленинских горах (Д. Сухарёв, Н. Горбаневская, Ю. Манин, О. Дмитриев, В. Костров, Ю. Чаповский, Б. Пуцыло, М. Гусев. Руководитель — Н. Старшинов). Публикации с 1958 г. Стихи были включены в машинописный журнал «Синтаксис» № 4, 1960, который не вышел из-за ареста

составителя А. Гинзбурга. В 1991 году переехал в Израиль. Профессор технического университета.

стр. 126 Казовский Алексей Геннадьевич
Ноябрьск (Ямало-Ненецкий АО), 1962 г. р.

Родился в Барнауле. Инженер-электрик. Рассказы и очерки с 2005 года публикуются в журналах «Сибирские Истоки», «Обская Радуга» (Ямал); «Уральский Следопыт», «Урал», «Веси» (Екатеринбург); «Мир фантастики» (Москва); «Терра Нова» (Сан-Франциско), «Чайка» (Балтимор).

стр. 42 Каминский Семён
Чикаго, 1954 г. р.

Родился в Днепропетровске. Образование высшее техническое и среднее музыкальное. Работал преподавателем, руководителем юношеского фольклорного ансамбля, менеджером рок-группы, директором подросткового клуба и рекламного агентства, режиссёром и продюсером телевизионных программ, редактором, программистом. Редактор-составитель литературного раздела еженедельника «Обзор» (Чикаго, США). Член редколлегии газеты «Наша Канада» (Торонто, Канада). Член Международной федерации русских писателей, Объединения Русских Литераторов Америки.

стр. 168 Карпин Дмитрий
Томск, 1986 г. р.

Прозаик, психолог, журналист. Окончил мгу. Несколько рассказов заняли призовые места в сетевых конкурсах. Публикации в журнале «Ридерз Дайджест» (Москва) и альманахе «Порог» (Украина).

стр. 52 Котюсов Александр Николаевич
Нижний Новгород, 1965 г. р.

По образованию физик. Кандидат физико-математических наук. Работал помощником и пресс-секретарём губернатора Нижегородской области, 1-м заместителем Председателя Государственного комитета по поддержке и развитию малого бизнеса, руководителем аппарата 1-го вице-премьера, руководителем фракции «СПС» в Государственной Думе, депутатом Государственной Думы 3-го созыва. В настоящее время занимается бизнесом, руководит ресторанной сетью в Нижнем Новгороде. Депутат городской Думы. Публикации в журналах «Нева», «Знамя».

стр. 87 Кузнецова Зинаида Никифоровна
Зеленогорск

Родилась в Воронежской области, в большой крестьянской семье. В Красноярск-45 (ныне Зеленогорск) приехала в 1966 году. Работала электромонтером связи на Красноярской ГРЭС-2, затем в течение 37 лет была секретарём высших руководителей города. Творчеством стала заниматься уже в зрелом возрасте, примерно лет в 25–26. Сначала это были стихи. Вышло семь поэтических сборников: «Настроение», «Медовый август», «Ночной

звонок», «Память сердца», «Облака», «Куст калины» (1-й том 2-томника), «Забутые острова». Затем начала писать рассказы, в результате вышло три сборника рассказов: «Райские яблоки», «Болеутоляющее средство», «Белый снег, дорожка чёрная...». Многочисленные публикации в газетах, в журналах «День и ночь», «Енисей», «Светлица», «Совершенно открыто», «Молодая гвардия», «Новый Енисейский литератор»; в коллективных сборниках «Поэзия на Енисее», «Поэтессы Енисея», «Антология поэзии закрытых городов», в изданных краевой писательской организацией сборниках «Какие наши годы», «Послание во Вселенную» и многих других. На многие стихи написаны песни. Руководитель литературного объединения «Родники» Зеленогорска, составитель и редактор коллективных и авторских сборников городских поэтов. Член союза российских писателей, член правления Красноярской писательской организации.

стр. 68
Максимов Юрий
Челябинск, 1950 г. р.

Прозаик. Автор двух книг прозы. Лауреат областного литературного конкурса.

стр. 100
Мартынов Евгений Александрович
Зеленогорск, 1930 г. р.

Окончил Омское речное училище; позднее Омский машиностроительный институт. Работал в Омске, Новосибирске, Бердске в должностях от мастера до начальника цеха. Преподавал в техникумах, Школе космонавтики. Автор более тридцати изданных книг. Публикации в журналах «Сибирские огни»; «День и ночь»; «Совершенно открыто». Член Союза российских писателей и Товарищества детских и юношеских писателей России, дипломант Третьего Международного конкурса детской и юношеской литературы им. А. Н. Толстого (2009, Москва).

стр. 174
Матвейчев Александр Васильевич
Красноярск, 1933 г. р.

Родился в Татарстане. Окончил Казанское суворовское и пехотное училища. Лейтенантом командовал пулемётным и стрелковым взводами в Китае и Прибалтике. После демобилизации закончил Казанский авиационный институт. Пройдя все ступени инженерных должностей, завершил карьеру первым заместителем генерального директора, главным инженером крупного НПО и директором предприятия. С 1993 года работал журналистом в редакциях газет, переводчиком с английского и испанского языков, помощником депутата Госдумы, а затем Законодательного собрания Красноярского края. Автор более десяти книг и множества журнальных публикаций.

стр. 74
Мелодьев Мартин Михайлович
Нью-Йорк, 1953 г. р.

Родился в Новосибирске. Выпускник экономического факультета НГУ. С 1990 года живёт в Америке. Автор нескольких книг стихотворений, вышедших в России и США.

стр. 25
Микаэль Михаил (Михаил Горевич)
Москва, 1948 г. р.

Математик. Поэт, прозаик, драматург. Член «СП XXI века». В соавторстве с Вл. Лейбовичем написал романы «Венецианец» и «Праздники Каина». Публикации в журналах «Волга», «День и ночь», на радио «Эхо Москвы».

стр. 171
Молчанов Виталий Митрофанович
Оренбург, 1967 г. р.

Родился в Баку. Выпускник Московской Академии нефти и газа. Постоянный автор издания «Зарубежные задворки» (ФРГ), публикации в еженедельнике «Обзор» («Континент», Чикаго), в поэтическом журнале «Дети Ра» (Москва), «Зинзивер» (Санкт-Петербург), в журнале «Окна» (ФРГ) и др. Лауреат фестиваля «Славянские традиции» в 2010-м, лауреат малой литературной премии «Серебряный Стрелец», победитель международного поэтического конкурса им. С. И. Петрова, финалист V международного конкурса поэзии памяти Владимира Добина (Израиль), победитель фестиваля «Гоголь-фэнтези-2009» (Украина), победитель VI поэтического турнира, посвящённого 250-летию Ф. Шиллера (Штутгарт), победитель конкурса «Я памятник себе воздвиг». Председатель Оренбургского регионального отделения Союза российских писателей.

стр. 151
Муминов Салахитдин
Тараз (Казахстан), 1963 г. р.

Окончил филологический факультет педагогического института. Преподаватель русского языка и литературы, кандидат педагогических наук, доцент, автор литературоведческих статей и литературных произведений, опубликованных в журналах и газетах России, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.

стр. 111
Панова Татьяна
Красноярск, 1971 г. р.

Родилась в Красноярске. Всё детство до 17 лет жила в северном посёлке Ванавара. В Красноярск приехала учиться. Закончила факультет физической культуры и спорта Красноярского педуниверситета. Издала два авторских поэтических сборника. В соавторстве с Анатолием Васильевым выпущен музыкальный диск (10 песен и романсов).

стр. 156
Петров Сергей Владимирович
Москва, 1960 г. р.

Прозаик. По основной профессии — юрист. Автор книги «Всё когда-нибудь заканчивается». Публикации в журналах «Законность», «Российская литература», литературном альманахе «Спутник».

стр. 27
Русаков Эдуард Иванович
Красноярск, 1942 г. р.

Родился в Красноярске. Окончил Красноярский медицинский институт (1966) и Литературный институт (1979). Работал врачом-психиатром

(1966–81), редактором на Красноярской студии документальных фильмов (1981), руководителем литературной студии при Красноярском Дворце культуры (1982–91), корреспондентом газет «Евразия», «Вечерний Красноярск» (1991–98). Обозреватель газеты «Красноярский рабочий» (с 1998), заместитель главного редактора журнала «День и ночь». Печатается как прозаик с 1966 года. Автор нескольких книг прозы. Произведения переведились на азербайджанский, болгарский (1985), венгерский (1986), казахский, немецкий, словенский, финский, французский, японский языки.

стр. 104 **Рябец Светлана Анатольевна**
Зеленогорск, 1948 г. р.

Образование медицинское и педагогическое. Более 30 лет работала воспитателем в детском саду. Стихи публиковались в альманахе «Новый Енисейский литератор», в журнале «Енисейка», в городском коллективном сборнике «Серебряный звон». Автор сборника «Почему на небе звёзды?».

стр. 3 **Саввиных Марина**
(*Наумова Марина Олеговна*)
Красноярск, 1956 г. р.

Выпускница филологического факультета Красноярского педагогического института. Публикации в литературной периодике с 1973 года: журналы «Юность», «Уральский следопыт», «День и ночь», «Сибирские Афины», «Москва», «Дети Ра», «Северная Аврора», «LiteraruS» (Хельсинки), «Побережье» (Нью-Йорк), «Крещатик» (Германия), «Образы жизни» (Сан-Франциско), в еженедельнике «Обзор» (Чикаго), в коллективных сборниках и антологиях. Автор семи книг стихов, прозы, художественной публицистики: «Фамильное серебро», «Res cogitans», «Глиняный пятигранник», «Mail.ru», «Собеседники», «Горизонты Рожкова», «Сафьяновый блокнот». Первый лауреат премии Фонда им. В. П. Астафьева (1994). Член Союза российских писателей, Международного пен-клуба. Член Президиума Международного Союза писателей XXI века. Автор проекта, организатор и первый директор Красноярского литературного лицея. Главный редактор литературного журнала «День и ночь».

стр. 109 **Секлицкая Татьяна Васильевна**
Зеленогорск, 1958 г. р.

Работает в центре экологии и туризма. По образованию педагог. Пишет стихи и прозу. В журнале «День и ночь» была напечатана её повесть-сказка.

стр. 46 **Тресков Василий Ильич**
Москва, 1961 г. р.

Прозаик, журналист, преподаватель вуза. Член Союза писателей РФ. Первые рассказы печатались в «Юности» (Бориса Полевого), в «Литературной газете» (16-я полоса Виктора Веселовского). Есть несколько сборников прозы. Последний из них вышел в 2008 году.

стр. 144 **Трофимов Артём Евгеньевич**
Красноярск, 1995 г. р.

Ученик Красноярской гимназии «Универс» (№ 1) и Литературного лицея. Публикации в журнале «День и ночь», газете «Литературные известия» (Москва). Стипендиат Красноярской краевой именной стипендии им. В. П. Астафьева за достижения в литературном творчестве.

стр. 178 **Фисенко Михаил Иванович**
Уссурйск, 1948 г. р.

Выпускник Дальневосточного государственного Университета. Астрофизик, сотрудник Уссурйской астрофизической обсерватории ДВО РАН. Опубликовал более 600 стихотворений в краевых и районных газетах, в поэтических сборниках. Автор нескольких книг стихов. Член Союза писателей XXI века.

стр. 39 **Хугаев Ирлан Сергеевич**
Владикавказ, 1965 г. р.

Выпускник филологического факультета Северо-Осетинского государственного университета им. Коста Хетагурова; преподавал в школах Северной Осетии-Алании, на филологическом факультете СОГУ, в Новом гуманитарном университете Н. Нестеровой (Москва). Доктор филологических наук, старший научный сотрудник Владикавказского научного центра РАН и РСО-А. Публикации в журналах «Дарья», «День и ночь».

Илья Фоняков
Бабушка моего друга

У моего друга
В качестве воспитателя
Была — да славиться ей в веках! —
Бабушка, говорившая на пяти языках.

Бабушка не была ни переводчиком, ни лингвистом.
Она когда-то окончила институт благородных девиц.
Она ходила в халате, засаленном и обвислом,
Читала философию и не любила художественных небылиц.

Она читала непрерывно, бессистемно, бессонно
(Дольше всех светилось её окно в темноте)
Маркса, Пифагора, Кьеркегора, Ницше, Бергсона,
Конта, Канта, Ганди, «Униту» и «Юманите».

Семья моего друга вымерла во время блокады.
Промежуточных звеньев не стало: были только бабка и внук.
Юноша, лишённый родительского догляда,
В пору ломки голоса абсолютно отбился от рук.

С ним беседовать было некогда, он возвращался поздно,
Бывало, что выпивши, бывало, что не один.
Бабушка самоотверженно продолжала отыскивать подступ
К интеллекту внука — утешения её седин.

Почерком девическим, изящным до умопомрачения,
Пронесённым сквозь годы старения и потерь,
Она выписывала из книг наиболее примечательные изречения
И кнопками прикалывала их потомку на дверь.

Ключья экзистенциализма и диамата,
Словно коллекционные бабочки под стеклом,
Красовались, касаясь друг друга крылом,
И дверь была от записок лохмата.

Мы с другом смеялись, рассматривая её в упор,
И только недавно поняли, разобравшись толково:
Способ воспитания был не хуже любого другого.
Некоторые изречения помнятся и до сих пор.

Что вообще сберегли мы, а что — растратили?
Вспоминаю квартиру тесную на втором этаже.
Ну и бабушка была у моего друга!
Нынче таких не бывает уже.

1963



(1935–2011)

Читайте в 2012 году:

Владимир Алейников
«Вокруг самиздата»

Анастасия Астафьева
«То, чего не было»

Василий Головачёв
«Сюрприз для пастуха»

Игорь Богацкий
«Полный камуфлет»

Наталья Слюсарева
«Епископ Пергамский»

Диалоги с Юрием Беликовым

Рубрика Кирилла Анкудинова
«Литературный транзистор»

Страницы литературного авангарда
«ДиН сдвигология»

Очерки по истории культуры
Льва Бердникова

Новые встречи с авторами
литературных порталов «Мегалит»
и «Жёлтая гусеница»

Дискуссия о «транслингвизме»:
литература русская и «русскоязычная»?

Проза *Игоря Харичева, Евгения Степанова, Александра Торопцева, Александра Щербакова, Нины Шалыгиной, Ланы Райберг, Яны Бруштейна, Наталии Гарбер...*

Стихи *Татьяны Смертиной, Александра Балтина, Бориса Марковского, Анатолия Третьякова, Николая Ерёмина, Вероники Шелленберг, Дмитрия Мурзина, Романа Рубанова...*

и многое, многое другое...